ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

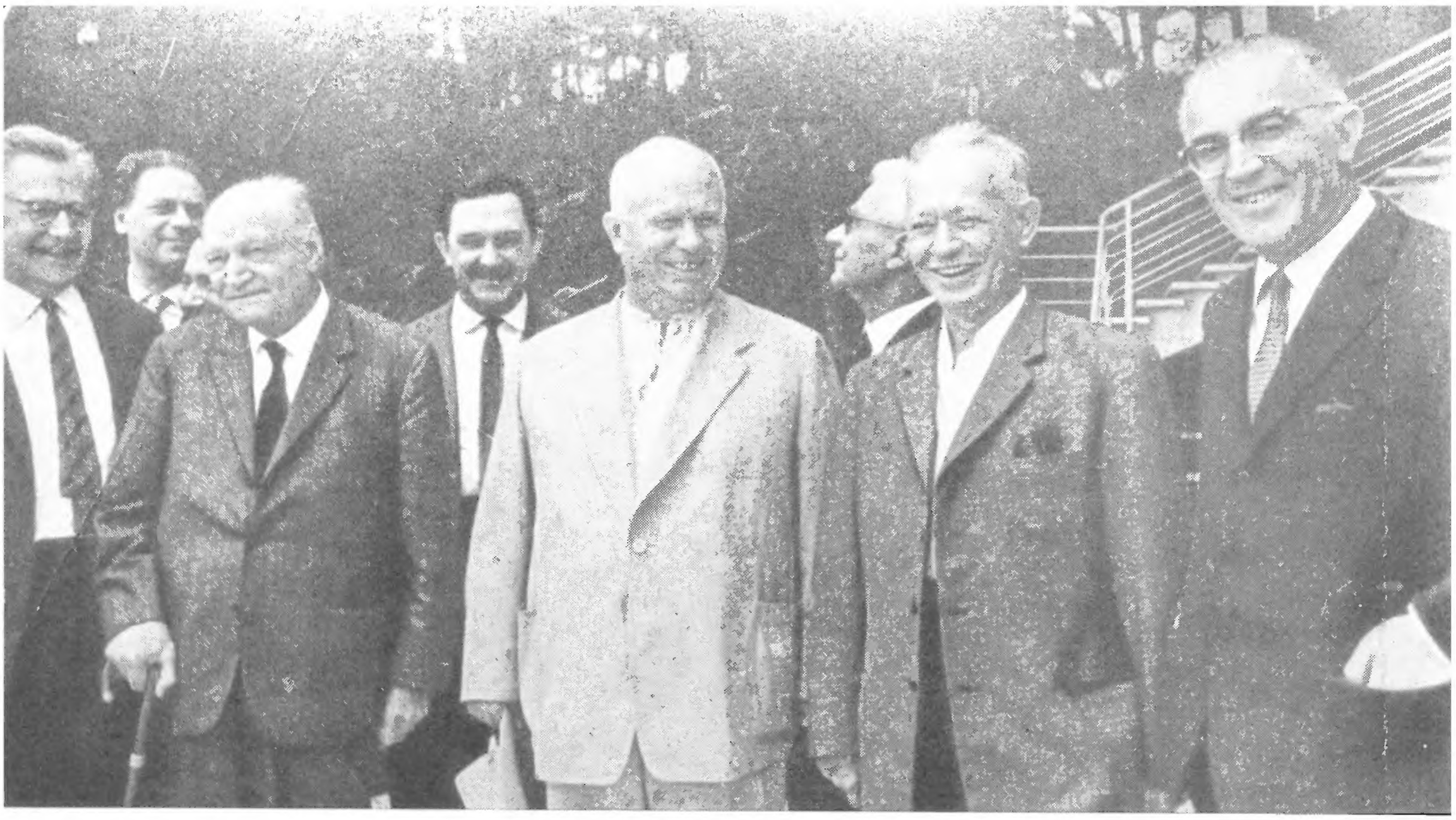
4

1964

Н. С. Хрущев беседует с участниками ленинградской сессии руководящего совета Европейского сообщества писателей

Н. С. Хрущев и М. А. Шолохов

**К 70-летию со дня рождения Н. С. Хрущева**



Н. С. Хрущев среди советских и зарубежных писателей

Н. С. Хрущев на прогулке с участниками сессии

*(Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС)*

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

# СОДЕРЖАНИЕ

К 94-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина

**О ЛЕНИНЕ И РЕВОЛЮЦИИ** (По воспоминаниям и письмам Линкольна Стеффенса). Публикация Эллы Уинтер . . . . . 9

## *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РАССКАЗА*

**АЛАН СИЛЛИТОУ. ИВАЙЛО ПЕТРОВ. АНДРЕ СТИЛЬ. ЛЮЧИО МАСТРОНАРДИ. УГО Э. ПЕДЕМОНТЕ. КРИШАН ЧАНДАР** . . . 20

## *ПОВЕСТИ*

**ЕЖИ СТЕФАН СТАВИНСКИЙ** — В погоне за Адамом (Вступительная статья Сергея Герасимова) . . . . . 76
**НАГИБ МАХФУЗ** — Вор и собаки . . . . . 165

## *СТИХИ*

**ИВАН СКАЛА** — Весна — в атаке! . . 3
**СЛОВО ТРЕХ ПОЭТОВ КУБЫ** . . . . 161

## КРИТИКА

**Я. ФРИД** — Литература кошмаров и ребусов 219
**А. КАРЕЛЬСКИЙ** — Станции Эрнста Юнгера 230
**ФАИЗ АХМАД ФАИЗ** — Многообразие и жизненная сила (О современной литературе и театре Пакистана) . . . . . 237

4

АПРЕЛЬ

1964

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

*Москва*

## ПУБЛИЦИСТИКА

**К. ГУСЕВ** — Исторический талант . . . . . 243

## КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы . . . . . 249

## К 400-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

**Экскурсии в мир Шекспира** (Неопубликованные страницы А. В Луначарского) . . . 253

## НАШИ ГОСТИ

**Н. БУНИН** — Герой литературы новой Германии . . . . . 258

## КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

**В. ВЮЛЬФИНГ** — Человек, нашедший счастье (К 75-летию со дня рождения Людвига Ренна) . . . . . 261

## СРЕДИ КНИГ

### ИЗДАНО В СССР

Лев Копелев — Эпические романы поэта-лирика. ◇ Н. Вильмонт — Книга народной скорби и народного мужества. ◇ Г. Кауров — Бирма сегодня. ◇ С. Ильинская — Чего ждут мертвые? . . . . . 263

### ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Лев Никулин — Век кибернетики и душа человека. ◇ В. Ивашева — Американский сон в летнюю ночь . . . . . 270

## ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника . . . . . 274

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . . . 288

*На обложке рисунок чехословацкого художника ИРЖИ ТРНКИ*

ИВАН СКАЛА

# ВЕСНА — В АТАКЕ!

*Перевод с чешского*
*МИХАИЛА СВЕТЛОВА*

## ЛЕНИН ВСЕГДА!

О, сколько слов прекрасных он сказал,
о, сколько б мог еще договорить!
Он, сколько весит истина, познал,
чтоб людям, жаждущим свободы, сообщить.

И вот живым становится плакат
(пусть только силуэт изображен),
его живым богатством я богат,
его душою мир обогащен.

Нет более счастливого пути —
частичку Ленина в самом себе найти!

## Девятое мая

## в районном городке

Живет История. И в лица наши дует
все тот же ветер. Сдул он все морщины
и паутину с глаз прозревших снял.
Воспоминания пульсируют, как прежде,

в сердцах не прекращается огонь
такой, как был, такой, как завтра будет.

Мы снова здесь... И падают дождинки
на головы, на лозунги, на площадь...
По-родственному мы опять шумим,
и этажами облака от сигарет
плывут над смехом грубоватых шуток.

И все же чувствуем мы маслянистый запах
бутылок, брошенных под гусеницы танков,
и пахнут дымом сгорбленные стены,
и утренняя изморозь пришла,
и вновь солома шелестит в руинах,
и вновь повеяло махорочным дыханьем,
и, как тогда, чеканными шагами кто-то
взошел на красную трибуну...

Да, мы — История! На площади вот этой,
что дружно мы подняли из развалин,
сегодня вновь себя мы повторяем.
Кого — себя? Искавших и нашедших!
Кого — себя? Жильцов концлагерей!
Кого — себя? Людей, достигших цели!
Кого — себя? Истории заря
испытывает нашу чистоту
и, как монету, пробует на зуб.

Да, мы — История! Мы это твердо знаем.

Мы строим этот город не впервые —
его терзали танковые шквалы,
мы после шквалов строим город вновь,
чтоб в человеке человечество будить,
мы в сотни раз строительство расширим,
раз тысячу еще мы зубы стиснем,
чтоб новой песне радовалось сердце.

Мы здесь! Мы здесь! Пусть дождик моросит...
Вот кто-то из друзей поднялся на трибуну.
Победный май! Его девятый день
пульсирует в висках... Души накал
вот-вот взорвется, и тогда, друзья,
освободим энергию такую,
что убыстрит Истории шаги
сегодня, завтра утром, сразу,
как только мы покинем эту площадь.

Еще оратор вышел на трибуну,
мы стихли, поднимая руки,
и прозвучала громко речь о том,
что тяжесть сброшена, что долг исполнен наш.
И вот листовки кружатся над нами
и убеждают нас спокойной речью.

Мы поднимаем под дождем воротники.
Дождь мая! На разгоряченных лбах

недолго жить его холодным каплям —
они исчезнут без следа мгновенно...

Уже пора нам, что ли, расходиться?
Весенний дождик продолжает падать,
а под трибуною шуршат бумажки —
сухие листья дерева живого.

## Дружба

Я всегда твой преданный друг!
Возьми мою руку —
я всегда твой преданный друг!

Может, голоден ты? Может, зябнешь?
Выращу хлеб, рыб наловлю, печь затоплю,
ну, а на зиму дров запасу
целую рощу.
Ты попробовал голод, надежду попробовать дам...
Я всегда твой преданный друг.

Может, ворон-советник замолк под твоею стрехой?
Может, пеночки нет?
Буду вороном,
стану пеночкой для тебя —
я всегда твой преданный друг.

Может, голоден ты? Насыщу.
Пусть опасность грозит —
унесу на руках,
из гниющей избы пресыщенья
тебя унесу,
чтобы доброе сердце твое сохранить...
Я всегда твой преданный друг.

А поднимешься в гору,
я у самой вершины
две тяжелые гири к ногам твоим привяжу,
чтобы ты не упал.

И все недостатки твои я возьму на учет.
Пусть никто их не видит, а я вот — твой друг — их заметил.
И все почести, все похвалы
затопчу я в сердце твоем,

чтобы ты оставался таким, каким тебя знал я
в начале пути
перед громадным еще не законченным делом...
Я всегда твой преданный друг.

Бремя тебя прижимает к земле?
Ты не заметишь, как я его облегчу,

а явно, глядя прямо в глаза,
буду высмеивать жалкую силу твою.

А придет к тебе одиночество,
жди меня через минуту,
я приду, табачок принесу, мы закурим,
я скажу тебе доброе слово...
Я всегда твой преданный друг.

## Можен

На плече холма
городок Можен
как свежий каравай хрустящий,

церквушка вот стоит,
шесть тракторов,
один почтовый ящик.

Вот парикмахер начертал:
«Сейчас приду!» — прочти,
вот кошка за окном,
сто лет ей без пяти.

Здесь пахнут девушки,
как яблоки в Провансе,
однажды в год они
теряют разум в танце.

Потом целый год сидят у окна
и прекрасные песни поют,
неприступно и строго
сидят у окна,
но большое притворство тут.

Можен, Можен!
Рок бессилен перед тобой,
забираешь ты женщин в плен.

Будьте здесь, пока не иссякнет в бокалах
густой апельсинный настой,
пока последняя девушка к вам
не повернется спиной.

## Городок

С городишком французским вам всем познакомиться надо,
и тогда вы поймете меня:
вопрошающий взгляд, двоеточие женского взгляда
сохраните вы в сердце своем до последнего дня.

Вот за улочкой тихой на крохотной площади зданья,
где дороги от спальни до церкви лежит полоса,
вы поймете мгновенно невест обреченных рыданье,
будто девичье тело возносят они в небеса.

Вы бы то ли в Бретани, то ль в Провансе увидеть сумели,
где весна перед осенью сложила оружье свое,—
в шесть встают, а в одиннадцать вечера снова в постели,
в перерыве и варят, и шьют, и чинят белье.

Все равно —
колокола так прекрасно встречают рассвет,
а вечером на деревенском пруду до зари
плавает свадебный ярко горящий букет
мадам Бовари.

## Желание

*Сергею Махонину*

Поэзия — жена поэта и вдова.
О, как сказать мне новые слова,

чтоб искренне звучали, непредвзято,
чтоб завтра им звучать и послезавтра,

чтоб каждой ночью, вечером и днем
безмолвие взрывать, как барабанный гром.

И жизнь свою не уточнив во многом,
будь самому себе судьей, не богом,

люби, поэт! Покой предай забвенью,
семь красок радуги — твое вооруженье!

## Весенние строфы

Весна — в атаке! Ей преграды нет,
все эти рытвины и все бороздки эти
вонзились в землю, как звериный след,
и тепловаты, как апрельский ветер.

Я чувствую — природа светит, дышит,
заполнила меня, как высохший ручей,
и вот уж веточка сирени пышет
моим проклятием и гордостью моей.

Мы снова здесь, неврозы, и обиды,
и равнодушие по-прежнему неся,
но мы, как современные Эвклиды,
сквозь пропасть космоса ворвемся в небеса.

Нет! Ржавчина над нами не всесильна,
весенней сути в нас не заглушит...
Весна — в атаке! И сирень обильно
над нами, словно облако, парит.

Ракетами взрывается весна,
твердыни мрака насмерть поражает,
и пусть на нас обрушится волна,
пусть догола нам нервы обнажает —
мы никогда не подчинимся лжи,
как дорого нам беспокойство боя!

Товарищ мой! Весною дорожи,
навстречу лету мы идем с тобою.

К 94-й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

# О ЛЕНИНЕ И РЕВОЛЮЦИИ

(По воспоминаниям и письмам Линкольна Стеффенса)

Линкольн Стеффенс, в апреле 1917 года отправившийся пароходом в новую, революционную Россию, был хорошо подготовлен для того, чтобы понять русскую революцию. Его собственный опыт «разгребателя грязи» в Америке научил его вдумчиво анализировать природу современного государства. Он не получил марксистского образования и редко присутствовал на дискуссиях о «классовой борьбе». Сомневаюсь, слышал ли Стеффенс о Ленине или о других видных идейных вождях России того времени, пока их имена не стали известны всем в 1917 году. После окончания университета в Бёркли Стеффенс слушал лекции в немецких университетах, работал в Сорбонне в Париже, в Британском музее в Лондоне, в научных библиотеках Гамбурга, Берлина, Гейдельберга, Мюнхена. Он писал множество писем домой, матери и отцу в Сан-Франциско, трем своим сестрам, зятю, товарищам по колледжу.

После смерти Стеффенса я собрала его письма и подготовила их к публикации. В целом они дают полное представление об эволюции наблюдательного и мыслящего американца, который изучал и обдумывал факты и анализировал глубинные процессы и характерные особенности своего времени.

С самого начала связи Стеффенса с Советской республикой были тесными и многосторонними. Он хорошо знал всех американцев, побывавших в России. Глубокая и многолетняя дружба связывала его с Джоном Ридом. В Нью-Йорке Стеффенс устроил Рида на первую в его жизни работу в журнале, посоветовав ему при этом не только делать то, что ему поручат, но также «наблюдать жизнь». В своем очерке, посвященном памяти любимого молодого друга, Стеффенс писал в 1920 году: «Видите ли, в Москве, в Советской России, где вши и голод, суровая дисциплина и смерть... даже некоммунист может понять, ради чего стоит жить или погибнуть. Там понимают, что жизнь не всегда будет такой, какова она теперь. Будущее приближается, оно уже зримо, оно наступит, и очень скоро. И будущее это — прекрасно. Его можно видеть невооруженным глазом, и простые люди его видят. Так, например, увидел его я».

Но Стеффенс не был социалистом-утопистом. Не страдал он и тем, что Ленин называл детской болезнью «левизны». Для него советская

система представляла собой весьма практичный, вполне земной метод искоренения несправедливостей, которые, как он убеждался на протяжении всей своей трудовой жизни, извращали смысл демократии. Именно по этой причине он изучал советскую жизнь, беседовал с руководителями государства, забирался во все уголки, пытался осмыслить настоящее, оценить будущее. Многие замечания Стеффенса в его докладе, подготовленном для Парижской мирной конференции 1919 года (вошедшем в историю под именем доклада миссии Буллита в России), оказались пророческими; взгляды русских коммунистов изложены там следующим образом:

**«Идея заключается в том, что каждый должен трудиться для общего блага, и, следовательно, когда все будут производить больше, все станут получать больше. Сейчас русские голодают, но они поровну делят бремя бедности... Ленин питается... как все другие, раз в день — суп, рыба, хлеб и чай... Народ, крестьяне шлют ему продовольственные посылки, но он отдает их в общий котел. Тут руководителям правительства нет нужды составлять себе представление о лишениях, которые терпит народ: они их терпят вместе с ним. Правительство и народ сознают, что, если Россия когда-либо достигнет процветания, благосостояние станет уделом каждого ее жителя. Другими словами, «богатая Россия» будет значить «богатый русский народ». Эта идея дошла до сознания русских и захватила их воображение. Именно она вдохновляет людей трудиться с энтузиазмом и подъемом, чтобы добиться изобилия для всех. Именно она побуждает усталый от войны народ направлять самых здоровых и сильных своих сынов в новую, воодушевленную светлыми идеалами, хорошо обученную армию, чтобы защищать не только свои границы, но и весь новый рабочий строй, новую форму человеческого общежития.**

**Вот почему Ленин и его здравомыслящее коммунистическое правительство добиваются мира. Они полагают, что им удалось впервые в истории довести революцию до конца. Все другие революции прекращались, как только политическая борьба завершалась созданием демократического строя. Советская революция, пройдя политическую фазу, установила демократию и в области экономики: самоуправление на фабриках, в сельском хозяйстве... Они считают это основой своего строя и хотят совершенствовать его.**

**Русские говорят: мы знаем, что каждая страна должна развертывать революцию, исходя из собственных условий... Навязывать ее военными мерами — ненаучный, недемократический, несоциалистический метод... Мы отзовем наши войска, если вы выведете свои (сорок четыре года назад! — Э. У.), мы проведем демобилизацию. Организаторы и квалифицированные рабочие, находящиеся сейчас в армии, нужны нам на фабриках, в деревнях, в учреждениях. Мы с удовольствием вернем их к этой необходимой работе... если только вы отзовете своих солдат и прекратите оказывать моральную, финансовую и материальную поддержку нашим врагам и врагам наших идеалов. Пусть каждая из стран на наших границах выскажется сама по вопросу о форме правления и суверенитете...» (Разве не могли некоторые из этих мыслей быть написаны в 1963 году! — Э. У.).**

## Первая встреча с Лениным

Стеффенс лично знал многих мыслителей, философов, государственных деятелей, мастеров искусств. Но никто не произвел на него такого впечатления, как Ленин.

Свою первую большую статью о Ленине Стеффенс написал в 1919 году. Она не подтвердила бытовавшего тогда представления о коммунисте как о нетерпимом доктринере, догматичном тиране. Стеффенс восхищался Лениным как человеком чутким, терпимым, с чувством юмора, как революционером, который «учился у истории». Он обнаружил, что Ленин готов извлекать уроки из ошибок и заблуждений, увидел в нем человека, осознающего, что он делает историю и впервые в процессе развития человечества проверяет на практике свои новые идеи управления обществом. Он убедился, что Ленин готов признать, когда для этого есть основания, что дело разошлось со словом. Стеффенс не подходил к Ленину с меркой «книжного марксиста-догматика». Во время своей первой поездки в Россию в 1917 году он слышал, как вождь большевиков призывал к свержению Временного правительства, к передаче политической власти в руки большевиков.

Стеффенс описал этот эпизод в своей «Автобиографии»:

**«Ленин выступал с трибуны перед дворцом любовницы царя... Речь его была короткой, а голос таким негромким, что слышали его лишь немногие. Но когда он закончил, те, кто слышал, отошли, задние придвинулись вперед, оратор повторил свою речь, и вот так в течение часа или двух часов человек по имени Ленин обращался к постоянно менявшейся массе слушателей с уверенным, убедительным призывом».**

Первая поездка Стеффенса в Россию была недолгой, и он не стал свидетелем победы большевиков над Керенским. В следующий раз он увидел Ленина только в 1919 году, когда снова посетил Россию в составе миссии Буллита. Незадолго до отъезда Буллит устроил Стеффенсу интервью с Лениным. Позднее Стеффенс подробно описал эту встречу:

**«Когда меня пригласили в большую комнату, где в дальнем конце за своим рабочим столом сидел Ленин, я еще раз перебрал в уме вопросы, которые собирался задать. Он поднялся мне навстречу — спокойный человек в поношенном костюме — и, выйдя из-за стола, пожал мне руку. Я увидел перед собой открытое, пытливое лицо, прищуренный глаз, чуть ироничный, добродушно насмешливый. Я спросил, не могу ли я, в дополнение к соглашению с Буллитом, сообщить о некоторых гарантиях, о том, например, что в случае открытия границ русские пропагандисты не наводнят Европу.**

**— Нет,— сказал он резко, но, прислонившись к столу, тут же улыбнулся.— Видите ли, пропагандист — это пропагандист. Он должен пропагандировать. Когда наши пропагандисты революции одержали победу, увидели ее уже свершившейся, они не прекратили своей пропаганды... Точно так же ваши пропагандисты явятся сюда, если наши границы будут открыты, и займутся своей пропагандой...**

**— Какие заверения можете вы дать, что красный террор прекратится!..**

**— Кто требует таких заверений! — спросил он, гневно выпрямляясь**

**— Париж,—сказал я.**

**— Значит, те самые люди, которые только что убили в бесполезной войне семнадцать миллионов человек, теперь озабочены судьбой тысяч, убитых во время революции во имя осознанной цели — ради того, чтобы покончить с необходимостью войны... и вооруженного мира! — Секунду он стоял, глядя на меня гневными глазами, затем, успокоившись, сказал: — Впрочем, пусть. Не отрицайте террора. Не преуменьшайте ни одного из зол революции. Их нельзя избежать. На это надо рассчитывать заранее: если у нас революция, мы должны быть готовы оплачивать ее издержки».**

Особенное впечатление на Стеффенса во время этой беседы произвело признание Лениным того, что большевики допускали ошибки. И он

сравнил эту готовность признавать заблуждения с тем, как Вильсон старательно оправдывал каждый свой поступок. Ленин, извлекая урок из ошибок, продолжал идти вперед к своей цели, и Стеффенс сделал вывод, что Ленин «был штурманом, а Вильсон — простым матросом».

До конца своей жизни Стеффенс сохранил восторженное отношение к Ленину. Он почитал в нем «человека, выработавшего свой план социального переустройства и изучавшего историю прошлых революций, с тем чтобы избежать ошибок»; он восхищался прямотой Ленина, тем, что он «честно отдавал себе отчет в грубой, жестокой стороне революции». Стеффенс был убежден, что насилия, совершавшиеся во время русской революции, объяснялись сопротивлением старого режима, а не личными склонностями вождя революции Ленина.

Статья Стеффенса «Величайший из либералов» была впервые опубликована в журнале «Советская Россия сегодня» в январе 1936 года:

**«Я не ортодокс, вы знаете. Для меня Ленин не только величайший революционер, но также и величайший либерал. Он был — и, боюсь, остается — слишком либеральным для нашей эпохи... Бывший американский либерал, я вспоминаю, как однажды в Москве умолял коммунистических комиссаров избегать либерализма и проявлять присущую им твердость, пока опасность войны и контрреволюции не минет окончательно.**

**...Рис Вильямс весело рассказывал про собрание в Петрограде сразу после переворота: он свою речь начал с обычной американской шутки, и никто не засмеялся, кроме Ленина и нескольких человек в аудитории. Ответственные комиссары, на чьих плечах все еще покоился груз революции, не засмеялись; они хмурились и качали головой. Неподходящее время для шуток. Я лично склонен согласиться с этими целеустремленными натурами. Но я должен сообщить, что в те мрачные дни Ленин смеялся; он откинулся на спинку стула и громко засмеялся над шуткой американца.**

**Многие очевидцы писали, что летом 1917 года, когда все сторонники постепенного движения, все представители АФТ и дипломаты хотели быть «благоразумными» и жаждали компромисса «ради мира и хорошего правительства», Ленин выступил против них, против их аргументации и так называемого здравого смысла; он не хотел отказываться ни от одного, даже самого маленького из завоеваний революции. Он требовал для революции всего, что ей полагалось. Так что он был достаточно тверд и принципиален, как и подобает настоящему большевику. Он добился своего, получил все, что требовал; но Ленин умел и смеяться.**

**Для Ленина революция была радостью. Он работал для нее так долго и так много, что было нечто детское в том, как он приветствовал невозможное. Когда оно наступило, он ухватился за него обеими руками.**

**В разговоре со мной Ленин признал, что революционное правительство, членом которого он был, порой совершало ошибки...**

**Либерализм Ленина наилучшим образом иллюстрирует история Билла Шатова *, в прошлом функционера «Индустриальных рабочих мира», который участвовал в октябрьских событиях, а затем занимал ряд руководящих постов. Когда я встретился с ним в Петрограде, он обругал меня совершенно нецензурно, так что я имею право отплатить ему тем же. Он**

---

* Билл (Владимир) Шатов до русской революции — активист чикагского отделения синдикалистской организации «Индустриальные рабочие мира». Во время революции он вернулся в Россию. Несмотря на идеологические разногласия с большевиками, которые были противниками синдикализма, Шатов занимал руководящие посты, среди них — начальника милиции в Петрограде, руководителя банка и директора железнодорожной сети юга. Стеффенс сталкивался с Шатовым во время своей поездки в Россию в качестве члена миссии Буллита.

**был анархистом и года за два до описываемых событий был арестован, как анархист, и приговорен к смерти.**

**Ленин узнал о приговоре и решил спасти Билла, но, как обычно, весьма деликатно использовал свое влияние. Он не хотел на этом этапе показать себя либералом и не хотел выступать против представителей государственной власти. Он вызвал к себе судей, поговорил с ними о процессе, а затем в конце разговора, понизив голос, спросил:**

**— Разве Билл Шатов не был нам в свое время очень полезен!**

**Судьи с готовностью подтвердили, что он действительно был полезен — даже очень.**

**— И разве он все еще не полезен нам!**

**— Да, конечно.**

**— И возможно, он будет полезен делу революции и впредь!**

**Судьи согласились и с этим, хотя и не с прежней готовностью. Но отрицать этого было нельзя. Билл работал среди молодежи и комсомольцев и пользовался большой популярностью.**

**Ленин поднес палец к губам и заговорщически прошептал:**

**— Сказать вам, как я поступил бы при подобных обстоятельствах! Я отложил бы приведение приговора в исполнение до тех пор, пока Билл будет оставаться нужен нам.**

**Так и сделали».**

## В защиту новой России

После своих поездок в Советскую Россию Линкольн Стеффенс стал неутомимым пропагандистом нового общества. Он возвращался к этой теме по самым разным поводам. Объясняя явления американской действительности, опыт, почерпнутый им благодаря «разгребанию грязи», он для сравнения обращался к Ленину и русской революции. Рассуждая о революциях, он сравнивал Мексику с СССР. Говоря о политических лидерах — будь то Муссолини. социал-демократические или профсоюзные руководители Франции, Великобритании или Америки,— он противопоставлял им революционеров-большевиков. Он провел знаменитое сопоставление реформизма президента Вильсона и революционной практики Ленина. Впечатление, которое произвела на него Советская Россия. коренным образом изменило его мировоззрение, наложило на него неизгладимый отпечаток.

**«Россия... этот пионер плановой цивилизации и революции,— писал Линкольн Стеффенс,— на опыте доказала, что развитие человечества достигло той стадии, когда оно в состоянии осмыслить и использовать прошлое для того, чтобы формировать будущее. В короткой, напряженной борьбе русский народ сознательно избрал свой путь.**

**Нетрудно убедиться, что русские, так сказать, переделали дорогу и проложили ее в новом направлении. Они уничтожили все экономические привилегии, которые препятствуют проведению реформ у нас, и обнаружили, что такая расчистка устранила важнейшие препятствия на пути прогресса. Им не приходится бессмысленно уничтожать свиней и хлопок, когда они голодны и нуждаются в одежде,— они могут использовать все излишки, как товаров, так и рабочей силы. Они покончили с личной нищетой, с личным богатством; они могут избежать войны и сохранить мир; они могут искоренить коррупцию и преступления. Они могут развивать и использовать науку и изобретения. Они убедились, что им доступна любая цивилизация...»**

**«Либералы утверждают, что коммунисты не признают идею гражданских свобод, отрицают их и не осуществляют их на практике в Советской России. Это казалось мне нелепым... А я не могу объяснить им, почему я так уверен, что гражданские свободы составляют одну, только одну, но действительно одну из целей революции, и Советская Россия добилась их. Попробую еще раз.**

**Все народы всегда желали свободы. Некоторые из них — англичане, французы и американцы — боролись за нее и частично ее добились. Когда наша революция завоевала это сокровище, мы погребли его в нашей конституции, ибо мы, англо-американцы, верим в закон. И вот мы поместили нашу, с таким трудом завоеванную свободу в конституцию, воплотив ее в величественные слова, а сами занялись своим привычным делом: покупали и создавали привилегии, которые противопоказаны свободному государству. Они противопоказаны еще и потому, что привилегии — это преимущества. Обездоленные, видя преимущества привилегированных, стремятся тоже получить привилегии, а избранные, защищая свои привилегии, с помощью подкупов приобретают еще большую власть в государстве. Они называют свои привилегии «собственностью», а свое могущество — «законом и порядком», и полиция таким образом в первую очередь защищает привилегии и собственность, а не свободу слова и конституционные права простых, непривилегированных граждан.**

**...Коммунисты видят, что у закона есть основа, ставшая питательной почвой, на которой взросли социальные несправедливости нашего общества, и позволившая им пышно расцвести. Эта экономическая основа, которую они называют классовыми интересами, должна быть, по их мнению, уничтожена. Это означает классовую борьбу, борьбу класса против класса, пока совсем не станет классов и не исчезнет источник классовых интересов.**

**Теперь, когда революция в Советской России уничтожила или довершает уничтожение самой основы привилегий (всех классовых привилегий), азиатские народы обнаруживают, что они живут и растут на очищенной подпочве, благоприятной для создания всех тех благ, какие могут потребоваться цивилизованным людям. Пока еще они их не создали. Ленин как-то сказал мне, что для их создания потребуется «поколение или два, а то и больше». Но великим достижением является и то, что люди знают — перед ними открыты пути для дальнейшего развития, для любых идей, мыслей, трудов, которые полезны для всех. Пока еще, создавая эту основу, они могут пренебрегать абсолютной свободой. У них есть вся необходимая им свобода, и они не стремятся к абсолюту, который может быть осуществлен только тогда, когда они укрепятся настолько, что смогут вовсе отменить правительство».**

Стеффенс очень любил писать письма — он писал родным и друзьям обо всем, что ему приходилось видеть и переживать. В частности, он вел оживленную переписку со своей любимой сестрой Лаурой Стеффенс Саджетт, библиотекарем в Калифорнии. С ней он делился своими впечатлениями о Ленине и других русских руководителях. Он рассказывал ей обо всем, что видел во время своих трех поездок в Россию: в 1917 году, в 1919 году (с миссией Буллита) и в 1923 году — с сенатором Робертом Ла Фоллеттом и американским скульптором Джо Дэвидсоном, который создал в Москве скульптурные портреты ряда деятелей русской революции.

В своих письмах Стеффенс не раз упоминает об условиях, на которых большевики согласились бы заключить мир, и указывает, как страстно они стремятся к миру, чтобы получить возможность продолжать строительство нового общества. Он выступает с лекциями во многих городах Соединенных Штатов. частично по просьбе правительства,

которое надеялось узнать от Стеффенса о настроениях в советской стране.

Стеффенс писал Аллену Саджетту из Нью-Йорка 6 ноября 1917 года:

**«...Сейчас из России сюда вернулся Эрнст Пул, писатель, бывший социалист и прекрасный человек. Он побывал там после меня, видел то же, что и я. Но когда я спросил, намерен ли он описать свою поездку, он ответил: «Нет. Объяснять Россию Соединенным Штатам не нужно. Сейчас гораздо важнее дать правильное представление русским о Соединенных Штатах». И он сослался на плохое мнение русских о нас и нашей демократии. Он спросил, не хочу ли я помочь, не соглашусь ли я писать о нас для русских газет. Я сказал, что готов лисать, но не затем, чтобы переубеждать русских: ведь они совершенно правы.**

**— Напишете ли вы что-нибудь хорошее о Соединенных Штатах? — спросил он.**

**Я ответил отрицательно и добавил, что заставить русских переменить мнение о нас мы могли бы, перестав отвергать очевидные факты и смиренно признав, что нам еще нужно добиваться демократии и свободы. Короче говоря, что мы высоко оценили то, как русские сейчас работают над разрешением проблем, являющихся нашими проблемами и проблемами всего мира.**

**Бесполезно. Сейчас спрос на лжецов и клеветников».**

17 ноября он писал сестре Лауре:

**«Уже три дня нет непосредственных достоверных известий из Петрограда, но, по слухам, победа осталась за большевиками или во всяком случае за Советами рабочих и солдатских депутатов: они на высоте положения. Это раздражает союзников, но это хорошая новость для России. Они не попятились, они продолжают начатое».**

А 30 декабря 1917 года — зятю.

**«...Мой друг (полковник Э. М. Хауз.— Э. У.) попросил меня изложить (для президента Вильсона) суть моего протеста против того, что мы упорно неправильно оцениваем режим и политику русских большевиков. Я сделаю это очень охотно. Ты услышишь мою лекцию в Сан-Франциско. Это чистый большевизм — наука и техника революции. Мое выступление шокирует всех слушателей, даже радикалов, но производит эффект. Его слушают, и с неослабевающим вниманием. Вопросы показывают, что наиболее важные моменты аудитория понимает правильно. Русские говорят, что лекция построена здраво, ортодоксально, правильно. Людвиг Мартенс (представитель Советской России в Соединенных Штатах) сказал мне на днях, что мне следует снова поехать в Москву в будущем году...**

**Он обещает быть интересным, этот 1918 год».**

Стеффенс всегда стремился объяснить людям, что в действительности совершается в мире, и 5 января 1918 года писал другой своей сестре, г-же Д. Джеймс Холлистер, жене крупного землевладельца в Калифорнии, менее искушенной в политике:

**«...Мы, американцы, неправильно понимаем русских... Беда в том, что мы чересчур уверены в правильности ложных представлений, и теперь на мировой политической арене мы наверняка будем неправильно истолковывать любые возникающие кризисы и окажемся не в состоянии понять другие народы. А это означает новые войны, и, значит, все больше наших юношей будет идти в солдаты, все больше будет расти образованное невежество и необразованная бедность».**

Он был захвачен событиями мировой истории, развертывавшимися перед его глазами, и записывал все свои наблюдения.

В письме Аллену Саджетту от 8 февраля 1918 года Стеффенс писал:

**«...Все больше и больше данных свидетельствует о том, что этот кризис рвет путы лжи нашей умирающей цивилизации».**

Все это время Стеффенс переписывался с Джоном Ридом. Так, в конце первой мировой войны, 17 июня 1918 года, он писал ему:

**«...Обманщики и консерваторы знают, чего они хотят. Вот кто теперь подлинные предатели... Но как раз это и должно вызвать протест и трудности для них же. Я надеялся, что за войной последует разумный прогресс, но реакционеры не допускают этого. Они показывают, во что ставят закон и порядок, конституцию и право. Никому не нужные клочки бумаги!»**

Позже, 10 октября 1918 года, он писал г-же Джеймс Холлистер:

**«...Мир ведет войну в вертикальном направлении, но действительное разделение пролегает по горизонтали... Это — классовая война, и такой она предстанет на мирной конференции».**

Стеффенс отправился на мирную конференцию, хотя ни одна газета не согласилась послать его туда как своего корреспондента из-за его репутации радикала и прогрессивной деятельности.

1 ноября 1918 года в своем письме Лауре Стеффенс он писал:

**«У большевиков слово не расходится с делом. То, что они говорят, они делают — делают, забывая о мягкости, но делают».**

Именно это, по-моему, больше всего восхищало Стеффенса: сам он все же не был целиком человеком действия, но тем больше он ценил людей действия.

## «Я видел будущее...»

В феврале 1919 года Стеффенс отправился в Советскую Республику с миссией Буллита. По возвращении из своей трехнедельной поездки Стеффенс писал родным 24 марта 1919 года:

**«Мы видели всех тех, кто стоит там у власти... Имели с ними продолжительные беседы, наблюдали положение народа и страны. Это было словно путешествие в будущее... Я видел будущее: оно — живая явь...»**

Эти слова, многократно им повторенные, стали крылатыми.

Стеффенс не думал, что общество, о котором он мечтал, может быть построено только методами Ленина, но их он считал одними из возможных. Стеффенс был рад тому, что социализм воплощается на практике. Он знал, что на Парижской мирной конференции не удалось достичь прочного мира.

**«Это не важно,— писал он тогда,— эта проблема будет разрешена. Теперь настал черед других, свежих людей новой культуры. Их головы, в отличие от голов участников Парижской конференции, не засорены всяким хламом». И он добавил: «Ленин в Москве уже давно предсказал все основные повороты хода конференции. И обосновал их. Короче говоря, он видел, какие силы движут Вильсоном и К°».**

**«...Меня попросили подготовить сообщение о политическом положении России, и я был чрезвычайно этому рад. И я его подготовил...— писал Стеффенс Марии Хоу 3 апреля 1919 года.— Лично нам, двум, ездившим в Петроград и Москву, запрещено выступать.**

**ЛЕНИН НА ТРИБУНЕ II КОНГРЕССА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА**

Документальный кинокадр оператора *Э. Тиссэ* (вверху)

Рисунок художника *Г. Верейского* (внизу)

*(«Неопубликованные страницы Ленинианы». См. на обороте.)*

# НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТРАНИЦЫ ЛЕНИНИАНЫ

19 июля 1920 года в Петрограде, в зале заседаний Таврического дворца начал свою работу II Конгресс Коммунистического Интернационала, на котором с большой программной речью выступил Владимир Ильич Ленин. Время сохранило фотографию, воспроизводимую нами здесь с документального кадра, снятого в тот день известным советским кинооператором Эдуардом Тиссэ. Снимок этот передает волнующую атмосферу международного форума революционеров, прибывших в Советскую Россию со всех концов земли.

На конгрессе работали и художники, приглашенные для натурных зарисовок делегатов. Среди них был и видный советский график Г. Верейский, которому дважды довелось видеть Владимира Ильича. В первый раз — летом 1917 года на заседании I Всероссийского съезда Советов. Вторично художник получил возможность увидеть В. И. Ленина во время его речи на заседании II Конгресса Коминтерна: «Я стоял в проходе недалеко от кафедры, в большой тесноте. И старался схватить черты говорящего Ленина, ловя те моменты, когда его лицо попадало в положение, намеченное у меня с самого начала. Это было трудно, так как Владимир Ильич во время своей речи проявлял резкую подвижность. Еще труднее было с моего места, все-таки отдаленного для созидания портрета, разглядеть отдельные черты лица Ленина, все время менявшего свое выражение. Глаза Ленина,— вспоминает художник,— на этот раз особенно врезались в память и остались для меня главной чертой, которая прежде всего встает в моем воспоминании, когда я думаю о том замечательном образе человека, полного величия и простоты, который мне удалось навсегда запечатлеть в себе».

К сожалению, сделанный тогда набросок художнику не удался. Отдавая карандашный рисунок в печать, автор навел карандашные штрихи тушью, чем, по его собственному признанию, ухудшил рисунок, лишив его портретного сходства. Исходя из первоначального наброска, сделанного с натуры, художник вскоре выполнил публикуемый здесь портрет Ленина на трибуне. Портрет находится в Музее революции СССР.

***С. Бурдянский***

**...Мы пробыли там очень недолго, но непрерывно что-то узнавали. Это было словно путешествие в будущее. То, что у них есть, когда-нибудь появится и в других местах. И все, к чему мы привыкли, в России меняется. Разумеется, мы были привилегированными гостями. Мы видели всех, кого хотели увидеть, узнали все, что можно было узнать об их борьбе, ее тяготах, об ошибках и надеждах. Я беседовал с Лениным и всеми другими... чьи имена вы слышали. Я нашел там старых знакомых. Оказалось, что меня там знают достаточно хорошо, чтобы откровенно рассказывать мне о своих ошибках, промахах, как они им представляются.**

**Положение в России значительно лучше, чем я ожидал. Русские голодают, питаются один раз в день, но они все равны в своей бедности, и народ это знает. Ленин получает столько же, сколько любой другой ценный работник. И хотя в стране свирепствуют тиф, оспа и другие болезни, они не отступают, терпят и холод и нищету. Интервенция и угроза ее сплотили их. Они говорят, что, поскольку покончили с классами, сословиями и интересами, наличие которых в других странах приводит к развращению правительства и к злоупотреблению властью, им не грозит возникновение тирании в нашем понимании этого слова. Они хотят мира и просят его на условиях, которые лучше любых их заверений доказывают, что им абсолютно чужд империализм, абсолютно.**

**А видели бы вы, какое значение они придают искусству и как поддерживают его деятелей!»**

Затем перед Стеффенсом встала нелегкая задача заставить кое-кого из тех, кто проникся духом Парижа, хотя бы отчасти увидеть Россию его глазами. Герберт Гувер пригласил Стеффенса на обед.

**«...Гувер пожелал узнать о России из первых рук,— писал Стеффенс сестре из Парижа по поводу этой встречи— Поскольку Буллит и я взяли на себя обязанность рассказывать официальным представителям всех стран о том, какой мы видели Россию, и всячески способствовать принятию предложений мира, привезенных нами, я согласился встретиться с ним...**

**До сих пор не знаю, зачем я ему понадобился... Но вначале все пошло скверно. Мы не были прежде знакомы, и, по-видимому, у него было против меня предубеждение — или против большевиков. Он держался отнюдь не дружелюбно. Он задавал нелепые и сердитые вопросы, и несколько минут я с некоторым недоумением терпеливо отвечал на них. Затем он рявкнул: «Ну, а могут эти коммунисты воплотить свою дурацкую систему в жизнь!» Ньютон Бэйкер (военный министр в правительстве Гувера.— Э. У.) встревоженно взглянул на меня — я действительно был зол, но сдержался. Я сказал, что пришел сюда не заниматься пророчествами, а излагать факты. Но если он желает заглянуть вперед, в неведомое, мне хотелось бы получить критерий того, что можно считать «воплощением в жизнь.» И я обрушил на него следующий вопрос: «Предположим, спустя два или три столетия после установления коммунистической системы вспыхнет мировая война, в которой погибнет двенадцать миллионов человек, затем состоится мирная конференция, такая же беспомощная, корыстная и воинственная, как нынешняя, в этом случае вы тоже скажете, что большевизм воплотился в жизнь!» Он, казалось, принял это полностью, и после этого мы хорошо поговорили обо всем и даже согласились работать вместе ради того же, ради чего работаем мы с Буллитом...**

**...У меня созревает идея книги: конец эпохи. Это конец, а не начало. Но одновременно возникает что-то новое — и это новое я видел и хочу увидеть еще раз... Если мы потерпим неудачу, то в Париже, а не в России. Там разум и здравый смысл. Здесь же сознание своей непогрешимости и несбыточные устремления, не прогерманские, а по своему духу просто откровенно германские — империалистические».**

Когда миссия Буллита вернулась в Париж из России, за Линкольном Стеффенсом была установлена настоящая слежка. Это его забавляло, и он утверждал, что мог бы рассказать приставленным к нему шпикам куда больше, чем им удалось разузнать самим.

**«...Власти здесь делают все, что им нравится,— писал он по этому поводу из Парижа.— За мной тщательно следят. Сыщики ходят за мной по пятам, и я видел их сообщения о том, где я бываю. Это идиотизм... Находятся люди, предпочитающие получать сведения от сыщиков и любящие читать частные письма. И тут ничем помочь нельзя. Никто больше не имеет никаких прав...»**

После окончания мирной конференции Стеффенс отправился в путешествие по Европе. Особенно его интересовала Германия, поскольку там могла вспыхнуть революция.

Приехав в Берлин, он писал оттуда Э. А. Файлину:

**«...Я вижу, как движется мир под воздействием описанных Марксом сил... Как вы помните, Ленин лучше самих делегатов мирной конференции понимал, что они сделали и чего не сделали. Это попросту означает, что в мире существует другая культура, кроме той безнравственной, именующейся нравственной, культуры, о которой лепечут ваши бизнесмены и государственные деятели, прежде чем растоптать ее сапогами своих армий».**

Стеффенс продолжал изучать послевоенную Европу в свете того, что он узнал в России:

**«...Россия победила державы в войне,— читаем мы в письме Аллену Саджетту из Парижа 23 декабря 1919 года.— У нее под ружьем большая, дисциплинированная армия, и, если ей удастся пережить экономические трудности нынешней зимы, весной она будет готова воевать. Она этого не хочет, но если придется, то будет сражаться. Балканские государства знают это и не верят Деникину, Колчаку и Юденичу — русским агентам союзников, как и самим союзникам. Возможно, они заключат мир с большевиками, сражаться с ними они не могут. Их собственные народы сами настолько проникнуты духом большевизма, что не потерпят этого. А это и есть революция в действии...»**

В сентябре 1923 года Стеффенс в последний раз приехал в Советскую Россию. Из Москвы он писал другу:

**«...Самое главное то, что большевики не уступили ни в чем. Они продолжают свой курс так же, как и начали его, и намереваются довести его до конца. Это первая хорошая новость. А вторая заключается в том, что их политика оказалась вполне жизнеспособной. Условия улучшились просто сказочным образом, и государственная машина постепенно выбирается из ямы войны и голода... Все, что я говорил о них, верно, по-прежнему остается верным...**

**Нас приняли здесь хорошо, поместили в лучшем доме, отведенном для гостей,— бывшем дворце сахарного короля, вроде того, который был предоставлен миссии Буллита. Я нашел множество друзей, Джо [Дэвидсон] начинает работу с портрета Луначарского, возглавляющего просвещение...»**

Тем же настроением проникнуто письмо к сестре из Парижа, написанное через три недели, 1 октября 1923 года:

**«В мире действительно возникло нечто новое. В России есть сильное, умное правительство, подчинившее себе и намеревающееся контролировать экономические факторы, которые в других странах, напротив, подчиняют себе и контролируют все другие правительства мира.**

**Россия сильна. Большевики не отступили, не уступили ни в чем и не собираются сдаваться. Они отчетливо понимают, чего достигли и с чем им придется бороться, знают, чего им стоило удержаться и чего это будет стоить. Они уверены, что победят и будут бороться до конца.**

**...Мы провели в Петрограде три дня, и официальные лица, мои друзья, сопровождавшие нас, показали нам, как это было и в Москве, все — и хорошее и плохое. А они знают, что плохо. Правительство России единственное из тех, с какими мне приходилось иметь дело, которое не лжет само себе и готово показывать вам все темные стороны. Не лжет оно и вам.**

**Но я увидел там воскресший город. В 1919 году я видел его мертвым, в 1923 году он оживал. Это было подлинное воскресение».**

**«...В России новая система растет со всей силой и мужеством юности, надежды и свежего взгляда на жизнь,— писал Стеффенс Фримонту Олдеру, редактору «Кол-бюллетин» в Сан-Франциско 5 октября 1923 года.— Я абсолютно убежден в жизненной энергии России. Они не сдались и не сдадутся, эти два поколения. Они не только разбили своих врагов, они победили в гражданской войне, в войнах с другими странами, в дипломатии. Они привлекли на свою сторону крестьян, дали работу рабочим, добились такого увеличения посевов, что покончили с угрозой голода. У них будет зерно для экспорта. У них теперь есть деньги, чтобы ремонтировать, красить, приводить в порядок и строить. И они это знают.**

**Москва живет бурной жизнью. Россия начинает жить и улыбаться. Но самый верный маяк ее будущего — это молодежь, юноши и девушки от шестнадцати до двадцати восьми лет.**

**Россия доказала, что человеческую природу возможно изменить на протяжении жизни одного лишь поколения — нет, даже за шесть лет.**

**Вы спрашиваете, удержат ли они все это,— я отвечу вам, что они оградили своих детей от той обстановки поклонения собственности и жажды наживы, которая у нас портит наших детей и превращает их в дельцов. Их дети презирают дельцов. На улице они безжалостно показывают на них пальцем и смеются. Служба ради наживы — это позор, а служение государству во имя коммунизма — слава, особенно когда речь идет о строительстве предприятия для выпуска какой-либо полезной продукции. Я считаю, что дети России являются гарантией ее прекрасного будущего. Какие же у них будут школы, армия, заводы через два или три поколения! Дайте новому порядку несколько столетий, и он, я верю, создаст общество, самый рядовой член которого будет по своему благородству равен лучшим людям нашего времени. И вы не станете спорить, что лучшие люди являются живым доказательством человеческих возможностей...**

**Покинув Россию с подобными мыслями, помня об этих фактах, я увидел Польшу и Вену, их жителей, их детей — и они напомнили мне Германию. Нет. О мире можно не беспокоиться. Прогнившее прошлое отмирает, новое настоящее уже смело идет ему на смену, ему еще придется воевать, но мы видели Красную Армию. Новое победит».**

Линкольн Стеффенс верил в это до конца своей жизни, он говорил и писал об этом; невзирая на жертвы и неудачи, временные трудности и отступления, новое победит: социалистический мир возник, чтобы утвердиться навсегда.

***Элла Уинтер***

# Международный форум рассказа

## «КАКОЙ РАССКАЗ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛСЯ?»

Рассказ или новелла — вечнозеленый жанр мировой литературы, один из самых емких, гибких литературных жанров, отражающих современность. Не удивительно, что рассказ широко распространен не только в тех странах, где само существование национальной литературы исчисляется столетиями и даже тысячелетиями. Именно с появления рассказа нередко начинает свой большой путь и молодая литература тех стран, которые в нелегкой борьбе только сейчас завоевали свою независимость.

Все сказанное в немалой степени объясняет, почему наша редакция, стремясь отразить возможно более полно сегодняшний день зарубежной литературы, решила провести на своих страницах «Международный форум рассказа». С этой целью она адресовала многим писателям и критикам различных стран мира вопрос:

***«Какой рассказ вам больше всего запомнился в 1963 году?»***

Ряд писателей и критиков откликнулся на эту нашу просьбу, прислав нам рассказы и снабдив их своей краткой рекомендацией, характеризующей автора.

Открывая «Международный форум рассказа», мы намерены помещать его периодически на протяжении 1964 года. В этом номере выступают:

●

**Алан Силлитоу** *(Англия)*

Представляет

Джек Линдсей

●

**Ивайло Петров** *(Болгария)*

Представляет

Тодор Монов

●

**Андре Стиль** *(Франция)*

Представляет

Андре Вюрмсер

●

**Лючио Мастронарди**

*(Италия)*

Представляет

Витторио Страда

●

**Уго Э. Педемонте**

*(Уругвай)*

Представляет

Альфредо Гравина

●

**Кришан Чандар** *(Индия)*

Представляет

Ходжа Ахмад Аббас

АЛАН СИЛЛИТОУ

# Волшебный ящик

*Среди молодых писателей самым интересным считается у нас в Англии Алан Силлитоу, который внес в нашу литературу свежую струю своими романами и рассказами о жизни английского рабочего класса.*

*Алан Силлитоу родился в 1928 году в Ноттингеме. «Мой отец, — рассказывал он мне, — работал на заводе, когда ему удавалось получить работу. Я бросил школу в четырнадцать лет и до восемнадцати сам работал — сначала на велосипедном заводе, потом в фанерочной мастерской, потом фрезеровщиком на револьверном станке».*

*Призванный в армию вскоре после войны, Силлитоу провел полтора года в Малайе — был радистом в частях английских военно-воздушных сил. «Там у меня открылся туберкулезный процесс, я слег в госпиталь еще на полтора года и за это время много всего прочитал и начал писать».*

*В дальнейшем Силлитоу женился на американке и следующие шесть лет провел во Франции и Испании, живя более чем скромно. На Майорке ему пришлось заняться преподаванием английского языка ради заработка, и там же он приступил к работе над романом «В субботу вечером и в воскресенье утром».*

*В эту вещь Силлитоу вложил то негодование, которое вызывал у него уклад жизни, силой обстоятельств навязанный рабочим Ноттингема, и наделил своего героя яростным, стихийным чувством отвращения ко всему, что его окружает, показал, как он постепенно обретает политическую зрелость.*

*В 1958 году, когда роман был принят к печатанию, Силлитоу смог вернуться в Англию — через десять лет после того, как он начал писать. Ему было тогда тридцать лет.*

*Теперь Силлитоу живет в Лондоне, но продолжает много путешествовать. У него вышли два сборника рассказов: «Оди-*

*нокий бегун», «Дочь старьевщика» и три романа: «В субботу вечером и в воскресенье утром», «Генерал» и «Ключ от двери».*

*Роман «В субботу вечером» и повесть «Одинокий бегун» были экранизированы, и оба фильма прошли у нас с большим успехом.*

*Силлитоу сказал мне, что закончил работу над книгой о своей поездке в Советский Союз под названием «Путь к Волгограду» и готовит к сдаче сборник стихов «Когда нас разлюбят». Кроме того, он пишет четвертый роман и собирается приступить к переводу «Овечьего источника» Лопе де Вега для Национального театра. В этой работе примет участие и его жена Руфь, которая пишет стихи и печатается под своей девичьей фамилией Фенлайт.*

*«Дочь старьевщика» несомненно лучший сборник рассказов, вышедших в Англии в 1963 году. В нем наиболее ярко обозначились характернейшие черты Силлитоу как писателя — прямота, сила и четкость, с какой он показывает жизнь нашего рабочего на разных этапах его политического становления.*

*Лучшая вещь в сборнике — «Волшебный ящик». Это рассказ о молодой супружеской чете, о разладе в их жизни, наступившем после смерти их маленького сына, о трагическом неуменье найти путь друг к другу и разделить общее горе и о том, как они, вопреки всему этому, преодолевают свою разобщенность.*

*Социальные силы, которые создают пропасть между близкими людьми и обрекают их на одиночество, не названы в этом рассказе, но они — подоплека всего.*

*«Волшебный ящик» полон теплоты, сочувствия и понимания жизненных задач, стоящих перед рабочим классом нашей теперешней Англии.*

***Джек Линдсей***

# I

Фред подошел к садовой скамейке.

Хотя время давно перевалило за одиннадцать, он не отметился на заводе и отмечаться не собирался. Есть на свете кое-что, ради чего стоило бы работать, но в то утро голова его была полна такими мыслями, за которые повесить было бы не жалко, если б виселица могла принести какую-то пользу.

Он сел, надорвал одну за другой целлофановые обертки и извлек из них два пирожка со свининой. Потом, полузакрыв глаза (как будто нёбо у него помещалось под веками, а не во рту), надкусил первый пирожок: начинка была ничего, зато тесто отвратительное. Когда скомканный пакетик угодил в тюремный застенок мусорной корзины, он уставился на искусственный пруд и садовую ограду, не переставая жевать и прислушиваясь к томительному скрежету машин, заглатывающих крутой подъем за решеткой ботанического сада.

По утрам было хуже всего. Он не любил ложиться спать, а утреннее вставание претило ему еще больше; впрочем, поскольку оба эти действия необходимы для того, чтобы жить и работать, предпочтительнее все-таки вставать — но только одному. Бог ее знает, эту Нэн, почему она вдруг поднялась сегодня утром вместе с ним? Казалось бы, поднялась — и

ладно, но это, наравне с остальным, послужило причиной скандала, который разразился у них по ее вине. За шесть лет супружеской жизни он убедился, что препирательства за завтраком неизменно ведут к взрыву. Препираться лучше вечером (если выбор зависит от тебя), так как рано или поздно все равно пойдешь спать.

Прогулять полдня по ряду причин, конечно, очень приятно, но такую вещь от Нэн не скроешь, потому что каждую пятницу его конверт с получкой попадал к ней в руки. Это не значило, что она всюду совала свой нос, просто при ее уменье экономно вести хозяйство ей требовался отчет в каждом шиллинге, в каждом пенсе. Если бы об этом узнали на заводе, рабочие подняли бы его на смех, хотя у многих из них, наверно, тоже так заведено. Да откуда им узнать? Не подкатит же Нэн к заводу на машине с громкоговорителем и не заявит об этом всему честному народу! Ведь ему сколько раз приходилось от нее слышать: «Мое дело покупки и уборка, а поджидать тебя у ворот твоего поганого заводишка я не намерена. В пятницу пойдем в кино, займешь мне место в очереди, там и встретимся».

Оставалась только одна надежда: когда-нибудь Нэн все-таки поймет, что плохих мужей много, а ей достался хороший и нечего такого терзать и всячески помыкать им. Но она ненавидела его завод, точно в отместку за то, что он женился на ней, и не только женился, а вскоре после женитьбы потребовал, чтобы его жена бросила работу. Он настоял на этом из любви к ней, думая, что она ждет его настояний и видит в них доказательство такого чувства, на какое он даже не был способен. Не каждому дано так любить женщину, чтобы понять это. Но с тех пор как позолота с их отношений сошла, Нэн не могла простить себе уход с работы и то и дело намекала, что если бы не ушла, то теперь дослужилась бы до начальника цеха. Она уступила его настояниям, чтобы доказать, что ее любовь безмерна, а он по своей нечуткости и эгоизму воспользовался этим.

— Ну, хорошо.— Лишь бы в доме был мир.— Пойди и попросись обратно, если уж тебе так хочется. Я не обучен в мыслях читать.

Тут дело приняло еще более острый оборот, чего, собственно, следовало ожидать; но на то, чтобы сесть и сидеть молча или, насвистывая, выйти из дому, ума у него не хватило.

— Как бы не так! — крикнула она.— Что же, прикажешь начинать с самого начала, у станка? Послушалась я тебя, дура, наплевала на хорошее место! На прежнюю должность меня теперь не возьмут.

Он и сам не знал, с чего все началось сегодня утром. Ей, наверно, тоже невдомек. Хотелось бы думать, что она все еще под впечатлением их ссоры, но вряд ли. Как только дверь за ним закрылась, наверно, швырнула на пол чашку, из которой он пил, а сейчас — на последний доллар готов поспорить — бегает по магазинам и ха-ха-ха с другими женщинами, будто ничего и не было.

Погода стояла такая хорошая, что можно бы забыть о своих неприятностях. Осеннее солнце пригревало зеленые лужайки сада, среди таких сочных с виду стебельков травы сновали муравьи и букашки. Птицы клевали его недоеденный пирожок, мелькая в проволочных ромбиках мусорной корзины, точно это были ожившие рисунки пером. К их пиршеству присоединились два голубя, огромные по сравнению с мелкими дроздами, но настроенные мирно. Голуби и дрозды, видимо, не чувствовали никакой разницы между собой, и то, что все они набросились на один и тот же кусок, подчеркивало не различие, а сходство между ними.

Он выкурил сигарету. Мимо прошел молодой человек с гладко зализанной пергидрольной блондинкой в черном макинтоше, у которой был такой вид, будто за последний месяц ей ни разу не удалось поесть досыта. Она злобно говорила:

— Попадись он мне на глаза, подонок, я с него шкуру спущу! — Говорила с такой яростью и угрозой в голосе, что Фред пожалел того, к кому ее слова относились. «Весь мир как на дрожжах всходит на злобе,— подумал он,— но я не такой, и в жизни тоже не всегда так бывает. Счастье — беды. Точно качели на детской площадке — то так, то эдак. Хотя нам-то беды выдали двойную порцию, вспоминать тошно, в бога душу! А когда малость повезло, так мороки не оберешься — самим дороже». Он вернулся мысленно на год назад, когда в начале футбольного сезона им вдруг прислали чек на двести пятьдесят фунтов, а через несколько часов его физиономия (и ее тоже) скалила зубы с газетной страницы. Нэн так радовалась, что ему даже в голову не пришло напомнить ей, как она, бывало, грозилась сжечь эти дурацкие футбольные купоны, на которые он ухлопывал столько времени и денег. Они купили тогда дюжину пива и целое блюдо кровяной колбасы и одаривали этой манной небесной всех, кто из добрых чувств или позарившись на угощенье заходил к ним в тот день. Корреспондент «Пост» спросил:

— Как вы думаете распорядиться своим выигрышем?

Фреда удивляло, из-за чего такой тарарам, когда его разбирает досада, что он не выиграл по трем показателям и не сорвал куш в сто тысяч. Двести пятьдесят монет — это же чепуха! И только Нэн собралась накрутить репортеру чего-нибудь поинтереснее, как Фред перебил ее:

— Да, наверно, поделим пополам и пустим на мелкие расходы.— И его ответ не преминули тиснуть в дневном выпуске **(Выигрыш по лотерейному купону: на мелкие расходы супругам из Ноттингема),** да такими крупными буквами и на таком видном месте, что хоть у Нэн и хватило духа прикрикнуть на Фреда: «Кто тебя за язык тянул!» — все же она не посмела требовать другого применения деньгам, боясь поступить наперекор жирному шрифту газеты, которую, насколько ей было известно, прочитали все.

Для того чтобы одним махом истратить сотню фунтов, надо быть человеком отважным, а Фред был из тех, кто даже при наличии отваги на безоглядные действия не способен. Тем не менее ему попадались в магазинах кое-какие вещи, которые стоило бы купить, чего пока что нельзя было сказать о Нэн. Бродя по городу, Фред увидел однажды глазевший на него сквозь зеркальное стекло магазинной витрины всеволновый армейский радиоприемник — точно такой же, на каком он работал, когда тянул лямку в войсках связи в Египте. Приемник стоял там не один месяц — должно быть, слишком был дорогой и потому не мог дождаться, чтобы кто-нибудь появился у прилавка со словами: «Я его беру». Фред без всякой спешки разжигал в себе мужество, готовясь пройти в магазине мимо этого великолепия из радиоламп, ключа морзе и шкал, подозвать продавца и в паузу между двумя гулкими ударами сердца показать пальцем на витрину.

Он подолгу простаивал у этой витрины после работы, не сводя завороженного взгляда с волшебного черного ящика, и наконец его долгие регулярные отлучки навели Нэн на мысль, что ее муж подцепил какую-нибудь фифочку на заводе. Так она ему и сказала в один прекрасный день, когда он вернулся домой раздраженный и в то же время какой-то робкий. У него все еще не хватало духа переступить порог магазина и купить радио, и, чувствуя свое полное ничтожество, он подошел к Нэн и поцеловал ее.

— Здравствуй, мой ангел. Ну, как ты сегодня?

Она отвернулась от него. На буфетной полке лежала стопка книг из библиотеки.

— Что это с тобой? Понадобилось что-нибудь?

— Ничего не понадобилось.

— Вот и прекрасно. И не лезь, пожалуйста, лучше скажи, где тебя носит и какие там у тебя дела по субботам.

Вот что, значит, в ней накипело за последнее время, и это было настолько далеко от всех его помыслов, что он ничего другого не нашелся ответить, как:

— Я был в городе, ходил по магазинам.

Нэн задернула занавески и стала накрывать на стол, а Фред уселся в кресло у камина, следя за каждым ее движением. Она изменилась за последние год-два — лицо стало строже, видно, нелегко ей далась схватка с жизнью, с того дня как утонул Айвор. Но и в тридцать лет она все еще недурна собой, даже хорошенькая — мелкие правильные черты, гладкая кожа. Овал лица приятной округлости, взгляд спокойный, открытый — когда ее ничто не тревожит, не мучает. Он улыбнулся, глядя, как она достает посуду из буфета: «Может быть, самое хорошее у нас еще впереди? Придумала тоже, будто я способен заглядеться на другую женщину! Столько мы с ней пережили вдвоем, и самое тяжкое — это страшная смерть Айвора. Обвиняет меня, будто по моей вине Айвор свалился в канал, потянувшись за головастиками. Что может быть хуже этого? Только то, что она и себя винит, я знаю, что винит, хотя с тех пор прошло три года и это был несчастный случай. Подумать только! Мы платили той дурище по полкроны за каждую прогулку с ребенком, и она не уследила за ним. Когда мне сказали, что случилось, я прежде всего подумал: «Вот стервец! Ну, подожди! Получишь ты у меня!» Тогда просто не верилось, что такое может быть, а теперь поверил... и то не до конца».

— Ходишь по магазинам, присматриваешься, как истратить свой выигрыш? — спросила она более мирным тоном, передавая ему чашку. Они поженились, когда он получил отпуск по демобилизации в сорок шестом году, а за пять лет до этого была только одна неделя вместе, которую они всю процеловались, потом четыреста писем, где путем бесконечных перестановок слагаемых между ними шел обмен всеми приметами самой что ни на есть заурядной романтической любви. Расстояние только согревало влюбленных, поговорку «С глаз долой—из сердца вон» поборола (впридачу к письмам) пересылка фотографий, сохранявших Фреда и Нэн друг для друга. После первых трех месяцев разлуки казалось, будто они уже поженились, к концу первого года — будто им просто пришлось прервать свой медовый месяц в Мэтлоке, а на четвертом году все вошло в привычную колею супружеской жизни. Письма были о жилье, о детях, о работе, а в тот день, когда при выходе из церкви они впервые снялись вместе, у Фреда — у него-то во всяком случае — было такое чувство, будто их только-только начинающееся супружество — это четкий черно-белый позитив, полученный взамен тонкого, как папиросная бумага, негатива минувших лет.

Нэн все это представлялось в несколько ином свете, она нашла нужным провести резкую грань между заочным курсом наук, основанном на переписке, и своим теперешним положением хозяйки дома и, вернувшись из недельной поездки в Мэтлок, со знанием дела, не в пример Фреду, взялась за устройство их жизни. Беготня по магазинам в утренние туманно-промозглые часы декабря и возвращение домой к потухшему камину давали молоденькой, бледной, озабоченной Нэн куда более ясное представление о действительности, чем Фреду его ежедневная гонка в заводскую темницу, где не умолкал горячий гул машин и где товарищи все еще подтрунивали над ним, молодоженом. Войну Нэн провела в холодном, суровом климате, а Фред, обреченный на монашеский образ жизни в армии, сидел все эти годы у радиоприемников, задумчиво покручивая шкалы и ручки настройки. Очарованный долиной Нила, он съездил с товарищами к Хеопсовой пирамиде, и любительский снимок запечатлел его

худое юное лицо, несколько неуверенно глянувшее с высоты верблюжьего горба на Нэн. И она, хоть и измученная воздушными налетами и доставаньем продуктов по карточкам, все же смогла оценить его похождения в дикой пустыне, предвидя, что такая самостоятельность сулит им много хорошего, когда они поженятся.

Жаловаться ей особенно не приходилось. По правде сказать, во время ее беременности Фред был просто золото — так она говорила матери. А когда появился Айвор, стало еще лучше, поэтому теперь особенно заметно, как между ними все разладилось, а пожаловаться вроде бы и не на что, и это его вина, если такое положение ведет к бессмысленным ссорам, которые он объясняет ее вспыльчивостью и ее же винит в них.

— Ты все спрашиваешь, что я куплю на футбольные деньги,— сказал он,— а сама от своей доли не отделалась. Не решилась еще?

В ответах на такие вопросы яда не чувствовалось, потому что деньги стали теперь единственной темой, обсуждение которой не нарушало их неустойчивого душевного равновесия. Нэн подняла голову от газеты:

— А я не очень-то над этим задумываюсь, но как-нибудь на днях решусь.

Водяная курочка спустилась с берега в пруд и так ровно заскользила по воде, точно какой-то мальчишка-невидимка тянул ее с противоположной стороны за веревочку. Головка с пуговкой глаза и желтым клювом казалась совершенством покоя и горделивости, а иссиня-зеленые перья хвоста можно было сравнить только с огоньками, перебегающими по серой поверхности костра, притворившегося погасшим, мертвым. На солнышке было так приятно, и он решил не ходить на работу до обеда, даже если из-за этого у них с Нэн опять разыграется скандал. Грохот цеха исковеркает его мысли, станок вцепится в него, как клещами, и по-бульдожьи рванет назад — зарабатывай на жизнь себе, Нэн, а может, и будущему ребенку. И сейчас, в нечаянном солнечном тепле об этом не хотелось и думать, так же как и о том, чтобы вернуться домой к Нэн после их отвратительной, бесцельной ссоры сегодня утром.

Такое случилось впервые, и это грызло его, потому что он вовсе не собирался швырять ее на диван. Рука сама собой оторвалась от теплого бочка чашки, и, прежде чем он успел спохватиться, ткнулась в тело Нэн. Ему стало страшно. Другое дело если б я ударил намеренно, если б я знал, что у меня там творится внутри. Ее помертвевший взгляд выгнал его из дому, и теперь он вряд ли попадет туда обратно. А может, она все забудет к вечеру, и это лишний раз докажет, что их скандалы не производят на нее никакого впечатления. Да и хочется ли ему домой? Когда ты не дома, боль затихает, а когда сидишь в саду, съел два пирожка со свининой и солнышко отмерило тебе с наперсточек тепла, ее и вовсе не чувствуешь, если не считать, что воспоминание нет-нет да и полоснет тебя своим ножом.

Через главные ворота он вышел на кишащую машинами магистраль, где был магазин радиоаппаратуры. Футбольный выигрыш наконец-то реализуется, сто с лишним фунтов пойдут целиком в уплату за первоклассный приемник, который свяжет его с коротковолновым миром, даст ему какое-то занятие и, может быть, удержит от скотских выходок по отношению к Нэн. Если заказать сейчас, завтра днем магазин доставит. А после обеденного перерыва надо идти на работу, иначе останешься без получки, потому что нынче пятница.

## II

Он сидел один в комнате Айвора и через наушники слушал третью программу, как подпольный радист, принимающий из-за границы инструкции, без которых движение сопротивления было бы обескровлено.

Интеллигентный голос невнятно говорил что-то о книгах, и, желая выжать из приемника что-нибудь получше за свои деньги, Фред переключился на короткие волны и проскочил стрелкой шкалы больше сотни морзянок. В эфире дробно постукивало и свистело, будто стая измученных птиц пыталась вырваться на волю, но он засек одну станцию и, уловив ритм в трепыханье крыл, пронзенных тонким волоском стрелки, перевел его в слова: ВСТРЕЧАЙТЕ ПОРТУ ТИЛБЕРИ ЧЕТВЕРГ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО ТОЧКА СКОРО СНОВА ВМЕСТЕ КРЕПКО ЦЕЛУЮ РОДНОЙ — МЭРИ.

Алистер Кроссбенкс, Харсраг-Виллас 3, Бренли — вот кто счастливчик, и не единственный, потому что Фред поймал еще несколько телеграмм примерно такого же содержания. Они шли с океанских лайнеров к заждавшимся влюбленным, которые исходили тоской в разлуке, хотя вряд ли у кого-нибудь из них за спиной такой промежуток времени, какой одолели они с Нэн, прежде чем пожениться. Но, представив себе, как пароходы на полном ходу вспарывают широкие полосы валов во внезапно наваливающейся на них тропической темноте, он прекратил прием. Перед ним, на тысячемильном просторе океана, возник стройный лайнер, день за днем с положенной скоростью ползущий в широком охвате горизонта по невидимой дороге в Аден или Кейптаун. В наушниках тихо бился его радиопульс; прислушиваясь к нему, Фред как бы держал лайнер под надзором, и далекость сверкающей огнями океанской букашки подчеркнула его собственное одиночество в огромном пригороде, морем улиц и переулков разлившемся вокруг этой комнаты.

До того как Айвор погиб, здесь была детская. Об этом говорили зайчики и деревья, поезда и самолеты на обоях, узенькая кровать и шкаф с игрушками, который до сих пор, спустя несколько лет, ни у него, ни у нее не хватало духу освободить. Айвор был темноволосый, кареглазый, и до четырех лет он рос смышленым, бойким мальчишкой. Худенький, ненасытный, все ему надо знать, день-деньской беготня, драки, одно отнимет, другое сломает. Но за несколько месяцев до того, как упасть в холодный мешок канала, он простился со своей противоестественной живостью — не потому ли, что внешнему миру нечем было ответить этой жизни так, чтобы она поняла свою связь, свое родство с ним. Фред не мог даже покаяться в плохом обращении с сыном — каясь, было бы что вспомнить. Не только то, как этот сорвиголова сломал будильник и с ревом забился в угол, когда в ушах у него, ничего такого не ожидавших, вдруг задребезжал звонок. Но сильнее всего запала ему в память какая-то неутоленность в лице Айвора, будто его чем-то обделили, и это не поддавалось объяснению, потому что мальчик был сыт, одет, обут и игрушки ему всегда дарили и даже деньги. Нет! Эта странность — теперь он все понял! — гнездилась у Айвора где-то в самом нутре и не давала ему откликнуться.

Он выключил питание и сидел в вечерней тишине, подавленный безжалостной силой того, что называется «обратной связью». «Это я всегда рад стараться: валить на безвинного мертвого ребенка все, в чем надо винить самого себя, а может быть, и Нэн». Пароходы идут по спокойным морям в кольце такой пустоты и такого тепла, что тем, кто там есть, еще доступна безмятежная радость бытия. Он снова включил приемник. Какие поэмы можно выловить в эфире с помощью точнейшего механизма — вот этого волшебного ящика! Еще одна телеграмма от Элизабет: НАДЕЮСЬ НОМЕР ГОСТИНИЦЕ ЗАКАЗАН ТОЧКА НЕ ДОЖДУСЬ ВСТРЕЧИ. Чтобы прекратить свои терзания, он переключился на последние известия, ТАСС сообщил о новаторском методе добычи нефти на Кавказе, и этот холодный душ сразу залил сжигавший его огонь.

Ему никто не мешал в комнате Айвора, и он сидел там, зная, что Нэн не оторвется от телевизора до половины десятого, когда надо звать

его к ужину. Ему было как-то не по себе весь вечер: донимала сильная простуда. В такие дни вспоминались прошлые болезни, и память с разящей ясностью обнажала многое, что было как-то связано с ними.

Из-за разливов Нила, ежегодно превращающего свою долину в тинистое море, в Египте только и делали, что простужались. Темно-бурые конусы пирамид на горизонте были похожи на грязные старые картонки, кем-то сброшенные туда и принявшие такую странную форму при падении. Издали казалось, что если легкий бриз может лишь высушить на них пятна сырости от дождя и нильской воды, то ветер посильнее сорвет их с места и погонит по открытой пустыне, как мусор. В Каире Фред считался чемпионом по морзе, записывал по тридцать два слова в минуту, а читал — по тридцать шесть. Его мозг, идеально приспособленный для приема, час за часом вбирал потоки морзе и не воздвигал барьера мыслей между ними и движением пальцев с карандашом, быстро бегающим по бумаге. Для радистов менее одаренных такая работа обычно кончалась тем, что их — бормочущих что-то, с остекленевшими глазами — препровождали в оздоровительный лагерь на сожженных солнцем благословенных берегах Суэцкого канала. Фред гордился своей репутацией короля морзистов, и хоть это и предполагало некоторую, вроде как у йогов, пустоту в голове, но в то же время требовало четкой работы мозга и легкой руки. Ни в чем другом проворства за ним не замечали. При взгляде на его желтоватую физиономию казалось, что этот человек погружен в какие-то медленно текущие мысли, не доступные его шумливым товарищам, которые как радисты были не из блестящих. Он завоевал уважение в части не только за редкостную быстроту приема, но, видимо, и за свою серьезность, потому что даже в кухне, где до операторского искусства никому нет дела, на него рычали не так уж свирепо, когда между ним и раздатчиком образовывалось расстояние в шаг длиной. Он был жрецом тишины среди шутников, выдергивающих матрацы из-под спящих, любителей выпить, покричать, спеть хором и наведаться в публичный дом. Если другие увиливали от таких развлечений, им по меньшей мере связывали простыни узлом, а Фред как-то ладил со всеми, не прилагая к тому никаких усилий. Его считали своим парнем, и, возвращаясь поздно с дежурства, товарищи нередко приносили ему чаю из столовой. Когда же он отвечал на любезность любезностью, она ценилась вдвое выше именно в силу своей неожиданности.

Чаще всего он сидел один в библиотеке за писанием длинных писем Нэн, а единственный друг, который завелся у него в армии, прилетел к ним в часть из Кении в брюхе истребителя-бомбардировщика «москито», где-то посреди пустыни шлепнувшего запасные баки с неиспользованным горючим, точно коровьи лепешки. Опытных операторов не хватало, просто зарез. Во время большого наступления, а может, отступления — не поймешь, когда разница между тем и другим тонет в общей неразберихе, Фред работал часов по сто в неделю. Его это не так уж изматывало, но к началу Великой битвы им понадобился еще один радист, и вот у них на узле появился Питер Нкагве — высокий черный африканец из Найроби со шрамом через всю щеку. Только что переодевшись в чистую, отглаженную форму цвета хаки, он с добродушной улыбкой: «Всем привет!» — вошел в радиорубку. Сержант выделил ему приемник, и Фред сначала с удивлением, потом с завистью увидел, как новый оператор с не виданной доселе равномерностью и быстротой заиграл своими длинными пальцами на ключе, точно пианист на рояле.

В отличие от Фреда Питер Нкагве вел себя за работой отнюдь не сурово — улыбался, поглядывал по сторонам и поигрывал ключом легко, свободно, даже несколько рисуясь своим мастерством. Он ухитрялся не только читать сводки агентства Рейтер по крикету, передаваемые из Австралии, его проворные пальцы успевали даже записывать их, что

никак не давалось Фреду, и листки с аккуратно разграфленными табличками переходили из рук в руки до тех пор, пока их не зачитывали до дыр.

Как-то раз Фред, неожиданно для самого себя, выкрикнул слова, вспыхнувшие в таких глубинах его существа, что и потом он не пожалел о своей выходке.

— Здорово ты, друг, отбарабанивасшь телеграммы, точно у тебя тамтам под руками.

Питер не моргнув глазом в обычном темпе закончил передачу. Потом снял наушники и молча стал возле Фреда.

Молчание затянулось, Фреду стало не по себе.

— Чего потерял?

— По глазам твоим судя,— сказал Питер,— у тебя, друг, полна башка дерьма.

Он вернулся к своему приемнику, и с тех пор Фред поделил с ним первенство. Они стали друзьями.

Просиживая допоздна у приемника, Фред все надеялся услышать передачи своего прежнего узла связи, который, хоть и давно перестал существовать, но каким-то чудодейственным образом мог возникнуть среди знакомых ему на слух морзянок. Может быть, удастся даже поймать ритм быстрого мелодического отстукивания старого приятеля Питера Нкагве, исчезнувшего из его жизни, как призрак. Питер Нкагве, вероятно, все еще работает где-то ключом, передает тексты важных сообщений, не им зашифрованных, не им закодированных. Фред медленно крутил шкалу, надеясь узнать позывные и мастерскую руку своего старого друга. Занятие это было бесцельное, но, стыдясь самого себя, он проводил за ним долгие часы, будто все зависело только от терпения и количества потраченного на это времени и в конце концов затерявшиеся в прошлом голоса протянутся к нему своими щупальцами и утащат назад, в залитые слепящим солнцем Мокаттамские горы.

Нагнув голову и водя натренированной рукой с карандашом по блокноту, он сидел у своего многошкального алтаря под настольной лампой с бахромчатым абажуром. «Будь у меня радио при Айворе,— подумал он, улыбнувшись,— этот стервец не оставил бы его в покое, пока не пережег бы в нем все лампы». Если уж говорить о разрушительных инстинктах, так «Разрушение — имя твое Айвор!» Он вспомнил его так, будто в эти минуты Айвор пил чай там, внизу, или сидел в ванне перед камином, или уехал к бабушке и на той неделе вернется. Любой механизм погибал в его руках. Как-то раз он потратил целый день на то, чтобы подвергнуть методическому изничтожению проигрыватель, потом принес останки Фреду, а Фред посоветовал ему снова собрать их. Айвор попробовал (кто же это будет отрицать!), но у него ничего не вышло, и, когда проигрыватель починил Фред, он так ликовал, глядя на быстро и без завывания вертящуюся пластинку, что проигрывателю в награду решил больше никогда не касаться его молотком.

Взгляд круглых глаз, выражающий полное удовольствие: откусывает большущие куски от ломтя хлеба с джемом и вытирает измазанные пальцы о рубашку. Фред не мог скрыть насмешки в голосе, делая ему замечание, и кусочки уменьшились до таких микроскопических размеров, что он рассмеялся, и тогда Айвор снова откусил сколько мог, и гримаса исчезла с его озорной физиономии. Такие воспоминания залегали где-то на большой глубине и уходили вниз, точно штольни и пласты породы в угольной шахте. За несколько месяцев до рождения Айвор шевельнулся в Нэн и с тех пор так явственно давал знать о себе, что Фред просыпался по ночам от его толчков и снова засыпал с улыбкой.

Лампочка, затененная абажуром, светила только лишь в одну десятую своих возможностей, оставляя большую часть комнаты в темноте. Прикованный к негромко бормочущему приемнику, Фред выхватывал из

эфира серпом своего быстрого карандаша какие-то сообщения, чувствуя, что его мозг, мерцающий тоже только лишь в одну десятую, не может взорваться бомбой, вспыхнуть и залить его светом. Он задавал себе вопросы об Айворе, точно слал телеграммы, не надеясь получить на них ответ: «Зачем я родился? Почему моя любовь к нему была не настолько сильна, чтобы сохранить ему жизнь? Способен ли я любить кого-нибудь так, чтоб этот человек жил и радовался? А если бы я любил его больше, изменилось бы что-нибудь от этого или нет?» Он не мог приподнять черноту, давившую на мозг, но, стараясь избавиться от нее, без всякого толку крутил ручки настройки и что есть силы пытался сохранить в сознании хотя бы эту одну десятую света.

Он открыл крышку приемника и заглянул внутрь на лампы с голубым огоньком в сердцевине колбочек, похожие на луковицы какой-то новой экзотической формы, взращенные им при этой одной десятой силе светового луча. Мысли проходили у него в мозгу не путаясь, одна следом за другой, хотя последняя, только что возникшая, всякий раз исчезала, оставляя после себя ощущение чего-то незаметно мелькнувшего. Он старался вспомнить каждую и пришпилить ее к следующей, к той, что уже пробивалась в мозг — может быть, они как-то вытекают одна из другой? И всякий раз оказывалось, что между ними нет ни малейшей связи.

«Ну, милая, хорошая,— говорил он, когда Айвор утонул.— Ну, ничего... милая...» — покачивая ее, чтобы она пришла в себя. Но она кинулась на него со словами, которые так и жгут сейчас, точно он только что отстукал их ключом морзе. «Милая, хорошая! — крикнула она.— Хоть бы раз назвал женой!» Он оскорбился, озлобился, не поняв ее, а теперь ему было ясно: это ведь одно и то же — Нэн ни разу не назвал женой, Айвора так и не смог коснуться своей любовью.

Наушники заглушали все звуки — детские голоса, уличное движение, телевизор в соседнем доме, и он записал еще одну телеграмму откуда-то с океана, бог знает какого,— добрую весть, пущенную стрелой из страны в страну: БУДУ ДОМА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО НЕ ДОЖДУСЬ ВСТРЕЧИ ДОРОГИМИ МАМОЙ ПАПОЙ ЦЕЛУЮ ДЖЕНЕТ. Огромное судно продолжало свой путь: чувствительная антенна, мощные трубы, людям на нем хорошо — спят, едят, целуются или прилежно работают, если из судовой команды. Он увидел себя на маленьком суденышке, прибившемся в темноте к не нанесенному на карту острову, куда вестей не пришлют, потому что он там единственный обитатель, да и вообще кому это придет в голову давать ему телеграмму. И счастливого пути никто не пожелает, потому что он утаил от всех конечный пункт своего путешествия, и никто не догадывается, что он сейчас в море, и нет у него такого человека, кому можно было бы радировать о своем скором приезде, потому что если бы он поехал, так неизвестно куда, и когда приедешь, тоже неизвестно, и на том конце, откуда он двинулся в путь, никого не было, а здесь и подавно никого не будет. Нет! Надо гнать прочь это видение, думать о пароходе, похожем на драгоценность в переливе огней, и читать телеграммы, которые принимает и отправляет его радиорубка.

Наушники повисли на шнурах, он включил полный верхний свет, распахнул настежь дверцы детского шкафа. На полках, навалом — так, как Айвор сам побросал их в последний раз,— лежали лошадки, вагончики железной дороги, плюшевые мишки, коробки с играми, крепость и трехколесный велосипед. Звуки морзе с блистающего огнями сказочного корабля больше не сыпались на Фреда хлопьями своих точек и тире. Он невидящими глазами провожал каждую игрушку, швыряя их одну за другой через всю комнату — к окну, к двери, в камин, запуская под потолок, до тех пор, пока, поломанные, они не обрели себе нового места успокоения. Потом вернулся к приемнику как раз в ту минуту, когда

внизу хлопнула дверь и на лестнице, в ответ на поднятый им шум, послышались чьи-то тяжелые шаги.

Корабль не исчезал. Послания любви, сообщения о приезде, пожелания доброго пути, поздравления и успокоительный бальзам деловых вестей все еще летели из его радиорубки, но видение, складывавшееся из тех слов, что доносил сюда черный ящик, нельзя было поломать, как вот эти валявшиеся вокруг игрушки. Дыхание с хрипом стало рваться из его легких, когда эта картина с безжалостной четкостью, полная живых красок, возникла перед ним. Корабль сместился из центра вбок, он медленно тонул, будто подчинившись наконец чьей-то незримой, от всех скрытой воле, и серые в тропических сумерках, спокойные волны, как голодная кошка, лизали его борта. Вот он погрузился до палубы, и бесконечное маслянистое гладкое море стало добрее, обходительнее с ним, хоть и не сбавило силы, исподтишка тянущей его вниз. Когда корабль совсем ушел под воду, переполненные спасательные лодки одна за другой перевернулись, и наконец все исчезло, остался только нерушимый покой серой морской глади, ровной и блестящей, как кусок жести, в который можно смотреться вместо зеркала, и еще голос в наушниках, сначала говоривший что-то непонятное. Голос был сердитый, простоватый, как будто даже знакомый, хотя Фред чувствовал, что, сколько бы он ни старался, все равно ему этого голоса не узнать.

Дверной замок не выдержал напора, несколько человек кинулись оттаскивать его от радио, и громче всех слышался умоляющий голос Нэн. Пальцы — сильные и белые, как ободранные прутья,— впились в приемник, такой тяжелый, что тем, кто боролся с Фредом, показалось, будто этот черный ящик прибит к скамье, а сама скамья привинчена к полу. Фред молча изо всех сил держался за него, но в критический момент сообразил разжать пальцы и (пока с ним не сладили) такой же мертвой хваткой вцепился в скамью, издавая какие-то странные звуки, точно изо рта у него с мычанием, с ревом рвались на волю звери.

Наконец с ним справились. Стоя посреди комнаты, весь мокрый от пота, он взмахнул руками.

— Это бог! Я слышал бога! — крикнул он. Потом еще громче: — Не смейте меня трогать! Я слышал бога!

И повалился на пол.

## III

Нэн сказала, что доктора вызывать незачем, а когда с ней заспорили, выпрямилась во весь рост, горячо всех поблагодарила и выпроводила из дому. Добрые соседи вещь хорошая, но их благодеяния надо вовремя пресекать. Раздев Фреда и уложив его в постель, она подошла к окну в детской и стала думать, отчего с ним случился такой припадок. Что ему, плохо живется? Насколько она понимает, недостатка Фред ни в чем не испытывает, все, что есть у большинства других людей, есть и у него. Она Фреда очень ценит, несмотря ни на что, и он ее — тоже, хоть и не умеет выказать свои чувства. Им не в чем упрекнуть друг друга; до того, как бедный Айвор утонул, жизнь у них была не так уж плоха. Правда, она до сих пор не понимает, как это Фред так легко перенес смерть сына, но, может быть, мужество и выдержка помогли ему скрыть, чего человеку стоит такой жестокий подарок судьбы. Это, конечно, весьма похвально, но от его гробового молчания только в десять раз хуже. Оно дорого ей стоило, да что говорить, оно ее почти придавило. Вряд ли он горевал так же сильно, как она. Трудно в это поверить, особенно сейчас, когда в припадке он прежде всего исковеркал игрушки несчастного Айвора. Этого она ему так быстро не простит и не забудет, хотя он,

может, и не сознавал, что делает. Был бы пьяный, тогда другой разговор, но Фред напивается только на рождество или на дни рождения. И все же как это не похоже на него — он, и вдруг припадочный.

На следующее утро она позвонила врачу. Фред всю ночь буйствовал, кричал, в муке своей срывал лоскутами обои со стен. Всю эту ночь она невольно сравнивала его с новорожденным младенцем, который непонятно почему на долгие часы заходится в безудержном крике, и тут уж ничего не попишешь — наберись терпения и пытайся укачать его. Эта мысль придавала ей сил, помогала спокойно делать все, что нужно. Ранним серым утром она за несколько минут убедила его лечь в психиатрическую лечебницу.

— Мне не хочется тебя отпускать, родной. Но все говорят, что в больнице тебе будет лучше. И я тоже так думаю. Там лечат такие болезни. Пройдет месяц-другой, и выйдешь оттуда как огурчик.

— Хорошо, — сказал он. Ему было все равно. Он плыл в океане, как тот, полюбившийся ему, не знающий якоря корабль, и покойное, теплое течение уносило его прочь из-под чьей бы то ни было власти.

Она уложила его вещи в чемодан, точно опять собирая на пять лет в армию. Вид у нее был взволнованный, расстроенный, слезы текли ручьями, пальцы дрожали, отбирая ему носовые платки и пижамы в комоде. Фред сидел в кресле, прикрыв воротником халата нижнюю часть побелевшего, неподвижного лица, и трясся от холода, хотя в камине полыхал огонь, разведенный умелыми руками.

Она поехала вместе с ним в санитарной машине, при ней его приняли, зарегистрировали, обследовали, сделали инъекцию и наконец уложили на узкую белоснежную койку. Все это было проделано так быстро, что ее взяло сомнение, смогут ли тут ему помочь.

— Здесь хорошо, — сказала она, а Фред лежал, не сводя широко открытых глаз с гладкого, выкрашенного в кремовый цвет потолка палаты. — Лучше и быть не может. Я уверена, что уход здесь прекрасный, а я буду навещать тебя два раза в неделю.

— Угу. — Не вникая, лишь бы ответить.

— Мне пора, а то, родной, я не успею на автобус.

Сначала ей нечем было заняться дома, кроме уборки. Протирая застекленные картины, начищая ножи и вилки, меняя бумагу на кухонных полках, она все надеялась, что его болезнь не потребует длительного лечения, а сама обливала слезами то огромное пушечное ядро, которое угодило в нее со всего размаху: такие психические расстройства иногда затягиваются на долгие годы. Сначала погиб Айвор, теперь Фреда нет. Сколько же можно терпеть? «К черту, к дьяволу!» — вскрикивала она сквозь всхлипывания, обращаясь к опустевшим комнатам. Соседи выражали ей свое сочувствие. «Золото был, а не человек! — сказала как-то одна женщина, встретившись с ней в магазине. Точно его уже похоронили и все молитвы над ним прочли. — А ведь такие больше всех и страдают. Жалко, да что поделаешь. Но если вам, миссис Харгривз, нужна будет помощь, вы, милая, скажите, я все сделаю».

Новизна положения — одна в доме — постепенно исчезла. Она снова почувствовала себя молодой, но это было совсем другое ощущение молодости, чем то, с каким во время войны она каждый четверг ходила через улицу на почту получать за Фреда по аттестату четырнадцать шиллингов. Одиночество и воля приятно подстегивали. Ее тяготили частые посещения их общих родственников, которым казалось, будто бедняжку необходимо развлекать, и, когда она громко заявила им всем, что не нуждается в этом, ее родители удалились, выразив опасение, как бы их дочь не постигла та же участь, какая постигла «несчастного Фреда», а его мать и отец покинули дом невестки в полном убеждении, что теперь ясно, кто довел их несчастного сына до такой беды.

Менялись даты на вечерних газетах, месяцы проходили один за другим. Мужчины начали замечать ее на улицах (или это она сама теперь замечала, что ее замечают), бросали на нее взгляды, которые ясно говорили, что они не прочь побыть с ней в постели. Ничего приятного она тут не видела, но так хотя бы не превратишься в старуху, думая только о Фреде, томящемся взаперти. А с другой стороны, почему бы не порадоваться, когда мужчины улыбаются или подмигивают тебе при встрече, думала она, удивляясь, что только несчастье помогло ей почувствовать, как хороши у нее бедра и грудь, как красиво подчеркивают темные волосы свежесть и белизну ее кожи. Эти ощущения подступили к ней с не меньшей неожиданностью, чем болезнь — к Фреду. На взгляд посторонних, она вела себя, как вдова, которая, несмотря ни на что, ждет мужа из могилы.

Два раза в неделю ей приходилось проезжать в автобусе по извилистым улицам к башне, внезапно возникающей впереди, над кучкой приземистых строений. Выйдя из машины со своими свертками и пачкой журналов, цветами, виноградом и запасом чистых носовых платков, все еще пахнущих утюгом, она чувствовала себя такой несчастной в этой многолюдной толпе, как будто посещение больных в психиатрической лечебнице — позор и преступление, навязанные им судьбой, и они должны скрывать друг от друга собственную незадачливость и глупость.

Опустив голову, она быстро шла к зданию лечебницы, стараясь попасть туда раньше всех, и первая входила в коридор с низким потолком, опутанным таким количеством похожих на змей проводов и труб, что ей казалось, будто она где-то в морской глубине на подводной лодке, какие видишь в кино. Потом она отворяла дверь в довольно светлую палату и подходила к восковому подобию своего мужа, которого, словно набальзамированную мумию, нельзя было бы разбудить даже уколом булавки.

— Фред, — говорила она, еще не садясь и раскладывая на его постели свои дары, — посмотри, что я тебе принесла.

— Угу.— Он почему-то пристрастился к такому ответу за время болезни.

— Фред, врачи говорят, что ты скоро начнешь поправляться.

Снова «угу».

— А новое лекарство тебе дают?

— Угу.

— Только бы шоками не лечили. Дома все в порядке. Я и одна справляюсь.— Надо было сидеть и смотреть на него ровно час — раньше не уйти, даже если все уже сказано. Мысли его, может, очень далеко отсюда, где-то в самой глубине, но это он непременно запомнит. Она терзалась в догадках, какие тайные силы превратили его жизнь в полусон, куда ей не проникнуть. Он не мучился, и за то спасибо. Другим, говорят, чудятся змеи, драконы, и они кричат все ночи напролет, а Фред тихий, хотя кто знает, какой он в те дни, когда она не бывает здесь. На нее смотрели его спокойные карие глаза, и она думала: «Неужели ему до сих пор слышится это морзе? Ведь он просто оторваться не мог от своего черного приемника, который стоил таких денег. Ну, конечно,— и она кивала головой в подтверждение собственных мыслей,— целыми вечерами слушать какой-то отчаянный визг, писк — это кого хочешь доконает». Однажды, выключив телевизор и подойдя к двери в комнату Айвора, она услышала стрекотанье пронзительных точка-тире, точка-тире, и ей тогда показалось, будто там хохочут обезьяны — вернее, не хохочут, а только силятся, что совсем уж отвратительно. Кто знает, какой смысл был в этих звуках, а теперь и вовсе не узнаешь, потому что Фред каждый вечер сжигал свои записи и говорил таким противным, не терпящим возражений тоном, что операторы обязаны хранить в тайне

принятые телеграммы, иначе им грозит тюрьма. Будь она ревнивой женой, он бы у нее узнал, как просиживать столько времени у приемника, ведь придет, бывало, с работы, не успеет напиться чаю, вымыться, как сразу наверх и прилипнет к своему радио. С другой стороны, сколько этих муженьков шляются по кабакам, пропивают деньги, да еще впридачу зарабатывают себе какую-нибудь язву. Да, никуда от этого не денешься — надо довольствоваться тем, что есть.

— В следующий раз принесу тебе запеканку, — сказала она, не зная, как его еще расшевелить.

— Угу.

— Если тебе что-нибудь захочется, родной, брось мне открытку.

Она вовсе не считала его беспомощным и держалась с ним так, будто ему просто пришла фантазия полежать здесь и в любую минуту он возьмет да встанет — хотя, судя по его улыбке, надеяться на это было нечего. В шкафчике около кровати лежало несколько дешевых книжек, которые она ему принесла, но он, конечно, не брался за них. Все же они здесь как-то у места и, может быть, скоро понадобятся. Разве угадаешь, когда стальной обруч, вон где-то там, у него за глазницами, лопнет и снова даст ему свободу. Она держала его за руку и стеснялась, потому что в палате было много народу. Но на нее никто не обращал внимания — все сами держали своих за руки.

Всегда первая в лечебнице, она выходила оттуда последней, и место ей удавалось отыскать только наверху автобуса, где вовсю дымили сигаретами и трубками. Покачиванье, толчки приносили какое-то облегчение — автобус пожирал дорогу, освещая ее фарами в надвигающейся зимней темноте, ускорял ход, когда черное ущелье между деревьями вытягивалось по прямой. Она выпрямляла спину, уставшую после хлопотливого дня, смотрела вдоль прохода на других пассажиров, которые обсуждали самое важное из своего посещения лечебницы. До сих пор ее горе было слишком свежо, чтобы заводить знакомства среди этих людей или идти на большее, чем короткий кивок в ответ на приветствие, но когда мужчина, сидевший рядом с ней, спросил:

— Ну, как ваш сегодня?

Она ответила:

— Да все так же, — и покраснела, точно вечернее солнце, низко повисшее над горизонтом эдакой свеклой, которая пошла вспять по дорожке своего существования, решив зарыться в уютный мрак почвы, в свое время породившей ее. «Вот дура! — подумала она, не смея поднять голову.— Дернуло меня ответить этому нахалу!» И все-таки посмотрела ему в лицо в ту минуту, когда он вбирал глазами хмурый вечер, спускавшийся над землей, и улыбался, будто с наступлением сумерек в автобусе стало уютно, как в теплой комнате. Это был молодой человек, точно для того и появившийся на свет, чтобы работать, такой нескладный в выходном костюме, раз в неделю подчинявшем его себе. Лет ему не больше тридцати, прикинула она, наверно, холостой, очень уж свободно держится с ней, будто так и надо.

— В здешнее заведение только попади, — сказал он. — Долго не выберешься. С туберкулезом, должно быть, и то меньше лежат.

— Неужели же станут держать дольше, чем надо? — Вид у него слишком здоровый, думала она, и лицо румяное — вряд ли шахтер. — И так дорого обходится.

Он достал сигарету из пачки. Ответила она ему резковато, но с табачным дымом примирилась, потому что его рука чиркнула спичкой с каким-то даже шиком — видно, чтоб было под стать парадному костюму. Сигарета шла ему больше, чем воротничок с галстуком, а уж кружка пива и подавно подойдет. «Может, он только с виду такой,— улыбнулась она мысленно,— а на самом деле робкий».

— Да, конечно, зря держать не станут,— сказал он, не поспешив с ответом.

— И вообще, от этой болезни не умирают, — добавила она.

— И на том спасибо. Виноват...— Пачка с сигаретами снова появилась у него в руке. — Курите, девочка?

— Нет, благодарю. — Что он о себе воображает? И за кого он меня принял? — Хотя дайте, пожалуй.

— Я люблю подымить, — сказал он. — По крайней мере не так скучно одному.

Смысл этого подхода был виден за милю, но она как бы пропустила его мимо ушей.

— Кого же вы навещаете в больнице?

— Одного дружка. Только он в хирургическом. Прошлой зимой свалился с лесов. Сначала думали, обошлось сломанной рукой, а потом выяснилось, у него голова не в порядке. Не здешний — ирландец. Навещать некому, вот мы с товарищами по очереди отпрашиваемся на полдня с работы и ходим к нему. Сигарет принесешь, еще кой-чего. Доктор говорит, месяца через два выйдет.— Она почти не слушала его.

— Значит, вы каменщик?

— Подсобный у мастера. Но зарабатываю я неплохо. А вы к кому ходите?

— К мужу. — Когда подъехали к Редхиллу, небо впереди было все усыпано огнями, автобус спускался к радушно встречавшей его подкове Ноттингема. Взгляд у ее соседа был уж очень простодушен, и она подумала: «А может, это простодушие — самая большая его хитрость?» — Просто мечтаю попасть домой,— сказала она ему.— В такую даль ездишь, весь день на это уходит.

Складка у него между бровями расправилась — ему не хотелось, чтобы она ее заметила.

— Дома сидишь-сидишь и соскучишься. Я люблю поразвлечься.

Она поймала направление его взгляда и стала застегивать пальто.

— Тоже не плохо.

— Еще бы! — усмехнулся он.

— Я уже давно ничего такого в рот не брала, — заявила она, чувствуя, что добродетельный тон единственное ее спасение.

— Тогда пойдемте со мной, выпьем, до того как домой.

Она вспыхнула: воображает, будто я напрашиваюсь. И это так рассердило ее, что она сказала, правда, не очень громко — не то другие услышат и решат, что она на самом деле кокетничает:

— Дать бы вам по морде — заслужили.

— Да, может быть. — Голос у него прозвучал почти грустно. — Если я вас обидел, девочка, простите. Но все-таки пойдемте выпьем, там и помиримся.

Ну, это уж чересчур!

— Да за кого вы меня принимаете?

Он удивился — казалось бы, для такого вопроса рановато.

— Во всяком случае, — отрезала она, — я женщина порядочная. И замужем.

— Я тоже человек женатый, но смотрю шире на вещи. — И он замолчал на все то время, пока автобус не спеша лавировал между яркими огнями в толчее машин, то замедляя ход, то срываясь с места, точь-в-точь как Нэн, которая обдумывала свои будущие ответы на тот случай, если у него хватит нахальства заговорить с ней снова.

На конечной остановке пассажиры гуськом вышли на асфальт, и, когда он повторил свое предложение, выбрав для этого место потемнее, оба они испугались безоговорочного «да», которое на секунду разъединило их, а потом бросило в жаркие объятия друг другу.

## IV

Острый приступ помешательства сошел у Фреда на нет в точно предсказанные сроки, оставив после себя незамутненную морскую голубизну сознания, которую уже не бороздил тот большой пароход. Он вышел из палаты с чемоданом в руке и утренней газетой под мышкой. Его горячий поцелуй был неприятен Нэн, и она не нашла, что сказать ему, кроме как:

— Дома тебе будет лучше.

— Да, родная, конечно. Мне теперь никуда не захочется уезжать.

Он с удовольствием смотрел на пышную зелень весны; лихорадящий запах ивовых сережек и трав побеждал бензиновую гарь, врываясь в открытые окна автобуса. Вода, стекавшая в огромную трубу под полотном дороги, разливалась по лугу серебром луж, из которых пили коровы. Он тер глаза, ослепленные солнцем, словно очутившись на воле после долгой тюрьмы, говорил мало, увлеченный самой поездкой, и радовался, что вышел из лечебницы и едет домой. «Так же, как я упивалась в его отсутствие, когда немного отлегло от души»,— думала Нэн.

Первые домики пригорода торчали по обеим сторонам дороги, точно подмалеванные собачьи конуры, и Фред отвернулся от них.

— Как мне хорошо, родная! Я просто замечательно себя чувствую.

Она улыбнулась.

— Ничего удивительного. Ты прекрасно выглядишь, точно из отпуска.

— Из отпуска? Да, пожалуй, так оно и есть.

Он взял ее руку и сжал в своей.

— Давай сходим сегодня в город, погуляем, потом в кино, посидим там часика два. Будем праздновать до понедельника.

— Хорошо... — чувствуя, что это вряд ли им удастся.

Когда он шел по двору, соседи приняли его за очередного поклонника Нэн, которые, как им казалось, последнее время поздно вечером проникали в дом с черного хода, а на следующее утро тайком выскальзывали через парадную дверь. Хитра! — посмеивались они, но их не перехитришь. Докладывать обо всем Фреду никто не собирался, ему это не грозило. Едва ли он станет бить жену: с ней уже нельзя так обращаться, да у него и кишка тонка. А когда сам узнает, тогда бей не бей — дело прошлое.

Соседям понадобилось как следует приглядеться к этому человеку, чтобы признать в нем того Фреда, которого они знали уже много лет. Его желтоватое лицо округлилось, утратили свою живость карие глаза, неуверенный взгляд которых излучал и притягивал к себе раньше душевное тепло и доброжелательность, за что он и пользовался всеобщей симпатией. Если б Нэн не захватила в больницу его макинтош, было бы заметно, что выходной костюм сидит на нем в обтяжку, а макинтош, раньше такой широкий, скрывал от любопытных взоров те части его фигуры, которые особенно пострадали от прибавки в весе. Но больше всего изменилось лицо — оно раздалось вширь. Лицо пожилого человека. Выражение стало совсем другое, и это его портило, хотя соседи готовы были поклясться, что он хорошо выглядит и что свежий воздух пошел ему на пользу.

— Вон как округлился! — говорили они.— И она тоже округлилась, только уж не от свежего воздуха и не от хорошего питания.

Фред услышал, как они посмеиваются у черного хода.

Запахи во дворе были такие знакомые — спитой чай и угольная пыль, бензин и тушеная баранина с луком. Он упивался всем этим, не мог дождаться понедельника, когда пойдет на работу, будет похаживать между пышущих жаром и горячим маслом машин и только тогда окон-

чательно почувствует себя дома. Нэн повесила его макинтош, а он пошел в комнаты. Ему показалось, что они попали в чужой дом.

— Это что такое?

— О чем ты? — Она улыбнулась, хотя его хмурая мина оскорбила ее. — О чем ты, Фред?

— Да вот это... — Он махнул рукой, будто показывая нечто не стоящее внимания. Потом переступил с ноги на ногу, недовольный переменой, которая произошла у них в доме, пока его не было.

— Не нравится?

— Да нет, ничего, — смирился он, помолчав минуту. — Только очень уж неожиданно... Угу. — Он снова оглядел комнату. Прежняя мебель, прежние обои, прежние занавески и картины — все исчезло по взмаху волшебной палочки этого мертвящего полугодия. Стены в комнате были покрашены модной зеленой краской, она стала просторнее, стала похожа (хоть они этого и не замечали) скорее на больницу, откуда Фред только что выписался, чем на прежнее скромно убранное жилье, где протекала их совместная жизнь.

— Значит, не нравится?

Он почувствовал приближение грозовой ссоры, и это всего лишь через десять минут после его возвращения из больницы!

— Стало светлее. Да. По-моему, ничего. Нет, правда, замечательно.

— Спасибо, — сказала она. — А я-то ждала, что ты взыграешь от радости. Сейчас поставлю чайник.

— Наверно, не дешево обошлось, — крикнул он ей вслед, начиная привыкать к дому.

— Это я на свои футбольные деньги, — сказала она. — Все ухлопала, осталось так, чепуха, несколько фунтов.

— Вот, значит, на что ты меня так хорошо содержала в больнице, сколько всего мне перетаскала туда!

— Да, — подтвердила она.

— А я-то думал, какая ты у меня оборотистая.

— Нечего издеваться. Я все ломала себе голову, на что их потратить — помнишь? И вот, пожалуйста. Ты, наверно, думаешь: ну и дура — все вбухала в квартиру! Сам ведь потратил свою долю на себя, на... на приемник. Ну и пусть дура, зато люблю, чтобы дома было хорошо. Пока человек живет в тепле, в уюте, ему ничего особенно не страшно.

— Да, верно.

— Правда, поддерживать все это и хлопотно и дорого, но стоит того. И работы я никогда не боялась.

Он стоял у камина, допивая свою первую домашнюю чашку чаю.

— Да, верно ты говоришь. Я в понедельник с удовольствием отмечусь там, у себя.

— В этом у людей вся жизнь, — продолжала она, и ему послышались чуть ли не радостные нотки у нее в голосе. — Ты сам такой. Я знаю, тебя хлебом не корми, только дай поработать. Конечно, если у женщины нет детей, то через некоторое время ей будто и руки не к чему приложить. Поэтому таким, как я, надо поступать на работу. Неужели же хандрить с утра до вечера, или сплетничать, или киснуть, сидя у камина, потому что уж и читать нечего, вся библиотека прочитана? Надо, чтоб было настоящее дело. По дому и после работы можно справиться, а те, кто уверяет, что нельзя, пусть придут сюда и убедятся, кто из нас прав.

— Да что это ты разглагольствуешь? — крикнул он.

— А то, что в понедельник я тоже пойду работать, на прежнее место.

Узнав, к чему она клонит, он немного успокоился. «Может, там никто и не требуется». Они сели поесть: холодная ветчина, салат из свежих овощей, сардинки, хлеб, каждому по пирожку со свининой в целлофановой обертке.

— Я на днях ходила туда. Меня с удовольствием примут обратно, и на прежнюю должность — мастером. С тех пор как я ушла, технология совсем не изменилась.

Он улыбнулся:

— И еще сто лет не изменится — что там, что у нас на заводе.

— Через час, через два я освоюсь, буду как рыба в воде, — радостно говорила она. — Я их не предупредила, что это всего месяца на три. Ну, ничего, и за это время можно немножко заработать.

— Не надо нам гнаться за деньгами, — сказал он, чувствуя, что есть совсем расхотелось. — Две-три мои получки, и все наладим.

— Ну, вряд ли. Теперь у нас каждый пенни будет на счету, потому что я беременна.

Он улыбнулся, но улыбка исчезла мгновенно, еще до того, как это слово изуродовало его лицо своими когтями.

— Беременна?

— Да, — сказала она. — Неужели ты не видишь? Посмотри на мой живот. Через шесть месяцев у нас в доме будет ребенок. Тут все так изменится, и не узнаешь. — Она сверкнула на него глазами, надеясь, что он попробует восстать. Но на его щеках уже не было и следа прежнего здорового румянца.

— Все устроила по-своему? Вот, значит, как!

— В жизни часто и без нас все устраивается. — Стало видно, как забилось у нее сердце, грудь поднималась и опадала, точно кофточка на ней была живая.

— Чей ребенок?

— Это не важно.

Дрожащая рука опустила чашку на блюдце.

— Нет важно. *Мне* это важно, черт подери!

— У нас с тобой тоже будет ребенок, так что нечего на стену лезть.

Он встал из-за стола, не доев.

— Ах, ты так думаешь! Сумасшедшая...

И, вслушиваясь в его медленные грозные шаги на лестнице, говорившие о таком разочаровании, она прониклась жалостью не столько к себе, сколько к нему.

Кто мог подозревать, что это подкосит его с первого же разговора? Она ждала, что он будет спорить, обсуждать, как быть дальше, и только потом удалится к себе, чтобы наедине залечивать свои раны. «Может, я и на самом деле сумасшедшая...» И хотя у нее никогда не было сомнений, что его на что угодно хватит, все же не слишком ли слепо поверила она словам, будто в жизни все складывается гораздо лучше, чем ожидаешь,— словам, сказанным Дэнни, когда он узнал об ее беременности. Узнал, а потом смылся в Ротерхем на какое-то новое строительство. Она вспомнила, как он говорил после первой их ночи, что при встречах с женщинами ему сразу приходит в голову: «А если у нее родится ребенок от меня, на кого из нас он будет похож?» — «И ты подумал об этом, когда заговорил со мной в автобусе?»—«А как же! — рассмеялся он. — Такая аппетитная бабенка! Конечно, подумал!» Но теперь его нет, и ей одной будет видно, в кого уродился их ребенок. Может быть, поэтому Дэнни так и говорил: знал ведь, что никогда его не увидит. Подлец, мерзавец... хотя что еще ему оставалось, как не удрать? И все-таки (печальный вздох), какое блаженство были эти последние месяцы! Они с Дэнни просаживали остатки ее футбольных денег, кутили напропалую, бражничали, пели песни, увлекались метанием стрел в кабачке где-то на другом конце города. Давно не случалось ей столько хохотать, перешучиваться с молодыми людьми — некоторые были совсем юнцы, все они хорошо зарабатывали на шахтах в Гедлинге и веселились, пока веселье шло на ум. Она и думать не думала, что ее выигрыш придется так кстати, и даже опять

начала интересоваться лотерейными купонами, хотя они с Фредом поклялись, что если выиграют, то никогда больше не будут этим заниматься. Поздно вечером они приходили вдвоем домой, и руки и губы Дэнни любили ее. Теплая, ждущая его, она возвращалась к жизни, когда блаженная дрожь пробегала по ее телу. Беременность в расчет не входила, но она ни о чем не жалеет — пусть Фред ходит там наверху из угла в угол, сколько ему угодно. Она надеялась, что, когда Фред вернется, в доме будет рай, хоть она и блаженствовала в его отсутствие. Но, как водится, и эта надежда не оправдалась. Слезы потекли у нее из глаз. Мысли о Фреде, о прожитой с ним жизни были сейчас слишком ярки, слишком отчетливы.

— Я не виновата, — сказала она. — Мне не хотелось связываться с Дэнни, но я была тогда сама не своя.

Сколько раз она забывала о существовании Фреда, уходя мысленно к тем благословенным временам, когда они еще не знали друг друга, и это было так далеко от настоящего, что частенько ей приходилось писать на почтовой открытке «Завтра в больницу» и прислонять эту открытку к часам, чтобы не потерять его окончательно.

А у Фреда наверху не было никаких сомнений, что между ними все кончено, но, глядя на свой наполовину уложенный чемодан на стуле, он думал: вот он конец — гладкая, отвесная стена, перегородившая узкий туннель, где и не повернешься, не нащупаешь нового пути, единственной твоей надежды на спасение.

Окурок обжег ему пальцы, упал на пол и сплющился под его ногой. В темной глубине шкафа он увидел, как уедет сегодня днем из дому и как длинный, набитый до отказа поезд с грохотом повезет его в Лондон, а там будет чужая, безликая комната с запахом паровозного дыма и сырости и новая работа, новые схватки с жизнью, одиночество и вовсе уж не останется ничего такого, ради чего стоит жить. А уходить все-таки надо. Сборы в дорогу подвигались медленно, но он с усмешкой утешал себя, что торопиться некуда.

Игрушек Айвора не осталось ни одной, Нэн все убрала, когда его спровадили в больницу в то утро. В загадочной картинке начали проступать кое-какие контуры: вот она вернулась домой одна и не знает, как ей быть дальше, потому что его — Фреда — связь с домом уже порвана. Он увидел себя: ломает, топчет игрушки Айвора — безумие тоже приносит урожай, и что делать сумасшедшему, которому некуда девать силу, как не молотить все подряд.

Он отошел от шкафа, но в последнюю минуту его мозг сквозь краешек глаза заметил на полке какую-то вещь, прикрытую куском чистой холстины. Под ней оказался его черный, мертвый, выключенный приемник, который эдаким чудищем, с укоризненным видом разлегся в шкафу, завладев местом выброшенных на помойку игрушек. Фред усмехнулся: Нэн спрятала его, думая, что я сюда вряд ли загляну, но почему она не отделалась от этой штуки заодно с игрушками? Он стал на колени, нагнулся, тронул шкалу и покрутил ручку настройки в надежде, что вот-вот послышатся желанные звуки.

В размерах и внушительном виде приемника было что-то устрашающее, и он невольно отступил подальше. Что-то полузабытое тщилось проникнуть в его мозг. Настойчиво искало лазейку. Он рассмеялся, выбил пальцами на крышке черного ящика глуховатую, приятную на слух дробь — не барабанную, как в армии, а что-то более понятное, примитивное, дикое, как в джунглях. Это сразу напомнило ему Питера Нкагве — его ярко освещенное, словно высеченное из камня лицо, когда много лет назад он отстукивал телеграммы в радиорубке.

Черный ящик весил сто фунтов. Две согнутые руки охватили его сверху, вдавили острый край Фреду в пах, и он двинулся с ним — мед-

ленно, дыша с трудом, едва переступая с ноги на ногу. Клок темных волос упал ему на лоб, вместе с каплями пота щекотал кожу. Больница изнежила его, но он не захотел переносить радио в два приема, нашел в себе силы сделать это так, как было всего труднее, напружив живот, еле перемогаясь, шагнул к столу и настолько мягко опустил свою ношу, что беззвучное соприкосновение дерева с металлом нельзя было ни увидеть, ни услышать.

Подключить антенну и сеть, надеть наушники и подать напряжение на лампы и блок супергетеродина было делом одной минуты. Электрический ток розоватой ниткой проступил в каждой колбочке. Передняя панель осветилась, и сразу — атмосферные помехи, точно в детстве, когда, прижимая морскую раковину к уху, он слышал где-то далеко-далеко взлет и опаданье бурунов в Скегнессе. Потом шум резче, резче, и наконец все заполняет гулкий напор неустанно движущегося моря. Он уменьшил громкость и, повернув маховичок настройки, перешел на морзянку.

Море стихло, выпустив на простор и будничные вести о чьих-то приездах и отъездах, и целую, поздравляю днем рождения, и бабушка скончалась, и купил подарки Бомбее, а лайнер — ослепительно-белый, нарядный, роскошный — тот, что и на этот раз одиночкой возник между безоблачным небом и ровной пустыней воды, снова послал ему сигналы, что родился сын (а может, еще только родится?), Нэнси шлет привет, оба молодцом.

Он швырнул карандаш, опустил глаза на эти случайно пойманные слова и выдавил из себя смешок, дивясь ироническому смыслу лежавшей перед ним телеграммы. Потом нахмурился, как будто лучший его друг подпустил ему шпильку. Спокойный корабль все плыл и плыл, и вдруг за плечами у него послышался голос:

— Что это у тебя, Фред?

— Сообщение, — ответил он, не оглядываясь, прикрыв листок ладонью, чтобы она не увидела. — Я веду прием с пароходов.

— Это я знаю.

— Тут много всякого, — добавил он дружелюбным тоном, сам не зная почему. Наушники сползли у него на шею, он прокрутил стрелку по всему диапазону коротких волн, и этот звук напомнил Нэнси, как девочкой она бегала мимо больших клеток, полных щебечущих птиц.

— Ну, например?

— Телеграммы и разные другие сообщения. Так, ничего особенного. А вот эта забавная, послушай.— Убрав руку: — ФРЕД ХАРГРИВЗ УЕЗЖАЕТ ЧЕТВЕРГ ЧАС ДНЯ.

Она повернулась к нему.

— Неужели ты уезжаешь, Фред? Нет, я не верю.

— Так сказано в телеграмме. Какую ни приму, текст один и тот же. Сам удивляюсь.

— Говори по-человечески! — крикнула она.— Нельзя тебе так уезжать!

Он засмеялся — будто сердце скрипнуло о ребра.

— Нельзя? Ишь ты!

— А как же работа?

— Работа всегда найдется.

— А как же я?

Он положил наушники на стол и проговорил с пугающим спокойствием:

— Об этом тебе, шлюхе, надо было раньше подумать и не заводить щенка черт-те от кого.

— С этим покончено. Я же тебе сказала. Неужели ты все еще не веришь?

— Ты мне много чего говорила, — ответил он, скорее ворчливо, чем с обидой. — И что ни слово, то вранье.

— Я думала, так будет лучше.

— А с этим прохвостом гуляла — это тоже к лучшему?

Его крик испугал ее, карие глаза под насупленными бровями так сверкнули, точно месяцы, проведенные в больнице, ничем ему не помогли. Соседи рядом в доме и во дворе услышали их крики. Неужто дознался? Ай-яй-яй!

Она все еще не сменила нового платья, специально надетого в поездку за Фредом, и оно подчеркивало, что талия у нее располнела.

— Я не виновата, — крикнула она и, борясь со слезами, добавила: — А на что ты, собственно, рассчитывал? С тех пор как Айвор умер, у нас с тобой ничего не было. Сколько же это терпеть? Я больше не могла так.

— Но поступила ты подло. Признайся!

— Подло не подло, а умолять тебя, на колени перед тобой становиться я не намерена. И не жди.

Она вытянулась в струнку и с ненавистью посмотрела на него.

— Твоя вина не меньше.

— Я ухожу, — сказал он. — Все.

— Уходи. Пожалуйста.

Повернутая в сторону голова, голос звучит твердо, с механической ровностью — решение принято. И это спокойствие словно каленым железом обожгло ему глаза. Такого он не мог перенести. Оглушенная горем, она не заметила взмаха его руки. Сокрушительный удар с тяжестью валуна, подхваченного ураганом, пришелся ей по скуле, отбросил ее назад, колени у нее подогнулись. Еще один удар кулаком, еще. Она повалилась на кровать, словно подкошенная собственным криком. А матери потом было сказано:

— Он никогда меня раньше не бил и больше не посмеет. Хотя... может, я все-таки заслужила это?

Он разорвал телеграмму, скомкал и швырнул комок в дальний угол. Потом подошел к Нэн и стал утешать ее, и доведенная до отчаяния любовь, пройдясь по ним своими коваными копытами, вернула их вспять, к обычному течению супружеской жизни.

*Перевод с английского Н. ВОЛЖИНОЙ.*

## ИВАЙЛО ПЕТРОВ

# МАЛЕНЬКИЕ ИЛЛЮЗИИ

*ЗДРАВСТВУЙ, ИВАЙЛО!*

*Письмо — это тоже маленькая иллюзия. Иллюзия беседы... Я предпочитаю настоящую беседу, но так как сейчас это невозможно, я тебе пишу. Я согласился представить читателям журнала «Иностранная литература» хорошо мне знакомого*

*писателя Ивайло Петрова и рекомендовать им несколько твоих «Маленьких иллюзий».*

*Как же мне это сделать?*

*Сначала я хотел написать так: «Ивайло Петров — один из талантливых представителей нашей современной болгарской прозы, сформировавшийся как писатель после освобождения нашей страны от фашизма»... Хорошо. Но об этом можно было бы сказать не только удачнее, но и не только о тебе.*

*Потом я подумал, что будет лучше, если я дам очень короткие отзывы в несколько слов на твои рассказы «Крещенье», на повесть «Нонкина любовь», на роман «Мертвая зыбь» и на последние твои «Маленькие иллюзии». В нескольких словах сделать это очень трудно. Тем более, что твои книги так различны между собой.*

*Вообще — это нелегкая задача. Подобное представление скорее всего требует возвышенного тона юбилейной статьи. А я не хотел бы этого. Ведь и ты не любишь искусственно возвышенный тон. А что ты любишь? Мне трудно сказать тебе, что я это знаю, мне трудно сказать и самому себе, что я имею об этом представление.*

*Когда я спрашиваю себя об этом, передо мной встает несколько Ивайло Петровых: хитроумный крестьянин со строгими, недоверчиво нахмуренными бровями, который держит в руках патриархальные четки и партийную газету «Работническо дело»; солдат на фронте, мужественно исполняющий нелегкий долг патриота, потрясенный до глубины души ужасами войны; ребенок, в глазах которого светится болезненно красивый и полный романтики мир; художник во французском берете, с капризной кистью, которая наносит мазки — нервные и смелые, точные и неясные.*

*А в «Маленьких иллюзиях» словно присутствует что-то от каждого из этих Ивайло Петровых — и притом самое лучшее. Здесь уже не несколько Ивайло Петровых, а один — честный искатель истины и поэзии для людей.*

*Не ошибаюсь ли я? Ищу подтверждения своих мыслей, и поэтому тебе и пишу.*

*Шлю сердечный привет из Москвы.*

***Тодор Монов***

# СТАРЫЙ КАШТАН

В то утро в наш квартал пришли трое мужчин. Они были одеты в зеленые ватники и вооружены топорами. Остановились под старым каштаном, закурили. Я стоял на балконе и смотрел на них. Спрашивал себя, зачем они пришли. Один из мужчин, тот, что принес заступ, переставил синюю скамейку и начал копать возле дерева. Двое других, поплевав на руки, принялись рубить. Удары топора разносились по парку. Ветви каштана вздрагивали, и с них слетали табачно-желтые резные листья.

Они рубили старый каштан. Это было красивое дерево, но, как каждое старое существо, немного сгорбленное. Его ветви протянулись над бульваром, словно черные искалеченные руки. Каштан нарушал строй

деревьев, которые были моложе и прямее его. Он должен был превратиться в золу или доски для забора. Умереть.

С жалостью смотрел я, как из-под острия топора отскакивали щепки, живые части каштана. Сколько раз я сиживал на синей скамейке, прислонившись головой к его шоколадной коре. С приятелями, с любимой девушкой, полный самых возвышенных мыслей и печали.

К старому каштану никто не приходил с дурными помыслами. Здесь на глазах у всего квартала никто никого не обманул. Никто не обдумывал на синей скамейке измену или темную сделку, убийство или предательство. Старый каштан слышал беседы хворых стариков и пенсионеров с угасшими чувствами, невинные ссоры детворы, шепот влюбленных, которых смущают уединенные уголки парка.

К рабочим подошли три старушки с мешками и принялись собирать белые щепки. Два часа торчали они здесь и в молчаливом соревновании наполняли свои мешки. Топоры отсчитывали последние минуты каштана. Он склонялся все ниже и наконец упал с подавленным стоном. Упал в задумчивое осеннее утро. И в его смерти было что-то необычайно красивое и бесконечно печальное.

Старушки потащили свои мешки со щепками и, оживленно переговариваясь, пошли растапливать печки... Счастливые старушки!



## МОЕ ДЕТСТВО

*Симеону Султанову*

Самые счастливые для меня минуты — когда я вхожу в выставочные залы. В эти храмы, залитые мягким светом, празднично тихие и торжественные, где священнодействует искусство. Здесь все закончено и в то же время будто не доведено до конца. В каждом мазке горит великое неудовлетворение творца, в каждой раме заключено так много страстей и сомнений, так много веры и иллюзий. Я люблю стоять перед этим хаосом созидаемого, проникать по ту сторону видимого на полотне, в таинственную мастерскую художника. С благоговением преклоняюсь перед его величием и благодарю его за восторг, который он мне дарит, за веру в то, что и во мне живет частичка Бетховена, Пушкина или Моцарта...

Мое детство — это сон. Сказка, в которую я больше не верю, чьи страницы не могу уже ясно прочитать. Иногда я тщетно разгребаю толстый слой времени, чтобы прикоснуться к корням этого иллюзорного счастья, сделать глоток из источника моей жизни. Как мне хочется напиться этой животворной воды, но она течет в голубой дали десятилетий.

А художник дал мне каплю из этого источника. Чистую капельку, в которой отразилось все мое детство.

Пейзаж висел в глубине зала, где обычно помещают «малые» по форме произведения. Солнце клонилось к закату. Оно спряталось за позолоченными облаками, но мне представлялось желтым и огромным, пылающим, как угли в очаге, дарящим последние отблески, подобно мудрецу на смертном одре, простодушно и торжественно благословляющему живых.

Мы с мамой идем по дороге, что вьется среди полей, и я чувствую под ногами бархат пыли. На душе у меня легко. Какое-то неясное ощущение счастья заставляет меня козленком скакать впереди, поджидать маму и вдыхать исходящий от ее фартука густой запах молока, трав, кухни и еще какой-то аромат, свойственный только ей. Впереди нас прыгает то на трех, то на четырех лапах наша белая собачонка. Она уже за-

ворачивает к садам, и я завидую ей, потому что она вбежит в село раньше меня и раньше меня увидит дом, двор, кроликов, голубей, ягнят — моих товарищей, по которым я весь день скучал в поле.

Чудодейственное вдохновение художника возвратило мне любовь к этим бессловесным существам, которым были посвящены мои детские сны и заботы. Он вернул мне рубиновый блеск глаз кроликов, их фантастическую пляску на темном ковре люцерны, теплое воркование голубей под кровлей, жалостливое блеяние ягнят, которые с нетерпением маленьких пленников стремятся к материнской ласке; он вернул мне наполненные криками и неутомимыми играми прозрачные вечера и белые осенние ночи с падающими звездами, с суеверным страхом перед темными глубинами мрака, с первым трепетом перед тайнами мироздания; он вернул мне тот маленький, простой, мой собственный неповторимый мир, которого ни у кого из двух миллиардов людей нет и не может быть, который называется самым чудесным словом — любовь.

Я хотел выкупить свое детство. Оно стоило тысячу левов, а у меня не было этих денег. Когда же я достал их и пришел в выставочный зал, пейзажа не было.

Какой-то любитель искусства купил его. Долго я чувствовал себя ограбленным. Потом стал утешаться мыслью, что кто-то другой вроде меня нашел свое детство. Он повесил картину в своей комнате и, вернувшись после работы, с наслаждением может смотреть на нее, охваченный безмятежным счастьем.

Прошло время. Как-то я зашел в одно учреждение. По мозаичным плитам коридора шагало множество людей. Несколько человек стояло перед дверью с надписью «Архив».

Я встал в очередь и тоже принялся ждать. Мой взгляд упал на картину, висевшую в темном углу коридора. Неясное предчувствие заставило меня подойти и взглянуть на нее. Это было мое детство. Потемневшее и засиженное мухами, одинокое и чуждое взорам людей, которые пришли сюда для того, чтобы получить какие-то удостоверения и справки для своих будничных дел.

## ПЕРВАЯ ТАЙНА

Мои соседи по квартире Лили и Милойко Ивановы — милые и приятные люди. Женаты они три года, и без всякого преувеличения можно сказать, что их семья служит примером всем супружеским парам в нашем квартале. Милойко работает в министерстве и, по всей вероятности, станет начальником отдела. Он способный и необыкновенно трудолюбивый, но прежде всего добрый и прекрасный человек. Единственный его недостаток, по мнению мужчин нашего квартала, состоит в том, что он обожает свою жену. В какой-то степени мужчины имеют право презирать его, потому что их жены постоянно говорят о Милойко как об образцовом супруге. Но и мужья, если, конечно, им не изменит чувство справедливости, могут указать на Лили как на образец преданной жены. И она обожает своего мужа. Пока Милойко на работе, она не присядет ни на минутку. Убирает, выколачивает ковры, стряпает. Между нашими комнатами стеклянная дверь, заставленная шкафом, и я слышу каждый ее шаг. Во время уборки она любит напевать отрывки из популярных арий. Я вижу ее в окно, когда она выходит на балкон проветрить одежду. Ее пышные волосы отливают золотом, глаза по-детски радуются всему.

К вечеру возвращается Милойко. В руке у него букетик цветов. Цветы — его страсть. Зимой и летом он разыскивает их и преподносит жене. Одним духом он взлетает по лестнице и с нетерпением скупого рыцаря,

который устремляется к своему сокровищу, входит в комнату. Лили встречает его неизменным радостным восклицанием: «Ах, ты пришел!» Следует минута молчания. Милойко открывает буфет и говорит:

— У нас хлеба мало, пойду куплю.

— Нет, нет, вечером я сама...

— Вечером мы идем в кино.

— Как чудесно! Я знала, что ты купишь билеты на новый фильм. Говорят, интересный.

— А уголь на завтра есть?

— Я принесла.

— Зачем? Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не надрывалась! Посмотри, как ты бледна. Или ты снова хочешь заболеть?

В школьные годы у Лили было воспаление желез. Милойко не забывал об этом. Наоборот, ему, казалось, доставляет удовольствие напоминать ей об этом каждый день.

— Но ведро легкое,— говорит Лили.— И потом мне просто приятно немного подвигаться.

— Пойди лучше погуляй в сквере. Подыши чистым воздухом. В следующий раз ты будешь послушной, да?

Еще минута молчания.

Однажды я стоял у окна и увидел на противоположной стороне тротуара парня с большим букетом желтых хризантем. Он посмотрел на номер нашего дома и вошел. Немного погодя послышался звонок. Лили открыла дверь.

— А кто их прислал? — спросила она.

— Какой-то мужчина.

— Кто он?

— Не знаю,— ответил парень и сбежал вниз по лестнице.

Из передней Лили прошла в комнату. Я не слышал ее шагов. Немного погодя она появилась на балконе в новом платье. Лили смотрела то на прохожих, то на пожелтевшие листья деревьев, как бы ища кого-то. В этот день она несколько раз выходила на балкон, и глаза ее как-то странно блестели.

Пришел с работы Милойко. После того как дверь в комнату закрылась, послышался легкий треск, будто сломался карандаш. Милойко был не из тех, кто не замечает самых, казалось бы, неуловимых перемен в настроении жены.

— Что с тобой? Уж не больна ли ты?

— Нет,— ответила она.

— Да, но у тебя какой-то болезненный румянец.

— Ах, боже мой, перестань,— нервно сказала Лили,— то ты говоришь, что я бледна, а вот сегодня нашел какой-то румянец.

— Почему ты так нервничаешь?

— Ну вот, теперь я нервничаю. С чего ты взял? Наоборот, мне кажется, что ты немного не в себе...

— Это от радости, от того, что мне удалось купить чудесный букет. Но кажется, он тебе не понравился...

— Какой букет? Где? — тихо спросила Лили, и я уловил в ее тоне некоторое разочарование.

— Как, разве парень не принес его тебе?

— Н-ет!

— Ах он мошенник,— рассердился Милойко и взволнованно принялся шагать по комнате.— Сегодня утром, часов в десять, я увидел женщину с корзинкой хризантем и сказал себе: в другой раз мне вряд ли удастся найти что-либо подобное. Мне захотелось порадовать тебя. Я пошел и купил их. А потом дал лев какому-то парню, чтобы он отнес их тебе. А он утащил букет, негодяй!

— Жаль,— сказала Лили.— Ну, ничего. Еще купишь... Но только сам приноси, сам...

— Теперь меня не проведешь. Нет, подумать только, как меня обманул этот парень!

— Сходи за углем, он уже кончился. А растительное масло купил? Нет? Так я и знала, что забудешь. Сколько раз тебе говорить! Неужели я одна должна обо всем думать? — сказала Лили и стала готовить ужин.

Прошел месяц. Милойко все еще не может простить парню, обманувшему его. А Лили поет теперь лишь старинные романсы, навевающие тихую и сладостную печаль о чем-то неизведанном и прекрасном.

## МГНОВЕНЬЕ СВОБОДЫ

Надзиратель вошел в барак и сказал:

— Старик, ты свободен!

— Как, что?..

— Свободен, говорю. Забирай свое барахло и чтоб духу твоего не было!

Известие о его освобождении передавалось из уст в уста. Старик стоял у нар, смешно моргая, а по белой щетине на его подбородке струился пот. Десятки глаз были устремлены на него, в них можно было прочитать самые разные чувства. И, может быть, даже зависть. Нелегко смотреть, как кто-то перешагивает через порог свободы, а ты остаешься на каторге. Старик смущенно молчал и сжимал в ладонях свое последнее изобретение — паяца-гимнаста, который вертелся с легким и изящным безразличием куклы. В редкие минуты отдыха старик мастерил игрушки для своего внука с усердием, часто дававшим повод для шуток.

— Иди, старик! — сказал кто-то.

— Счастливого пути! — отозвались остальные.

Старик пришел в себя. Радость, словно вихрь, закружила его, и он, дрожа всем телом, стал рыться в своих пожитках, плача и смеясь, как ребенок. Он раздал свои теплые вещи, носки и одеяла товарищам и всем пожал руки. Приладил мешок с детскими игрушками и вышел из барака босиком, в одной рубашке. Во дворе стоял надзиратель. Старик прошел мимо него и в порыве радости отдал ему честь.

— Прощайте, господин надзиратель!

Мрачный усач молча кивнул и опустил голову. Потом закурил и сказал:

— Обманывают его. Комендант напился и вздумал шутки шутить...

Мы, восемьдесят человек, кричали, свистели, стучали в стены деревянными башмаками.

— Вернись, старик! Тебя обманывают...

Старик переступал босыми ногами, и никакая сила не могла заставить его вернуться. Глаза его были устремлены на голубой горный хребет. За этим хребтом, в маленькой котловине, куда садилось солнце, пряталось его село. Старику надо было идти пешком всю ночь и весь день по дорогам и тропинкам, чтобы добраться до дома. Его ждали две осиротевшие женщины и внучок, которому он нес целый мешок игрушек. Разве он мог вернуться? Разве он мог в простоте душевной допустить, что человек может быть виртуозом в своей жестокости?

Полицейские посмотрели приказ об освобождении, широко распахнули ворота и взяли под козырек. Старик взвалил на спину мешок с игрушками и устремился вперед, подобно человеку, которому предстоит долгий и счастливый путь. Но не успел он пройти и двух шагов, как полицейские бросились за ним и схватили его за плечи. Один из них был огромный и неуклюжий.

— Куда, дурак? Так просто из лагеря не выходят. Укрываешь партизан и хочешь, чтобы опять тебя к ним отпустили. Много чести тебе будет!

— У меня же приказ об освобождении! — кричал старик, размахивая листком белой бумаги.— Я пойду к коменданту... господин комендант!

Огромный полицейский выхватил у него приказ и разорвал на куски. Старик ничего не сказал. Он повернул назад и направился к бараку. За его спиной вспыхнула спичка и тут же погасла. Он шел медленно, и мы видели, как на фоне заката его силуэт колеблется, словно черная тень. Дойдя до середины двора, он остановился и схватился за сердце.

Послышался острый сухой звук падающего мешка с детскими игрушками. Старик наклонился за ним, ноги у него подкосились, и больше он не поднялся.

До поздней ночи лежал он посреди двора, и мы до поздней ночи не могли оторвать взгляда от темной мертвой фигуры. От обманутой человеческой надежды.

*Перевод с болгарского Л. ХЛЫНОВОЙ*



## СТУДЕНТ ИЗ МАНСАРДЫ

Этот тип хорошо знает, что пол его жалкой мансарды служит потолком моей комнаты. Но вопреки неоднократным просьбам не беспокоить меня он по-прежнему приглашает знакомых юношей и девушек потанцевать и... пофлиртовать.

Нет, на этот раз они были, кажется, только вдвоем, но под их шагами старый, ветхий потолок содрогался. Прямо ко мне на стол посыпалась пыль штукатурки. Танцуют и, представьте себе, распевают какие-то легкомысленные песенки, вроде «Кто слопал пирог», или отрывки из веселых арий. Поющий женский голос еще сносен, но мужской дребезжит и ужасно фальшивит. Я схватил попавшуюся под руку палку и постучал в потолок. На минуту они затихли, а потом разразились хохотом: «Занимайся своим делом!» И снова загнусавила старая, стертая пластинка...

Это повторяется почти каждый вечер. Топают, кричат, беснуются. И не желают знать, что нахальнейшим образом воруют у меня драгоценное время отдыха, размышлений и труда. Особенно неприятно, когда они расходятся. Спускаются по лестнице, как по какой-то крутой горной тропе. Смеются, шутят, а порой несут вздор. И, чтобы завершить шествие по моим нервам, останавливаются на тротуаре и кричат тому наверх еще целых полчаса. В этот момент он очень напоминает крысу, высунувшуюся из ловушки,— в него бросают камни. И наконец водворяется тишина. Но мне уже не удается продолжить работу. Я сажусь и начинаю писать фельетон о студенте. Один из тех уничтожающих фельетонов, которые никогда еще никого не уничтожили. Знаю, что он не очень-то повредит студенту, но зато хоть другие составят о нем мнение. Я рисую его таким, каким часто вижу в окне,— у него продолговатое невыразительное лицо, он худощав и к тому же сутул. Сутуловатость не придает ему обаяния, как это бывает иногда с одухотворенными личностями, а, напротив, только безобразит. Впрочем, это нисколько не влияет на его самочувствие. По улице он ходит расслабленно и как-то неуверенно... Во взгляде, насколько я успел уловить, сквозит то, что называется изысканным презрением ко всему окружающему. Одно только это пренебрежение, которое раздражает меня, как соринка в глазу, способно сорвать меня с места, и я готов бежать, чтобы разделаться с ним.

Я посылал ему несколько записок, но он даже не соблаговолил ответить...

В тот вечер терпению моему пришел конец. Ступеньки, ведущие в мансарду, были замусорены. Его милость не платил уборщице. На площадке стояла темень. Сюда с нижнего этажа чуть просачивался слабый свет. На стенах, сплошь испещренных всякими надписями, виднелись рисунки не особенно приличного содержания.

Звонка не было. Вместо него торчали две медные проволочки, похожие на змеиное жало. Я чиркнул спичкой. Вся дверь была залеплена бумажками самых различных расцветок и форматов: «Верни мне гроши, не на что сходить в кино. Чоки», «Жди меня в шесть у О. моста. М.», «До вечера буду в ломбарде. Ники», «Придешь ли на Витошу? Отправляемся завтра, две гитары», «Приду в 7. М.», «Была у тебя в 3. И.» и т. д. Целая коллекция приглашений на встречи и всевозможные развлечения.

Я решительно постучал в дверь. Музыка оборвалась, и его милость появился на пороге в модной клетчатой рубашке.

— Что вам угодно? — спросил юноша, и мне показалось, что он хотел добавить: «К вашим услугам, сэр!»

— Послушайте! — сказал я, схватив его за ворот.— До каких пор вы будете трепать мне нервы этими безобразиями?!

Он не сделал ни малейшей попытки освободиться, только прямо посмотрел мне в глаза. Мой гнев его не испугал, а, скорее, удивил. Лицо его приобрело мягкое и совсем невинное выражение.

— Извините, что мы побеспокоили вас! Но... прошу вас, проходите в комнату, разберемся. Здесь не совсем удобно.

— Хорошо,— сказал я после краткого колебания, а про себя подумал: «И там я тебе не спущу».

Мне не удастся его наказать, в этом я уже был уверен, но, по крайней мере, я смогу его как следует отругать.

Мы протиснулись через какой-то узкий коридорчик с поперечными перекладинами на полу и необмазанными кирпичными стенами.

Посреди комнаты сидела красивая девушка. Нет, она не была красива. Она была даже совсем не красива. Но излучала ту тихую, мягкую и пленительную женственность, которая вскоре будет пробуждать страсть. А пока это — нераскрывшийся бутон, испускающий благоухание и молодость. Она не была идеально сложена и казалась несколько пухленькой для своего возраста. Но все ее существо было соткано из тех тончайших линий и изгибов, которые появляются только под чуткой кистью художника. Она пристально взглянула на меня. «Чем недовольны? Не совестно вам ссориться с нами?» — укорял меня мягкий, чуть затуманенный, но проникновенный взгляд. Я ничего не мог ему ответить. Хотелось уйти, но что могло быть глупее? И вот я уже сидел на маленьком стуле, предложенном студентом, и разглядывал мансарду.

Потолок ее был так изогнут, что своими краями почти упирался в пол. Посредине, где расстояние между потолком и полом было самым большим, на длинном шнуре свисала желтая лампочка. Точь-в-точь как те осенние груши, которые крестьяне подвешивают к потолку, чтобы сохранить плоды до нового года.

Пол был перекошен, местами даже провален, но чист. По нему крест-накрест расстилались две дорожки, сшитые из лоскутов,— так называемые «мамины дорожки». На гвозде висел завернутый в бумагу костюм студента. Под провисшей пружиной матраца виднелось несколько корзинок, залепленных печатями из красного воска. А сверху, через оконце, заглядывали звезды...

Все в мансарде было до смешного бедно, но от всего исходило мягкое, пленительное обаяние молодости, как и от самой девушки. Это, по-видимому, оттого, что ее пухленькая рука дотронулась до каждой

вещи и оставила на ней след девичьей чистоты и прелести. Она наклонилась и снова завела пластинку.

— Ну, теперь давайте поговорим,— сказал студент, усаживаясь против меня.

— О чем? — смутился я, так как действительно не знал, о чем с ним говорить.

— Может быть, мешает пластинка?

— Нет, нисколько...

— Извините, что мы иногда беспокоим вас.

— Что вы!

— Сегодня вечером мы отмечаем день моего рождения,— добавила девушка.— Мы трезвенники, поэтому угостим вас фруктовым соком. Не правда ли, смешно?

— Что именно?

— Что мы угощаем вас фруктовым соком.

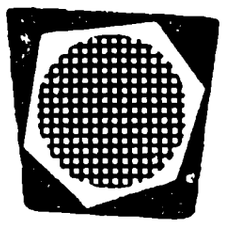
— Напротив, очень оригинально!..

Она наполнила стакан и протянула мне. Пластинка извергала каскад звуков ча-ча-ча, и ноги девушки постукивали в такт мелодии. Она взяла студента за руку и молча пригласила его танцевать.

Я медленными глотками тянул фруктовый сок, смотрел на кружащуюся пару и слушал модный танец, который так ненавидел до сих пор. А он был не так уж плох и даже показался мне звучным. Он разбудил во мне воспоминание о студенческих годах, о молодости. О той дерзкой и порой безрассудной юности, которая заставляет пожилых и почтенных людей презрительно кривить рот и повторять: «Ах, это легкомыслие теперешней молодежи! Такими мы в свое время не были!..»

Я покинул мансарду в полночь...





## СМЕРТЬ РЫЦАРЯ

беденное время было на исходе. Я все еще не мог выбраться из болот, окружавших Искыр. Сапоги увязали в жидкой грязи. Ружье оттягивало плечо. Меня одолевала жажда, но я упорно сопротивлялся ей и даже не присел отдохнуть. Воображение властно влекло меня вперед. Каждую минуту я ожидал услышать тревожный писк легкокрылого бекаса или увидеть стаю уток.

Широко расстилалось поле. Пустынное, томное, упоенное первой лаской солнца. Вокруг лежала неспокойная тишина ранней весны, в которой угадывался могучий порыв возрожденной жизни. Поднималась белая дымка. Болотную гладь целовала суровая девственная синева небес. Вершины гор белели снегом, безудержно таявшим в лютой борьбе с солнцем. С гор в бешеном порыве сбегали реки и потоки. Природа готовилась к своему священному обновлению.

Солнце клонилось к западу. Угасло и легкое марево, дрожавшее над полем. Поблекшие смешанные краски села прояснились в серой дали, бросив на отроги гор рыжие тени.

Утомленный и почти смирившийся с неудачей, я двинулся к ближайшей железнодорожной станции. И тут вдруг заметил двух птиц. Их силуэты медленно плыли по гладкой поверхности болота, отражавшей золотистый блеск заката. Они всплескивали крыльями, ныряли, налетали друг на друга. Затем, прильнув клювами, подолгу оставались неподвижными. Охваченные любовной игрой, они еще не замечали меня. Я находился от них почти на расстоянии выстрела, но если бы и оказался ближе, все равно не поднял бы ружья. Эта благородная мысль наполнила меня гордостью и достоинством.

Во мне бродила нескрываемая радость от того, что я оказался сви-

детелем таинства любви, перед которой отступили темные инстинкты человеческого сердца. Однако все существо мое дрожало, как в лихорадке. Я знал, что мог подстеречь их, прокрасться ползком и убить. И потому, вынув патроны и спрятав их в карман, двинулся вперед. Никогда еще во мне не боролись с такой силой два начала: добро и зло. Никогда ни одна добродетель не стоила мне стольких терзаний.

Чтобы не видеть утку, я даже отвернулся, и тут неожиданно в поле моего зрения оказалась старая, забытая засада. Если спрятаться за нее, то влюбленных можно накрыть одним выстрелом. Надо было преодолеть ручей. Стремительный поток, резво сбегавший вниз с вершины горы, залил водой сапоги, достиг пояса и толкал меня назад.

Я расположился в засаде. Птицы не расставались.

«Нет! — убеждал я сам себя.— Не убью, не могу, только прицелюсь, только удовлетворю свою охотничью страсть и уйду, не нарушая их покоя».

Сердце в груди колотилось. Я то прицеливался в птиц, то отводил ружье. Все вокруг благоухало весной и порохом. Я выстрелил.

Над болотом поднялось серебристое облачко брызг. Птицы вспорхнули и взвились над солнцем. Описали круг и пролетели над засадой. Еще раз раздался выстрел. Одна из птиц встрепенулась, крылья ее обвисли, и она камнем упала в нескольких шагах от меня. Птица лежала на воде, безжизненно распластав крылья. Ее оперение было пепельно-серым с коричневыми крапинками. Только на хвосте была белая зарубка. Оранжевый клюв украшали белые ресницы. Это оказалась лопатарка.

Я вылез из засады и закурил. Не хватало духу пойти и поднять лопатарку, но в то же время самолюбие тешило то, что она лежала передо мной смертельно раненная. Глядя на нее, я вспомнил рассказ старых охотников о том, что если убита самка, то самец будет кружить над ее трупом до тех пор, пока сам не станет жертвой.

Оказалось действительно так. Лопатарь, исчезнувший вместе с другими птицами, скоро вернулся. Он пронесся над моей головой, растаял в сиянии заходящего солнца и появился с противоположной стороны. Летел он низко. Слышен был даже шум его крыльев. Многоцветное оперение пронизывали лучи, окрашивая его то в сине-зеленый, то в оранжево-красный цвет. Я выстрелил. Но он не дрогнул и, не меняя своего курса, улетел вдаль. Пока я перезаряжал ружье, он вернулся, и между нами завязалась борьба. Лопатарь спускался все ниже. Я слышал, как из его груди исторгались звуки безмерной скорби. Той скорби, которую человек выразил бы криком... Он пленил меня красотой и рыцарским противостоянием смерти. В голове пронеслась смутная и ужасающая мысль — мне хотелось убить и его, это воплощение гордой, мужественной красоты. Холод пробежал по телу. Руки задрожали, но уже в следующий миг мною овладело необыкновенное спокойствие. Я не испытывал ни угрызения совести, ни сожаления к птице. Я должен был его убить. Я неторопливо прицелился. У меня оставался еще один патрон...

Лопатарь кружил над головой, смелый и беззащитный, словно собираясь сокрушить меня своим подвигом. Я даже начал терять уверенность в том, что сумею победить его. Руки мои ослабли, взгляд затуманился, я видел только темное пятно, паривше в воздухе и опускавшееся все ниже ко мне. И нажал курок последний раз...

По небу плыли редкие облака. Вся земля дышала белым паром. Природа трепетала от любви. Я вскинул ружье и только теперь ощутил, что в моей груди поселилась какая-то тяжелая пустота. Перед тем как тронуться в путь, я еще раз оглянулся на болото. Оттуда за мной следило живое рыцарское око.

*Перевод с болгарского В. ЛЕГЕНТОВА*

АНДРЕ СТИЛЬ

# Тишина

*Эта новелла была напечатана в юбилейном тысячном номере «Леттр франсез». Не могу сказать, что она мне нравится больше всех других новелл Андре Стиля. Возможно даже, что в этом году мне доводилось читать более удачные рассказы разных авторов. И все же я посылаю вам именно эту новеллу.*

*Литературная жизнь во Франции сложна, критика порой нелепа и часто несправедлива в своих оценках. Схематизм свирепствует во всех лагерях. Стиль — нагляднейшая жертва схематизма литературной критики. Думаю, что Арагон и я — два человека в узком литературном мирке — должны воздать Андре Стилю по заслугам. Андре Стиль был удостоен за свои романы Государственной премии СССР; член Центрального Комитета компартии Франции, в те годы главный редактор «Юманите», он в период «заговоров» был брошен в тюрьму. Следовательно, в период «холодной войны» он просто не мог считаться талантливым: всякий, кто хвалил его книги, тотчас попадал в «агенты Москвы». С другой стороны, он — единственный французский писатель, героем книг которого всегда является этот многоликий, громоздкий, причиняющий массу неудобств персонаж — пролетариат, персонаж, самое упоминание о котором уже рассматривается как подрывное действие. Пролетариат обрисован в его книгах не натуралистически, автор знает его не как репортер, поверхностно и приблизительно — он жил в департаменте Нор, в самом сердце страны шахтеров и металлургов, чей говор он нередко заимствует, чьи нравы и обычаи он воспроизводит. В нашем обществе, разделенном кастовыми перегородками, в обществе, где писатель говорит со знанием дела лишь о своем собственном классе и где рабочий класс лишен обычно прав на культуру и не может рассказать о себе самом устами своих сыновей, Андре Стиль совершил чудо: он стал писателем, для которого пролетариат — не чужой. Разумеется, во Франции много писателей-коммунистов. Но таких, как Стиль, больше нет.*

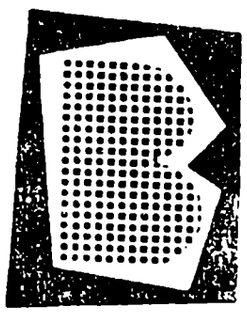
*Специфические условия позволяют Стилю быть не похожим ни на одного другого писателя; но условий этих совершенно недостаточно для того, чтобы объяснить своеобразие его таланта, который питают другие источники — его культура, любимые им книги, его ум, его сердце, — не знаю, из чего еще создается индивидуальность поэта и живописца. Живописца прежде всего. Он — пейзажист, и его пейзажи трогательны, как плохо одетая девушка, они лишены изящества и очарования, всегда загромождены шлаком, заводскими трубами, хибарами. В еще большей мере он мастер натюрморта: читатель никогда не забудет кофейника на краю печки, не забудет*

*трубки на краю стола, не забудет ведра на куче мусора — простых непритязательных предметов, дорогих лишь одному человеку, вызывающих воспоминания лишь у одного, по причинам, знать которые может только один человек, или без всяких причин, — и вот художник преобразует их, чтобы и нас с вами взволновала душа неодушевленных вещей.*

*Я люблю романы Стиля, но бесконечно больше люблю его новеллы, они как-то больше соответствуют его сдержанности, его целомудрию, самому его стилю. Он находится часто где-то на полпути между безличным повествованием и внутренним монологом, воспроизводя одновременно действия своих персонажей и ход их мысли, особенности их языка; и нет ничего более трудного и опасного, чем эти задачи: достаточно одного слишком ученого слова, неуклюжего, буквально воспроизведенного оборота — и вся страница испорчена. При виде этого мира рабочих, его обстановки, его забот критика (если только она вообще удостаивает этот мир своим вниманием) кричит: «Пропаганда!» Тем более, что среди этих рабочих встречаются — боже милосердный! — борцы партии рабочего класса и что им не чужды проблемы, волнующие современников, начиная от американской оккупации и кончая войной в Алжире. Я знавал даже коммунистов, которые считали, что относиться к такой литературе свысока — значит доказывать, что тебе, как коммунисту, чужда узость. Схематизм навыворот... Андре Стиль изображает только рабочих. Возможно, показ людей других классов удался бы ему меньше. Это естественная для него форма выражения коммунистических убеждений. Он не льстит своим молодым парням, своим старикам. Он не усложняет их ради собственного удовольствия, но он и не упрощает их. Он говорит об их мучительном труде, об их удивительном мужестве, об их доверии, их раздумьях, их солидарности. Он понимает их.*

*Перед вами новелла Андре Стиля. Не столь важно, какая именно. Новелла этого года. Новелла настоящего писателя.*

***Андре Вюрмсер***



о дворе поет ребенок, поет и играет на барабане. Барабан — синяя эмалированная кастрюля с облупившейся эмалью, барабанные палочки — камешек. Но ребенок играет на барабане. Когда он останавливается, барабан продолжает играть. Это самая большая радость для ребенка: замереть с камешком в руке и слушать, как барабан продолжает играть.

Потому что отец — медник. Если говорить точнее, он железнодорожник, но после работы он чинит для всего поселка тазы, котлы, миски, баки. Паяет, выправляет днища. И стучит молотком. Вот ребенок и слышит грохот другого барабана, когда его, ребячий, барабан замолкает. Грохот другого барабана, который гораздо больше, чем его синяя кастрюля. Слушает другой барабан и беззвучно, повисшим в воздухе камешком, раз, и второй, и третий отбивает ритм того, другого, а потом снова колотит по своему барабану — так спешит попасть в ногу сбившийся

с шага солдат. Ребенок слушает гул барабанов, эту игру, это чудо, когда маленький барабан заглушает собою рокот большого.

А еще чудеснее, что отец — к тому же и барабанщик, всамделишный, настоящий. Он самый главный в оркестре пожарников; у них там трое взрослых мужчин да еще шесть или семь мальчишек, и просто любо смотреть, как шагают они воскресным солнечным утром, и на всех на них великолепная форма, и восемнадцать или двадцать палочек колотят по трепетной коже барабанов, в лад, в лад, в лад, как солдаты,— двадцать светлых барабанных палочек с медными наконечниками, и кажется, будто на деревенской площади мелькает множество вязальных спиц. Небо безоблачно, окна распахнуты настежь, и двери кабачков тоже распахнуты... И сейчас в руках ребенка не камешек, а все эти двадцать палочек. Да что там двадцать! Двести! Ну, а в молотке отца, если его слышно на весь поселок, сколько тогда барабанных палочек? Две тысячи, двадцать тысяч? А в камешке и в молотке, если их сложить? Двести тысяч? Настанет день, и ребенок узнает, что двести тысяч палочек, особенно воображаемых, могут существовать для человека гораздо раньше, чем он научится считать до двух.

Все могущество этих двухсот тысяч палочек, их удивительную неожиданность, внезапную грандиозность он постигает в те мгновения, когда вместе с его камешком замолкает и молоток отца.

Это все равно как вкус квасцов. Наверно, ребенок в свои полтора года не знает слова «квасцы». Но что такое квасцы — он знает. У отца есть квасцы — большой, как кусок мыла, кристалл, которым он трет бороду, как побреется. Он лежит на кухне, в выдвижном ящике зеркального шкафчика, возле бритвы — ребенок видел, как ее разбирают и собирают,— возле коробочки с лезвиями, возле флакона, от которого так хорошо пахнет... Побрившись, отец смачивает камень водой и проводит им по лицу. На ощупь кристалл совсем гладкий. Стоит ему высохнуть — и на нем проступают пятнышки крови. Ребенок карабкается на стул — ему нужно посмотреть на себя в зеркало. Потом он пытается выдвинуть ящик. За этим занятием его обычно застигают, хватают, спускают на пол. Но один раз ему все-таки удалось добраться до квасцов, и он лизнул кристалл... Вкус совсем не такой, как у мыла... Когда замолкают сразу оба барабана, его барабан и отцовский, он словно ощущает на языке вкус квасцов — нечто иное, нечто большее, чем ожидаешь, обрушивается на него, и мир в мгновение ока становится огромней, а небо — совсем прозрачным, как кристалл влажных квасцов.

Впрочем, когда говорят, что полуторагодовалый ребенок поет, это тоже не совсем точно. То, чем он занят, так же похоже на пение, как его старая кастрюля на барабан. Но он-то твердо знает, что он поет. Спроси́те его, поет ли он, он вам скажет «ага»; в этом «ага» — самое гордое «да» на свете.

Но он не знает другого: когда отец перестает стучать молотком, он делает это и потому, что хочет услышать ребенка; пока он работает, звук маленького барабана доходит до него словно бы изнутри, из его большого барабана.

Для отца эта игра на барабанах — еще и способ приглядывать за малышом. Мать ушла в лавку за мясом, она скоро вернется, минут через десять-пятнадцать. Малыш устроился на земле, на солнышке. Ему ничто не угрожает. Двор огорожен цементными плитами, железная калитка заперта на цепочку и на засов, колодец плотно закрыт чугунной крышкой, на которую для верности положен булыжник. Все в полном порядке.

И еще об одном никогда не догадаться ребенку: когда отец чинит тазы и котлы, каждый удар молотка, точно раскаты барабанного боя, вызывает и у него в душе целый каскад картин.

Прежде всего это картины, которые по утрам в понедельник проходят у него перед глазами. Кабатчица Эрнестина метет свой двор — выметает остатки чужих развлечений. Поднимаемый метлой ветер гонит перед собой красные и белые спички, окурки, пробки, стаканчики из-под лимонада, позолоченные обертки от шоколадок (их можно выиграть, покрутив нечто вроде лотерейного колеса возле прилавка), два-три мелка (ими пишут на грифельных досках бильярдисты или игроки в стрелку). Ветер настоящий, большой, даже если он слабый, как сегодня, и ветер от метлы — словом, любой ветер кружит весь этот мусор, взвивает его в маленьких смерчах, то собирает вместе, то развеивает по сторонам.

Эта картина открывается перед Фердинаном, когда он глядит на волю из распахнутого окна своего сарайчика,— картина яркая, залитая солнцем и точно перечеркнутая оконными прутьями, точь-в-точь как тюремная решетка, совсем черная, если смотреть сквозь нее на свет.

...Иногда и люди все равно что эти мелкие предметы: их сметают, их заслоняют предметы покрупнее. Взять хотя бы его, Фердинана, когда он на своем паровозе проезжает по виадуку над старинными крепостными валами или когда он пешком идет на станцию через тот же виадук,— так вот, если минутку постоять, прислонившись к шаткому ржавому парапету, и взглянуть направо, голова сразу начинает кружиться — там далеко, внизу, под ногами, течет река; а посмотришь влево — и голова кружится уже оттого, что невообразимо далеко внизу копошатся на своих огородиках, спокойно и невозмутимо, крохотные люди. А когда он едет на паровозе, тень от первого крепостного вала — она будто толчок, будто раскат барабана, и вот она уже позади, и перед ним в светлой глубине открываются огороды и люди, такие привычные, только очень маленькие, и сразу же — тень от второго вала, опять толчок, барабанный гул, и все уже стерлось. Сметено, как метлой...

И ты уже погрузился в темно-зеленую свежесть акаций, путь идет теперь через лес, по земле, что примыкает к древнему рву. А в огородах, наоборот, душно и жарко, в их глубину никогда не проникает ветер, солнце хранится там, как на складе. Точно ты попадаешь в маленькую Бретань, омываемую теплым течением,— помнишь, об этом рассказывали в школе. На этих огородах можно вырастить все, чего душа пожелает. Уж кому-кому, а Фердинану это доподлинно известно, он знаком с огородниками, видел их, что называется, в натуральную величину. Он узнает их оттуда, сверху, когда проезжает над хибарками, где они держат свой инструмент,— хибарки кажутся тогда спичечными коробками. Есть у него там даже свояк, и как-то в воскресенье они с женой у него обедали, прямо в саду, и после кофе, после рюмочки ликера... можно сказать, что все было как в лучших домах, сидели без пиджаков, но жилеты застегнуты на все пуговицы; правда, чувствовали себя немножко скованно, ведь аллеи в этих садиках не очень-то широкие, так что не развернешься... Да, так вот после рюмочки ликера свояк потащил его к грядкам показывать свою картошку. И вправду, таких огромных картофелин на другой земле не получишь. И года не проходит, чтобы на огородах крепостного вала не уродилось какое-нибудь чудо, какой-нибудь феномен: то репа в три кило весом, то морковка, похожая... черт знает на что! Фотографии в газете. Один из огородников — теперь он уже не казался маленьким, когда стоял перед тобой,— он притащил целый ворох газет и все радовался — «Взгляните-ка на этот снимок!» — что земля у них такая щедрая. Но в тот воскресный вечер Фердинан почти не смотрел себе под ноги, на землю, на огороды. Опора виадука — вот что его поразило, она была огромна, он никогда до этого не видел ее снизу. Поразительно было и то, что оттуда, снизу, едва можно было разглядеть парапет, и когда по виадуку прошел маневровый паровоз, один, без состава, он показался игрушечным; Фердинан прекрасно знал по времени, по расписа-

нию — кстати, который тогда был час? Теперь и не вспомнишь,— знал, что там, в паровозе, сидит Тентен Мазюр и что через десяток секунд паровоз опять проедет по виадуку, только уже задним ходом, знал и все-таки... Высотища такая, что даже паровоз, этакая махина, кажется козявкой, просто козявкой! «Люди, — думает Фердинан,— одни и те же люди, видишь ли их вблизи или издали... Иной раз все зависит... А сам-то ты...» Фердинан представил себя там, «наверху», в машине, на месте Тентена Мазюра, и к тому же в состоянии некоторой отрешенности, которое наступает после рюмочки ликера... Представил себя самого, и каким он кажется, если смотреть на него вблизи или издали... «Рраз! И поминай как звали!» — это Эрнестина напоследок прошлась метлой по мусору; видно, довольна, что с этой работенкой покончено, и даже закричала от удовольствия, пусть все вокруг слышат, что мусор уже в канаве; последний взмах метлы получается особенно мощным, метла взлетает над головой; Эрнестине не хочется лишний раз бегать взад-вперед по двору, и, прежде чем отправиться в свое заведение протирать полы мокрой тряпкой, она швыряет метлу к дверям кухни. Если Фердинан не услышал звука падения метлы на залитую асфальтом полоску тротуара, бегущую вдоль дома, то только потому, что как раз в этот миг он ударил молотком... А ведь правда, с людьми так всегда бывает: считают себя маленькими, а на самом деле большие, считают себя большими, а сами-то маленькие, и вот — «Рраз! И поминай как звали!» — как говорит Эрнестина...

Вот едешь ты на своем паровозе, предместье позади, и позади глухая стена огромного жилого дома, тут всегда приходится давать свисток, потому что повсюду скрещиваются подъездные пути шахт,— и вдруг внизу, под откосом, возникает маленькое футбольное поле, зеленое с белым, а вокруг грязная цементная стена, и ты прямо попадаешь на матч. Все залито солнцем, кругом полно народу, барьеры трибун только что побелены, и поле размечено свежей известью, и ворота тоже сверкают белизной... Два или три футболиста в красных майках и один в зеленой бегут по полю, но у тебя нет возможности даже разглядеть, где там у них мяч, успеваешь только схватить слухом самое начало крика, который вырывается сразу из двухсот или трехсот глоток, и все уже скрылось, снова стена. Кончилось. Исчезло. Сметено. Все кажется бессмысленным. Что они делают, эти люди? Зачем они бегают? Посмотрели бы на себя со стороны... Для тебя это бессмысленно, а для них? Они даже не заметили тебя, и вообще сколько человек с трибун проводило глазами твой поезд, тебя, работающего в воскресенье в вечернюю смену и исчезнувшего за стеной, покрытой рекламными щитами, где намалевана огромная пачка цикория? Эта стена для тебя — толчок, раскат барабана.

И сразу же — дворик маленькой фермы, жара, солома, сухая глина, петух клюет курицу, и — «Рраз!», как сказала бы Эрнестина,— высокая серая башня, квадратная, точно эта мастерская, и голубятня без голубей. Он знает там все наизусть; подумать только, ведь сколько раз катается взад и вперед...

И тотчас — огромное ярко-желтое поле, прямо в лицо. Иногда кажется, что поле спит, чувствуешь жар его дыханья — так сейчас в раскрытое окно дышит на тебя улица; иногда поле чуть колышется, то там, то здесь пробегает ветерок и расчесывает пряди пшеницы.

Квадратная башня напоминает его мастерскую. Когда-то здесь была акцизная управа. Четыре толстенных черных стены, как у старинных шахтных зданий; может, эти стены и не такие древние, как крепостные валы, но вряд ли намного их моложе; во всяком случае, они чернее, чем налетающая на паровоз тень крепостного вала, тень глухой стены, тень башни без голубей. Черная стена бросает свою черную тень совсем

рядом с ребенком, который сидит на солнце и... Фердинан перестает стучать по днищу кастрюли... Да, малыш все еще играет на барабане; что ж, отлично, есть еще несколько спокойных минут.

В этих четырех стенах — одно-единственное окно, вот это самое, с решеткой, как на тюремных окнах; но солнце, падающее на засаленный верстак, кажется от этого еще ослепительней и ярче. Снаружи под самым окном когда-то стояли старинные весы. Фердинан их еще помнит, они тут же начинали раскачиваться, стоило человеку ступить на них. На весах любили качаться дети... А потом доски совсем сгнили, ступать на них стало опасно, особенно для детей, и пришлось весы сбросить в ров. Это было как раз тогда, когда старую булыжную мостовую заменили щебенкой — не здесь, а подальше, на отрезке шоссе Брюнео... Съездил раз-другой грузовичок с опрокидывающимся кузовом, и вот уже никто не помнит о старых весах... «Рраз, раз!» — пришли дорожные рабочие, поработали трамбовками, и весов как не бывало, все сметено — из памяти людей исчезает еще одно воспоминание о прошлом или позапрошлом веке.

Отец Фердинана, тот был настоящий медник. Не в свободное время, а весь день. У самых черных стен бывшей акцизной управы он построил маленький белоснежный домик и попросил в мэрии уступить ему здание акциза под мастерскую. Ему разрешили взять дом бесплатно, он ни гроша не платил за аренду, но его в любой день могли выселить. Он никогда не чувствовал себя уверенно. Говорил: «Живем как на качелях...» Его так никто и не выселил. Но до сих пор и в этом деле, да и в сотне других нельзя чувствовать себя уверенным...

Здесь, в мастерской, мрачно, стены не только черные, они сырые, холодные — даже когда на улице жарко, как сегодня. Доски верстака впитали в себя сырость, да еще масло, лаки, кислоту, так что они вполне могут соперничать в чистоте с земляным полом. Работать можно только у окна, по углам темно, лишь в дверь — он чуть-чуть отворил ее, чтобы приглядывать за малышом,— пробивается полоска света. Дверь приоткрыта, но привязана веревкой, чтобы малыш не вошел, не начал все хватать руками, не дышал этой мерзостью. Если бы не удары молотка, ребенок ни за что не остался бы один во дворе. Молоток составляет ему компанию. Его маленький барабан не одинок. Просто ужасно, до чего нынешние дети не могут ни минуты побыть в одиночестве, обязательно подавай им общество. На дворе солнце, светло, тепло, но он лучше придет сюда, в полумрак, сырость, холод, лишь бы не оставаться одному.

Кислота в пузырьках, гарь от паяльной лампы... Бабушка, мать Фердинана,— она еще жива — всегда говорит, заходя к нему: «Ну и воздух у тебя!» Этим она никого не обманет. Ведь делать ей тут нечего, а она наведывается очень часто, и все понимают: ей хочется подышать воздухом, которым всю жизнь дышал ее старик. Так что и она, все равно что малыш, только, конечно, по другой причине, готова променять солнце на этот сарай.

Ребенок может испугаться любого пустяка, и от любого пустяка он приходит в восторг. Вкус квасцов... Кто не знал этого в детстве? Между Фердинаном и малышом добрых сорок лет разницы, но Фердинан до сих пор чувствует вкус квасцов на кончике языка... Даже не квасцов, а какой-то совсем другой, не похожий... Была зима. Мать приготовила для кого-то — скорей всего для отца, у него вечно что-нибудь болело — припарки из льняного семени. Горячее семя лежало на краю стола — то ли его уже использовали, то ли собирались использовать. Фердинану было тогда года два или три; он просто сгорал от любопытства. Льняное семя добавляют и в отвар для питья. Правда, весь жир, всякие там листочки, веточки от вишен, коренья остаются на дне сита, а потом выбрасываются на помойку — рраз! — но вряд ли это ядовитая штука... И вот Фердинан

ребенком улучил момент, когда мать отвернулась, и схватил пропитанную отваром тряпку. Под ней лежало льняное семя, мокрое, гладкое, блестящее. Он лизнул. Противно. Но при этом он нечаянно сдвинул припарки с места, на самый край, и вот уже закапало, закапало — опять барабан! — на цементные плитки пола, быстрее, быстрее и — рраз! — все уже на полу.

Еще ярче, чем это воспоминание, живет где-то в душе у него образ маленького ночника, стоявшего в спальне родителей. Ночник был из прозрачного синего стекла, и керосин внутри тоже казался синим, только побледнее, чем стекло.

Ребенок и взрослый не так уж далеки друг от друга. Вот сидит Фердинан, присматривает за сыном, вернее, прислушивается к нему, но ведь при этом он вслушивается в самого себя. Ребенок, он всегда внутри взрослого, как меховая подкладка в пальцах перчатки, одно движение — и вывернул наизнанку. В самых простых, незатейливых людях есть нечто такое... и корни этого «нечто» уходят в такую даль... Вот послушай-ка, барабан... бить в барабан, в ногу, в ногу, колотить в барабан, в ногу, в ногу, в барабане всегда заключено что-то притягательное для человека, какое-то смутное удовольствие, когда у тебя под рукой трепещет шкура животного и дрожь ее заставляет и тебя дрожать в унисон, и тебя, того, кто играет, в ногу, в ногу, и тех, кто слушает, в ногу, в ногу, кто стоит по обе стороны дороги, прижавшись друг к другу, стиснутый толпой, и все связаны воедино этим трепетом — в ногу, ребятки, в ногу!.. Вы там, двое, ну-ка, веселее!.. Все связаны, как деревья на морском берегу, все гнутся в одну сторону под порывами ветра, и привыкают к ветру, и остаются склоненными в одну сторону, даже если ветра нет... В ногу, ребята, в ногу... А вы там, сзади, можете тоже шагать следом, если хотите, до самого памятника жертвам войны, в ногу! И все эти люди, а они точно дым от паровоза, когда ветер гонит его в ту же сторону, в какую идет поезд,— вам приходилось замечать такое? — и с той же скоростью, с какой идет поезд, и дым кажется огромным, и поезд — в сто раз больше, чем он есть на самом деле... и кажется, что идет он тоже быстрее... Когда Фердинан колотит по днищу кастрюли, в ногу, в ногу, ему иногда хочется и вправду поиграть на барабане. А почему бы и не разрешить себе это удовольствие? Свой рабочий день — настоящий, на железной дороге — он отработал. Теперь он сидит, так сказать, сверхурочно. И сам кое-что подработает, и соседям услугу окажет... Он на минуту бросает работу, огибает дом, сдерживая себя, чтобы не перейти с шага на бег — как бы это выглядело со стороны! — но все равно почти бежит; он входит в маленькую прачечную, срывает со стены барабан, великолепный, даже слишком великолепный, слишком новенький и сверкающий на фоне этой голой кирпичной стены, перекидывает через плечо перевязь, берет отливающие медью палочки — давай! Дрожью отзываются только стены, однако и это лучше, чем ничего.

Но сегодня он не разрешит себе такого удовольствия, ему сегодня не до того. За малышом надо смотреть, для малыша самое лучшее — сидеть на солнышке. Да еще надо поскорее починить эту кастрюлю. Я весьма сожалею, вы опять будете говорить, что у меня пристрастие к непристойностям, но как тут выразишься по-другому; вот встретил я вчера Бернадетту, а она как крикнет мне во всю глотку да при всем честном народе— могу поклясться, что она не думала ни о чем дурном, да и я не думал: «Ты не забыл про мой зад, Фердинан? Мне он очень нужен!»

Вот и стучит Фердинан молотком по ее «заду» — по днищу ее кастрюли. Через час, самое большее, все будет кончено. Его молоток и камешек ребенка спелись на славу. Пусть малыш еще поиграет на своем барабане, сколько ему захочется. Это и так уже длится несколько минут, и очень хорошо, потому что у малыша особый вкус к перемене занятий.

Стоит ему за что-нибудь взяться — и тут же бросает, хватается за другое. Такого в нашей семье еще не бывало. Ни его отец, ни мать такими не были, и братишка совсем другой (ему теперь уже десять лет), а про деда и бабку я уж и не говорю. Дитя своего века, этот малыш. Но поглядите все-таки, как он старается подражать отцу! Опять же не обходится без барабана: сидя за столом в ожидании супа или к концу обеда, когда в желудке чувствуется приятная тяжесть, Фердинан иногда постукивает пальцами по столу, выбивает тревогу или сбор — стучит рассеянно, левой рукой, по хлебным крошкам... Странно, что левой рукой, ведь он не левша, но, видно, правая больше устает от работы... И вот — малыш. Не исполнилось ему еще и полутора лет, а его маленькие пальцы уже начали постукивать по дощечке высокого детского стула, подражая пальцам отца. Не было ему и полутора, когда он обнаружил, что, если приложить ухо к столу, когда отцовские пальцы выстукивают дробь, звук становится громким, гулким, в нем вмещается барабанных палочек еще больше, чем в молотке и камешке, вместе взятых.

А здорово грохочут их два барабана! В поселке небось ничего, кроме этого, не слышно. Прежде, работая за своим верстаком, Фердинан иногда слышал, что у его грохота есть соперники: женщины стучали сечками по толстым доскам, шинкуя овощи. Они барабанили так неистово, будто соревновались за звание лучшей хозяйки. Теперь с этим покончено, теперь это делают машины. После войны все заменили всякие там соковыжималки да картофелечистки. И еще один звук слышал Фердинан, бывало, в прежние годы между двумя ударами своего молотка: если воздух был чистый, откуда-то, словно из-за горизонта, доносился хрустальный звон наковальни. Теперь этого звука больше нет: кузнец Эмабль умер, умер бездетным.

Теперь если Фердинан что-нибудь может услышать во время работы, да и то только при особом направлении ветра... погоди-ка... да, как раз сегодня — удивительно, что раньше не заметил,— долетает издалека шум завода, тех его корпусов, которые всего ближе к поселку. Фердинан толком не знает, как там это все происходит, что это там гремит. Скорее всего что-то вроде электромагнита, который поднимает какую-то глыбу, бросает ее, поднимает, бросает, и все это за стенами толстыми, точно стены форта или бомбоубежища, какие были в войну, или вот как стены этой мастерской. Поднимает ли электромагнит тяжесть и обрушивает ее сверху на железо, разбивая его, или он поднимает связки этого железа и кидает вниз — этого Фердинан не помнит, а может, и никогда не знал. Но это не меняет дела.

Избиение, побоище! Шум побоища!

Слышно, наверно, во всех концах города. Чем больше народу, тем больше шуму. Здесь, в поселке, еще можно как-то сговориться с людьми. А в городе... И каждый год изобретают все новые шумы, один страшнее другого. Камешек малыша слышно в двух-трех домах вокруг. Молоток его, Фердинана, слышит весь поселок. Электромагнит — весь город. Говорят, испытательный атомный взрыв можно обнаружить с любой точки земного шара...

Вот тебе и раз, додумался! Готов был размышлять о чем угодно, но об этом... Сидит за своей работой, на душе спокойно, рабочий день завершен, малыш ведет себя, как никогда, чинно, сидит тут рядом, под боком. Откуда же эта мысль? Наверно, заводской шум на нее навел, и теперь над миром повис огромный невидимый электромагнит, над миром, полным железа... И завода-то ведь уже не слышно — то ли закончили работу, то ли ветер переменился или затих... Но стоило несколько секунд слышать его гул, и уже... может, оно и глупо, но не хочется больше стучать молотком по кастрюле. Подождет Бернадетта еще денек-другой, пока он починит ее «зад»...

Ребенок сидит на земле, он весь ушел в свою музыку. Фердинан осторожно берет его за руку, в которой зажат камешек, они идут рядом несколько шагов, потом отец поднимает сына к себе на плечи.

— Посмотри, где там наша мама.

Сразу за тротуаром — пруд, узкий, точно сдавленный берегами. Вода сегодня гладкая: ветер совсем утих.

Хорошо, когда тишина.

*Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА*

ЛЮЧИО МАСТРОНАРДИ

# Предприниматель

*Редакция «Иностранной литературы» поставила меня в затруднительное положение: она попросила выбрать для читателей журнала лучший итальянский рассказ за 1963 год. Тогда я подумал обратиться к моим друзьям — знатокам. Звоню одному известному критику и объясняю, в чем дело. «Положись на меня», — говорит, и через несколько дней получаю от него список с четырьмя именами и названиями. Мне ничего не оставалось, как выбрать одно из них. Затем еду в Рим, встречаю там другого критика, делающего хорошую и плохую погоду в литературе, и спрашиваю у него то же самое. Этот не раздумывает: как папа энциклику, диктует шесть лучших названий. Ни одно не совпало с четырьмя первыми.*

*Почему я выбрал Лючио Мастронарди? Может быть, нет рассказов «лучше»? Я отвечу на этот вопрос, ответив на другой. Кто такой Лючио Мастронарди? Мастронарди — сын учительницы и школьного инспектора, родился в 1930 году. Сам он учитель. Маловато, чтобы привлечь внимание. Но в 1959 году Элио Витторини, весьма известный писатель старшего поколения и большой открыватель и лепщик талантов, опубликовал в первом номере журнала «Менабо», которым он руководит вместе с Итало Кальвино, повесть Мастронарди «Сапожник из Виджевано». Повесть читали и комментировали с интересом, но ничто не позволяло предвидеть шумного успеха следующей повести, вышедшей в 1962 году, «Учитель из Виджевано». В несколько месяцев было продано пятьдесят тысяч экземпляров, цифра значительная для начинающего, по крайней мере в Италии. Тираж и ценность, известно, совпадают редко. Но в данном случае успех был оправданным.*

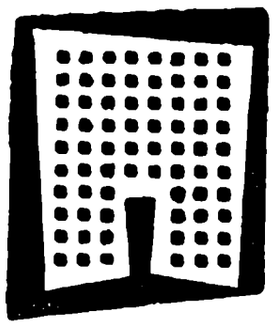
*Виджевано — это небольшой провинциальный городок Севера, один из второстепенных центров неокапиталистического «экономического чуда». Мастронарди хорошо знает Виджевано — он преподавал там в одной начальной школе. В его двух повестях этот городок, населенный людьми, которые целиком посвятили себя деланию денег и обуви (Виджевано — один из центров итальянской обувной промышленности), принимает тревожный, отталкивающий и вместе с тем комичней-*

*ший вид. Не Виджевано, а Содом и Гоморра, увиденные как зловещий гротеск. «Боже, как грустна наша Италия!» — хочется сказать, перефразируя знаменитую фразу Пушкина по поводу «Мертвых душ» Гоголя. Эта фраза пришла нам на память не случайно, потому что в гротеске Мастронарди некоторые критики увидели что-то общее с «Шинелью», «Носом».*

*Из очень своеобразных книг Мастронарди Италия «экономического чуда» выходит разрушенная, изуродованная. Такой же показывает он ее и в своих рассказах, написанных на своеобразной смеси литературного итальянского языка, жаргона и диалектизмов.*

*Монтале, крупнейший из наших живущих поэтов, отзываясь о Мастронарди, писал, что его книги надо рассматривать как вариант неореализма. И это так. Однако гнев Мастронарди, его разрушительная ярость, ожесточенная ненависть к «дегтю» (так в «Учителе» он называет удушливую атмосферу мелкобуржуазной среды, ее чванство и фальшивую порядочность) полны непримиримости к слепому механизму капиталистического производства и потребления. Италия, чья литература еще не имела «рассерженных», может быть, нашла собственного «рассерженного» в этом чудаковатом школьном учителе, который живописует в примитивистской манере жестокий и жестоко-комичный фарс, где главное действующее лицо — мелкая буржуазия итальянской провинции.*

***Витторио Страда***



атрон Джирини предложил мне хорошее место. Когда я вошел в разбитый вокруг его виллы парк, ко мне подбежало с полдюжины псов с золотыми ошейниками. У каждого висела медаль, тоже из золота, на одной стороне которой была выгравирована кличка, а на другой — масть собаки.

— Это, чтобы слугам легче было,— объяснил Джирини, направляясь к домикам в конце парка.

У порога, на низеньких стульях, сидели люди, наслаждаясь свежим воздухом. Господин Джирини сказал, что это все его слуги. Вон — слуга-садовник, а вон — слуга-привратник, слуга-шофер, слуга его дочки, служанка его жены и двое слуг, приставленных к собакам.

Я должен был давать уроки сыновьям слуг. Джирини велел оборудовать специальную комнату, примыкавшую к ризнице его домовой церкви, как настоящий школьный класс — с партами, учительским столом, доской и учебниками.

— Смотрите, как живут мои слуги,— сказал он, входя в один из домов и показывая глазами на стиральную машину и холодильник.— Все современные удобства: электрический свет, центральное отопление, холодная и горячая вода; и заметьте, все даром, прямо на блюдечке.

Он сказал, что происходит из семьи потомственных слуг, сам был слугой и знает, каково им приходится.

Затем он повел меня смотреть гараж. Семь роскошных, несерийных машин стояли впритык. Как объяснил он, по одной машине на каждый день.

— Раз в полгода я их меняю, все до единой,— сказал он. И скромно добавил: — Положение обязывает.

Мы отправились в его кабинет. Стены здесь были увешаны фотографиями, на которых министры, заместители министров, депутаты парламента пожимали господину Джирини руку. Все эти снимки были сделаны на выставке обуви. Затем хозяин показал мне свою библиотеку. Я увидел Большую энциклопедию Треккани в переплете из кожи настоящего орангутанга, тома медицинских изданий, переплетенные в крокодиловую кожу, Библию в переплете из телячьей кожи. Поглаживая один из томов, хозяин сказал, что такую редкую кожу теперь невозможно найти.

После библиотеки он стал показывать мне виллу. Добрых полчаса он водил меня по залам и салонам, обставленным: один — под антик, другой — в стиле модерн, третий — в тирольском духе, четвертый — а-ля Голливуд. Повсюду красовались портреты хозяина виллы, его жены, дочери, выполненные разными художниками нашего городка. Посуда и безделушки были золотые.

— В этой вазе ровно четыре килограмма триста граммов чистого золота,— хвастал Джирини, любуясь своим отражением на дне вазы.— А в этом золотом кувшине добрых килограммов двадцать.

Мы перешли в спальню. Здесь стояла огромная старинная кровать под балдахином, застланная шелковым покрывалом с бахромой.

— Я купил ее у графа С., у которого долгое время служил.

Подойдя к туалетному столику, он сказал, что в Виджевано только он один мочится в ночной горшок из золота. В доказательство он поднес горшок к моему лицу, и я убедился, что горшок и в самом деле золотой.

— А у жены горшок из платины — чтобы не перепутать.

Потом я сидел на диване и слушал, как дочка Джирини терзает рояль. Рояль был новый, известной немецкой фирмы и покоился на персидском ковре. Рояль украшали массивные золотые и серебряные канделябры. Жена Джирини сказала:

— Моя дочь училась в лучшем колледже Люцерна вместе с сыновьями принцев и внуками королей. Миллион лир в месяц, не считая денег на карманные расходы. Единственное, что там оставляло желать лучшего, так это еда.

Она предложила мне отведать дыни с ветчиной. Тем временем дочка расправилась с мазуркой Шопена и набросилась на мазурку Мильявокки. Вошли два пожилых синьора, до того схожие лицом и фигурой, что один казался двойником второго. Отличить их все же можно было по тому, что один носил очки, а другой — монокль. Это были графы С. Они принесли с собой пухлые папки, извлекли оттуда каталоги старинной мебели и вручили их хозяину.

— Гнилье одно! — воскликнул патрон Джирини и заказал мебели на несколько миллионов лир.

— Как учил господь! Живи и давай жить другим! — добавил он.

Его дочка обручилась с сыном промышленника, тоже из Виджевано и тоже владельца обувных фабрик. Город терзали сомнения, у кого капитал больше, у невесты или у жениха.

Когда я спросил об этом у Джирини, он даже обиделся.

— Запомните. Каждый волосок моей дочери стоит миллион. А она очень волосатая!

На такой свадьбе свидетелем со стороны невесты могла быть только мировая знаменитость. Джирини полетел в Монако, чтобы пригласить Каллас. Ничего не вышло. Тогда он попытался уговорить певицу Ниллу Пицци. Тоже не удалось.

Он совсем было сговорился с велогонщиком Коппи, но священник, служивший мессу, воспротивился, ибо Коппи состоял в незаконном браке. Свадьбу украсил своим присутствием Пелла, прибывший двумя днями раньше в Милан. А так как Пелла приехал туда с престарелым генералом Кадорна, то и на свадьбу они прибыли вместе.

— Разве Кадорна еще жив? — недоверчиво спросил Джирини.

Шаферами на свадьбе были графы С. В конце обеда патрон Джирини спросил, помнят ли они двадцать третье сентября 1936 года.

— Когда к вам во дворец пожаловала Мария Йозе и я прислуживал за столом! — умилялся он.

В тот день Джирини так растрогался, что неожиданно для всех понизил цены на обувь вдвое, весьма опечалив этим своих конкурентов. Это был не первый случай, когда он поражал их своими дружескими шутками.

— И не последний,— многозначительно сказал он друзьям.

Конфиенца — обычное бедное селение, окруженное зловонными рисовыми полями. Живет в нем несколько тысяч крестьян. Теперь же, благодаря Джирини, Конфиенца стала приобретать важное значение. Район Ломеллина считается отсталым, слаборазвитым; поэтому промышленник, выразивший желание основать здесь фабрику, получает всякие привилегии и льготы, начиная с весьма низкого налога. Конфиенца предложила Джирини землю вообще бесплатно, лишь бы выстроил там фабрику.

Джирини не заставил себя долго просить и перевел в селение одну из своих фабрик. Он уволил рабочих и служащих из Виджевано, благо крестьяне Конфиенцы довольствуются малым и ни о чем больше не мечтают, как получить работу на фабрике.

Облагодетельствованные патроном Джирини, селения Ломеллины сложились и преподнесли ему еще одну роскошную машину. Вскоре, к вящему огорчению промышленников нашего города, Джирини присвоили титул комендаторе. Джирини снова одурачил их, но они немедля перешли в контратаку. Многие уже перевели свои фабрики в ближние слаборазвитые районы, а другие вот-вот последуют их примеру.

Недавно Джирини показал мне свою восьмую машину. Она — предмет его особой гордости.

— Ведь мне ее подарили простые крестьяне!

На прошлой неделе он грубо нарушил правила уличного движения.

— Теперь у вас отберут машину! — сказал я.

Джирини даже бровью не повел.

— В гараже у меня еще семь стоят. Одной меньше будет!

Жители Виджевано сделали все, буквально все возможное, чтобы уговорить Джирини вернуть фабрику в город.

Вчера они даже воззвали к его совести.

## Сигарета

Я преподаю в четвертом классе начальной школы; среди моих учеников — и мой единственный сын. Учителя нашего городка взяли за правило сокращать срок пребывания своих детей в школе: либо они посылают своих отпрысков в школу с пяти лет, либо сажают их прямо во второй класс, а иной раз освобождают от пятого. Я хотел поступить так же. Но классный наставник моего сына придерживался иного мнения, и тогда я перевел сына к себе.

Обучать собственного сына нелегко. Как я ни старался быть объективным, ставить ему оценку, которую он заслужил, как ни требовал и от него, чтобы он обращался ко мне почтительно, на «вы», у меня всегда

было такое чувство, словно ученики и их родители уверены, что мы разыгрываем комедию.

Не скажу, чтобы я очень любил свою работу, но я дорожил и дорожу уважительным к себе отношением. Я хочу, чтобы меня уважали как мои начальники, так и семьи учеников. Я заметил, что все, у кого скудный заработок, просто помешаны на уважении к себе. А учителя превратили это в культ. Завоевать уважение семей довольно легко, для этого нужно лишь ставить ученикам в табель высокие оценки. Уважение прямо пропорционально выставляемым оценкам. Надо еще, правда, обладать выдержкой и, подавляя зевоту, терпеливо выслушивать рассказы родителей о проделках и удивительных талантах их детишек. В школе я — один из самых уважаемых учителей.

Но куда труднее добиться уважения начальства. Моя директриса, например, очень скупа на уважение. Я стараюсь изо всех сил. Прихожу в школу раньше других. Едва завижу директрису, вытягиваюсь по стойке «смирно». Участвую в педагогических чтениях. Если из Рима прибывает инспектор, чтобы прочесть курс лекций, я не пропускаю ни одной — не только в городе, но и в окрестных селениях. Я неизменно слушаю его с напряженным вниманием, хотя он без конца повторяет одно и то же, а после лекции восторженно хлопаю в ладоши. Когда он шутит, я громко смеюсь, хотя уже не раз слышал эти плоские остроты. Я не участвую в учительских забастовках, ибо знаю, что начальство их не любит. Когда священник проводит урок закона божьего, я не выхожу в коридор, а остаюсь в классе, хотя мое присутствие явно приводит священнослужителя в смущение. Свой журнал я заполняю четким, канцелярским почерком.

Директриса не позволяет учителям курить. Курение — это порок, а школа должна бороться с пороками и быть цитаделью добродетели. Застигнув кого-нибудь из нас с сигаретой в зубах, она начинает негодовать. В классе, едва я закуриваю, меня охватывает тревога. Это все равно что сидеть на мине. Я опасливо поглядываю на дверь и в ужасе думаю: «А вдруг она сейчас войдет?!» Пока я курю сигарету, меня все время не покидает страх. Но потом, выкинув в окно окурок, я испытываю прямо-таки физическое удовольствие. Я оставляю окно открытым, пока не выветрится запах дыма, потом закрываю его и снова закуриваю. До сих пор все шло как нельзя лучше: директриса заглядывала в класс, либо когда я, выбросив окурок, уже успевал проветрить комнату, либо еще до того, как я вынимал первую сигарету.

Однажды утром мои ученики писали сочинение, а я с важным видом стоял у дверей и думал: «Что будет, если вдруг войдет директриса? Куда же тогда спрятать сигарету?» Я самодовольно оглядывал класс, не сознавая всей опасности своего положения. Так, глубоко затягиваясь и пуская колечки дыма, я блаженствовал, пока чинарик не стал жечь мне пальцы. Бережно придерживая окурок двумя пальцами, я направился к окну.

— Кто здесь курит? — раздался сзади меня голос директрисы.

— Синьор маэстро,— ответил самый прилежный из моих учеников.

Я вздрогнул и невольно сунул окурок в карман пиджака.

— Школа превратилась в рассадник порока! — взвизгнула директриса.

Я стоял перед ней навытяжку. Она смотрела на меня с яростью, точь-в-точь как моя теща. Вдруг она захохотала.

— Пиджак-то, пиджак! — давясь от смеха, с трудом выговорила она.

Весь класс молчал, наслаждаясь любопытным зрелищем. Я вынул окурок и сильно при этом обжегся. На кармане чернела маленькая дырочка.

К директрисе вернулась вся ее строгость.

— Синьор маэстро! — крикнула она.— Курение подрывает ваш авторитет. Если уж вам так не терпится, то извольте курить в туалете!

После уроков я вышел из школы, держа сына за руку. Мы впервые возвращались домой вместе. Учителя всегда держат свое чадо подле себя, подальше от других учеников, чтобы уберечь его от дурного влияния. Я не рутинер и позволяю сыну дружить с одноклассниками.

Мы шли молча. Время от времени взгляд мой падал на дырку в пиджаке, и я еще сильнее чувствовал боль от ожога.

— Папа, я ничего не скажу ни маме, ни бабушке!

Я притворился, будто не слышу. Возле дома я остановился и посмотрел на сына. Он глядел на меня с жалостью и состраданием. Я влепил ему звонкую, увесистую пощечину. Даже сироты и дети самых нищих семей, в чьем уважении я не нуждаюсь, не получали от меня такой оплеухи. Сын молча зашагал к дому; лицо у него было обиженное и злое. Дома я тут же снял пиджак. Когда я вешал его в шкаф, теща воскликнула:

— Ты что, сжег подкладку? Конечно, сжег! Посмотрите, какая дыра! Как это тебя угораздило?

— Я знаю как, знаю,— крикнул сын, заливаясь слезами.— Он испугался директрисы. И сунул окурок в карман!

Теща и жена с довольным видом переглянулись.

Я сменил подкладку. Дома я больше не решаюсь ни во что вмешиваться. Недавно, когда я усомнился в целесообразности одной из покупок, теща сказала:

— Надо, чтобы ему директриса все объяснила. Тогда он сразу согласится.

Эту самую директрису я каждое утро встречаю у дверей школы. С каким удовольствием я прошел бы мимо, не глядя на нее и не здороваясь, небрежно покуривая сигарету, трубку или сигару. Но стоит мне подойти поближе, как вся моя храбрость мгновенно улетучивается, и я кланяюсь ей с обычным почтением.

*Перевод с итальянского Л. ВЕРШИНИНА*

## УГО Э. ПЕДЕМОНТЕ

# Будущий мужчина

*Откровенно говоря, я не могу безапелляционно утверждать, что рассказ «Будущий мужчина» — это лучший из опубликованных в Уругвае в 1963 году и прочтенных мною рассказов; я читал, вероятно, и что-нибудь лучшее, но, к сожалению, не имею никакой возможности самого себя перепроверить. Однако несомненно одно: именно этот рассказ произвел на меня исключительное впечатление.*

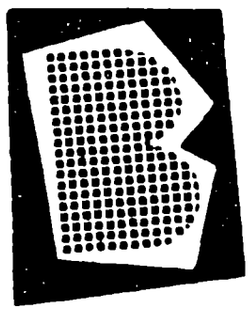
*Атмосфера этого рассказа, правда, мрачна, но написан он с большим чувством и внутренним напряжением, и это возмещает почти полное отсутствие сюжетного развития.*

*Рассказ — острая критика проявлений снобизма среди известной части современной молодежи, психология которой отравлена разложением капиталистического общества. Драматичен конфликт — изображенный весьма сдержанно — между «непутевым» Мигелем, искателем оригинальности, и членами его семьи, простыми людьми, которые выдерживают очень тяжелое испытание, выпавшее на их долю, с присущим им мужеством, незаметным, непоказным. Чрезвычайно тонко, почти неуловимо, автор показывает, как законы жизни побеждают в схватке с пессимизмом и моральным упадком.*

*По своей теме и манере ее выражения этот рассказ выделяется среди других.*

*Уго Э. Педемонте — молодой прогрессивный уругвайский писатель, творчество которого развивается в разных жанрах — поэзия, драматургия, литературная критика. Из его произведений следует отметить такой значительный критический труд, как «Новая уругвайская поэзия» (1958). Он — лауреат многих премий, полученных на национальных и зарубежных литературных конкурсах. В 1959 году за «Песнь Боливару» ему была присуждена единственная премия по поэзии на конкурсе, проведенном Боливарианским обществом Венесуэлы.*

***Альфредо Гравина***



рюмках и в бутылке оставался коньяк, но пить уже никому не хотелось. Кофе остыл в кофейнике, и кто-то разбил одну чашку из сервиза. Пепельницы, полные окурков, и сигареты струили дым, и в комнате было тяжело дышать, несмотря на приоткрытое окно. За окном наступало летнее утро, и вот-вот должны были зазвучать голоса улицы. Спящий квартал досматривал последний сон.

Комнату освещала лампа с широким и округлым зеленым абажуром. Мигель Ларедо хотел встать и погасить мутный, словно под зеленой водой, свет, который раздражал его, но не смог — не было сил. Он попытался преодолеть тяжкую вялость и оторваться от стула, но тут же подумал: «Да стоит ли?» — и с облегчением оставил свои попытки.

Сделав над собой усилие, юноша оглядел комнату. Это была столовая, их унылая столовая, где все было ему знакомо с детства: стол, покрытый клеенкой шашками, чернильница с ручкой, литография на стене и наконец красное кресло с высокой спинкой, в котором они с сестрой Луисой так любили сиживать детьми.

Оторвав взгляд от знакомых вещей, Мигель стал смотреть на своих приятелей. Гильермо в эту ночь, как никогда, напоминает благонравного испуганного мальчика; Педро, простоватый и неловкий, похож на деревенского парня; Освальдо... впрочем, на Освальдо можно не смотреть, за все те годы, что они знают друг друга, Освальдо стал как бы еще одним привычным предметом в доме. А вот, потонув в кресле, сидит отец с покрасневшими глазами, без кровинки в лице, подпирая руками голову. Они все собрались вместе: он, его отец, Гильермо, Педро, Освальдо и... молчание.

Мигель взглянул на бутылку с коньяком. Нет, пить ему не хочется, хотя во рту горит. Ему хочется прогнать из комнаты молчание, оно тяготит, душит, нужно его прогнать или уйти самому, а коньяк тут не поможет. Заговорить, сказать что-нибудь...

— Надо погасить свет у Луисы.

Никто ему не ответил.

Мигель медленно поднялся. Пересиливая себя, почти с содроганием подошел к комнате сестры. Дверь и окно были открыты, чтобы принять больше воздуха. И там, в этой комнате, лежала Луиса. Мертвая.

■ ■ ■

Мигель остановился на пороге. Им овладело любопытство и страх. То же любопытство и тот же страх, с которыми несколько часов назад он смотрел на умирающую Луису. За двадцать три года, что он прожил на свете, он еще ни разу не был наедине с покойником. Смерть подавляет, и никто не чувствует себя свободно в ее присутствии, даже его отец, а ведь он столько повидал на своем долгом веку. Он, Мигель, много писал о смерти, но одно дело писать и совсем другое оказаться один на один с мертвой Луисой, такой бледной и серьезной, в окружении мерцающих свечей. Сердце у него стучит, и он, должно быть, успокоится, только если поцелует Луису в лоб.

Но нет, невозможно, он не решится переступить этот порог.

В мигающем свете свечей руки Луисы, сложенные на груди, казались живыми. Мигель не мог отвести глаз от ее мизинцев, они вызвали в его душе такую нежность, столько воспоминаний. Однажды отец подарил ему чудесный голубой шар, и он привязал нитку к мизинцу своей сестренки, чтобы она могла побегать с шаром по парку. К одному из этих мизинчиков, сейчас такому тонкому и прозрачному...

Мигелю вдруг захотелось снова увидеть голубой шар в ручках Луисы. Но несмотря на все эти мысли он все еще не решался войти в комнату. Неожиданно Луиса показалась ему страшной и недоброй, совсем чужой их дому, этой комнате, белым и красным квадратам пола. И хотя он всегда чувствовал себя в кругу родных одиноким, непонятым и свободным от всякой привязанности к ним, в эту минуту его охватил ужас: ему показалось, что Луиса изгоняет его из семьи, из этого дома, из его уютной комнаты, где вечерами после сытного ужина он порывал с затхлым мирком мелких буржуа.

Нет, он ни за что не переступит этот порог.

Дрожа всем телом, Мигель протянул руку и погасил свет. Теперь комнату освещали только огоньки свечей и слабые лучи раннего утра. Надо лбом Луисы вились две маленькие мушки. Стоя у двери, Мигель дунул, пытаясь отогнать их. Мушки сели на губу Луисы, еще одна пристроилась у глаза. Как ему хотелось раздавить их, но... он не мог переступить порог. Он еще дунул. Мушки как ни в чем не бывало кружились в воздухе, садились и снова начинали кружиться над лицом Луисы, которая все еще страшила его, все еще словно обвиняла его в чем-то. В чем же? Не в том ли, что он смутно ощущал какое-то внутреннее несогласие, недовольство собой? Он невнятно прошептал: «Прости, Луиса!» — и бросился прочь.

■ ■ ■

Коридор... Какой он узкий и длинный, нескончаемый. Мигель приблизился к двери в комнату матери. Эта дверь тоже была открыта. Все двери и окна в квартире были открыты, чтобы воздух свободно плыл по комнатам, воздух и еще что-то, неясное, непостижимое. Комната матери, самая дальняя, темноватая, с окном во двор, сумеречный в этот час, была

слабо освещена лампадкой, горевшей у ног пресвятой Девы. Мать лежала на широкой супружеской постели, ничком, раскинув руки, как Иисус на кресте. Мигель понял, что она спит. Его мать была еще молода, но горе в несколько дней состарило ее, иссекло ее лицо тонкими морщинками, которые особенно резко прочерчивались, когда она ела, медленно и неохотно. Она покорно приняла эти морщины, так же покорно, как принимала жизнь, как примет теперь смерть Луисы. «Для мамы,— подумал Мигель чуть пренебрежительно,— жить значит терпеть и ждать, плакать и надеяться».

Он снова посмотрел на мать. Измученное лицо, неровное дыхание, сон, напоминающий тяжелое забытье пьяного... Он погладил свою бороду и вдруг подумал, что немного виноват перед матерью. Ни ей, ни отцу не нравилась его борода. Но он не желал с ней расставаться: для него эта борода была дерзким знаменем независимости, символом того, что оправдывало его существование. Впрочем, родители в сущности не были так уж против его бороды; мать только проронила однажды:

— Мигель, к чему эта рисовка?

Ах, как бы ему хотелось объяснить им, что это вовсе не рисовка, что он испытывает необычайную гордость, нося бороду — ломая каменные стены обыденщины для нового и необычного. Но они бы не поняли. Уже немало лет и он не понимал их. Чтобы понять, нужна добрая воля с обеих сторон, а разве он пытался понять их? Нет. Сейчас он может только вспомнить, как страдала бедняжка Луиса, когда соседи называли ее сестрой «экзистенциалиста».

Тихонько, осторожно, словно запечатлев на лбу матери нежный поцелуй, Мигель прикрыл дверь. Он боялся нарушить ее сон — единственное и потому священное для него состояние, когда человек освобождается от всех забот.

Снова поглаживая бороду, Мигель вернулся в столовую.

— Мама спит.

Никто ему не ответил.

Мухи плясали вокруг лампы и садились на чашки с остатками кофе. В крепнущем утреннем свете все отчетливее выступали очертания предметов.

Мигелю показалось, что Гильермо, Педро, отец и Освальдо и даже молчание пристально смотрят на него, как если бы они заметили его бледность и страх. Но в действительности никто на него не смотрел. Никто не заметил, как он вышел и как вернулся. В эту комнату вошло Время, вошло и остановилось, и все были поглощены его присутствием и не замечали никого и ничего вокруг.

■ ■ ■

В глазах отца Мигель выглядел иначе. Отец думал о нем всю ночь, и порой эти мысли вытесняли из его памяти умершую Луису. «Я не понимаю моего сына,— говорил он себе,— не понимаю и не принимаю его таким».

Старый Ларедо был убежден, что Мигель совершенно никчемен, и эта никчемность сына приводила его в бешенство, как оскорбление, брошенное прямо в лицо,— ведь это был крах его отцовства. Что Мигель делал? Ничего. Ничего полезного, решительно ничего. Когда он ходил в школу, учителя говорили:

— Ваш сын очень способный мальчик, он добьется многого.

И чего же он добился? Отрастил бороду, которая не сегодня-завтра ему надоест и с которой будет покончено одним взмахом ножниц.

Отец посмотрел на сына долгим взглядом. Он вспоминал их последнюю стычку. В тот день он вернулся домой немного не в духе, он это при-

знает, но в банке сводили баланс, и напряженная работа сказывалась на его нервах. Когда он вошел, Мигель сидел в кресле и курил, задумчиво разглядывая потолок. Уж конечно он думал не о том, что его отец должен целый день корпеть в банке, и эта задумчивость совершенно вывела его из себя. Он буквально выбросил Мигеля из кресла, неистово рванув его за пиджак.

— Что за жизнь ты ведешь?

Мигель, придя в себя, посмотрел на него так, как еще никогда не смотрел.

— Я пока только подмастерье, будущий мужчина.

Эти слова поразили его. Он не знал, что ответить, и, невнятно бормоча какие-то упреки, поспешил скрыться у себя в комнате. Там он едва удержался, чтобы не спросить у жены: «Кого ты родила на свет?»

Тогда Мигель обманул его. Но сегодня не обманет — сегодня, когда у него дрожат руки.

«Будущий мужчина...» Дрянь этакая!

Все пустые слова, жалкое фразерство. На своем веку он повидал немало фразеров. Но жизнь строится не на фразах. Ему хотелось, чтобы теперь, когда в их дом пришла смерть, такая реальная и совсем не героическая, именно теперь Мигель сказал что-нибудь.

Но Мигель молча наблюдал за мухами. «Будущий мужчина...» Эти слова не давали отцу покоя всю ночь. Нелепые и смешные, особенно нелепые и смешные сейчас, в этой обстановке, они звучали в его памяти, как грубая издевка. Подмастерье, будущий мужчина... Уже за двадцать, и до сих пор не мужчина. Пожалуй, в своем малодушии Мигель, чего доброго, даже спросит его: «Зачем ты дал мне жизнь?»

Он испытующе смотрел на сына, стремясь проникнуть в его душу, постичь его странную бледность, напряженную гримасу губ.

Но Мигель сидел напротив непроницаемый, молчаливый, все так же следя глазами за полетом мух. И это когда рядом в комнате одинокая мертвая Луиса, а мать слегла от горя. Ему захотелось встать, сделать что-то, но не было сил. И он снова опустил голову на свои бесполезные руки, бедные слабые руки, которым было так трудно поддерживать его лоб, всю тяжесть прожитой им жизни...

Освальдо, Гильермо и Педро сидели, погруженные в свои мысли.

Мухи все кружились и кружились в густом молчании.

Это молчание становилось нестерпимым для Мигеля, все более нестерпимым по мере того, как светлело в комнате и все резче выделялась белая бумажная подковка у одной из ножек стола.

■ ■ ■

Свет наполнил комнату, но молчание не уходило. Теперь все как-то враждебно поглядывали друг на друга — ведь смерть сближает только на первых порах, а потом придавленные ее тяжестью люди начинают чувствовать отчуждение.

Мигель слышал биение своего сердца, шум крови в висках. Нервы разыгрались, и он знал, что не сможет справиться с ними, что через минуту начнет кричать, дико смеяться.

Он плотно сжал губы, делая последнее усилие...

Дверь открылась, и в столовую вошла мать. Все растерянно уставились на нее. Она вошла, еле волоча ноги, и на секунду прислонилась к стене, преодолевая мучительную слабость и головокружение.

— Зачем ты встала?

— Надо приготовить завтрак.

Молчание нарушено, как хорошо! Но почему такими прозаичными, удручающе прозаичными словами?

Мигель взглянул на мать и вдруг понял ее мужество. И тогда он ухватил рукой свою бороду и спросил себя, в чем смысл *его* жизни. И впервые в эту ночь его глаза заволоклись слезами.

Мать распорядилась мягко:

— Мигель, сходи, пожалуйста, за бисквитами для твоих друзей.

Мигель поднялся, как автомат. Его приятели последовали за ним.

Улица встретила молодых людей своим деловитым шумом. Утренний воздух, такой свежий, живительный, сразу рассеял их уныние.

В булочной, увидев теплые золотистые хлебы, Мигель — нет, теперь уже кто-то другой — вдруг осознал, какая неповторимая радость есть в жизни тех, кто каждый день встает на заре.

Наверху, в квартире, старый Ларедо наконец уснул в высоком кресле. Луиса лежала в своей комнате и все бледнела, все стыла. Мать медленно убирала со стола чашки и рюмки.

*Перевод с испанского Н. КРИСТАЛЬНОЙ*

## КРИШАН ЧАНДАР

# Господин Объедок

*«Господин Объедок» — один из лучших рассказов Кришана Чандара. Как и все его другие рассказы, он проникнут глубоким гуманизмом, тонким пониманием человеческих характеров и состраданием к людям, которые отвергнуты обществом. Но помимо всех этих черт, характерных для любого произведения Кришана Чандара, этот рассказ пронизан пониманием того, как социальные силы влияют на судьбу отдельных людей.*

*В нем показано, как личное несчастье и социальная несправедливость обрекают человека на жалкое существование нищего, роющегося в бочке с отбросами в поисках объедков. Но описывая «дно» такой нищенской жизни, Кришан Чандар подчеркивает отчаянную, почти героическую борьбу этого бедняка за жизнь вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам, как личным, так и социальным. Иронические авторские отступления ярко раскрывают прогрессивную социальную идеологию писателя. Бочка с отбросами превращается в барометр экономического положения страны.*

*Но особенно примечателен в этом рассказе (как и в любом талантливом рассказе) его конец — Кришан Чандар создает развязку и реалистическую, и одновременно символическую. Из той же бочки с отбросами извлекается младенец, брошенный, быть может, незамужней матерью, и этот младенец становится символом Жизни. Ради него, как и ради всего, что он олицетворяет, герой рассказа — несчастный, утративший всякий человеческий облик старик начинает новую, созида-*

*тельную жизнь. Он становится рабочим и зарабатывает себе на хлеб. А это, как правильно подсказывает Кришан Чандар,— единственный счастливый конец, возможный для любой повести о человеческом горе.*

***Ходжа Ахмад Аббас***

Ноги подкашивались. Казалось, весь он состоял из клочьев мокрой ваты. Не было сил двигаться. Сесть, только сесть... Тут же, на панели...

По-настоящему ему полагалось пробыть в больнице еще месяц, но администрации надоело с ним возиться. Четыре с половиной месяца в отдельной палате, полтора — в общей. За это время у него удалили почку, вырезали часть желудка, лечили, лечили... С желудком дело как будто наладилось, печень еще пошаливала, но его все же выписали: за стенами больницы дожидались толпы людей, которым сейчас было хуже, чем ему.

Доктор сунул ему в ладонь длинную ленту рецептов и сказал:

— Пей микстуру, ешь здоровую пищу, и все пройдет. Хватит тебе валяться в больнице.

— Но я не могу идти, доктор-сахаб...— возразил он дрожащим от слабости голосом.

— Ступай домой, там полежишь. Жена возле тебя похлопочет.

«Ступай домой! Но где теперь мой дом?» — думал он, медленно бредя по улице. Несколько месяцев назад у него был дом, была жена. Жена, которая ждала ребенка... Они вместе мечтали о том времени, когда ребенок этот появится на свет, и были счастливы. О господи, люди ведь только и делают, что рождаются! Но для них — для него и жены — это был первый ребенок. Судя по их изумлению и восторгу, можно было подумать, что это единственный ребенок в мире.

Дулари нашила для малыша уйму красивых вещиц. Однажды она принесла их в больницу, чтобы показать мужу. Он нежно гладил мягкую ткань, и ему представлялось, что он ласкает своего сынишку.

Но потом все пошло прахом. Когда ему в первый раз оперировали почку, Дулари пришлось продать свои драгоценности. Что ж, для того они, собственно, и предназначены. Люди привыкли думать, что драгоценности созданы для украшения жен. Неверно! Драгоценности — это средство утоления скорбей, с их помощью можно сделать операцию мужу, дать образование детям, справить свадьбу дочери. Драгоценности — банк, в котором женщина всего лишь бедный кассир. Только пять-шесть раз за всю жизнь ей удается в них покрасоваться.

Перед второй его операцией ребенок погиб. Так оно и бывает. При той тяжелой жизни, которая выпала на долю Дулари, этого следовало ожидать. Миниатюрное золотистое тело женщины, право, не было создано для таких трудностей. Потому-то этот мудрый ребенок и решил вовсе не родиться. Почуяв беду, он счел неуместным свое появление на свет. Иногда дети так понятливы! Некоторое время Дулари не показывалась в больнице. А когда пришла и рассказала, что с ней случилось, он горько заплакал. Если бы он знал, что ожидает его в дальнейшем, он понял бы, что надо не плакать, а радоваться.

После второй операции он потерял работу. Тоже случается. Слишком долго он проболел. Сколько времени его могли ждать? Болезнь — личное дело каждого; хочешь сохранить работу — не болей. Человек все

равно что машина. Если машина испорчена, ее выбрасывают и заменяют новой. Время идет, дело не стоит на месте, бизнес есть бизнес. Это был страшный удар, такой же, как если бы он потерял вторую почку, умер, перестал существовать... На этот раз он не плакал. Когда приходит настоящая, большая беда, глаза остаются сухими; только в сердце растет пустота, кажется, что вместо крови по жилам ползет ужас, земля ускользает из-под ног...

В течение нескольких дней страх не давал ему сомкнуть глаз. Как жить дальше? Долгая болезнь влечет за собой бесконечные расходы. Дом человека постепенно пустеет, из него уходит все мало-мальски ценное. Но Дулари не сдавалась. Четыре с половиной месяца она содержала мужа в отдельной палате, обеспечивала ему самое лучшее лечение и уход. Наконец, когда продавать уже было нечего, она поступила на работу. Как-то раз она пришла в больницу вместе с боссом своей фирмы — невысоким худощавым мужчиной средних лет. Молчаливый, стеснительный, с мягкой улыбкой, он походил не на главу крупной фирмы, а скорее на владельца книжной лавки. Работа Дулари была проста: она наклеивала марки на конверты и получала за это двести рупий в месяц.

— Но ведь это очень легкая работа,— заметил муж Дулари.

— Вы правы, работа несложная,— отвечал босс.— Но когда за день вам нужно сделать одно и то же пятьсот—шестьсот раз, самая легкая работа начинает казаться трудной.

— Я и в самом деле страшно устаю,— с милой улыбкой сказала Дулари.

А босс пообещал:

— Когда вы поправитесь, будете сами клеить марки. Я возьму вас на работу вместо вашей жены.

Но вот босс собрался уходить. Дулари ушла с ним. Мужу почудилось, что в этот раз каблучки ее стучали как-то чересчур уверенно. Ее тело изгибалось, словно ветка под тяжестью спелых плодов. Босс правой рукой распахнул перед Дулари дверь и любезно поклонился, предлагая ей выйти. В то же время левая рука его чуть коснулась талии молодой женщины. Мужу действия правой руки понравились, действия левой — нет. Впрочем, так ведь тоже бывает — правая рука не знает, что делает левая. К тому же глаза иногда могут обмануть. Конечно, все это лишь воображение! Утешившись таким образом, муж опустил голову на мягкую подушку и смежил веки в ожидании инъекции глюкозы.

Третью операцию ему делали уже тогда, когда он лежал в общей палате. К тому времени Дулари уехала с боссом в Дарджилинг. В конце концов, сколько она могла ждать? Жизнь коротка, а весна жизни еще короче. Когда душа открыта для любви, когда в глазах переливается лунный свет, прикосновения пальцев жгут, как пламя, а сердце изнемогает от сладкой боли, когда поцелуй ласкает губы, как пчела — лепестки цветка, когда крутые локоны нежатся под знойным ветром дыхания, долго ли можно дышать запахом карболки и мочи, видеть мокроту, гной и кровь, слушать стоны и рыдания, сопровождающие человека до ворот смерти? Всякое терпение имеет предел. А много ли терпения у двадцатилетней женщины, которая встречает лишь вторую весну своей брачной жизни и не получила от этой жизни ничего, кроме страданий? Кто и в чем виноват, если эта юная жена в погоне за своей мечтой бежит в Дарджилинг?

Он уже миновал ту стадию, когда человек обвиняет в своих бедах ближнего. Беды сыпались со всех сторон и окончательно лишили его мужества. Он присмирел и как бы оцепенел. Чувства его притупились, слез больше не было. Подобно тому как железо не ощущает ударов молота, так и он оставался глухим к ударам судьбы. Поэтому-то, выписываясь

из больницы, он не сказал врачу, что ему некуда идти. У него не было дома, не было жены, не было ребенка, не было работы, сердце его было пусто, карманы пусты, а впереди простиралась плоская пустота, которая называлась будущим.

Обо всем этом он молчал. Только пожаловался: «Я не могу идти, доктор-сахаб...»

Это была единственная доступная ему истина. Все остальное ушло из сознания. Он медленно плелся по улице и ощущал лишь одно: что он — это не он, а лишь клочья мокрой ваты, и позвоночник его скрипит, как старая сломанная кровать. Солнце жгло, лучи его впивались в кожу, подобно острым ножам, небо отливало серо-желтым лаком, в воздухе толклись черные грязные мухи. Встречавшиеся ему люди глядели на него, как глядят на гной, на гнилую кровь... Надо бежать, надо уйти, уползти отсюда... Туда, за высокие, звенящие проволокой столбы, и еще дальше — туда, где исчезают из глаз разбежавшиеся вдаль дороги. Он вспомнил, что у него была мать — она умерла, был отец — он тоже умер, есть брат — он в Африке... Дзы-зы-зын-н... Мимо пронесся трамвай. Сверкающая электрическая дуга словно врезалась в его тело, а вслед за ней в тело втиснулся весь трамвай. Разве он теперь человек? Разве люди бывают такими? Он просто дорога, изъезженная колесами дорога.

Он шел все вперед и вперед. Задыхался, но все же шел. Туда, где когда-то был его дом. Знал, что дома больше нет, но привык идти в том направлении, и вот шел. От зноя по телу бежали мурашки. Потом он заблудился. Подойти к кому-нибудь, расспросить о дороге — на это не было сил. Постепенно грохот улицы — лязг трамваев, гул автобусов — завладел им. Стены вдруг начали кривиться, здания рушиться, фонарные столбы переплелись и смешались в бесформенную груду. Перед глазами поплыла чернота, земля ушла из-под ног, и он рухнул на тротуар.

Когда он пришел в себя, была уже ночь. Прохладная тьма плотно укутала землю. Он лежал на том же месте, где упал днем в углу глухой улочки, образованной двумя стенами — одна шла с севера на юг, другая — с севера на запад. Вокруг росли деревья — гуйява, джаман. Что было за деревьями, он не видел. Против западной стены, на расстоянии двадцати пяти—тридцати футов возвышалась задняя часть какого-то старого трехэтажного здания, на каждом этаже по одному окну. Вплотную к зданию примыкали большие трубы — их было шесть. Здание, трубы и западная стена образовали тупичок. Три стены, с четвертой стороны — улица. Где-то далеко часы на церковной колокольне пробили три раза. Он приподнялся на локтях и осмотрелся. Улица была пустынна, магазины закрыты, тусклый свет электрических фонарей лишь кое-где разбивал слепые тени, залегшие на тротуарах. Несколько мгновений он наслаждался прохладным мраком и, закрыв глаза, думал: «Где я? Неужто в ласковых объятиях Великого Океана?»

Это блаженное состояние длилось какие-то секунды. Потом он почувствовал голод. Зверский голод. С тех пор как ему вырезали часть желудка, он постоянно хотел есть. Он подумал, что, вылечив желудок, врачи не слишком-то его облагодетельствовали. В животе была странная напряженность, внутренности корчились от боли и требовали хлеба. А ноздри позабыли о том, что принадлежат человеку, горожанину, и стали вести себя так, будто их хозяин — дикий зверь. Внезапно он ощутил целую симфонию новых запахов, которые тут же завладели его сознанием. Удивительнее всего было то, что он различал каждый звук этой симфонии. Вот это — аромат джамана, это — гуйявы, это — цветов «царицы ночи», это — запах жареных лепешек, это — картофеля с луком и чесноком, это — редьки, это — помидор, это — какого-то подгнившего плода, это — мочи, это — мокрой глины; да, да, именно так обычно пах-

нет в зарослях бамбука. Он мгновенно узнавал источник запаха, определял направление и расстояние, отделяющие его от этого источника. Внезапно он почувствовал — он даже вздрогнул от этого ощущения,— что голод разбудил в нем какие-то новые силы. Он двинулся в том направлении, откуда слышались запахи жареных лепешек и картофеля с чесноком. Медленно-медленно пополз по тупику, каждую минуту готовый вновь погрузиться в мутные волны беспамятства. В животе что-то схватило так, будто внутренности его попали в руки свирепого стиральщика белья, который изо всех сил выжимает их и перекручивает. Запах еды снова влил в него силы, заставил влачить полумертвое тело туда, где его ждали лепешки и картофель.

Наконец он добрался до места. Между трубами и западной стеной стояла громадная бочка с отбросами. Чего тут только не было! Гнилая фруктовая кожура, позеленевшие от плесени куски хлеба, груды мокрой чайной заварки, старый джемпер, грязные детские пеленки, яичная скорлупа, клочки газет, обрезки железа, сломанные игрушки и снова хлеб, кожура, листочки мяты... Тут же валялись банановые листья с объедками жареных лепешек и картофельного салата. При виде этой снеди внутри у него запылал пожар. Несколько мгновений он еще удерживал свои руки в повиновении. Но подобно тому, как в симфонии какой-нибудь звук вырывается вперед и неистовой силой своей потрясает сердца, так и тут аромат лепешек и салата поборол зловоние отбросов и ударил ему в ноздри. Рухнули последние преграды цивилизации, дрожащие от нетерпения руки схватили банановый лист. Голод, только голод...

Съев лепешки и салат, он принялся вылизывать листья банана. Вылизывал до тех пор, пока они не стали совсем прозрачными. Потом облизал пальцы. Выковырял из-под ногтей забившиеся туда кусочки зелени и съел их. Но голод все не унимался. Тогда он стал копаться в груде отбросов. Отправил в рот листки мяты, два ломтика редьки, половину помидора. Наконец он почувствовал, что откуда-то из глубин его существа поднимается теплая волна удовлетворения; он повалился тут же возле бочки и сразу уснул.

Так, в мире полусна, полубеспамятства, провел он десять дней. Время от времени он подползал к бочке и ел. Когда запахи съестного переставали дразнить его и на смену приходило зловоние отбросов, он отползал в угол и засыпал или сидел, прислонившись спиной к стене.

Дней через пятнадцать-двадцать он совсем оправился. К тому времени он уже свыкся со своим положением. Какое славное у него место! Солнце сюда не заглядывает, люди не заходят; деревья отбрасывают веселую тень. Иногда лишь откроется окошко на задней стороне здания и чья-то рука выбросит отбросы, отбросы, которые служат ему пищей, составляют основу его существования, сохраняют ему жизнь. Днем улица оживала, открывались лавки, в саду гуляли люди, щебетали, словно ласточки, дети. Женщины в пестрых, как крылья бабочек, одеждах, покачиваясь, проходили мимо, исчезали в глубине улицы. Это был чужой мир, к которому он не имел никакого отношения. Он ненавидел этот мир и отвернулся от него. Он был ничей. Городские улицы, переулки и базары превратились для него в царство теней. А широкое, открытое небо и поля стали лишь плодом фантазии. Дом, работа, общество, борьба обратились в бессмысленные слова, которые сгнили и разложились на мусорной свалке. Теперь его миром стал этот тупик, длиной в пятнадцать футов, шириной — в тридцать.

Пробегали месяцы, мчались годы, а он все сидел в своем углу, будто старый пень, и люди пригляделись, привыкли к нему. Он ни с кем не говорил, никому не приносил радости, не просил милостыни, но если бы он как-нибудь ушел из тупика, окрестным жителям показалось бы,

что в жизни что-то не так, что-то изменилось, они изумились бы, а может быть, и огорчились.

Люди прозвали его Господин Объедок, потому что всем было известно, что его кормит лишь бочка с отбросами. Когда он ничего там не находил, он засыпал голодный. За долгие годы прохожие и посетители находившегося поблизости иранского ресторанчика узнали его вкусы и часто приносили к бочке то, что собирались выбросить. Из окон дома, что примыкал задней стеной к тупичку, в бочку летели не только объедки, но и целые лепешки, пучки зелени, куски мяса, высосанные лишь наполовину плоды манго, банановые листья с остатками молочной каши. Бочка поставляла Господину Объедку и все предметы обихода — старые штаны, рваные трусы, расползшуюся от времени рубаху, пластмассовый стакан. Да разве это была бочка с отбросами? Скорее, базар, богатый базар, по которому он мог слоняться целыми днями, заходить в любую лавку, брать даром все, что приглянется. Он был единственным хозяином этого базара, этого неиссякающего источника благодати. Поначалу ему пришлось вести жестокую борьбу со сворой голодных кошек и шелудивых собак, но он одолел врагов и утвердил свое право на владение бочкой. Раз в месяц приезжала тележка, и мусорщики увозили накопившийся мусор. С ними он не спорил — он знал, что пройдет день, и бочка снова начнет наполняться. Он считал, что в этом мире иссякает все: добро, верность, дружба,— но отбросы и нечистоты пребудут в нем вечно. Отвернувшись от людей, он разведывал новый жизненный путь.

Нельзя сказать, чтобы он не получал вестей о том, что происходит за пределами его тупика. Когда дорожал сахар, в бочку месяцами не бросали сластей, когда дорожала пшеница, в бочке совсем не бывало хлеба, когда взлетали цены на табак, окурки становились такими короткими, что их невозможно было прижечь. О забастовке мусорщиков он догадывался, когда бочку его по два месяца не разгружали, о мусульманском празднике «бакр-ид» узнавал по тому, что ни в какой другой день ему не перепадало столько мяса, о «дивали» — празднике огней — по невероятному количеству сваленных в чан сладостей. Бочка, словно чуткий прибор, отзывалась на все события человеческой жизни. Абсолютно на все, начиная со второй мировой войны и кончая тайными женскими недугами. Но ему было безразлично, что происходит за пределами его убежища. Четверть века провел он возле своей бочки. Ветер эпохи мчал над его головой дни и ночи, месяцы и годы. Волосы его свисали вниз, как ветви баньяна; черная борода свалялась; кожа стала землистой, с зеленоватым оттенком. Грязный, зловонный, в рваном тряпье, он сам представлялся прохожим бочкой с отбросами. Бочкой, которая подчас движется, иногда разговаривает, но не с людьми, а сама с собой, или — чаще всего — со своей сестрой, мусорной бочкой.

Прохожие диву давались, наблюдая, как Господин Объедок беседует с бочкой. Однако что в этом странного? Господин Объедок не вступал ни с кем в споры, но про себя думал, что нет на земле человека, который делился бы мыслями с другими людьми. Все беседы в этом мире ведутся между внутренним «я» человека и его корыстным началом. Даже самые близкие друзья и те, говоря между собой, втайне думают только о себе. Этот мир — лишь громадная куча отбросов, из которой каждый стремится выхватить лакомый кусок своего интереса, кожуру выгоды или лохмотья расчета. Пусть эти люди, которые с презрением смотрят на него, жалкого нищего, пусть они заглянут на задворки своей души. Там скопилось столько нечистот, что убрать их сможет только ангел смерти.

Ускользал в прошлое день за днем. Одни страны обретали свободу, другие превращались в колонии, сменялись правительства, а бочка с

отбросами все стояла на прежнем месте, и возле нее ютился Господин Объедок — копался в мусоре, что-то бормотал, жил в полусне, полубеспамятстве, отвернувшись от мира.

Однажды ночью, когда он дремал на своем обычном месте у стены, его разбудил какой-то крик. Он проснулся. Крик повторился. Дрожа от испуга, Господин Объедок поспешил к бочке, откуда доносился крик. Обшаривая свои владения, он неожиданно натолкнулся на что-то теплое и мягкое. Пригляделся. Перед ним среди обглоданных костей, хлебных корок, старых башмаков, фруктовой кожуры и разбитых бутылок лежал голый младенец и, суча руками и ногами, надрывался в плаче. Господин Объедок онемел от изумления. Несколько секунд он стоял, уставившись своими подслеповатыми глазами на крошечного человечка, который изо всех сил отстаивал свое право на жизнь. Потом склонился над бочкой, выхватил ребенка из груды мусора, прижал к груди и укутал тряпьем.

Но даже попав в тепло, ребенок не переставал кричать. Он совсем недавно появился на свет и теперь плачем извещал человечество о том, что голоден. Он еще не знал вкуса нищеты, не понимал, что материнская любовь подчас бывает трусливой, а жизнь из-за этого — запретной. И что тогда ее, как отбросы, выкидывают в мусорную бочку... Всего этого он еще не знал. Сейчас он был только голоден, а потому плакал, бил себя ручонками по животу и дрыгал ногами.

Господин Объедок понятия не имел, как его можно унять. У него не было ни молока, ни соски, он не помнил ни одной колыбельной песни. Он тихонько поглаживал ребенка, а сам в отчаянии озирался по сторонам, будто ожидая увидеть в ночной мгле спасительную бутылку с молоком. Потом он отыскал в бочке плод манго и кончик его сунул в рот малышу.

Сладкий плод не подвел: постепенно ребенок успокоился и заснул. Остатки манго упали на землю. На нежных губах малыша засох желтый фруктовый сок, маленькая ручка ухватилась за большой палец Господина Объедка.

На мгновение в душу его заползла мысль: бросить, немедленно бросить ребенка и бежать! Он попытался было освободить палец из ручонки малыша. Не тут-то было! Ребенок цепко держал свою добычу. И Господину Объедку показалось, что жизнь снова поймала его, держит и мягкими толчками притягивает к себе. Внезапно на память пришла Дулари и тот ребенок, что погиб когда-то в ее чреве. И Господин Объедок заплакал. Сам Великий Океан не содержит столько влаги, сколько пролилось ее в ту ночь из глаз человека. Сколько бы грязи и отбросов ни скопилось в его душе за последние двадцать пять лет, все было смыто.

До самого утра он, взволнованный и растерянный, ходил по тротуару, качая на руках спящего малыша. А когда взошло солнце, люди не нашли Господина Объедка возле его чана. Он был на другой стороне улицы и подносил кирпичи к строящемуся зданию. А неподалеку в тени дерева гуль-мехр лежал ребенок. Он был завернут в цветное одеяльце, сосал из рожка молоко и улыбался.

*Перевод с урду И. КУДРЯВЦЕВОЙ, И. РАБИНОВИЧА*

ЕЖИ СТЕФАН СТАВИНСКИЙ

# В погоне за Адамом

ПОВЕСТЬ

*Перевод с польского*
*З. ШАТАЛОВОЙ*

**Ежи Ставинский может быть по справедливости назван самым кинематографическим писателем в современной Польше. Его литературная судьба неотделима от событий второй мировой войны, в годы которой польский народ испытал величайшие потрясения за всю свою историю. Нашествие гитлеровских захватчиков, варварское уничтожение Варшавы, беспримерное зверство, с каким Гитлер осуществлял оккупацию Польши, подняли на сопротивление самые широкие слои польского народа — рабочих, крестьян и интеллигенцию. Жестокие испытания, каким подверглась Польша в эти годы, искалечили множество судеб, но они же породили и героические натуры, вступившие в неравную борьбу со свирепой машиной гитлеризма.**

**Ежи Ставинский, родившийся в 1921 году, принадлежит к поколению, которое война захватила в расцвете юности. Для него, как и для его сверстников, вопрос стоял так: либо склонить голову перед лютым врагом, испытав все унижения рабства, либо уйти в подполье и сражаться до последнего дыхания.**

**Восемнадцатилетний Ежи Ставинский сделал свой выбор: он становится солдатом польского Сопротивления, и вся его дальнейшая судьба неразрывно связана с этой героической страницей истории польского народа. Естественно, что именно эти годы ожесточенной битвы, необыкновенных лишений, драматических столкновений, невозвратимых потерь сформировали его натуру, послужили началом всей его дальнейшей творческой судьбы.**

**В литературном осмыслении прожитых лет писателю есть что вспомнить. Тут и подпольная борьба в оккупированной Варшаве, и служба в армии Андерса, и драматические скитания по чужим странам, и наконец возвращение на родину.**

**Впервые мы знакомимся с творчеством Е. Ставинского в фильме «Канал», поставленном по его сценарию талантливым польским режиссером Анджеем Вайдой. Это произведение молодого польского писателя, как он сам определяет, насквозь автобиографично. Ежи Ставинский, так же как и герои фильма, участвуя в «подземной борьбе», сам провел семнадцать часов, стоя по горло в сточных водах канала. Немыслимая трудность этой неравной битвы, которая, казалось бы, с самого начала была обречена на поражение, требовала от ее участников повседневного, ежеминутного героизма. Горечь утрат, порой ненужных, вызванных преступной политической игрой, которую вело лондонское эмигрантское правительство, яростная ненависть к фашизму породили боевую дружбу, которая, казалось, соединила их на всю жизнь.**

**И вот сейчас Ставинский предстает перед нашим читателем с одной из последних своих работ — повестью «В погоне за Адамом», где он возвращается к исследованию**

этой важной страницы биографии своего поколения с позиций сегодняшнего дня. С тех пор прошло два десятилетия, жизнь по-своему решила множество вопросов, какие стояли в те военные годы перед молодым подпольщиком-солдатом. И герой романа Завада, от имени которого ведется рассказ и за которым мы легко угадываем самого автора, стремится найти своих друзей, тех, с кем он делил самые горькие, страшные и возвышенные минуты своего бытия. Завада — ныне писатель и режиссер, человек, у которого судьба сложилась неотрывно от судьбы родины, ставшей на путь социалистических преобразований. По всему видно, что путь этот для автора и героя, так же как и для подавляющего большинства современной польской интеллигенции, был далеко не прост, потребовал множества переосмыслений. Но тем и интересна повесть, что она в ретроспекциях и отступлениях показывает все своеобразие, всю сложность пройденного пути и всю последовательность и зрелость тех духовных решений, к каким приходит Завада, как главный герой этой повести Ежи Ставинского.

Всякий, у кого есть друзья в среде польской интеллигенции, знаком с одной важной и примечательной чертой, которую сами поляки подмечают в себе с добродушной усмешкой как черту общенациональную. Я имею в виду склонность к обостренным критическим оценкам многих процессов, характеризующих ту главную, корневую перестройку, какую неизбежно должна была пережить послевоенная Польша, став на путь строительства социализма. Однако наивно было бы принимать эти самокритические эскапады как признак разочарования, раздражения или мрачного скепсиса. Об этом, между прочим, и говорит Ежи Ставинский устами своего героя, возвращаясь к этой мысли неоднократно.

Мысль эта может быть выражена так: в своей среде мы склонны критиковать неполадки, неустройства, более или менее очевидные просчеты в организации нашей общественной жизни; но когда мы сталкиваемся с критикой извне, откровенно враждебной, стремящейся подорвать самые основы жизни новой социалистической Польши, мы яростно встаем на защиту всех завоеваний нового строя. И надо сказать, что Ставинскому удается не только декларировать эту идею, но и художественно выразить ее всей сущностью натуры героя и всем его поведением. Это становится, может быть, главнейшей интонацией повести, интонацией тем более значительной, что она не оставляет никакого сомнения в своей искренности. Таким образом, поиски Адама, который, судя по воспоминаниям, представлял для героя в юные годы фигуру идеальную, все эти поиски, составляющие действенную часть повести, венчаются вторичным и окончательным нахождением родины и самого себя внутри ее деятельной и увлеченной жизни.

И опять-таки, к чести Ставинского, нужно сказать, что он достигает этого вывода не путем риторических рассуждений и самоубеждений — вывод накапливается постепенно в течение поездки его героя в Аргентину, с каждой новой встречей, с каждым новым диалогом и приходит к читателю как естественное решение деятельной, здоровой натуры, неразрывно связанной с делом своего народа, его историей и перспективой. Оценивая эту сторону вопроса, Ежи Ставинский пишет: «Так же как мой герой Завада, и я гонялся по свету за людьми моей «баррикады», и я их находил. Они стали не только старше...» И за этим многоточием читается очень многое.

Повесть полна размышлений, воспоминаний, написана необыкновенно пластично и изобразительно точно. Спокойная сдержанность вообще является очевидным достоинством литературного стиля Ежи Ставинского. Эта черта его дарования становится особенно важной для читателя не только потому, что она сама по себе привлекательна, но еще и потому, что она как бы углубляет историческую конкретность рассказа, жесточайшей обстановки военных лет и помогает серьезно и объективно воспринять всю многосложную историю молодых характеров. Этой своей сдержанностью он как будто говорит читателю: в том, что я рассказываю вам, нет ничего необыкновенного. Таков был образ жизни, навязанный людям звериной логикой гитлеровского нашествия И здесь нет надобности что-либо преувеличивать, подчеркивать, превозносить. Я рассказываю вам, как это было на самом деле.

И оттого что Ставинский на протяжении всей своей повести решительно остается на этой продуманной и неотступной позиции, вещь отнюдь не теряет своего героического духа и читается с той мерой взволнованного сочувствия, какое неизбежно порождает в искусстве наличие правды.

Являясь столько же писателем, сколько и режиссером, Ежи Ставинский представляет собой тип художника, словно бы призванного нашим временем для органического соединения литературы и кинематографа.

В качестве сценариста он работает с интереснейшими польскими режиссерами Анджеем Вайдой и Анджеем Мунком; для Мунка делает по своим новеллам сценарий фильма «Героика». Для него же он пишет сценарий по своей повести «Шесть превращений Яна Пищика».

Обращаясь к самостоятельному сценарному творчеству, он создает сценарий «Дезертир» для режиссера В. Лесевича, сценарий «Покушение» для режиссера Пассендорфера, сценарий «Цена одного преступления» для Ванды Якубовской, экранизирует «Крестоносцев» для режиссера А. Форда. Наконец выступает с самостоятельным режиссерским дебютом, перерабатывая для кинофильма свои новеллы под общим названием «Разводов не будет».

Ставинский выступает также как театральный драматург с исторической пьесой из эпохи короля Яна Собесского под названием «Отец королевы», созданной в жанре сатирического гротеска. Крупнейшим его прозаическим произведением остается повесть «Геркулесы», посвященная студенческой молодежи, и большой роман «Катерина» о жизни и судьбе молодой девушки из современной рабочей семьи. Как видите, перед нами талант необыкновенно разносторонний, ищущий в различных литературных жанрах, но, по-видимому, более всего склонный сосредоточить свои силы на самостоятельном кинематографическом творчестве.

Ежи Ставинский, как он сам характеризует себя, принадлежит к группе так называемых «бунтующих сценаристов». В наши дни, когда кинематограф, пройдя множество стадий своего развития, повсеместно выступает в качестве совершенно самостоятельного, зрелого, сложившегося искусства, становится все труднее и труднее расчленить его авторское начало по признаку механического соединения усилий писателя, режиссера, художника, оператора, актера. Разумеется, все эти силы остаются на своих местах. Но авторское начало, идущее от литературы, становится главнейшим фактором, определяющим всю идейно-художественную природу современного фильма. И в этом пример творческого пути Е. Ставинского необычайно характерен.

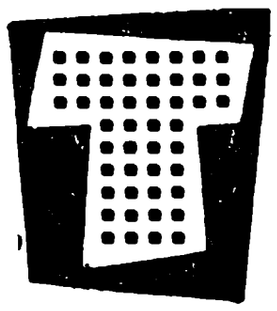
Читатели предлагаемой повести легко обнаружат в ней многие признаки современного кинематографического языка. Это и подчеркнутая конкретность всего образного строя, и склонность к выразительной детали, и свободное обращение со временем и местом действия, придающее всей повести кинематографическую зримость и выпуклость.

Обостренный интерес автора к кинематографу выступает и в тех эпизодах, где он описывает кинематографическую среду на Западе, с которой сталкивается его герой Завада. Надо отдать справедливость Ежи Ставинскому, сцены эти написаны с такой убийственной точностью, что не могут не вызвать у внимательного и осведомленного читателя улыбки узнавания.

Об этой своей повести Ставинский говорит, как о возможном материале для экранизации, и, вероятно, так оно и будет — ему надо сделать минимум усилий, чтобы превратить повесть «В погоне за Адамом» в интересный и глубокий психологический фильм.

Повесть Ежи Ставинского вызывает особый интерес своей неразрывной связью со всей историей новой Польши, чье славное двадцатилетие готовимся мы отметить.

***Сергей Герасимов***



акси остановилось у барака, который служил в аэропорту Оценте вокзалом для улетающих за границу. Было раннее, несмотря на середину марта, морозное утро, и маленький нос Ванды слегка посинел. Она смотрела на меня из-под полуопущенных ресниц еще совсем сонным взглядом. Я подхватил чемодан, и мы вошли в тесный, набитый людьми барак.

— Зря ты меня провожаешь, ни к чему это, — сказал я, пытаясь поставить чемодан на стойку.

— Ни к чему,— нехотя согласилась она.— Теперь мы будем торчать здесь целых полчаса, не зная, о чем говорить. Я сделала это только ради тебя: ты наверняка считаешь, что так полагается.

— Ну, знаешь! — возмутился я.— В течение четырех лет меня никто никогда не провожал на аэродром!

— И были правы! — ответила она.— Ведь я тебе только мешаю. Мысленно ты уже отсутствуешь.

— А ты наверняка думаешь об этом своем сегодняшнем конкурсе!

— Неправда! — воскликнула она. — Я завидую тому, что ты едешь!

Мой чемодан взвесили, и мы стояли уже в толпе, где нас толкали те, кто прибыл с последним автобусом. Немногочисленные кресла были, разумеется, давно заняты.

— Как я завидую тому, что ты едешь! — повторила Ванда. В ее глазах сверкнула жгучая зависть, и я подумал, что эта девушка, увлеченная порывом, могла бы в один прекрасный день меня прирезать. Я твердо решил по возвращении не звонить ей.

— Не сердись, милая, — сказал я. — Ведь я уезжаю на целый месяц. Тебя будут мучить угрызения совести.

— Ничего, я с ними справлюсь! — ответила она, но взгляд ее смягчился. — Ну скажи сам: справедливо ли, что ты снова уезжаешь?

— Я никогда не был в Южной Америке.

Репродуктор над нашими головами прохрипел: «Граждане, отбывающие в Рим, приглашаются для проверки паспортов и таможенного осмотра».

— А в Риме ты сколько раз бывал? — спросила Ванда.

— Несколько раз, — ответил я. — Сначала еще ребенком, потом школьником, ну и, наконец, будучи солдатом. Но это было сразу же после окончания войны. Ты тогда училась ходить.

— В сорок пятом мне было девять лет! — воскликнула она.

Я улыбнулся не слишком весело.

— Уверен, что твой плакат пройдет сегодня первым номером,— сказал я убежденно.

— Наплевать тебе на мой плакат! Ты отвратительный эгоист!

Отбывающие в Рим выстроились у окошка, прорезанного в фанерной перегородке, куда сдавались для проверки паспорта.

— Мне надо идти,— сказал я со вздохом.— Спасибо тебе, милая. Я позвоню сразу же по приезде.

— Не думаю, чтобы ты позвонил по приезде, — ответила она, а глаза ее внимательно наблюдали за мной.

— Это хорошо, что нам предстоит месяц разлуки, — сказал я. — Он станет для нас испытанием. Если я действительно не позвонил бы...

Ванда протянула на прощанье руку. Я нагнулся и поцеловал ее в щеку. Кто-то толкнул меня, и я поцеловал ее вторично, на этот раз в ухо.

— Послушай, скажи честно! — вдруг воскликнула она. — Тебя снова видели с этой Барабаньчик!

— Мы же с ней работали,— с достоинством ответил я и направился к окошку. Я с облегчением подал офицеру паспорт и, обернувшись, увидел: Ванда еще стояла у стены. Я улыбнулся, она со злостью рванулась к дверям и исчезла.

Спустя несколько минут я был уже по другую сторону перегородки, в зале ожидания. Возле киоска с сувенирами висел телефон. Я подошел к нему и по памяти набрал номер. Ждать пришлось долго.

— Панну Барабаньчик, — сказал я. — Эва? Ты, наверно, еще спала?

— Я же поздно ложусь, — ответила она своим низким, чуть хриплым со сна голосом. — Но это ничего. Ты едешь?

— Я звоню с аэродрома. Очень жаль, что ты не едешь со мной. Мне будет очень тебя недоставать.

— Ты ведь знаешь, что я мечтала об этом! — воскликнула она. — Но в конце концов хорошо, что едешь ты. Я буду издали болеть за тебя.

— До свиданья, Эва.

— Доброго пути, Зигмунт.

Я повесил трубку и пошел к самолету.

«Конвер», принадлежащий польским авиалиниям, давно уже оторвался от земли, дрожа от старческого усилия пробить толстый слой облаков, и теперь плыл над белой поверхностью, оглушительно гудя двумя моторами. Пассажиров, рассеянных по углам, было человек десять. Рядом со мной какие-то египтяне уже целых полчаса жевали, опустошая бесчисленные пакеты и пакетики. Я отчетливо представил себе, как Ванда вбегает сейчас в свою комнатку, хлопнув дверью, швыряет куда попало пальто, подходит к чертежной доске и вглядывается в свой плакат глазами, полными слез от мороза и беспомощности, как потом бросается на тахту и лежит, зарывшись лицом в подушку. «Я напишу твою фамилию красными буквами, — говорила она. — Как пишут слово «берегись!». И действительно вывела ее красной краской поперек плаката. Это было недели две назад, в день ее рождения. «Пошли куда-нибудь, — решил я,— будем веселиться».— «Ты же знаешь, что я не люблю кабаков,— ответила она. — Лучше пройдемся». Она знала, что погулять меня всегда легко уговорить, потому что я веду малоподвижный образ жизни, и это меня очень тревожит. Она жила на Жолибоже *, и мы пошли бродить по его узеньким улочкам. Я хорошо знал их, эти улочки, и все перемены, происшедшие в них за последние двадцать лет, все разрушения и все новые стройки не могли сбить меня с толку. Бедная Ванда, угораздило же ее выбрать это место для прогулки со мною! «Твои мысли где-то далеко,— сказала она.— Не можешь ли ты в день моего рождения немного подумать и обо мне? Хотя бы взять меня под руку? Смотри, какая луна!» Ее слова должны были прозвучать шутливо, но шутки не получилось, и она знала об этом. Я взял ее под руку, но как-то неловко, неуверенно. Я вообще не способен притворяться в такой ситуации. «Не умеешь! — воскликнула она. — Ты никогда не ходил под руку с девушкой?» — «Ходил, милая, ходил. Каждый вечер. Двадцать лет назад, и именно по этим улочкам. Тогда не горели фонари, потому что было затемнение, и в девять вечера надо было бежать домой, так как начинался комендантский час». Она отодвинулась от меня, и я смог опустить руку. «Ну, ясно, — сказала она. — Видно, ты тогда находился под руку на всю свою жизнь. Не растратил ли ты, случайно, вообще всего себя во время этой войны?»—«Почему? — спросил я. — Ведь именно сейчас я и

* Район Варшавы, известный тем, что до войны там впервые в Польше был построен на кооперативных началах жилой массив, почти сплошь заселенный прогрессивно настроенной интеллигенцией. В годы оккупации здесь находили пристанище преследуемые гестапо, отсюда постоянно шло пополнение в ряды движения Сопротивления.

добился чего-то, и ты можешь выписывать на плакате мою фамилию красными буквами». — «Я говорю не об этом. Не прикидывайся идиотом. Как ее звали?»—«Кого?»—«Ну эту девушку, двадцать лет назад?» — «Кама». — «Тоже красиво, — рассмеялась Ванда. — Она в Варшаве?»— «В эмиграции»,— ответил я и осторожно поцеловал ее в щеку. Мы вышли на площадь Инвалидов. Она была залита светом уличных фонарей. Я знал, что у нас наверняка ничего не выйдет.

Красивая стюардесса с крупными польскими ногами поставила передо мной поднос с завтраком. На завтрак был кусок курицы и ветчина с майонезом. Я очень люблю курицу и, решив отвлечься от мыслей о Ванде, с аппетитом взялся за еду. Гудевший «конвер» снова задрожал в тучах.

Я вытащил блокнот и открыл его на букву «р». Рим. «Рим, двухмиллионный город, частично расположен на равнине, частично на взгорьях, высотой от 39 до 249 футов; на берегу реки Тибр, на расстоянии около 12 миль от моря. Столица Италии и, как резиденция папы, центр католического мира». Это была шутка Ванды. Текст она переписала из путеводителя для спортсменов, который привез с олимпиады кто-то из ее друзей. Дальше шли мои деловые заметки: 1) Позвонить в «Аэролинеас Архентинас». 2) Позвонить профессору Понтенуово по поручению Заводзиньского. 3) Купить Анджею жидкость для бритья в магазинах «Станда», за 850 лир (с зеленой этикеткой). 4) Для Ирэны — пластинку с музыкой, исполнявшейся на последнем фестивале в Сан-Ремо, иначе обещала укокошить. 5) Осмотреть, наконец, Колизей при лунном свете. 6) Поискать Адама.

Сколько раз я уже думал о том, что надо поискать Адама?

Наша с ним юность, а следовательно пора героизма, пришлась на годы последней войны. Должно быть, мы были последним польским поколением, изрешеченным автоматами и сгноенным в концлагерях. Теперь, в новой действительности, никто не нападет на брошенную в одиночестве Варшаву. Нашим детям не придется защищать голыми руками село Рыню от водородной бомбы или межконтинентальной ракеты.

Тогда, под селом Рыня, на подступах к Варшаве, 9 сентября 1939 года, считалось, что у нас с Адамом были не совсем уж голые руки. На рассвете нас выгнали из казарм и дали каждому по винтовке и по сорок штук патронов. Ни шлемов, ни лопаток, ни, тем более, автоматов не было. Сразу же за селом Рыня тянулось поле, позади него чернела полоса леса. В этом лесу уже сидели немцы и с удивлением взирали на то, как триста польских солдат в старых учебных мундирах бегут, размахивая винтовками, по этому полю, чтобы преградить им путь на Варшаву. Они посмотрели, пожали плечами и пустили в ход свои машины. Застрекотали автоматы, глухо стукнули минометы, засвистели артиллерийские снаряды.

Нас с Адамом назначили командирами отделений. Спокойно и чуть насмешливо смотрели на нас запасники 1890 и 1900 годов рождения, сорокалетние люди, отцы семейств, главным образом варшавские рабочие. Мы приняли командование и взглянули друг другу в глаза.

— Они нам в отцы годятся, — сказал я. — Глупо. Не говори, что нам по восемнадцать.

— Ты, брат, и так еще не бреешься,— ответил Адам.— Надо показать им пример. Тогда они будут относиться к нам с уважением.

И он стал ждать случая. Когда на поле обрушился первый шквал огня, все, тяжело дыша, припали к земле. Придавленные лавиной мечущейся стали, наши рабочие сжимали в руках винтовки, время от времени стреляя по совершенно невидимому в лесу врагу. Именно тогда я

впервые увидел, как смерть наносит свой удар. Рядом со мной лежал мой заместитель — в армии капрал, в гражданской жизни вагоновожатый из депо на Кавенчиньской улице.

— Ничего из этого, пан подхорунжий... — начал он и не кончил — что-то угодило ему прямо в висок. Он опустил голову и больше ее не поднял. Я с удивлением смотрел на него, пораженный молниеносностью и простотой происшедшего. Вскоре убитых стало много, а раненые стонали и выли. Хотелось что-нибудь сделать, но я не знал что. Я ждал решения Адама.

— Мы не можем лежать здесь так! — крикнул кто-то.— Нас всех перебьют! Люди, спасайтесь!

Точно в ответ на эти слова, Адам вскочил.

— Вперед, ребята! — крикнул он, насаживая на винтовку штык.— В атаку!

И бросился вперед, к лесу, изрыгавшему железо. Это был бессмысленный рывок навстречу верной смерти. Мы даже не видели ни единого вражеского солдата. Но я тогда об этом не думал.

— За мной! — крикнул я и побежал за Адамом.

Несколько секунд мы бежали только вдвоем, восемнадцатилетние безусые щенки, а взрослые, сорокалетние люди смотрели на нас широко открытыми глазами. Следовало ожидать, что кто-нибудь из них гаркнет: «Спятили, сопляки?!! Назад!» Ничего подобного. Через минуту вскочил один, другой, третий, а еще через несколько секунд нас бежало уже человек двадцать — все, что осталось от двух отделений. Немцы, видно, оторопели, потому что огонь вдруг уменьшился. Некоторое время мы так и бежали, двадцать зеленых фигур посреди огромного пустого поля, с винтовками, к которым уже не было патронов, не обращая внимания на отчаянные, звучавшие где-то позади свистки наших офицеров. Я то и дело поглядывал на Адама: пряди его светлых волос выбились из-под пилотки и развевались на теплом ветру. Он улыбался.

— Вперед, ребята! — крикнул он еще раз и вдруг рухнул наземь, лицом в картошку. Кому-то из немцев надоело это развлечение, и он спустил курок. Меня сразу же охватил животный страх.

Адам не умер. Из нашей двадцатки несколько человек уцелело, и, пользуясь наступлением сумерек, мы вытащили раненых с поля. Ночью, отступив, мы отвезли раненых в Варшаву.

— Ох вы, дети! — вздохнул один из запасников, глядя на бесчувственного еще Адама. — Играете в героев! А это не игра... Видите, сколько нас осталось?

— Но вы же побежали за нами, хотя вам сорок лет и у вас жена и двое малышей, — ответил я резко.

— Я и сам себя не пойму, — вздохнул он. В этот момент к Адаму вернулось сознание.

— Хорошо было, а, Зигмунт?! — прошептал он и снова впал в беспамятство...

Нас наградили Крестом за доблесть как раз накануне капитуляции Варшавы, и я был готов продолжать игру в героев под водительством Адама, которого обожал.

«Конвер» окунулся в тучи и начал отвратительно дрожать. Мы теряли высоту. Зажглась надпись: «Застегнуть пояса. Не курить». Должно быть, я порядком поспал, если это уже Рим.

Границу двух миров нетрудно пересечь на самолете, если у тебя в кармане паспорт и виза. Один из египтян, зажав уши ладонями, ежился в кресле с выражением неподдельного страдания на лице. Под нами заискрилась огромная темная поверхность моря. На опустелом пляже

ровными рядами вытянулись кабинки. Лидо-ди-Рома. Здесь итальянские кинематографисты любили снимать историйки из жизни простых людей. Минуту спустя самолет мягко коснулся колесами стартовой полосы. Хорошо ведут польские пилоты свои дряхлые машины. Наш маленький самолет подруливал сейчас среди реактивных гигантов всех авиалиний мира. В лучах солнца заблестела сплошными стеклами легкая конструкция аэропорта. Аэродром был новый, могучий и прекрасный, он являл собой сочетание романтики, техники и искусства — салон и фойе города. Какой-то князь заработал миллионы, продав государству эту сырую землю, и теперь можно было со дня на день ожидать, что стартовые дорожки потрескаются. Обветшавший, заложенный в прошлом столетии фундамент представлял угрозу этой великолепной конструкции 1960 года. Египтяне направились по пути, указанному стрелкой «Транзит», а меня коридоры и эскалаторы привели в зал, через который выходили с аэродрома. Таможенники равнодушно ставили крестики на чемоданах, не интересуясь их содержимым. Среди длинного ряда стендов я разыскал стенд с голубой надписью «Аэролинеас Архентинас».

— К сожалению, синьор,— улыбнулся молодой итальянец,— самолет в Буэнос-Айрес завтра не полетит. По техническим причинам. Угодно вам будет поселиться за наш счет в отеле и ждать сообщений? Желаю приятного времяпрепровождения в Риме.

Отель назывался «Минерва» и находился на площади, носившей то же самое название, тут же возле Пантеона. Это был самый центр, сердце Рима. В собор Санта-Мария-сопра-Минерва как раз входила стайка священников в красных сутанах. В гостинице у портье брали ключ два почтенных прелата. Я слышал когда-то, что в отеле «Минерва» обычно останавливаются состоятельные священники всего мира, но паспорт Польской Народной Республики не произвел на администратора особого впечатления. Я был для него скорее посылкой аргентинской авиалинии, оставленной на хранение от самолета до самолета, а паспорт, самое большее, выполнял функцию надписи: «Осторожно! Легковоспламеняющиеся материалы!» Минуту спустя я был уже у себя в номере; окно выходило на Пьяцца-делла-Минерва. Посреди площади, окруженной машинами, стоял, как и в прошлые века, мраморный слон с обелиском на спине. Со времени первых моих воспоминаний об этой площади, то есть за тридцать с лишним лет, на ней ничего не изменилось. Хорошо время от времени возвращаться в места, где внешне ничто не меняется. Новым был только непрерывный гул: среди старых стен назойливо гудели автомобили. Безумие современного непрерывного движения на средневековых улочках без тротуаров. Я отвернулся от окна, вытащил блокнот и снял телефонную трубку.

— Господин профессор Понтенуово? — спросил я по-французски.

— Да.

— Я приехал из Польши, господин профессор, и звоню вам по поручению моего приятеля Яна Заводзиньского.

— О-о... конечно! — вскричал профессор.— Зайдите ко мне в контору, хорошо? Я здесь до шести.

Я записал в блокнот адрес и снова взялся за телефонную трубку.

— «Альберго-деи-Фьори»? Я хотел бы поговорить с паном Адамом Витецким.

— С кем, простите...

— С Адамом Витецким.

Минута тишины.

— Он здесь не проживает, — мужской голос был неприветливым.

— Мне говорили, что он живет именно у вас!

— Он уже давно здесь не живет.

— А вы не знаете, куда он переехал?

— Не имею представления. Извините, пожалуйста, у меня клиенты.

Щелчок рычажка. Я тоже положил трубку и спустился вниз. Через дверь-вертушку в гостиницу ручейком плыли выходившие из яркого автобуса голландцы. Они были невероятно солидные и чистые, а их женщины — полные, светлые и совершенно лишенные обаяния,— потрясенные Римом, издавали вопли восторга. Я вышел в город. Подобно другим прохожим, мне пришлось пробираться, почти прижимаясь к стенам, но машины все равно проезжали мимо, всего в нескольких миллиметрах от меня. Через несколько минут я был на площади Венеции. Как известно, с юга ее замыкает белый монумент в честь Виктора-Эммануила II и объединения Италии, многоколонный Алтарь отчизны, как его официально здесь называют, выглядящий не хуже, чем варшавский Дворец культуры. По широким ступеням, подымавшимся до самой колонны, беззаботно порхали группки туристов, упорно фотографируясь всюду, а всего охотнее на фоне почетного караула у могилы Неизвестного солдата. Со всех сторон слышался иностранный говор, особенно немецкая речь. Стоянка на площади была заполнена рядами машин из многих стран мира, но среди них явно преобладали белые номера-таблички машин Федеративной Республики Германии. Когда я попал сюда в последний раз, шестнадцать лет назад, сразу же после войны, туристов тут не было видно, особенно же немцев, занятых откапыванием из-под развалин своих городов. Мы все носили мундиры, и Италия оплачивала наше пребывание в стране. С Адамом и двумя девицами мы выехали с Виа-дель-Корсо. Адам вел наш «джип» резко, все были очень пьяны, и я даже немного побаивался, потому что у него было плохое настроение из-за всей этой истории с Камой. Мы выехали на площадь Венеции. Ночь была прекрасной, прохладной и лунной; в эту пору площадь была почти пуста: ночной промысел, обслуживающий солдат союзной армии, был сосредоточен вокруг Пьяцца Колонны. Вдруг Адам затормозил возле дворца, прямо под балконом Муссолини.

— Вылезайте! — приказал он девицам.

— Почему? — запротестовал я. — Они очень красивые и, наверно, из хорошего дома. Лучших в это время не найдешь.

— Вылезайте, девушки! — повторил Адам и сунул им в руки два банкнота по тысяче лир.

— Pazzo polacco *,— засмеялась одна и выскочила из машины. Вторая с достоинством последовала за ней.

— Вы бессердечные и невоспитанные варвары, если можете бросить посреди улицы ночью молодых женщин, — сказала она. — Варвары с Востока!

Адам тронул машину с места.

— Ты совсем спятил! — заорал я, но не нашел в себе сил выскочить из «джипа». Несмотря на все, что произошло между нами, я не мог освободиться от влияния этого человека. Мы ехали прямо на белый Алтарь отчизны.

— Куда?! — кричал я. — Поехали в Колизей! Путеводитель рекомендует взглянуть на Колизей при свете луны!

— Хватит с меня руин! — воскликнул он. — Едем к памятнику!

Я с ужасом смотрел на гигантскую лестницу, ведшую к памятнику.

— Ты что, с ума сошел? Это же национальная святыня! Нас арестуют!

— Самая большая лестница во всей Италии,— ответил он и затормозил.

— Сломаешь машину! — завопил я.

---

* Польский псих *(итал.)*.

— Она уже не нужна! Не нужны ни инвентарь, ни оружие! Мир воцарился во всем мире! Да здравствует победа!

Он включил передний мост. «Джип» с воем ворвался на лестницу. Нас отчаянно трясло, и мне пришлось изо всех сил вцепиться в железные поручни сиденья. Машина энергично преодолевала каменные ступени. Внизу послышались крики. Это двое испуганных и беспомощных итальянских полицейских пытались в отчаянии остановить нас.

— Адам, брось! — стонал я, зная, что его не остановить. Ведь дело было не во мне и не в Алтаре отчизны, а в Каме, и только в ней.

Адам не сбавлял газ. Печень давила мне на желудок. «Джип» с ревом преодолел последние ступени, выскочил на площадку лестницы и остановился возле памятника Виктору-Эммануилу II, рядом с могилой Неизвестного солдата. Адам выпрыгнул из машины. Я замер: сейчас он сделает что-нибудь страшное, надругается над Алтарем отчизны, опогонит его, и Италия потребует выдать наши головы. Но он остановился и, слегка покачнувшись, отдал честь.

— Итальянцы! — крикнул он. — Честь вашим традициям! Мы выиграли войну и не знаем, что делать дальше!

И разрядил в воздух пистолет-автомат. Внизу взвизгнули шины тормозившего «джипа» военной полиции. Из него выскочило трое могучих верзил в белых шлемах МП *, американские парни из Техаса, которые побежали к нам, прыгая через три ступеньки.

— Тупые полицейские! — орал Адам, размахивая пистолетом. — Вам только коров пасти! Что вы знаете о трагедии поляков?!

Американцы кинулись к стене и вытащили кольты. Так идиотски погибнуть после всей этой войны? Я подбежал к Адаму, вырвал у него пистолет-автомат и швырнул его на сиденье «джипа». В ту же минуту к нам подскочили ковбои.

— Предатель! — крикнул мне Адам. — Трус! Сдаешься, когда ты вооружен до зубов?! Помнишь наш «лебель»?

Я хорошо помнил «лебель». В течение всех этих лет войны мы, как и наши предки испокон веков, питали безнадежную, несчастливую любовь к оружию. Под селом Рыня у нас были винтовки, но потом все значительно ухудшилось. Именно Адам ранней весной 1940 года втянул меня в подпольную группу. Однажды в апреле мы отправились после наступления комендантского часа в поле за улицей Красинского, которое расположено поближе к Повонзкам, у монастыря Сестер воскресения господня. Помню, в тот вечер я расстался с Камой раньше обычного; в те дни наша любовь была в самом разгаре и после долгих колебаний мы решили, что Кама должна мне отдаться. Ей еще не было семнадцати лет, и это решение казалось нам грандиозным.

На поле нас собралось пятеро: двое должны были копать, трое страховать копающих, держа руки в пустых карманах. Из-за дерева вышел юноша. Нижнюю половину его лица до самых глаз закрывал черный платок: видно, он бывал на ковбойских фильмах.

— Здесь, — промолвил он драматическим тоном и исчез. Разумеется, я узнал его по голосу. Это был один из моих школьных товарищей, но я и бровью не повел, потому что минута эта была торжественной, и я предпочитал, чтобы вестник оказался незнакомым. Лопаты углубились в землю. Копали я и Адам. Через несколько минут нашу работу прервал тревожный свист охраны. Мы бросились в ближайшие кусты.

— Это может быть провокацией! — шепнул Адам сквозь стиснутые зубы. На поле было совершенно темно, только над Жолибожем светилось электрическое зарево, потому что в то время на улицах еще горели фонари. Послышались шаги двух идущих.

---

* Military Police *(англ.)* — американская военная полиция.

— В случае чего — лопатой по голове и за горло, — приказал Адам.

Я весь напрягся.

На фоне далекого зарева появились два силуэта. Они двигались медленно, друг возле друга, сплетенные объятием. У паренька были растрепанные волосы, девушка положила голову ему на плечо. Идя так, он беспрестанно целовал ее. Они остановились совсем рядом; паренек бросил пиджак под дерево и потянул за собой девушку. Я подтолкнул локтем Адама. Было слышно учащенное дыхание любовников. Где-то далеко застрекотал пистолет-автомат, заурчал мотор автомобиля.

— Холера! — выругался я. — На нашем оружии! Надо их прогнать!

— Даже и не думай! — шепнул Адам. — Они могут наделать шума и привлечь сюда немцев. Нельзя рисковать оружием.

Прошло достаточно времени, а их ласкам все еще не было конца. Со стороны города продолжали доноситься опасные шумы и шорохи. Беззаботная любовь этой невидимой в темноте пары болезненно задевала меня и низводила до смешного всю значительность нашей первой серьезной операции. Наконец они затихли и с минуту лежали молча. Потом заговорила девушка, и я сразу же покраснел.

— Надо идти, милый,— мягко прошептала она. — Мать будет волноваться. Только бы немцы нас не заметили...

— Зачем ты это сказала? — печально спросил паренек. — Мы были только вдвоем, и ничего больше не существовало... Боже, как я тебя люблю!

— Не говори! — шепнула она. — Не надо ничего говорить...

Я расправил затекшие ноги и задел ветку куста.

— Что это? — встревожилась девушка.

Я затаил дыхание. Ужасно не хотелось, чтобы они обнаружили нас, главным образом, ради них же самих, Я представил, как чувствовал бы себя, если бы нас вот так застали с Камой.

— Ничего, — сказал паренек. — Это ветер.

— Я боюсь, — шепнула девушка. — Нельзя забывать о войне.

— Война пройдет. А мы должны вынести из нее нашу любовь невредимой.

— Не говори так! — сказала девушка. — Наша любовь ничего не значит. Война может проехать по ней, как танк по детским кубикам. Ты знаешь, что нас ждет?

— Не знаю, — ответил парень. — Сейчас есть только ты. Пойдем.

Они пошли, снова тесно прижавшись друг к другу. На фоне городского зарева их силуэты резко выделялись темным пятном. Мне показалось, что я слышал наши разговоры с Камой. Я боялся, что Адам сейчас что-нибудь скажет. Господи, хоть бы он ничего не сказал об этом!

— Пошли рыть, — сказал Адам, вставая.

Мы снова стали копать землю. Ни один из нас не произнес ни слова о той сцене, невольными свидетелями которой мы оказались. Я радовался, что у меня такой друг. Было уже очень поздно, того и гляди, мог начаться рассвет, яма становилась все шире и глубже, а мы все еще ничего не нашли, кроме нескольких камней.

— Завтра мы потолкуем с этим ковбоем в маске! — буркнул Адам, и в эту минуту его лопата звякнула, ударившись о металл.

— Есть! — почти крикнул я. Еще несколько лихорадочных бросков лопатой, и мы с благоговением извлекли долгожданное оружие. Адам направил на него бледно-голубой луч карманного фонарика. Это была заржавевшая, забитая песком винтовка без приклада, которого она лишилась, по-видимому, в сентябре *, «лебель» образца 1886 года, снятый

---

* Имеется в виду сентябрь 1939 года, то есть первый месяц второй мировой войны в Европе.

с вооружения во французской армии еще во время первой мировой войны и попавший на берега Вислы, вероятней всего, в 1920 году, когда генерал Вейган помогал Пилсудскому отразить наступление красных.

— Будем рыть дальше! — распорядился Адам, энергично хватаясь за лопату.

Мы торопливо рыли, но, к сожалению, в яме больше ничего не было. В конце концов мы стали все впятером рассматривать «лебель» образца 1886 года. Что ж, до сих пор у нас вообще не было оружия — ни с прикладом, ни без него.

— Ничего не поделаешь,— резюмировал Адам.— Пошли отнесем его на склад. В следующий раз нам повезет больше.

Мы несли его вдвоем, попеременно, пробираясь сначала полями и задворками. Однако наступил момент, когда уже нельзя было миновать освещенные улицы Жолибожа. Я выбежал с добычей на улицу Неголевского. Со стороны Аллеи Мицкевича слышался однообразный шум моторов.

— Стоит ли, Адам? — тихо спросил я.— И добудем ли мы вообще к нему патроны?

— Струсил? — рявкнул Адам.— Давай его сюда!

— Нет! — воскликнул я с отчаянием.

Мы побежали дальше.

Наш склад, собачья конура в саду, находился по ту сторону Аллеи Мицкевича. Улица эта была широкой, она ярко освещалась, к тому же именно по ней двигалась моторизованная колонна немцев. Наш заржавевший, без приклада и патронов «лебель» вряд ли мог хоть как-то противостоять этой силе. Я твердо знал, что он нам ни к чему и мы ни разу не выстрелим из него, но уже и не помышлял о том, чтобы швырнуть его в кусты и убежать домой. Я должен был донести его до самого склада, даже если бы через минуту меня застрелили из-за него, ибо это уже был вопрос моих отношений с Адамом, и тут я ничего не мог поделать.

Присев за кустом, в месте, куда почти не достигал свет фонаря, мы стали смотреть на грузовые и бронированные машины, медленно, с шумом и скрежетом проплывающие в полосах яркого света фар.

— Много нам еще надо выкопать оружия,— заметил с легкой иронией Адам, словно читая мои мысли. Я вдруг обернулся, просто так, без всякой причины. Сзади, от угла улицы Фелинского и аптеки, прямо к нам медленно шел жандармский патруль. Он был уже достаточно близко, но звук шагов тонул в шуме моторов.

— Адам! — позвал я шепотом, потому что всегда ждал его решения.

Адам мгновенно оценил положение. Эти трое жандармов позади были для нас опаснее целой моторизованной дивизии.

— Рванули! — крикнул он, выхватил у меня «лебель» и бросился на другую сторону улицы, прямо сквозь поток машин. Я услышал позади крик жандармов, на мгновение меня ослепили могучие фары приближавшегося гиганта, и мы были уже у ограды парка Жеромского. Ограда была невысокой, мы одолели бы и бóльшую. Садик, в котором стояла собачья конура, примыкал к парку; мы положили в нее «лебель» и прислушались к грохоту машин. За нами никто не гнался.

— Благодарю тебя от имени организации,— очень серьезно сказал Адам.— Завтра утром мы будем его чистить.

Возле меня прошла группа немцев, возглавляемая горластым экскурсоводом. Щелкали фотоаппараты, направленные на Виктора-Эммануила II. Я быстро спустился по лестнице и оставил позади Алтарь отчизны. По площади, точно щуки среди плотвы, среди маленьких

«фиатов» кружили автобусы. Гостиница «Альберго-деи-Фьори» находилась неподалеку, на боковой улице, возле виа Национале. Портье оказался таким же, как его голос: неприветливым и усталым. Я положил на стол тысячу лир, четвертую часть стоимости туфель для Ванды. Впрочем, она может купить точно такие же «шпильки» в комиссионном на Шпитальной, на свои доходы от плакатов. Портье немедленно оживился.

— Этот синьор Адам уехал, не заплатив за последний месяц,— сказал он.— Но мы и сами просили его поискать другой отель. Наш отель пользуется хорошей репутацией, а синьор Адам постоянно нарушал предписания полиции.

— Что же он делал? — спросил я.

— Очень громко разговаривал по ночам,— ответил портье.— Иногда пел и кричал.

— Сам с собой разговаривал?

— Ну нет, конечно... У него всегда кто-нибудь был... Иногда у синьора Адама бывали деньги. Он торговал чем придется, но так, знаете, брезгливо, как граф. Потом ему не повезло, и он все потерял. У синьора Адама была легкая рука, и, несмотря на все, он был порядочным человеком. Все можно было бы еще терпеть, если бы не эта негритянка...

— Ого! — удивился я.

— К нам прибывают туристы из разных стран мира,— вздохнул портье.— Из Соединенных Штатов и даже из Южной Африки. Мы не можем терять хороших клиентов только потому, что синьору Адаму захотелось иметь негритянку. Лично я, синьор, против негров ничего не имею, а эта девушка к тому же была очень красивая — с маленьким носиком и совершенно европейскими губами, только черная... А как она любила синьора Адама! Она клала ему в карманы деньги, когда он спал, и он даже бил ее за это. Он бросил ее, синьор, и словечка на прощанье не написал. Она потом, наверно, с полгода приходила к нам справляться о нем и даже хотела выкупить его чемодан, но я не мог отдать ей чемодан, принадлежавший кому-то другому. Может быть, синьор Адам вернется за ним...

— Вы не могли бы показать мне этот чемодан? — спросил я.

Портье заколебался.

— Я был его самым близким другом,— добавил я и положил на стол еще 500 лир.

Портье усмехнулся и исчез, а минуту спустя вернулся с фибровым чемоданом средних размеров. Он не был заперт. Внутри лежало измятое грязное белье, под ним — серый в темную полоску костюм, какие были модны в 1956 году, пара черных, мягких ботинок фирмы «Традате-Милан» и несколько шелковых галстуков.

— Это все имущество синьора Адама? — спросил я.

— Все,— улыбнулся портье.— Синьор Адам не интересовался этим. Ведь он мог здесь устроиться. Одна девушка, дочь знаменитого адвоката, прекрасная, как сама Мадонна, буквально потеряла из-за него голову. Сколько раз она приезжала сюда на своем спортивном «альфа-ромео». Я отвечал ей, что синьора Адама нет, хотя он был у себя с другой. Ему достаточно было только жениться, и у него была бы вилла во Фраскати, машина, жена, дети и целые килограммы лир. Он не захотел. Именно тогда он и взял эту негритянку, продавщицу кофе. Он говорил, что мне не понять этого, но он должен быть всегда готов тронуться в путь с маленьким чемоданчиком в руке или даже без него. И вот он скрылся, даже без чемодана.

Я отбросил грязную рубаху и вдруг увидел под ней что-то красное. Это была испачканная и помятая нарукавная повязка варшавских повстанцев с едва заметным еще на белом когда-то, а теперь сером фоне изображением польского орла. Вокруг орла, симметрично рассыпавшись,

точно сателлиты, темнели маленькие пятнышки ржавого цвета. Это было то, что остается на материи от человеческой крови, когда она высыхает.

Я помню день, вернее ночь, когда кровь Адама оросила повязку. Это было во второй половине сентября 1944 года, кажется, на пятидесятый день восстания. Мы сидели среди развалин, со всех сторон окруженные безжалостным огнем, и в тысячный раз думали о том, подоспеет ли какая-нибудь помощь прежде, чем мы погибнем все до единого, разорванные в клочья или засыпанные лавиной кирпичей и балок. Километрах в двух от нас, на Праге *, был уже иной мир: там стояла Красная Армия. Мы боялись ее. но так же, как несколько лет назад, во время обороны Варшавы, мечтали, чтобы она пришла к нам на помощь. Помощь была для нас самым важным словом в мире, и никакие военно-тактические или политические соображения не могли убедить нас в обратном. Мы даже и не думали о том, что вот здесь, прямо возле нас, вдоль Вислы, пролегла граница двух миров и что через Польшу, так же как теперь через Кубу, проходит нечто гораздо более важное, чем обычная линия фронта. Лозунги, во имя которых мы вопреки всему торчали среди этих развалин, не позволяли нам понять, что весь мир вокруг нас радикально меняется. Наши идеалы, взращенные непосредственно на традициях Храбрых, Ходкевичей, Жулкевских, князя Юзефа Понятовского, «чуда на Висле» и ксендза Скорупки **, рушились вместе со стенами варшавских домов, а мы, оглушенные, разочарованные и обманутые, были готовы подозревать в измене всех и каждого. Как всегда, у нас не хватало оружия.

Напротив, прибыв ночью, остановились танки бронетанковой дивизии СС «Викинг». Мы знали, что на рассвете они двинутся на нас, чтобы смять остатки сопротивления. Мы готовились к смерти. Нам нечем было остановить их: немногочисленные противотанковые ружья, сброшенные нам американскими, канадскими, английскими и польскими летчиками, были главным образом погребены под развалинами домов. Адам был командиром роты, насчитывавшей уже всего несколько человек, а я — его заместителем. Наша маленькая группа держала оборону ключевой баррикады, а вернее — углового двухэтажного домика.

До рассвета оставалось еще часа два, но мы уже не могли спать. Ведь наступали последние два часа нашей жизни. То и дело где-нибудь разрывался артиллерийский снаряд, но все было ничто в сравнении с адом, который должен был вскоре поглотить нас. Мы сидели среди развалин, в какой-то комнате, служившей некогда спальней, и пили горячий чай, приготовленный Камой. За день до этого меня шрапнелью ранило в руку, и Кама забинтовала ее куском красной наволочки. В плече застрял осколок, который впивался в меня при малейшем движении. Меня мучил жар, и я всеми силами боролся с ним. Глотая чай, я старался как можно меньше шевелить раненой рукой. Кама мгновенно догадалась о моих страданиях.

— Тебе неудобно, милый,— сказала она.— Дай-ка я поправлю повязку.

И начала своими ловкими пальцами разбинтовывать ее. С той первой военной весны, когда мы, прижавшись друг к другу, ходили с Камой

---

* Район Варшавы на восточном берегу Вислы.

** Польский король Болеслав I Храбрый (967—1025), Ян Кароль Ходкевич (1560—1621), Станислав Жулкевский (1547—1620) и князь Юзеф Понятовский (1763—1813) — крупные полководцы разных эпох, превозносившиеся в буржуазной Польше как национальные герои, участвовавшие в войнах с русскими.

«Чудо на Висле» — так именовался в пилсудчиковской историографии прорыв белополяками фронта под Варшавой в 1920 году.

Ксендз Скорупка — военный поп, фанатик националист, один из главных вдохновителей антисоветской интервенции Пилсудского в 1920 году.

по улочкам, минуло несколько лет, и многое произошло между нами. Мы были почти однолетки, и я не понимал в те годы, что изо дня в день рвал все нити, связывавшие ее со мной. С головой уйдя в нелегальную работу, я втянул в нее также и Каму. Я даже женился на Каме, но относился к ней точно к вещи или послушной собаке, которая терпеливо дожидается, когда хозяин придет в доброе расположение духа. Мне было двадцать лет, и я не знал, что ни одна девушка долго не выдержит этого, даже если любит бог знает как сильно, потому что любовь должна питаться хоть какими-нибудь крохами. Мы часто ссорились, часто за свои собственные неудачи я наказывал ее холодностью и грубым равнодушием, иногда она плакала, но все это происходило как бы рядом с моей жизнью, полностью посвященной борьбе. У меня никогда не возникало ни малейших сомнений в ее любви ко мне: это была одна из очевидных истин. Такими мы и пришли в ряды повстанцев.

Кама продолжала своими спокойными пальцами разматывать повязку. Вдруг я перехватил взгляд Адама: он смотрел на ее руки. Мне не хотелось, чтобы она дотрагивалась до меня при нем.

— Брось, Кама,— сказал я.— Не стоит. И так осталось всего каких-нибудь два часа.

Внезапно, осознав близость смерти, а может быть вследствие жара, я взволновался, прослезился и взглянул на Каму с подлинной нежностью. Пожалуй, впервые за три года мне захотелось просто прижаться к ней, обнять ее и застыть так. Это странное желание смущало меня — я не знал, как его выразить, и робко дотронулся до ее руки.

Кама, по-видимому, поняла, потому что подняла на меня изумленные глаза. Они были большие и серые. Я ужаснулся. Уже давно я внимательно не вглядывался в них. Внезапно мне все стало ясно. Когда-то ее глаза были покорными, влюбленными и преданными, и это часто раздражало меня; теперь они обрели глубину и мудрость. В эту минуту прозрения я с ужасом понял, что рядом со мной стоит кто-то другой, что я уже не властен над нею, что уже давно, постепенно и неприметно, она стала более зрелой, чем я, и совсем меня не любит. Я опустил голову и тут же почувствовал, как ее рука легла мне на лоб.

— У тебя температура,— сказала она.— Ты должен уйти, пока еще можно. Может быть, у доктора Зенона найдется где-нибудь противостолбнячная сыворотка.

— Не надо! — воскликнул я.— Зачем притворяться?! Все равно из всех нас сейчас сделают котлету!

Я замолчал, потому что глаза Камы снова смотрели на меня, и покраснел от стыда и огорчения. Теперь, в наш последний час, мне больше, чем когда-либо, была нужна эта девушка, которая шла за мной всю войну, как послушный пес. Она была всем достоянием моей жизни. Я не мог прожить эти последние минуты с неожиданно проснувшимся сознанием того, что потерял ее и остался один. Я никогда не нуждался в ней именно так, как теперь.

Некоторое время я смотрел, как она промывала мою грязную рану оставшейся от чая водой. Мне было необходимо сказать ей что-то и сделать это как можно быстрее, но меня смущало присутствие Адама. С некоторых пор я подозревал, что он испытывает к ней глубокое чувство, но жертвует своей любовью ради нашей дружбы. До сих пор я был уверен в Каме; теперь я понял, что если она не любит меня, то может любить Адама. Кого же еще она могла любить? Эта мысль причиняла мне боль, гораздо более сильную, чем блуждающий осколок, и я впервые в жизни с ненавистью взглянул на друга.

— Адам, прикажи ему пойти на перевязочный пункт,— сказала Кама. Я перехватил ее взгляд. В нем было все, чего я опасался.

— Толку от тебя здесь и так немного, Зигмунт, да и командовать особенно некем,— сказал Адам, улыбнувшись. От улыбки его лицо посветлело и стало красивым, а я почувствовал себя еще более задетым. Кама должна была любить его. Я ни за что не оставил бы их здесь вдвоем. Хотя своим упрямством обрекал себя на верную гибель. Я не мог подарить им ни секунды времени, которое у нас еще было. Здоровой рукой я схватил прислоненный к столу автомат.

— Не о чем говорить! — воскликнул я.— Я чувствую себя достаточно хорошо для того, чтобы выпустить из него остаток обоймы.

Кама вопросительно взглянула на Адама.

— Чихали они в своих танках на наши обоймы! — рассмеялся он. Я почувствовал, как меня снова бросило в жар.

— Ну так плюнь на эту чертову развалину и идем со мной! — засмеялся и я, уже теряя над собой власть.— И Каму возьми! Позаботишься о ней, когда меня кондрашка хватит!

Адам взглянул на меня, прищурив глаза. Он уже не улыбался. Кама смотрела на него, а не на меня. Я чувствовал, что выгляжу безнадежно смешным, и Адам уже все знает. Но перед лицом неминуемой гибели я готов был бороться за Каму, чтобы вернуть ее хотя бы на эти два часа, хотя бы на одну, последнюю минуту своей жизни. Где-то во тьме, точно швейная машина, тарахтел мотор советского «кукурузника».

— Ты отлично знаешь, что я не могу уйти отсюда,— спокойно ответил Адам,— и я не ранен.

— А если б ты был ранен так, как я, ты бы ушел? — спросил я насмешливо, не спуская руки с автомата.

Адам не успел ответить, потому что внезапно что-то ухнуло, жалкие стропила над нами лопнули, и на пол возле нас вместе с кирпичной пылью и штукатуркой обрушилось сверху что-то длинное и громоздкое. Я подумал, что в наш домик угодил артиллерийский снаряд большого калибра, но взрыва не последовало.

— Не разорвался! — воскликнул я.

— С вами ничего не случилось?! — спросила Кама.

Поскольку я уже подал голос, ее вопрос был адресован Адаму. На секунду воцарилась гнетущая тишина. Ее нарушила пулеметная очередь, прозвучавшая где-то поблизости. На лестнице раздался топот. В комнате кто-то чиркнул спичкой: это оказался Адам. Он стоял живой и невредимый, весь покрытый пылью от штукатурки. В комнату вбежало несколько парней.

— Это с «кукурузника» сбросили, без парашюта! — кричали они.— Мы думали, тут от вас только каша осталась!

— Посвети! — приказал Адам.

Все бросились к ящику. Он был наполовину разбит. Адам начал вытаскивать из него какие-то странные винтовки, гораздо длиннее и больше обычных.

— Боже! — вскричал он.— Ведь это же противотанковые ружья!

Дрожащими от волнения руками они извлекли наверх все ружья, и Адам заглянул внутрь ящика.

— А где снаряды?! — закричал он.— Снарядов нет!

— Второй ящик упал напротив,— сообщил один из ребят.— Наверно, там снаряды.

Адам бросился к окошку и раздвинул мешки с песком. Я тоже встал. Из-за мучившего меня жара я очень ослаб, и Каме пришлось поддержать меня.

— Вон там! — парень указал куда-то во тьму.— На той стороне улицы, во дворе.

По другой стороне улицы метров на пятнадцать тянулась изрытая снарядами и устланная трупами наших ребят «ничейная земля», отлично

просматриваемая с немецких позиций даже в темноте. Малейший признак жизни на этом куске земли немедленно вызывал ураганный огонь. Я взглянул на Каму: она, как и все, пристально смотрела на Адама. Я должен был отвоевать ее.

— Я пойду за снарядами,— твердо сказал я. Кама с изумлением взглянула на меня.

— Не пойдешь,— возразил Адам.— Ты ранен.

— Тем лучше! — воскликнул я.— Меньшая потеря. Я зацеплю за ящик какую-нибудь проволоку, и вы вытянете его.

— Приготовьте телефонный кабель,— распорядился Адам, а мне сказал: — В таком состоянии ты даже ползти как следует не сможешь. Я пойду сам.

— Ты должен будешь стрелять по танкам! Тебе нельзя рисковать!— воскликнул я и добавил просительно: — Адам, разреши мне пойти.

Адам взглянул на Каму. Этот взгляд снова выдал его. Как я ревновал! Кама мягко взяла меня за здоровую руку. Это был жест матери, повелевающей успокоиться.

— Разве непременно один из вас должен погибнуть?

— Один из нас должен пойти за этими снарядами,— ответил Адам.— В них наша единственная надежда. Поскольку задание важное и опасное, я предпочитаю выполнить его сам.

И он улыбнулся Каме. Они взглянули друг другу в глаза. В это мгновение я для них вообще не существовал. Это продолжалось не больше двух секунд, потому что Адам тут же надел пилотку и вышел. Бессильный, я сидел в кресле и не мог удержать слез. Они стекали по моим щекам, венчая поражение. Кама заметила мои слезы, и с этим уже ничего нельзя было поделать.

— Это тебя жар так вымотал...— сказала она тихо.— Пойдем, приляжешь.

И она осторожно обняла меня, помогая встать. Я сдержал рыдания. Ее руки были спокойны, она даже не взглянула в окно. А ведь я твердо знал, что она ждет, ждет и только ждет. Все, что она делала сейчас для меня, было лишь выполнением долга. Меня восхищало самообладание этой новой для меня Камы, открытой мною лишь в предсмертный час, и я чувствовал себя от этого еще более уязвленным. Я позволил отвести себя и, беззвучно рыдая, ожидал в тишине вместе с нею...

И вдруг застрекотала очередь, которую мы ждали. Мы вздрогнули одновременно и как одно существо — Кама продолжала обнимать меня. Я почувствовал, как сильно забилось у нее сердце. За окном все звенело и грохотало. Я не мог больше находиться рядом с ней ни минуты.

— Оставь меня! — закричал я.

Она отодвинулась и, сидя неподвижно, продолжала вслушиваться в разрывы и трескотню за окном. От жара у меня пульсировало в висках.

— Почему ты не бежишь к окну?! — крикнул я. Она молча взглянула на меня. Я не мог вынести ее взгляда.— Уйди от меня! — заорал я.— Мне не нужна твоя жалость! Ты свинья, понимаешь?

В эту минуту стрельба за окном прекратилась так же внезапно, как и началась. Кама продолжала неподвижно сидеть. Снаружи послышались шаги и какая-то возня. Кто-то толкнул ногой дверь, и в комнату ввели Адама. Его серый комбинезон был порван и испачкан кровью. Кровь забрызгала также повстанческую повязку. Он, видно, забыл снять ее с руки перед уходом, и ее яркий цвет привлек внимание. Адам тяжело опустился в кресло и улыбнулся.

— Есть снаряды,— сказал он. Меня вдруг охватил страшный стыд.

— Осмотри-ка его рану, Кама,— произнес я обычным тоном.— Надо же еще научиться стрелять из русских ружей, а немцы уже, наверно, заливают бензин в танки.

Теперь эта повязка лежала передо мной, извлеченная из-под грязного белья, и портье отеля с любопытством разглядывал ее.

— Milizia? * — спросил он.— Partigiani? ** Я знаю, что синьор Адам сражался с немцами. Он вообще часто говорил о Польше, и особенно о Варшаве, когда выпьет, бывало.

Я сунул повязку на дно чемодана и закрыл его.

— Да,— сказал я.— Может быть, синьор Адам вернется когда-нибудь за чемоданом. В каком кафе работает эта негритянка?

— Ее уже здесь нет,— с улыбкой ответил портье и, достав из шкафчика иллюстрированный журнал с улыбающимся Фиделем Кастро на обложке, с гордостью раскрыл его.— Вот она,— сказал он.— Если бы синьор Адам немного подождал, теперь бы он зажил совсем другой жизнью...

На снимке была изображена очень красивая черная девушка в купальных трусиках и с узенькой полосочкой материи на груди. Она была изящна так, как могут быть изящны только негритянки. Сидя на фоне пляжа и моря на какой-то балюстраде, она улыбалась кому-то, стоявшему за кадром. Подпись под фотографией гласила: «Сара Лятур — новая звезда международного кинематографа, сейчас снимается в Ницце в фильме «Бразилианка».

— Как это произошло? — спросил я.

— Как в фильме, синьор,— улыбнулся портье.— Она сидела у витрины этого своего магазина возле машины для варки бразильского кофе и, наверно, думала о синьоре Адаме, когда ее вдруг увидел какой-то французский продюсер. Цена черной кожи, синьор, в последнее время, с тех пор как Африка пришла в движение, стала подыматься, и теперь негров в фильмах будет все больше и больше, а она — девушка первого сорта, и сама родом вовсе не из Бразилии, потому что ее родителей привезли сюда при Муссолини из самого Сомали, как экспонат выставки колониальных товаров, и они здесь так и остались. Теперь она переехала в Париж и зарабатывает миллионы. У синьора Адама это уплыло из-под самого носа, хотя я думаю, что он мог бы ее бросить и с миллионами. Вообще синьора Адама все время что-то куда-то гнало, и он ни за какие сокровища не хотел ни с чем быть связанным, будь то не только девушка, но даже квартира или всего лишь комната. Поэтому он предпочитал всегда жить в гостинице.

— Понимаю,— сказал я.— Это все, что вы можете рассказать мне о синьоре Адаме? Вы не знаете, куда он уехал?

— Он же исчез, не заплатив по счету,— вздохнул портье.— Сейчас...

— Что?

— За день до отъезда он просматривал здесь расписание поездов. Сказал, что ожидает кого-то и на сей раз это не будет негритянка. Мне показалось, что дольше всего он изучал, когда отправляются поезда в Лечче... Знаете, это на юге.

— Знаю,— ответил я.— Благодарю вас.

— Может быть, вы хотите оставить свой адрес на случай, если синьор Адам появится...

— Нет, спасибо. Я здесь проездом,— ответил я и, пожав ему руку, вышел на улицу. На виа Национале было людно, и, несмотря на дневной свет, уже вспыхивали неоновые огни. На углу меня охватили сомнения. Вдруг я почувствовал себя очень усталым. Этот день, казалось, был бесконечным: начавшись ранним утром в Варшаве с Вандой, он достиг полудня лишь здесь, на виа Национале в Риме. Хотя я уже успел разузнать об Адаме, тоненькая нить оборвалась сразу же, едва я потянул

---

* Милиция? *(Итал.)*
** Партизаны? *(Итал.)*

за нее. Вот разве что Лечче... Я взглянул на часы, снова засомневался и направился к Пьяцца Эзедра.

Контора профессора Понтенуово помещалась в маленьком особняке середины XIX века, среди множества культурных и торговых учреждений. В большой комнате работало несколько служащих интеллигентного вида; на их столах высились груды газет и журналов. Профессор принял меня в темном кабинете, подобающе обставленном, с мебелью в стиле начала века. Это был коренастый человек с пышной седой шевелюрой и широкими скулами, свидетельствующими о твердом характере и настойчивости. Неторопливым жестом он снял очки.

— Напряжение, напряжение, напряжение! — вскричал он, швырнув очки на газету.— Каждую минуту где-нибудь вспыхивают новые конфликты. Мы, интеллектуалы, не можем смотреть на это безучастно.

— Мир преображается в муках, господин профессор,— ответил я, лишь бы сказать что-нибудь.

— Мы, интеллектуалы, должны перебросить мост между враждебными лагерями,— продолжал профессор.— Культура неразделима. Например, мы оба: хотя мы принадлежим к разным мирам, мы ведь, пожалуй, сможем достичь согласия скорее, чем некоторые главы правительств.

— Мы представляем только самих себя,— ответил я.— Вы считаете, господин профессор, что взаимопонимание и так далее...

— Взаимопонимание, взаимопонимание!..— воскликнул профессор.— Хватит уже пустых разговоров! Мы, интеллектуалы обоих миров, должны найти что-нибудь более эффективное, нежели бесплодные дискуссии в тот момент, когда все пылает! Нам нужна идея, общая созидательная идея!

Профессор выпрямился и замолчал. В нем чувствовалась такая энергия, что и я забыл об усталости.

— Найти общую идею будет не так-то легко,— ответил я.— Даже на луну летают врозь. Разве что речь идет о непреходящих гуманистических ценностях. Разумеется, каждый обмен мыслями полезен...

— Такая идея есть! — с ударением сказал профессор.— И вдобавок идея политическая!

Глаза у него сверкали. Я замер в ожидании.

— Какая же это идея, господин профессор? — робко спросил я.

— Мировое правительство! — ответил профессор и замолчал, ожидая, пока величие этих двух слов достигнет моего сознания.— До тех пор пока существуют разные правительства, всегда будут войны, даже если останется только два правительства во всем мире. Мы, интеллектуалы, должны пропагандировать среди наиболее светлых умов наших стран идею мирового правительства! Именно этим вопросам мы хотим посвятить наш съезд в Ницце. Разве может хоть кто-нибудь из интеллектуалов Запада или Востока выступить против такой идеи?

Я представил себе, как пропагандирую в Варшаве эту идею, и чуть не рассмеялся, ибо дело кончилось бы или кутузкой или сумасшедшим домом. Я посмотрел профессору в глаза.

— Разумеется, это благородная идея, рассчитанная на далекое будущее,— ответил я.— Пока что нет возможности создания единого правительства для Германии, Кореи или Вьетнама.

— Мы, интеллектуалы, должны быть дальновидными, опережать современность, заглядывая в отдаленное будущее,— ответил профессор уже обиженным тоном и вдруг замолчал, глаза его погасли.— Ладно... Будьте любезны, заполните анкету в секретариате. Мы пришлем вам приглашение на съезд в Ницце.

Я молча поклонился и вышел из кабинета. По возвращении я решил как следует выругать Заводзиньского за идею втянуть меня в международную кампанию, которую некоторые интеллектуалы ведут в пользу

создания мирового правительства. Правда, это могло бы гарантировать мне вплоть до самой смерти дополнительные поездки за границу каждые два-три года, потому что такая кампания продолжалась бы до бесконечности, не давая результатов. Профессор же производил впечатление личности энергической, внушительной, способной выбивать где-нибудь соответственные суммы для проведения съездов в различных красивых уголках Европы, согласно моде последнего времени. «Он организует съезд в Ницце! — восторженно прошептал мне Заводзиньский, член десяти международных обществ.— Ты думаешь, только кинематографисты имеют право бывать на Ривьере?» Лозунг «Ривьера — для широких масс интеллектуалов!» особенно пришелся ему по вкусу, потому что остальные международные организации, в которые он входил, как назло, устраивали свои съезды в северных городах (Амстердам, Брюссель, Лондон), и он никогда не мог выкупаться в теплом море. Он уступил мне такую возможность в благодарность за одну услугу, но ничего не сказал о мировом правительстве. Теперь я понял, что крылось за его великодушием: трудно было надеяться на то, что министерство культуры захочет оплачивать в валюте борьбу за мировое правительство, а все это в конце концов должно было бы стать явным, потому что профессор наверняка широко пользовался рекламой в прессе. У Заводзиньского была жена и двое детей и, будучи «профессиональным» делегатом, скорее чем кем бы то ни было другим, он проявлял большую осторожность. Впрочем, роль делегата он исполнял безупречно: он знал два языка и всегда произносил гладкие, весьма ловко пересыпанные остротами речи, которые оживляли атмосферу и, не внося ничего нового, приводили в восторг своей краткостью других «профессиональных» делегатов с Востока и Запада, мечтающих об обеде или ужине.

Я прошел через приемную, не обращая внимания на выжидательную позу секретарши, бросил: «A rivederla!»* — и открыл двери. Ницца развеялась как фата моргана. К счастью, я был в Риме, а «Аэролинеас Архентинас» должны были перебросить меня в другой, незнакомый мир. Быстрым шагом я направился к гостинице. Было уже около шести часов, а я до сих пор ничего не ел и мечтал о равиоле или спагетти и о том, чтобы отдохнуть хотя бы часок перед вечерней прогулкой к Колизею. Я должен был наконец увидеть его при свете луны, как этого требовал путеводитель.

Смуглый портье подал мне ключ.

— Нет, синьор, никакого известия из «Аэролинеас Архентинас» нет. Вы можете спать спокойно, самолет утром не полетит. Может быть, после полудня, может быть, лишь послезавтра. Нам и Риму выпало удовольствие дольше видеть вас своим гостем.

Я слабо улыбнулся, но в глубине души обрадовался и не сумел выразить неудовольствие по адресу «Аэролинеас Архентинас», хотя должен был бы позвонить туда и отругать их, как это сделал бы всякий уважающий себя пассажир, а может быть, даже потребовать возмещения убытков, понесенных в делах.

На стене среди реклам различных авиалиний висела большая карта Италии.

— Во сколько отходит ближайший поезд в Лечче? — спросил я.

Было раннее утро, когда я, выйдя с вокзала, очутился в Лечче. До деревни, а вернее, до пригорода было несколько километров; я решил пройтись пешком, чтобы не оказаться там слишком рано. За эти шестнадцать лет город стал более красочным; в мягком свете весеннего утра

---

* До свидания! *(Итал.)*

блестели фасады магазинов, лоснился лак новых «фиатов». Я вышел на рынок и остановился. На площадь, мигая сигнальными фонариками, въезжали большие грузовики с бочками оливкового масла. Шестнадцать лет назад грузовики с оливковым маслом были маленькие, астматические. Теперь они мощно гудели новыми моторами, были громоздкими и сверкали яркими красками. Ночной ресторан в подвале сменил название и фасад; наглухо запертый в эту пору, он отдыхал от гостей. Тогда мы пробовали там танцевать с Адамом буги-вуги, танец, который только что привезли из-за океана американские солдаты. Мы по очереди танцевали с Камой, потому что ни одна итальянская девушка не могла публично показаться с нами, рискуя остаться старой девой. У Адама этот танец получался гораздо лучше; я ревниво наблюдал за ними, когда они с Камой прыгали, держась за руки, то приближаясь, то отдаляясь, не отрывая глаз друг от друга. Короткая военная юбка Камы развевалась, обнажая колени и часть изящных бедер. Я понял тогда, что мне уже нечего здесь делать и, даже если я стану биться головой о стену, Кама никогда ко мне не вернется.

Когда они сели за столик, еще не отдышавшись от быстрого танца, лица их стали натянутыми и печальными. Я знал, что торчу между ними, как заноза между пальцами, но уйти никак не мог. Я сидел у столика, рядом с женой, которую слишком поздно полюбил безнадежной любовью, и рядом с другом, которого ненавидел и которому не хотел смотреть в глаза. Потрясенные этим танцем, потому что он все обнажил, оба они были любезными и более чужими мне, чем официанты в зале. Я не понимал тогда всей банальности этой истории, потому что каждый из нас переживал ее впервые, со всей юношеской пылкостью.

— Пойдемте,— сказала Кама.— Я еще успею на «торпеду».

Она вступила тогда в армейскую женскую часть и жила в нескольких десятках километров от нас. Ее независимость, а следовательно возможность как прежде держать ее возле себя, доводила меня до исступления.

— А не лучше ли тебе переночевать здесь? — спросил Адам.

Я из гордости сделал вид, что меня это не касается, и играл зажигалкой.

— Нет, не могу,— ответила она кратко.

Мы вместе проводили ее на вокзал. Теперь я уже никогда не мог побыть с ней вдвоем, она избегала этого, как заразы, соглашаясь только на приезд к нам обоим, а Адам не оставлял нас ни на минуту. Это был молчаливый уговор, и никто не мог его нарушить. Всякий раз я мучился, но у меня не было сил уйти, и я старался только сохранить на лице усталое и равнодушное выражение. Я знал, что они тоже мучаются, и это придавало мне бодрости.

— Когда ты приедешь? — спросил я, согласно установившемуся обычаю.

— Не знаю, удастся ли мне скоро приехать,— ответила она.— Я дам знать.

— Прекрасно,— ответил я безразличным тоном.

Я смотрел, как она уезжала, и не мог дать выход своему отчаянию хотя бы в жесте, потому что рядом стоял Адам.

— Хорошо бы нам познакомиться с девушкой, которая живет здесь,— сказал я и сделал вид, что подавил зевок, но подбородок у меня дрожал от волнения.

— Ведь у тебя же есть твоя Мария-Аннунциата,— ответил Адам, пристально вглядываясь в меня.— Ты совершенно вскружил ей голову.

— Да где уж! — презрительно рассмеялся я.— Это ведь темный юг! Переспи я с ней, мне, вероятно, пришлось бы на ней жениться. Может, пойдем проветриться куда-нибудь.

— Пожалуй, идея неплохая,— сказал Адам.— Поедем в Рим. К девкам.

И назавтра мы поехали в Рим на две недели, а фактически на пять дней, потому что после происшествия у Алтаря отчизны нас под конвоем отослали обратно.

Я прошел мимо ярко окрашенных домов пригорода и оказался на хорошо знакомом мне узком шоссе, пролегающем через виноградные и оливковые плантации. Здесь все цвело, утопая в розовых и белых лепестках, и даже огромные агавы у дороги, тогда серые и покрытые пылью, отливали теперь свежей яркой зеленью. Стены сверкали ослепительной белизной; придорожные деревья были осыпаны желтыми шариками. Не тут ли, случайно, я рвал мимозу, готовясь встретить Каму, когда она приехала в Италию из немецкого концлагеря? На белых стенах красовались яркие рекламы вермута и автомобильных шин. По полю, поблескивая красными спицами, ехала крестьянская тележка с большими колесами, запряженная черным ослом. У входа в деревню бросилась в глаза бензоколонка «ЭССО», точно такая же, как повсюду в этом мире, и точно такая же, как повсюду, висела реклама «Пейте кока-колу». Но все остальное было как и шестнадцать лет назад — деревня лежала передо мной каменная, бело-розовая, сонная в лучах солнца и далекая, казалось бы, от вопросов, сотрясающих земной шар. Люди, стоявшие у дверей и на балконах, провожали меня взглядом, угадывая во мне не только чужого, но и иностранца. Склад, превращенный тогда в казармы, снова стал складом, из него выносили мешки и грузили их в машину. Школа, занятая тогда нашим батальоном, снова стала школой, и на стадионе, где раньше солдаты получали довольствие, дети играли в мяч. Я шел по главной улице, выложенной большими камнями, мимо двухэтажных побеленных домов, и сердце мое стучало все сильнее. Я отважился на опасное сопоставление и вдруг почувствовал огромное желание убежать в Рим, в объятия «Аэролинеас Архентинас». Но ведь дело было не только во мне, потому что я действительно твердо решил найти Адама. Я свернул в боковую улочку. Здесь стояли одноэтажные домики с плоскими крышами и розовато-желтой штукатуркой; я подошел к окну, через которое столько раз выскакивал шестнадцать лет назад. У окна сидела сморщенная исхудалая старушка, устремив бесцветные глаза на улицу, и лишь спустя несколько минут я понял, что это мать Марии-Аннунциаты. Когда я остановился возле окна, она подняла на меня свои выцветшие глаза.

— Добрый день,— сказал я.— Sigismondo, Polacco.

Она улыбнулась, не удивившись. Я не мог понять, как можно до такой степени исхудать. В те годы мать Марии-Аннунциаты была толстой крикливой женщиной.

— Я вас сразу узнала,— сказала она.— Зачем вы приехали?

— Поговорить с Марией-Аннунциатой.

— О чем?

— Мне надо у нее спросить...

— Теперь вы уже можете спрашивать,— произнесла она с иронией.— Мария-Аннунциата живет там.

И она указала чуть дрожащим пальцем на один из розовых домов. Я направился к этому дому, вошел в ворота и оказался в маленьком садике среди цветов и фиговых деревьев. На скамейке под деревом сидела полная женщина в черном покрытом пятнами платье и месила тесто в зажатой между колен миске. У нее были могучие бедра, а ее черные жирно блестевшие волосы неряшливо свешивались на лоб. Она увидела меня, ее рука замерла. Тонкое когда-то лицо теперь расплылось, но глаза, смотревшие на меня, были такими же черными, как прежде.

— Sigismondo! — прошептала она.

Я подошел и протянул ей руку. Она выглядела хуже, чем я ожидал, но я растянул рот в радостной улыбке.

— Преступник возвращается на место преступления,— сказал я.

Она отодвинула миску с тестом, вытерла о платье дрожащую руку и протянула ее мне. Рука была теплая и очень мягкая. Мария-Аннунциата поймала мой взгляд и быстро сложила руки на животе, чтобы я не видел ее толстых пальцев. Я решил смотреть ей только в глаза.

— Откуда ты приехал, Сигизмондо?

— Из Польши.

— Ты вернулся в Польшу? Не жалеешь об этом?

— Вроде бы я не выгляжу раскаивающимся.

— Ты выглядишь очень хорошо. Ты нажил состояние?

— У нас этого понятия не существует.

— Но ты занимаешь какое-нибудь высокое положение? Наверно, сделал карьеру?

— Можно это назвать и так,— улыбнулся я.

— Ты мало изменился.

— У меня стало гораздо меньше волос на голове. Ведь прошло уже шестнадцать лет, Мария.

— Я рада, что твоя жизнь складывается хорошо. Я часто вспоминала тебя. Я совсем не знала, что с тобой.

— Пожалуй, так было лучше,— ответил я.

— Ну, теперь ты видишь, что так было лучше,— сказала она с грустной улыбкой.

И положила на колени толстые состарившиеся руки. Ей уже нечего было скрывать. Она сидела на скамейке, грузная, толстая, с большой грудью, животом и бедрами, обтянутыми старым платьем. Эти шестнадцать лет превратили ее в чудовище. Тогда она была худенькой, прелестной девушкой. И любила меня так же безнадежно, как я любил Каму. Ей было теперь не больше тридцати четырех лет.

— Ты ведь знаешь, что у нас женщины быстро стареют,— сказала она.— Зачем же ты приехал?

— Я ищу Адама.

— Адам был здесь прошлой осенью.

— Зачем?

— Он говорил, что хочет взглянуть на деревню спустя пятнадцать лет. Мы ходили с ним гулять по той, нашей тропинке с агавами.

Я опустил глаза. Мария-Аннунциата улыбнулась.

— Вы всегда возвращаетесь пятнадцать лет спустя? — спросила она.

— Как выглядел Адам? — быстро спросил я.

— Плохо,— ответила она.— Он очень нервничал и был рассеян. Он записал, когда приходят автобусы, и все время посматривал на часы, но никто не приехал.

— Не думал же он, что в пятнадцатую годовщину...

— Вероятно, он думал, что в пятнадцатую годовщину она свалится сюда с неба,— подтвердила Мария-Аннунциата.— А может быть, он с ней договорился, когда ты уехал в Англию? Но ведь за пятнадцать лет могли произойти разные события, и трудно винить кого-нибудь, если он забыл о свидании. Ты женился, Сигизмондо?

— У нас существуют разводы,— ответил я.— А ты?

Она улыбнулась и взглянула в сторону дома.

— Сильвия! — позвала она.

В садик выбежала темноволосая смуглая девушка, уже вполне сформировавшаяся, хотя ей должно было быть не больше четырнадцати лет. Это была Мария-Аннунциата 1945 года, но еще более стройная и

с более благородными чертами лица. Какая-нибудь примесь арабской, а может быть, и африканской крови. Она была в коротеньком платьице, при каждом движении открывавшем уже вполне женские ноги. Девушка поглядывала на меня с пристальным любопытством.

— Это синьор Сигизмондо,— сказала мать.— Поляк.

— Хорошо, что папа поехал отвезти масло,— понимающе сказала девушка.

Мария-Аннунциата покраснела до корней волос.

— Ты не можешь вести себя прилично, Сильвия? — раздраженно спросила она.

— Отец не любит поляков? — с улыбкой спросил я.

— Мама их очень любит,— ответила девушка.

— Сильвия, иди делать уроки! — приказала мать.

Сильвия улыбнулась с сознанием своего превосходства и направилась к дому. Мария-Аннунциата сидела теперь, опустив глаза, растерянная и задумавшаяся.

— Куда уехал Адам? — спросил я.

— В Неаполь,— ответила она.— Он одолжил у меня несколько лир на билет. Но мне кажется, что он поехал куда-то дальше. Где она теперь, Сигизмондо?

— Точно не знаю,— соврал я.— Говорят, в Южной Америке.

— Вот именно,— многозначительно сказала Мария-Аннунциата и с трудом поднялась. Должно быть, ей не хотелось, чтобы я входил в дом. Ее тучное тело переваливалось с боку на бок в такт шагам. Минуту спустя она вернулась с небольшим предметом в руке. Он так блеснул в лучах солнца, что я даже зажмурил глаза, но все равно сразу узнал его. Это был серебряный рынграф * Адама, погнутый во время восстания, потому что он всегда носил его в левом нагрудном кармане, над сердцем. На позолоченном, а теперь почерневшем фоне был выгравирован белый орел с огромным количеством перьев. Из его грозно разинутого клюва торчал язык, а на груди виднелись две небольшие дырки, оставшиеся от заклепок. Когда Адам полз в темноте по «ничейной земле» за снарядами, а я ожидал его с Камой, у орла оторвался приклепанный к нему эмалированный медальончик с изображением Остробрамской божьей матери.

— Он заставил меня взять это на память,— сказала Мария-Аннунциата.— Сказал, что это наверняка не понадобится ему. Я рада, Сигизмондо, что хотя бы твоя жизнь не пошла прахом...

— Сходить к автобусу встретить папу? — многозначительно спросила с порога Сильвия.

— Пожалуй, я пойду,— заторопился я.— Рад был увидеть тебя.

— Совсем не рад,— ответила Мария-Аннунциата.

Я сижу в кресле самолета «констеллейшн» линии «Панэйр ду Бразил», потому что на самолет «Аэролинеас Архентинас» я позорно опоздал. Дополнительное пребывание в Риме уже на собственный счет вынудило меня отказаться от покупки ботинок, которые так понравились мне на Виа-дель-Корсо, но ведь и «шпильки» Ванды ушли на поездку к Марии-Аннунциате, так что мы оба останемся без итальянской обуви. Самолет «констеллейшн» очень велик, но уже устарел, потому что на нем установлено четыре обычных двигателя. Хотя моторы сильно гудят, скорость самолета не превышает пятисот километров в час, чем он напоми-

---

* Выпуклый жетон, который носили в польской армии на мундире, у шеи. На нем помимо государственного герба (орла) часто бывали изображены богоматерь или номер полка.

нает мне довоенный автобус, курсировавший по маршруту Коломыя—Куты. Однако линия «Панэйр ду Бразил» обещает пустить осенью реактивный самолет «боинг» или «комета». Уже давно стемнело, и мы, сытно поужинав, вылетели из Лиссабона. Я никогда не был в Португалии, а теперь в этой стране я знаю голубую неоновую надпись «Лисбоа», зал ресторана на аэродроме, киоск с куклами в национальных костюмах и полукруглую панораму огней на побережье, отражавшуюся в Атлантическом океане. Минуту спустя все исчезло, «автобус» с тяжким трудом стал взбираться на высоту в четыре тысячи метров. Я взял карту: до следующего приземления 2796 километров, что составляет, по крайней мере, шесть часов полета. Среди примерно сорока пассажиров «автобуса» я еще в Риме высмотрел одинокую красивую молодую девушку со смуглой кожей. Ее легкая накидка из норки и элегантная сумка свидетельствовали о хорошем вкусе и состоятельности, но это не волновало меня, потому что ей не было известно о моих трудностях с ботинками. Обычно на самолетах через Атлантический океан летят состоятельные люди, а то, что на тех же самолетах летают и поляки — как бы это ни было парадоксально,— никому до этого нет дела. Решив сесть рядом с девушкой и начать с ней разговор, я направился во время посадки за нею следом и шел, несколько рассеянно поглядывая вперед. Все развивалось по плану до того момента, когда мы оказались внутри самолета. Как я и предполагал, девушка села возле окна, и я уже собрался было занять место рядом, как вдруг какая-то дама лет пятидесяти, одетая ярко и уродливо — с безвкусицей, свойственной мелким буржуа в США,— внезапно остановилась передо мной, загородив проход. Это было так неожиданно, что я угодил локтем в венчавшую ее туалет шляпу, всю состоявшую из ленточек, вуалеток, искусственных цветов и даже фруктов. Этот кошмарный головной убор упал на пол; я вскричал: «Sorry!» * — и бросился собирать его. Когда я поднял шляпу, место возле прекрасной девушки было уже занято темнокожим южанином с усиками. Я тяжело опустился на кресло рядом с американской дамой и вытащил из кармана «Коррьере-делла-Сера». Я читал эту газету от корки до корки, не поднимая головы от Рима до Лиссабона. Американская дама, бросая в мою сторону взгляды, провокационно поблескивала своими оправленными в золото очками. Но от меня исходила такая враждебность, что заговорить со мной она не решалась. Только после ужина в Лиссабоне эта враждебность, смягченная едой, вином и усталостью, начала таять. Я опустил спинку кресла и прикрыл глаза. Дама немедленно бросилась в наступление, боясь, что я могу заснуть.

— You're flying to Dakar? ** — спросила она.

— South America***,— ответил я со своим польским акцентом.

— Interesting,— заявила дама.— Italian? ****

— No,— ответил я.

— French? *****

— No,— продолжал я защищаться.

— German?******

— No! — рявкнул я.

Дама начала колебаться. Ее пористое лицо излучало неподдельное любопытство. Спасения не было. Я решил сдаться.

— Polish,— сказал я.— From Warsaw, the heroic city*******.

---

* Извините! *(Англ.)*

** Вы летите в Дакар? *(Англ.)*

*** В Южную Америку *(англ.)*.

**** Интересно... Итальянец? *(Англ.)*

***** Француз? *(Англ.)*

******* Немец? *(Англ.)*

******* Поляк... из Варшавы, героического города *(англ.)*.

— Не могли сразу сказать! — воскликнула дама по-польски.— Вы знаете, я же родом из Дрогобыча!

Самолет гудел в темноте, повиснув где-то над океаном или, может быть, над Сахарой, а я, будучи заперт в герметической коробке, не видел ничего из этого незнакомого, но столь привлекавшего меня мира и только должен был слушать воспоминания о Дрогобыче.

— ...И именно тогда, когда я получила аттестат зрелости, в Дрогобыч приехал мой будущий муж, американец, потому что его отец, инженер — специалист по нефти, работал там, и он так влюбился в меня, что в 1938 году вернулся и забрал меня в Штаты... А потом всю мою семью в Дрогобыче уничтожили немцы.

Гасли по очереди лампочки над креслами. У меня в ушах все время то усиливался, то стихал гул моторов. Смуглый южанин нашептывал что-то прекрасной девушке, которая тихонько смеялась.

— Первый раз вижу поляка из Варшавы, который путешествует по свету,— снова пошла в атаку моя соседка, внимательно вглядываясь в меня.— Вас пускают за границу?

— Нас пускают за границу, мы не боимся тайной полиции, я не думаю остаться на Западе, я не коммунист, занимающий высокий пост, а в Южную Америку еду по приглашению тамошних кинематографистов,— сонно ответил я, чтобы сразу покончить со всей серией обычных вопросов.— Вы, наверно, сокрушаетесь по поводу того, что ныне в Польше у власти коммунисты?

— Да, мне это неприятно,— ответила она, подозрительно взглянув на меня.

— Но вы за эти двадцать три года нажили себе состояние в Штатах благодаря усиленному труду и бережливости? Должно быть, вы с мужем открыли какой-нибудь магазин?

— Откуда вы знаете? — спросила она.

— А к чему же еще может стремиться человек? — спросил я.

— Продуктовый магазин,— ответила она с гордостью.— В штате Нью-Йорк. У нас есть «бьюик» для выездов и «форд» для перевозки товаров.

— И теперь, спустя много лет, вы уже в состоянии путешествовать по Европе. Вы осматривали Париж, путешествуя автобусом «ситирама»?

— Осматривала,— ответила она.

— И руины Рима, Виа Аппия и катакомбы святого Каликста.

— Я даже везу свечи из катакомб,— оживилась она.— У меня есть друзья-католики.

— И теперь вы даже возвращаетесь через Африку.

— Потому что у меня там сестра,— пояснила она.— Во время войны она бежала из Дрогобыча через Румынию. Ее муж — врач.

— Вы, наверно, везете сестре богатые подарки?

— Чемодан электрических бритв,— с гордостью ответила она.— Они гораздо дешевле в Штатах. Знаете... первый земляк из Польши после стольких лет... Я вам подарю бритву!

— Спасибо,— ответил я.— Я бреюсь обычной бритвой.

— Но у вас нет, наверно, таких бритв! — воскликнула она.— Сколько вы вообще зарабатываете?

— Не так уж много,— сказал я.— А что касается бритья, то я сторонник старых методов. Во всяком случае, я вам благодарен за ваш благородный жест.

И я прикрыл глаза. Гул тревожно вибрировал у меня в ушах. Все вокруг уже дремали. Соседка, почувствовав что-то подозрительное в моем тоне, надолго замолчала. Где-то внизу лежала Африка. Я не мог увидеть ничего, кроме тьмы.

Проснулся я от сильной боли в ушах. Самолет резко терял высоту.

Было около трех часов ночи. Моя соседка укрепляла свою византийскую шляпку. Я наклонился к окошку. Были видны огни Дакара, похожие издали на огни Лодзи или Белостока.

— Я рада, что встретила вас,— сказала дама из Дрогобыча.— Если вы когда-нибудь окажетесь в Штатах...

— Меня не слишком тянет в Штаты,— ответил я.

Она взглянула на меня, как на сумасшедшего.

— Все-таки, если...— настаивала она приличия ради.— Потому что я не знаю, приеду ли еще когда-нибудь в Европу.

— Вас, наверно, не тянет в Европу?

— Я обхожусь без нее,— ответила она.

Самолет приземлился. Я с волнением вышел и глубоко вдохнул африканский воздух. Он был достаточно холодным, как ночной весенний воздух Варшавы. Над зданием аэровокзала алела неоновая надпись «Дакар». В Лиссабоне надпись была голубой, никакой другой принципиальной разницы между этими двумя аэродромами я не приметил. Я помахал рукой моей соседке и вместе с другими направился к дверям, на которых значилось: «Транзит». Там стоял рослый сенегалец во французской военной шинели. Я не помнил как следует, добилась ли уже эта страна независимости или таковая была обещана ей в ближайшее время. Девушка в норковой накидке охотно беседовала с красивым южанином. Мы вошли в холл, похожий на холл любого аэродрома. В ресторане позвякивали тарелки, которые расставляли в автоматической спешке черные официанты. Я подошел к киоску в углу: там дремал длинный негр в белом одеянии, сидевший среди резных фигурок из черного эбенового дерева. Это все было из Африки. Эбеновые божки стоили много долларов, а мне очень понравилась фигурка с черным, совершенно не негритянским, узким лицом, длинным прямым носом и высоким лбом, переходящим, по-видимому, в ритуальный головной убор. Но ради нее мне пришлось бы, пожалуй, отказаться от подарка для Эвы Барабаньчик, что было бы просто свинством.

Пассажиры пили соки, продавец продолжал дремать, закутанный в свой саван, а я вглядывался в неживые и мудрые лица деревянных фигурок. Вскоре был дан сигнал к отлету; вместе с другими я вышел на дорожку. Было около четырех утра, но тьма была все такой же густой. Напрасно я пытался рассмотреть в Африке что-либо кроме строений аэродрома. Южанин вел под руку улыбающуюся девушку в меховой накидке, и они производили впечатление людей, знающих друг друга с детских лет. Я сел рядом с пустым креслом. Самолет подруливал к стартовой дорожке. Теперь нас ожидал прыжок в Бразилию через Атлантический океан. Моторы завыли, самолет с огромной скоростью помчался по бетону. Но в этот момент вдруг резко прозвенел звонок, и мы неожиданно затормозили.

— Пся крев! — выругался кто-то рядом на чистейшем польском языке. Это был пассажир, который не застегнул пояса и теперь рухнул всем телом на спинку переднего кресла. Я совсем не был в восторге от такого обилия земляков в бразильском самолете. В конце концов всякий, забравшийся столь далеко от родины, не любит делиться славой с другим земляком. Самолет счастливо притормозил тут же у конца стартовой дорожки, вернулся к зданию аэровокзала, и мы снова оказались в транзитном зале. Продавец эбеновых фигурок успел повернуться за это время на другой бок. Мой земляк потирал ушибленный лоб; это был мужчина лет сорока с седеющими висками, худым, почти аскетическим лицом и достаточно сдержанными движениями. Он выглядел типичным англичанином, и я никогда бы не подумал, что он может оказаться родом с берегов Вислы. Я не видел его накануне ни в Риме, ни в Лиссабоне, по-видимому, он сел в Дакаре. Нам объявили, что в само-

лете необходимо проверить какой-то пустяк и на это уйдет всего несколько минут, а пока нам подадут завтрак. Тут же мы увидели в окно, как несколько черных механиков бросились под свет прожекторов к правому крайнему мотору, начали открывать его и лихорадочно копаться внутри. Это зрелище для неискушенного человека было не из приятных, особенно перед прыжком в Америку, поэтому я отвел глаза и встретился с понимающим взглядом земляка. Я не хотел, чтобы он пробовал на мне свои лингвистические познания, и сказал по-польски:

— Я читал недавно «Хомо Фабер» Макса Фриша. Он тоже летел в Южную Америку, и там тоже все началось с легкого дефекта в моторе. А потом накрылся второй мотор...

— Накрылся? — удивился земляк.— Я не знал такого применения этого слова. Вероятно, польский язык очень изменился после войны?

— Приветик! — воскликнул я невольно.— Видно, вы не читаете «Экспресс» или «Жице Варшавы» *?

— Я уже тринадцать лет не читаю никаких польских газет,— ответил он со вздохом.— Из польских неологизмов тысяча девятьсот сорок пятого года, когда я еще был в Европе, я помню только какую-то «кинофикацию»...

— Вы с сорок пятого года не бывали в Европе? — спросил я.

— С сорок пятого,— ответил он.— Знаете ли вы, что значит жить далеко от Европы?

— Еще нет,— усмехнулся я.— Я оставил ее всего два часа назад. Но ведь вы можете сесть в самолет...

— Не могу,— ответил он.— У меня жена и двое детей. Путешествие в Европу обошлось бы нам столько же, сколько два первоклассных автомобиля.

— Ах, вот что... А в Америку вы летите по делу?

— Нет,— ответил он кратко.

— Извините,— мне вдруг стало ясно, что я позволяю себе задавать вопросы, но этот человек невольно заинтересовал меня.

— Да нет, отчего же,— улыбнулся он.— Я вам скажу. Вы давно уехали из Польши?

— Несколько дней назад.

— И возвращаетесь?

— Через две недели,— сказал я и с беспокойством взглянул на самолет.

Черные механики сидели верхом на моторе, выковыривая из него все новые и новые куски металла.

— Пойдемте завтракать,— сказал я.

Было уже около пяти часов, но тьма над аэродромом не уменьшалась ни на йоту. Мы сели за столик. Рядом девушка в меховой накидке заботливо очищала от кожуры грейпфрут и дольками подавала его южанину.

— Мне так хотелось бы увидеть что-нибудь в Африке,— вздохнул я.

— Эх, да что там,— презрительно рассмеялся земляк.— Разрешите представиться: Ян Бабецкий.

Мы пожали друг другу руки.

— Этих-то краев я не знаю,— сказал он, немного погодя.— Я здесь делал только пересадку, потому что знакомые помогли мне достать билет со скидкой на «Панэйр ду Бразил». А постоянно я живу в Иоганнесбурге, в Южной Африке.

— Я слышал, что и там есть поляки,— заметил я.

— Их, правда, немного; приехали после войны. Я выбрал Южную Африку, потому что там мне были предложены самые лучшие условия.

---

* Популярные варшавские газеты.

Я — инженер-механик. Знаете, после Соединенных Штатов у нас самый высокий жизненный уровень.

— Я читал когда-то книгу о племенах банту и о резервациях для туземцев, так что эта проблематика мне известна,— ответил я.

Черный официант налил нам кофе. Хрустящие булки и яичница с ветчиной тоже имели не слишком много общего с Африкой. Бабецкий слегка улыбнулся.

— Когда я приехал в тысяча девятьсот сорок шестом году в Иоганнесбург, у меня не было ничего, кроме военного рюкзака и двадцати фунтов в кармане.

— С таким же имуществом и я тогда вернулся в Варшаву,— сказал я.

— Так вы вернулись в Польшу с Запада?

— С Запада.

— Теперь мы живем в Иоганнесбурге на великолепной вилле, у нас американская машина и двое черных слуг,— сказал он.— Вы, наверно, скажете, что это все благодаря эксплуатации банту? Но я очень много работаю. На заводе.

— Вы верите в то, что это может долго продлиться? — спросил я.

Бабецкий молчал. Я знал, что он и так мне все расскажет, и снова взглянул в окно. У самолета по-прежнему яростно суетились механики, на небе появилась бледная полоска света.

— Рассветает,— обрадовался я.— Посмотрю хоть на африканскую землю.

— Европейская гораздо красивее,— сказал Бабецкий.— А знаете, зачем я лечу в Южную Америку? Может быть, мы переселимся туда. Спустя четырнадцать лет надо убираться из Африки. Снова я вынужден искать родину для себя и своей семьи.

— Аргентина?

— Там много поляков. У меня там друзья. Я хочу продать имущество в Африке раньше, чем здесь все придет в движение и снизятся цены.

— Однако же,— улыбнулся я,— вы думаете, что вскоре этот союз разлетится?

— Да. Среди моря черных одному островку белых хозяев не удержаться, хотя бы они безжалостно угнетали негров. Я неудачно выбрал в сорок шестом году. Но кто же мог предвидеть, что все события будут развиваться так быстро? У меня нигде не было бы таких условий...

— Наверно,— поддакнул я.— Черные слуги... Пойдемте взглянем на мир.

Мы встали. Бабецкий шел за мной, опустив голову. День занимался с молниеносной быстротой. Вокруг аэродрома уже обрисовывались небольшие черноватые взгорья, лысые и пустые. На одном из них стоял беленький домик, похожий на часовенку, но с плоской крышей. Это было все, что я мог увидеть в Африке. Черные механики быстро закладывали обратно в мотор вытащенные из него части.

— Хоть бы они только не забыли чего-нибудь,— вздохнул я с неподдельной тревогой.

— Моя жена англичанка,— вдруг сказал Бабецкий.— И она никогда не видела Польши. Дети родились уже в Африке и ходят в английскую школу. Но дома мы все говорим только по-польски.

— Браво,— сказал я.

— А почему вас не удивляет, что я не говорю о возвращении на родину?! — воскликнул вдруг Бабецкий.

— Наверно, вам не нравится наш строй,— ответил я.— И у нас живется труднее, чем вам в Южной Африке.

— Я писал на родину коллегам,— сказал он.— Они ответили мне, что я мог бы зарабатывать в месяц от трех до пяти тысяч злотых. Сколько это костюмов?

— Один или два. В зависимости от качества материала и пошива.

— Я так и думал,— вздохнул он.— А здесь я зарабатываю ежемесячно на десять костюмов.

— Это ваш единственный аргумент?

— Главный,— ответил он.— Я не вернулся на родину, потому что боялся коммунизма. Теперь я его уже не боюсь: я знаю, что в Варшаве можно спать спокойно, что Катовицы называются Катовицами и что не нужно доносить на друзей, но ведь за эти полтора десятка лет я растолстел, оброс перьями и стал требовательным. Я боюсь не работы, потому что в этом раю для белых у меня всего две недели отпуска в году, но живу я так, как у вас живут только иностранные послы. Когда я думаю об этом, мне становится очень грустно; я уже, видимо, ни на что не способен. До конца жизни буду только защищать эти свои удобства, слуг, автомобиль, благосостояние моей семьи... И подумать только, что когда-то, во время восстания, нам было достаточно горсточки разваренного овса в день!

— Вы участвовали в восстании?

— На юге Средместья,— ответил он.— Группировка майора Сосны. А вы?

— Мокотув,— ответил я.— Но мы прошли по каналам в центр города.

— Знаю. Я тогда был ранен, иначе, может быть, мы встретились бы. Теперь мне исполнилось сорок четыре года. Будь я моложе, я бы полетел на родину.

Мотор был уже собран, лесенки отставлены, и мы поднялись по трапу. Бабецкий сел возле меня. Самолет взлетел, я увидел кусочек порта и океана, но все тут же скрылось за тучами. Мы парили теперь над неподвижным пространством какой-то безграничной Антарктиды, страны вечных снегов и льдов. В моих чувствительных ушах мелодия, издаваемая моторами, поминутно меняла тональность, переходя от гуденья на басовых нотах до тонкого интенсивного воя. Я то и дело поглядывал на воздушный ореол невидимых пропеллеров.

— А все-таки — они вертятся,— сказал Бабецкий.— Не прислушивайтесь к этому и не смотрите. В случае чего нас и так ничто не спасет. Может быть, выпьете коньячку?

Я никогда не пью так рано, но на этот раз с удовольствием согласился. Бабецкий заказал коньяк властным тоном — чувствовалась привычка командовать черными слугами. Я знал, что ему хочется говорить о Польше и о себе, но не мог облегчить его состояния. Мне было заранее известно, что он скажет, и что я ему скажу, и как мы оба вздохнем. Разговор должен был идти по схеме. Это походило на то чувство скуки, какое испытывают мужчины моего возраста, познакомившись с молоденькой и красивой женщиной. В таком случае все можно предвидеть заранее, до мельчайших деталей, каждый этап флирта бывает только отражением прежних романов. Представляя себе все заранее, я всегда восставал против схемы и старался как можно скорее отойти в сторону уступив место тому, кто способен был бросаться очертя голову в водоворот нового романа. Я невероятно завидовал таким людям, их непрерывной надежде, что на сей раз они преодолеют схематизм и наконец испытают с этой прекрасной девушкой нечто совершенно иное и неповторимое, чему суждено продолжаться вечно. Отсюда их постоянные беспокойные поиски, погоня за иллюзией, попытки поймать тень, что напоминает прыжки собаки, старающейся поймать собственный хвост.

Но Бабецкий сидел возле меня, и я должен был отвечать на его вопросы. Коньяк слегка ударил мне в голову, я рассказывал о Польше без труда, пытаясь разъяснить ему все то из польской жизни 1961 года

нашей эры, чего объяснить нельзя, но что нужно увидеть и пережить лично. Бабецкий, остававшийся деловитым, несмотря на выпитый коньяк, все время возвращался в разговоре к конкретным фактам и цифрам. Не знаю, понял ли он важность процесса высвобождения огромных общественных и потребительских сил и то, что идет непрерывная борьба за удовлетворение растущих во всех областях потребностей, однако тот факт, что я плачу за свою квартиру вместе с отоплением и прочими удобствами 167 злотых в месяц, произвел на него неизгладимое впечатление. Разумеется, это впечатление было ослаблено вопросом соотношения цен и заработков и вообще проблемой спроса и предложения, которые организованы у нас, по его мнению, шиворот-навыворот. Я не скрывал от него, что иногда мне приходится бегать по всему городу в поисках зубной пасты, что бумагу, на которой я пишу, я краду в учреждениях, что я уже давно не ел телятины, за которой, как говорят, надо встать в очередь в шесть часов утра.

— У нас сейчас все едят мясо,— сказал я.— Очень трудно удовлетворить аппетиты. Не знаю, помните ли вы, как перед войной...

— Помню,— ответил он.— Но разве от сознания этого вам легче вставать в очередь в шесть часов утра?

— Лично я ем говядину, которой вполне достаточно.— резко ответил я.— Впрочем, вы, вероятно, не вправе сравнивать свой уровень жизни с уровнем жизни поляка в Польше.

И я добавил еще кое-что о черных слугах. Наступило молчание. Я не люблю, когда меня втягивают в такие споры, потому что во имя объективности всегда вынужден облачаться в тогу партийного активиста, каковым вовсе не являюсь. У меня вообще характер спорщика, и я сейчас же занимаю оборону по другую сторону баррикады, готовый защищать ее от тенденциозных атак моих собеседников. Я помню, как один коммунист (догматик или сектант, как его назвали бы, пользуясь партийной терминологией) начал убеждать меня на веранде кафе «Руаяль Сен-Жермен» *, что я живу в раю. Я считаю, что Польше далеко до рая, и очень не люблю, когда правде о моей собственной стране меня обучает человек, который никогда там не был и который о практике социалистического строительства знает столько же, сколько я о жизни океанских глубин, или, иначе говоря, черпает свои знания из брошюр. Тогда это кончилось не очень хорошо: мой собеседник счел меня реакционером и был удивлен, что такого человека выпустили за границу; он даже не заплатил за выпитое мною вино, хотя я в кафе был его гостем. Он был старше меня на двадцать лет, но я не мог отделаться от впечатления, что разговариваю с ребенком. Несмотря на это, я был взбешен, потому что он заставил меня выглядеть врагом нашего строя.

Аргумент о черных слугах дал мне минуту передышки, так как Бабецкий на некоторое время замолчал. Я ощущал во всем теле коньяк, и даже меняющийся гул моторов не интересовал меня больше. Пропеллеры так или иначе вертелись, время шло, и мы, должно быть, уже пролетели значительную часть пути над невидимым Атлантическим океаном.

— Не встречались ли вы случайно с Адамом Витецким? — вдруг спросил я.

— Витецкий... Витецкий...— задумался он.— Пожалуй, нет. Он из Варшавы?

— Да,— ответил я.— Мы вместе прошли всю войну и расстались в Англии в сорок шестом. Я думал, что он, может быть, попал теперь в Южную Африку.

— Наверняка не попал,— сказал Бабецкий.— Мы там знаем о каждом поляке. Он не писал вам?

---

* Одно из парижских кафе.

— Нет.

— Может быть, он умер?

— Он наверняка не умер,— ответил я уверенно. Я еще не вступил в тот возраст, когда мысль о смерти ровесника кажется естественной. Никогда я не ждал писем от Адама, потому что знал, что он мне не напишет. Достаточно было нам тогда расстаться, чтобы я перестал ждать каких-либо вестей от него.

В августе 1946 года меня перевезли из Неаполя в Англию вместе с отрядом, в котором уже не было ни «джипов», ни винтовок, ни боевых касок. Адам еще оставался в Италии и должен был прибыть с последней эвакуирующейся группой. Так гласил приказ, и вроде бы все было в порядке, но я не знал, уехала ли Кама из Италии. С того вечера в ресторане в Лечче, когда они с Адамом танцевали буги-вуги, Кама ни разу не появлялась у нас и не подала никаких признаков жизни, а между мной и Адамом не было произнесено по этому поводу ни единого слова, и я мог думать что угодно. Вероятно, Адам выпросил у командира возможность эвакуироваться позже меня, чтобы избавиться от моего присутствия и наконец остаться с Камой один на один. Я ничего с этим не мог поделать.

— Привет, старик,— сказал он мне на прощанье.— Приготовь в Англии какую-нибудь порядочную малину и жди меня.

При этом он не смотрел мне в глаза. Я, как обычно, улыбнулся, притворяясь равнодушным.

— Если ты случайно встретишь Каму, передай ей от меня привет,— шутливо сказал я.

— Разумеется, передам,— рассмеялся он.

В течение всего путешествия до Ливерпуля я думал на пароходе о его словах, а воображение подсовывало мне мучительные картины. Я опасался, что наша, теперь уже мнимая, дружба не удержит его, как удержала настоящая, тогда, во время оккупации и восстания. Я видел мысленно, как он мчится на «джипе» к Каме, преодолевая трудности пути, делая бешеные повороты, взлетая по гигантским лестницам.

После солнечной Италии Англия показалась мне страной, в которой невозможно жить: я проводил время, лежа на раскладушке, глядя в потолок барака, над которым барабанил дождь. Внезапно я вскакивал и бежал в ближайший городок. Там собиралось из нашего огромного лагеря столько поляков, одичавших от безделья и всякого рода воздержаний, что местное население поручило своему депутату сделать запрос в парламенте: «Польские солдаты, которых содержат британские налогоплательщики, шатаются с самого утра по нашему городу, пристают к нашим девушкам, заполняют до отказа наши кинотеатры и наши рестораны, и, как видно, вообще им нечего делать». Исходя из сказанного выше, население просило правительство перевести поляков в другой лагерь, как можно дальше от их города. Я пробегал по улице возможно быстрее, покупал папиросы и не смел переступить порог ресторанов, где без карточек давали, впрочем, только жареную рыбу с картофелем, а потом возвращался в барак, чтобы снова броситься на кровать. Все вокруг готовились овладеть гражданскими профессиями, восхваляли достоинства ремесла часовщика, подумывали об эмиграции в Африку или Аргентину; немногочисленная часть людей таинственно помалкивала, и мы догадывались, что они намерены вернуться на родину, где к власти пришли коммунисты. Постепенно замолк и я. Тогда мне прочли письмо матери одного подхорунжего; она сообщала ему, что в Балтийском море плавают трупы тех, кто вернулся. Несмотря на это, я продолжал молчать, а окружающие начали меня сторониться, как заразного больного. Таким образом, жизнь в бараке стала для меня такой же несносной, как

и в городке; оставались только одинокие прогулки по полям среди потоков дождя и поездки на поезде или автобусе в большие кинотеатры, расположенные в радиусе ста километров. Никогда я не проводил в кино столько часов, сколько в этот грустный период.

Но окончательного шага я все не делал, откладывая свое решение со дня на день якобы из-за лени; сначала я ждал письма, потом приезда этой пары из Италии.

Письма я не дождался, а об их приезде мне никто не сказал; впрочем, польских солдат, прибывавших из Италии, рассовывали по всем лагерям Англии и Шотландии. Однажды сосед по бараку, который вернулся из Лондона, сказал мне, что видел в «Белом орле» Адама. Это наполнило меня самыми худшими предчувствиями: по-видимому, Адам скрывался от меня. Наша неразрывная когда-то дружба теперь расползалась, как лежалое полотно, и началось это в тот день, когда мы втроем ожидали наступления танков дивизии «Викинг». Но Кама и Адам — конечно, каждый в отдельности — это было все, что у меня осталось от прежней жизни; ни здесь, в Англии, ни в сожженной Варшаве у меня никого и ничего не было. Я выкарабкался из войны, вынеся в качестве единственного жизненного капитала лишь свою собственную, сильно потрепанную шкуру. Никто никуда не звал меня, никто меня не ждал. Поэтому утрата дружбы Адама и особенно молчание Камы превратились для меня в настоящую пытку; чем острее становилось мое одиночество, тем больше я думал о них. Я снова мысленно представлял себе их вместе в Италии и выбегал из кино посреди сеанса. Потом я снова цеплялся за мысль о приезде Камы, о ее возвращении ко мне и только благодаря этому терпел эту жизнь в бараке и в городке. Вокруг будущие часовые мастера, торговцы и бухгалтеры разговаривали, а еще более думали и мечтали о женщинах: на сто тысяч польских солдат приходилось всего несколько тысяч польских женщин.

Уже на следующее утро после известия об Адаме я попросил дать мне несколько дней отпуска, а спустя еще один день входил в польский клуб «Белый орел» на «кингсбридж». Там сновала толпа офицеров. Я сел за столик в ресторане, заказал обед и изредка здоровался с какими-то казавшимися мне знакомыми людьми: в моей памяти уже смешались все эти лица, встречавшиеся на разных этапах моего оборонно-патриотического воспитания. Адам не приходил. Зато спустя минуту я увидел другого своего школьного товарища, также в военном мундире. Это детское лицо, разросшееся до размеров мужского, производило комическое впечатление.

— Привет,— сказал он, словно мы расстались только вчера, а не до войны.— Что поделываешь? Уезжаешь? Остаешься?

— Еще не знаю. А ты?

— Пока что я пеку здесь пончики,— беззаботно ответил он.— Но не знаю, долго ли это будет удовлетворять меня. Есть предложение поехать в Кению.

— Кения меня не интересует,— возразил я.— Но пончик я бы съел.

— Я тебя угощаю,— произнес он с чувством превосходства и кивнул официантке. Пончики возвышали его над толпой всех этих людей без профессии и без видимых перспектив на заработок.

— Ты, случайно, не видел Витецкого? — спросил я.

— Адама? Видел. Он психопат.

— Почему?

— Позавчера публично обругал полковника Банасевича. Ты знаешь, кто такой полковник Банасевич?

— Не знаю.

— Комендант Ливерпуля,— объяснил он.— Полковник сидел за соседним столиком и делился своими планами покупки квартиры или даже

маленького домика. Знаешь, с сорокового года он каждый месяц откладывал половину жалованья, как это делали почти все эмигранты в Англии; кроме того, его жена работала в то время в министерстве иностранных дел. Это все небольшие деньги, если их сравнить хотя бы даже с вашими заработками на валютных операциях в Италии. Адам, который пришел сюда уже под мухой, вдруг встал и обозвал его скрягой, тыловой крысой, паразитом на обескровленном теле народа и т. д. Словно это вина полковника, что он провел войну в Ливерпуле, а не в Польше или в концлагере. Мы все хотели идти сражаться за родину, а то, что нас держали в Англии, это уже не наша вина, а результат трагической ситуации. Все, конечно, так просто не кончится, потому что полковник наверняка сделает свои выводы. Я думаю, что Адам теперь запишется в число возвращенцев. Для этого-то ему, видно, и нужен был подобный скандал. Я вовсе не буду удивлен, если он вступит в войско Жимерского и Берлинга *.

— Где он теперь? — спросил я.

— Вернулся в Миллом. Не думаешь же ты, что он мог остаться здесь после того, что натворил?

Я быстро встал и поблагодарил его. Он не позволил мне заплатить за обед.

— Приезжай,— сказал он покровительственно.— Пока я буду забавляться игрой в пончики, ты всегда застанешь меня здесь. Знаешь, пончики ведь не только десерт, это и попытка облегчить тоску по родине. Пончики всегда будут раскупаться.

— У них какой-то странноватый вкус,— робко заметил я.

— Сахар, яйца и жир я покупаю из-под полы,— вздохнул он.— Попробуй, если ты такой умный, сделать в Лондоне такое же тесто и такой смалец, как в Польше. У меня самые польские пончики, какие только можно приготовить на этом острове!

Я простился с ним и побежал на вокзал. Поезд в Миллом отходил вечером. Попивая на станциях чай с молоком и закусывая кексом, я добрался туда на рассвете. Лагерь помещался в нескольких километрах от города. День вставал, как обычно, хмурый и ветреный, но я уже привык к такой декорации, еще больше подчеркивающей мою внутреннюю драму. В эту пору лагерь казался вымершим и пустым. Только кухонный барак дымил всеми трубами.

— Пан поручик Адам Витецкий? — задумался младший офицер, дежуривший на кухне, и заглянул в список получающих продовольствие.— Семейный барак, второй налево в третьем ряду, комната номер семь.

— Семейный? — у меня перехватило дыхание.— Почему семейный?

— Потому что там живут супружеские пары,— ответил офицер.

Я молча вышел из кухни и остановился посреди лагерной улицы. Надо немедленно возвращаться на станцию, говорил я себе, но вместо этого продолжал стоять, глядя на спавшие еще бараки, и все внутри меня бушевало. Итак, я терял последнюю точку опоры и последнюю надежду. Однако я не вернулся на вокзал, а медленно пошел вперед, отсчитывая с бьющимся сердцем ряды и бараки. И минуту спустя уже стоял у нужных дверей. За тонкой стенкой кто-то кашлял. Я постучал.

— Кто? — сейчас же спросил Адам.

— Это я.— Мой ответ прозвучал глупо.

В комнате что-то зашуршало, и дверь открылась. Адам стоял передо мной в пижаме. Он не старался заслонить собой комнату. Мы взглянули друг другу в глаза.

---

* Роля-Жимерский — в то время министр обороны Польской Народной Республики; генерал Берлинг — командующий I Польской армией в СССР в 1943—1944 гг.

— Влезай,— сказал он.

Я вошел в комнату. Здесь одна возле другой стояли две металлические кровати, но только на одной из них спали в эту ночь. Я обежал взглядом комнату в поисках следов.

— Не мучайся,—сказал Адам.— Ее здесь нет. Ищи в другом месте.

— Я и не думаю ее искать,— ответил я, тяжело опускаясь на стул.— Наш брак был обречен еще в Варшаве. Если речь идет обо мне, можешь совершенно не стесняться. Я выхожу из игры.

— И ты тащился сюда, чтобы сказать мне об этом? — с иронией спросил Адам.

— В том числе и об этом,— ответил я, но отвел глаза.

— Излишнее благородство. Я даже не могу им воспользоваться.

— Где она? — воскликнул я.

— Не знаю,— ответил он.— Она оставила нас обоих.

Я с удивлением взглянул на него, но вдруг почувствовал огромное облегчение. Адам подошел к чемодану и начал в нем рыться. Спустя минуту он вынул небольшую фотографию и сунул ее мне под нос. Это была фотография Камы, снятой с каким-то офицером на фоне Дворца дожей.

— Кто это? — вскричал я. Спутник Камы был стройный, красивый и, вероятно, лет на десять старше нас.

— Она обманула и тебя и меня! — рявкнул Адам и бросил фотографию на столик.— Она крутила с этим парнем уже тогда, когда мы виделись с ней в последний раз! А потом они поехали в Венецию, в предсвадебное путешествие!

Я тупо смотрел на снимок и вдруг затрясся в припадке нервного смеха. Я продолжал глупо хохотать, глядя на Адама, и никак не мог остановиться.

— Чего ты смеешься?! — заорал он.— Чего ты смеешься, идиот?!

Внезапно я успокоился.

— Ты так сильно ее любишь? — спросил я.

— Ты отлично знаешь, как я ее люблю! — крикнул он.— И знаешь, почему она это сделала! Из-за тебя, только из-за тебя! Ты всегда стоял между нами, как барьер, как проволока с током высокого напряжения! Ни одной минуты мы не могли забыть о тебе! Мы оба испортили из-за тебя свою жизнь, понимаешь?! Она согласилась выйти за первого попавшегося, лишь бы вырваться из этого ада!

Дрожащей рукой я поднес огонь к папиросе. Адам внезапно умолк и бросился на кровать.

— Ладно,— сказал я.— Я сдаюсь, понимаешь?! Сдаюсь.

— Ты всегда говорил, что тебе нет до этого никакого дела,— рассмеялся он.— Но стоило взглянуть на тебя...

— Тебе больше не представится случая смотреть на меня,— ответил я.— Я возвращаюсь в Польшу.

Адам сел на кровати.

— Ты спятил?! — вскричал он.

— Это мое окончательное решение,— ответил я тоном человека, готового даже покончить жизнь самоубийством.— Я приехал, чтобы сказать тебе об этом.

Я встал.

— Ты рассчитывал привезти ее сюда? — спросил я, указывая на вторую кровать.

— Да ты понимаешь, на что решился?! — закричал Адам.

— Мне все равно,— ответил я.— Теперь уже эти ваши дела меня не касаются. Можешь отобрать Каму у того парня.

И я вышел не оглядываясь. Адам не бежал за мной. На следующий день я заявил о своем желании репатриироваться, и за мной сразу же

приехала машина, чтобы отвезти меня в лагерь репатриантов. Вскоре я входил на палубу корабля, который должен был отвезти меня в Гдыню.

Мы пересекли Атлантический океан и в полдень приземлились в Ресифи, где меня обдало таким влажно-горячим воздухом, что мне показалось, будто меня плотно окутали вытащенным из кипятка полотенцем. Я сбросил пиджак и перевел часы на четыре часа назад; потом мы летели дальше, снова наступала темнота, и снова мигали голубые или красные неоны аэродромов, похожие один на другой: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Монтевидео. Я снова ничего не видел в городах и только подставлял под их неоновые названия все, что читал и видел в кино. Современное путешествие самолетом не только не позволяет увидеть что-нибудь в пути, но разрушает чувство расстояния и пространства, без чего путешествие вообще теряет смысл, если ты не являешься исследователем облаков. Я мечтал о возвращении к временам моего детства, когда первый перелет Линдберга через Атлантический океан взволновал весь мир почти так же, как теперь космические полеты Гагарина и Титова. Тогда те, кто оплатил это мое путешествие, должны были бы купить мне более дешевый билет на пароход, и я увидел бы самые красивые города Западного полушария. Но теперь, располагая самолетом, они считают, что мое время слишком дорого и я не могу себе позволить путешествие на пароходе, словно мое время можно было бы использовать лучше. Вдобавок ко всему, я и сам должен играть роль человека, который постоянно куда-то спешит, в противном случае я не представлял бы для них интереса, и они вообще пожалели бы, что пригласили субъекта, у которого есть свободное время.

Когда нас выгрузили в Буэнос-Айресе, была поздняя ночь. Я давно находился в состоянии полнейшего отупения и даже не мог объяснить Бабецкому, по какому принципу производятся у нас экономические расчеты. Уже несколько часов он все задавал мне вопросы: интерес к родине был у этого человека сильнее усталости, вызванной сорокачасовым путешествием.

— Очень прошу вас встретиться со мной в ближайшие дни,— сказал он уже в автобусе.— Я, вероятно, остановлюсь у друзей, которые много лет не видели никого из Польши, и они не простят мне, если я вас просто так отпущу. Впрочем, здесь много поляков, и каждый из них захочет взглянуть на вас.

Я согласился, дал адрес гостиницы, и мы расстались. В номере я заснул, и меня разбудил настойчивый, непрерывный звонок телефона. За окном светило солнце, часы показывали одиннадцать. Я снял трубку.

— Мосье Завада? — спросил мужской голос.

— Да.

— Говорят из «Араниа-фильм». Извините, пожалуйста, что мы не встретили вас на аэродроме, но самолет опоздал на полдня...

— Я рад, что он все-таки долетел,— сказал я.— Вы находитесь внизу?

— Да, уже несколько часов,— ответил тот.— Но сейчас шеф, наверно, с нетерпением ожидает нас.

Я быстро встал и подошел к окну. Было начало марта, а следовательно, конец лета, безоблачное небо предвещало знойный день. Окно выходило на узкую улочку, точно такую же, как все европейские улочки в больших южных городах. Из желтого грузовика с грохотом выгружали ящики с кока-колой. Я достал из чемодана летние вещи и тут же спустился вниз. Навстречу мне с улыбкой поднялся мужчина, выглядевший южанином испанской крови: смуглый, черный, с прилизанными воло-

сами, черными усиками, мясистыми губами и мешками под глазами.

— Шеф поручил мне приветствовать вас в Аргентине, он просит вас сразу же к себе. Меня зовут Робера.

Мы сели в машину марки «шевроле-1946». Вообще на здешних улицах была представлена вся история автомобилей, с самого ее героического начала; наша вечная и осмеянная «варшава» стала бы здесь предметом воздыханий большинства автомобилистов. Робера сел за руль, с треском захлопнул дверцу, и мы двинулись. Это была невероятная езда.

Буэнос-Айрес — город с очень прямой планировкой, как все города, возникшие во второй половине девятнадцатого века. Была взята линейка, и с ее помощью бумагу расчертили на ровные клетки. Каждая улица идет здесь под прямым углом и параллельно другим, а между улицами всегда одно и то же расстояние. Нумерация напоминала мне квадраты кладбища на Повонзках: от одного угла до другого всегда сто метров и сто номеров домов. Это аккуратное деление центра города портили некоторые аллеи, занимая два квадрата вместо одного, а также некоторые улицы, расположенные не вдоль или поперек, а наискось, словно были во всем этом царстве геометрии капризом художника, фантазией и отдушиной для блуждающего среди этих аккуратных клеток приезжего.

Робера бросил машину в одну из узких улиц и, не тормозя, вылетел на перекресток; с точно такой же скоростью слева и справа летели еще две машины. Столкновение казалось мне неизбежным, ибо ни одна из машин не проявляла намерения пропустить другую. Робера даже и не думал останавливаться, он гнал свой «шевроле» прямо на остаток пространства между носами приближавшихся машин, хотя той, с правой стороны, принадлежало право проехать первой. Я судорожно схватился за дверцы и ждал лязга железа, но в последнюю секунду те машины остановились на расстоянии каких-то миллиметров от нас, и мы проскочили мимо них. Через сто метров ситуация повторилась, на каждом перекрестке я хватался за дверцы, ожидая катастрофы, но наш «шевроле» победоносно мчался вперед под визг тормозов встречных машин. Это напоминало волнение, испытываемое в Луна-парке, и Робера заметил мою тревогу и бледность.

— Вы себя плохо чувствуете?

— А вы тут всегда так ездите? — спросил я.— Разве у вас нет правил? Один лезет на другого?

— Ах, вот в чем дело! — рассмеялся Робера.— Это вопрос не правил, а психологии: если вы проявите решимость, другие всегда остановятся.

И он, не колеблясь, скользнул перед носом мчавшегося автобуса, который затормозил в последнее мгновение. Я разинул рот: этот облепленный людьми автобус, раскрашенный в зеленый, красный и желтый цвета, испещренный рисунками и надписями, как в цирке, по своей форме и величине был точной копией модели, хорошо памятной мне с детских лет,— тех обшарпанных довоенных автобусов, которые тряслись по выбоинам и лужам вдоль и поперек всей бедной Польши. Вскоре я убедился, что Буэнос-Айрес кишмя кишит именно такими автобусами и именно они наряду с метро несут на себе основную тяжесть всех перевозок. Позднее вообще оказалось, что город этот, насчитывающий около пяти миллионов жителей, все более и более настойчиво напоминает мне пятьдесят городков вроде нашего Радома, собранных в одну кучу, но расположенных значительно дальше от Варшавы. В этот момент Робера остановил свою машину на какой-то из одинаковых улиц, поставив ее сразу же за отлично сохранившимся «фордом» двадцатых годов. Я вышел, едва держась на дрожащих ногах, отер пот с лица и шеи, прошел

по темному коридору и оказался в конторе человека, который финансировал все мое путешествие,— у главы кинопрокатной фирмы. Вокруг на стенах висели красочные плакаты, и я сразу же увидел знакомый профиль Жаклицкого с автоматом в руке — лицо суровое и исполненное нервного напряжения. Этот кадр мы снимали полдня, потому что Жаклицкий явился на съемку в глубоком похмелье и, хоть убей, не мог сконцентрировать своего гордого взгляда на доске, которую ему показывали за камерой. В кинематографических буднях эта доска должна была заменять Эву Барабаньчик, или же связную Калину, смотревшую в окно на поле, куда был сброшен ящик с боеприпасами для советских противотанковых ружей.

Жаклицкий, командир повстанческого отряда, ожидающего на рассвете последней, гибельной для них атаки дивизии СС «Викинг», решает под дулами орудий немецких танков пойти за снарядами, которые советский «кукурузник» сбросил на «ничейной земле». Он делает это, несмотря на протесты своего ближайшего друга и заместителя Жбика. Этот Жбик, раненный в руку (его играет Закшевский), в минуту смертельной опасности неожиданно начинает понимать, что навсегда утратил любовь своей жены, связной Калины, и с ужасом обнаруживает зарождающееся между ней и Жаклицким чувство. А ему именно сейчас, перед лицом неминуемо надвигающейся гибели, необходима ее любовь, которую он столько лет игнорировал и топтал. К сожалению, слишком поздно. Жбик теряет сразу и любимую женщину и самого близкого друга. В минуту смертельной опасности он остается один. Разгоряченный, он хочет прервать мучительную агонию героической вылазкой за снарядами, хотя рана отравляет ядом весь его организм. Но Жаклицкий — командир, он идет один, оставляя раненого Жбика с Калиной и обрекая его на дополнительные страдания: Жбик видит, как его жена боится за Жаклицкого и как старается скрыть от него страх за жизнь любимого. Это был один из главных фрагментов фильма «Баррикада», на премьеру которого я и прибыл в Буэнос-Айрес.

Ожидая в секретариате владельца прокатной фирмы, который в этот момент громко спорил с кем-то по телефону, я рассматривал плакат. За спиной Жаклицкого были видны руины, пожарища и пламя, из которого выползал немецкий «тигр», все это было сделано по-ярмарочному крикливо, в красно-желто-черных тонах, почти фотографически точно, и блестело, как переводная картинка. По-испански фильм назывался «Barricada de la Sangre y del Amor» — «Баррикада крови и любви», что должно было вызвать интерес у публики. Только моя фамилия — Завада,— выведенная красными буквами, была написана правильно. Жаклицкий назывался Закки, а Эва Барабаньчик — Эва Бара, и все это, как я узнал позднее, для того, чтобы публика легче читала и запоминала фамилии. Эва Барабаньчик приехала в Варшавскую театральную школу из деревни под Плоньском. Будучи девушкой очень способной и очень красивой, она тем не менее не могла рассчитывать на славу международной кинозвезды, сохраняя свою трудную фамилию, которую, впрочем, ценили в большей части плоньского уезда. Я выбрал ее среди других актрис на роль Калины, потому что она больше всего напоминала мне Каму каким-то явным чувством собственного достоинства, выгодно отличавшим ее от остальных. Родившаяся в 1938 году, она почти ничего не помнила о войне, как и все студенческое поколение «Стодолы», СТСа и «Гибрид» * — словом, поколение Варшавы 1958 года. Повстанческие баррикады были для них не недавней историей, а всего лишь щекотливой темой, которая была некоторое время запрещена и, как всякий за-

---

* «Стодола» и «Гибриды» — популярные варшавские студенческие клубы с собственной эстрадной программой. СТС — студенческий Театр сатиры в Варшаве.

претный плод, приобрела особую привлекательность — вместе с джазом, политической сатирой, пестрой одеждой или возможностью поехать за границу со студенческой экскурсией. Двадцатилетние в 1962 году, уже свободные от запретов такого рода, не хотят ни слушать, ни говорить об этих злосчастных баррикадах из другого мира и другой эпохи.

Несмотря на скромный жизненный опыт, Эва Барабаньчик хорошо поняла свою роль. Она слушала меня со сверкающими глазами, улыбаясь, слегка разрумянившись, юная и прекрасная, слушала, когда я рассказывал о таких благородных чертах Калины, как скромность, самоотверженность, упорство, отвага. Мы сидели в модном кафе, вокруг нас мелькали изящные девушки на «шпильках», сопровождаемые юношами со скучающими лицами, а я старался точно воспроизвести образ Камы тех дней. Внезапно я замолк, ибо устыдился, поняв, что рисую образ девушки идеальной, до схематизма положительной и что в окружающей нас атмосфере этот образ может показаться Эве какой-то новой неправдой и преувеличением. А ведь он был правдивым не только потому, что Кама оживала в моей памяти все более чистой и светлой и что всем нам было тогда по двадцать лет. Трагизм нашего положения и вера в правильность дела превратили нас в образы, чистые как снег. Я с тревогой взглянул на Эву.

— Вы очень хорошо рассказываете обо всем этом,— робко заметила она.— Наверно, вспоминаете о ком-то?

— Да,— ответил я.

— Я хотела бы, чтобы обо мне когда-нибудь так рассказывали,— вздохнула она.

— Вы станете хорошей актрисой,— шутливо сказал я.— И о вас будут говорить с восторгом.

— Не знаю, стану ли я хорошей актрисой, хотя буду стараться стать ею изо всех сил,— произнесла она серьезно.— Несмотря на все, я немножко завидую тем, кто жил тогда. Мне кажется, я понимаю, чего вы хотите от меня.

И после этого разговора у меня не было с ней никаких хлопот. Во время съемок ей удавалось преобразиться в скромную, суровую и героическую девушку — связную времен войны и восстания, которая умела подчинить свою едва созревшую женственность и врожденную склонность к веселью высоким целям борьбы, девушку, готовую страдать и погибнуть без слова жалобы, без единой слезы, потому что так надо и иначе быть не может.

Я наблюдал Эву и вне съемок. Она жила в Варшаве одна, в студенческом общежитии, среди девушек, так же как и она, прибывших из провинции и потому избавленных от контроля родителей, семьи и провинциального общественного мнения. С восемнадцати лет, так же как и другие девушки, она должна была все решать сама и справляться с трудностями, к которым ее не подготовили в деревне под Плоньском. Окруженная назойливыми мужчинами, она всегда умела внушить уважение к себе, хотя многие из ее подруг, лишенные сдерживающих центров и более глупые, чем она, избирали слишком легкий путь продвижения с помощью бесчисленных любовных связей.

Я поражался восприимчивости этой девушки. За те несколько лет, которые прошли с момента ее переезда в большой город, она не только не совершила никакой ошибки в жизни, но сумела усвоить все, что ей было необходимо в области знаний, обычаев, разговорной речи и моды и — что самое важное и редкое — в области хорошего вкуса. Сцены, в которых она снималась, были самыми приятными в фильме. Разумеется, между нами даже и речи не было о каком бы то ни было сближении: это немедленно испортило бы всю нашу работу. И все-таки я смотрел на нее во все глаза,

временами забывая об окружавшем нас механизме съемок. Тогда она и Кама, какой та была пятнадцать лет назад, сливались для меня в единый образ — живой, молодой и прекрасный, сиявший в лучах прожекторов,— и мне начинало казаться, что я преодолел бег времени. Немедленно распространилась сплетня о том, что я живу с ней. Я даже не пытался этого опровергнуть: меня ожидали бы только насмешки.

Хуже обстояло дело с Жаклицким. Он не только не напоминал Адама ни лицом, ни фигурой, но, несмотря на мои усилия, продолжал оставаться в фильме эдаким героем с одним измерением, готовым бросаться с пистолетом на танки, и ничего более. Жаклицкий никогда не готовил себя к тому, чтобы сниматься в кино; больше того, он не знал как следует и совершенно не понимал сценария. Для него «Баррикада» была лишь фильмом о войне, стрельбе и героизме. Я пытался выразить в этом фильме весь трагизм, все то разочарование, которое переживали люди, ставшие орудием политической игры, происходившей где-то в очень высоких сферах, люди, бесплодно погибавшие на баррикадах после долгих лет нелегальной борьбы, раздавленные подыхающим гитлеровским чудовищем у самого порога победы. Жаклицкий, терпеливо выслушав мои многочасовые разъяснения и замечания, воскликнул: «Я отлично понимаю, о каком командире ты говоришь, старик!» — и сыграл безупречного и лишенного мысли героя. В его Адаме не было ничего от той драмы командира, который должен погибнуть со своим отрядом. Героические поступки не были у него следствием парадоксальной необходимости, решения, принятого вопреки собственной воле. Ибо ведь подлинно трагическим во мне, Адаме и других и было именно то, что мы полностью приняли концепцию героизма без компромисса, героизма до последней капли крови. Мы знали, что должны погибнуть под гусеницами танков, сражаясь до последнего патрона, хотя погибать у нас не было ни малейшей охоты. Лишь когда танки раздавят тысячи таких, как мы, а город превратится в руины, наш командующий, окруженный со всех сторон, сдастся и не сделает этого ни на день раньше. Эта неизбежность самопожертвования до конца, чтобы огромная мера пролитой крови стала аргументом для истории и политических конференций, делала из нас действительно не схематичных героев. Этого не сумел понять Жаклицкий, который был подвержен влиянию окружавшей его общественной среды, жаждавшей «чистого» героя, героя без конфликтов и колебаний, которого можно было бы еще при жизни водрузить на пьедестал.

Разумеется, больше всего хлопот доставили мне поиски актера на роль Жбика. Он должен был стать настоящим героем фильма. Так было в сценарии. Жбик, несмотря на раздиравшие его ревность и отчаяние, мыслил наиболее ясно и четко и, будучи полностью автобиографической фигурой, стал моим вторым «я». Но, как это часто бывает, во время постановки фильма произошло смещение акцентов, ибо иногда созданный образ внезапно начинает воздействовать на зрителя с огромной силой в тех местах, которые в сценарии едва обозначены. Страдания Жбика заслонялись зримыми действиями Жаклицкого; и думающий, полный колебаний Жбик превратился просто в скучного человека, стал раздражать, слоняясь в обстановке, требовавшей только решений и действий. Играл его, впрочем, Закшевский, человек мыслящий, очень тщательно готовящийся к роли. Он принес мне целый реферат, в котором определил все этапы эволюции образа. Меня восхитила его интеллигентность и серьезность, но это и явилось причиной неудачи. Ибо еще раз оказалось, что даже самое правильное толкование роли никогда не заменит актерской интуиции. Опираясь на свои методологические размышления, Закшевский окончательно завалил роль. Он единственный действительно «играл» и «переживал» в определенных пропорциях, превращая тем самым мое второе «я» в обычного лицедея. Для меня это было

поражением тем более болезненным, что я впервые отождествил себя с героем своего фильма. (До «Баррикады» я поставил только один, не очень удачный, черно-белый фильм по сценарию, написанному несколькими людьми, в который вдобавок внесли свой «идейный вклад» и администраторы от кинематографа. Фильм из жизни врачей, 1954 года, под названием «Самое почетное служение».) Лишь в 1956 году, когда был снят запрет с некоторых тем, я смог обратиться к собственным, дорогим моему сердцу переживаниям и событиям, без чего не существует ни один вид подлинного творчества. К сожалению, «Баррикада» в какой-то мере обманула мои надежды и даже вызвала во мне тревогу: ведь здесь, в отличие от «Самого почетного служения», в моих руках было все необходимое для успеха. И тем не менее я расплачивался за недостаток опыта как автор и как режиссер.

Двери отворились, и меня пригласили в кабинет. Я видел владельца фирмы впервые: огромный и грузный, он сидел за письменным столом, а бесшумный вентилятор овевал его лицо, испещренное морщинами, очень выразительное, с орлиным носом — ни дать ни взять маска из спектакля «Юлий Цезарь». Он улыбнулся и протянул мне руку.

— Хорошо, что вы уже здесь,— сказал он по-польски с забавным, редко уже встречающимся в Польше еврейским акцентом.— Розенцвейг.

Я сдержал возглас изумления, потому что, собственно говоря, удивляться было нечему. Кто, как не он, должен был покупать польские фильмы?

— Вы родом из Лодзи? — спросил я.

— А вот и не отгадали! — обрадовался он.— Из Пабьяниц.

— Разница невелика,— улыбнулся я.— Вы давно в Аргентине?

— Я уехал из Польши за год до войны,— сказал он.— Из-за носа, ясно же! Там нельзя было жить. А здесь националистов нет.

— Как это?

— Слишком много национальностей. Как только в Европе что-нибудь готовится — какая-нибудь война, революция, государственный переворот,— так в Аргентину сразу плывут пароходы с беженцами. Мы здесь живем отходами Европы. Места полно: можешь, пан, тоже остаться. Здесь всех принимают.

— Знаю,— ответил я.— Спасибо.

— Ну-ну,— улыбнулся Розенцвейг.— Это не шуточки. Здесь, правда, иногда швыряют бомбы, самые обычные, зато нам не грозит водородная бомба.

И он схватил какую-то бумажку.

— Через час, пан, у тебя пресс-конференция, потом поедешь, пан, на радио, затем премьера фильма — вот плакат, вот пригласительные билеты, а здесь вырезки из газет, выйдешь, пан, на сцену и скажешь речь, потом торжественный ужин, а завтра пойдешь, пан, в киноклуб и на телевидение. Послезавтра университет в Ла-Плате, экскурсия по Буэнос-Айресу и фотографирование... Потом посмотрим, что будет еще, потому что наверняка поступят заявки, как только пройдет слух, что приехал кто-то из Польши... Вот здесь деньги для вас, то есть суточные, а теперь пошли обедать. Надеюсь, фильм понравится публике.

Я очутился в тисках рекламной машины пана Розенцвейга, которая выжала меня до последней капли и выплюнула где-то под конец пятого дня пребывания. Но разговаривая, выступая, улыбаясь, разъезжая и отвечая на вопросы, что, впрочем, не так-то уж тяжело мне давалось, я отрабатывал это путешествие Варшава—Буэнос-Айрес—Варшава, о котором еще недавно даже не мог и мечтать и которое моим друзьям казалось сказочным приключением. Впрочем, надо признаться, что я отказался от других поездок, чтобы только попасть со своим фильмом именно в Буэнос-Айрес.

Но здесь, согласно законам действия рекламной машины, следовало изображать усталость, перегруженность работой, неохотно соглашаться на интервью и беседы с журналистами и говорить о том, что необходимо как можно быстрее вернуться к работе, потому что группа уже ждет — хотя в Польше мне, быть может, совершенно нечего было бы делать, кроме как полировать тротуар на трассе Уяздовские Аллеи — Новый Свет — Краковское предместье. Постепенно я привыкал к этой маске международного кинодеятеля и с успехом скрывал за ней отнюдь не пресыщенное лицо поляка, который жадными глазами разглядывал мир, сознавая блаженство путешествия после нескольких лет изоляции.

Поэтому я сидел на пресс-конференции, искусственно улыбаясь, изображая легкую усталость, но становясь вежливым и внимательным, как только начинали вспыхивать магниевые лампы. Рядом с достоинством сопел Розенцвейг.

— В последнее время несколько польских фильмов вызвали в мире большой интерес, в том числе и ваш фильм. Чему вы приписываете этот факт? — прозвучал первый вопрос.

— Различным причинам,— ответил я, согласно принципу «чем короче ответ, тем лучше».

— Почти все эти фильмы, однако, говорят о войне, хотя со времени ее окончания прошло уже шестнадцать лет,— продолжал спрашивать тот же человек, поблескивая роговыми очками.— Не могли бы вы объяснить этот факт?

— Дистанция во времени благоприятствует более полной оценке,— ответил я.

— Считаете ли вы, что оценка последней войны, которая содержится в вашем фильме, является полной и объективной?— не унимался он.— Я имею в виду пессимизм ситуации: дом-баррикада, из которого нет пути назад и в котором все должны остаться и погибнуть. Является ли это намеком на положение Польши или же на положение человека в мире вообще?

Я почувствовал, что надо немедленно овладеть ситуацией. Блеск очков журналиста наполнил меня уверенностью в том, что я имею дело с пытливым кинокритиком и мне нечего рассчитывать на поблажку.

— В последнее время естественный прирост населения в Польше достиг небывалых размеров,— ответил я, подставляя лицо под вентилятор.— А положение человека в мире тоже радикально изменилось: ему не обязательно оставаться на земле, он может погибнуть и в межпланетном пространстве.

Легкий веселый шумок заверил меня в том, что ответ оказался удачным и назавтра будет опубликован во многих газетах, но критик продолжал наступление.

— Конфликты между героями вашей драмы несколько напоминают сартровские.

— Мои герои совершенно нормальны,— вставил я.

— Но здесь имеет место дружба между двумя мужчинами,— продолжал критик.— Это представляет собой субституцию гомосексуальной любви. В некоторых рецензиях говорилось о влиянии на ваш фильм экзистенциализма. Действительно ли вы находитесь под его влиянием?

— Я нахожусь под влиянием всего, что видел и читал,— ответил я и отер лоб платком.

Критик взглянул на меня со злостью и уважением одновременно и замолчал. Я любезно улыбнулся ему. Не мог же я ему сказать, что просто описал эпизод из моей жизни, а выдумал только смерть героев в конце, как и пристало приличной трагедии, потому что ведь и Кама, и Адам, и я продолжаем жить, хотя нас разбросало по свету. Такое

признание было бы совершенно неуместным, оно уронило бы мой престиж и вызвало бы неудовольствие Розенцвейга, который оплачивал мое путешествие из Варшавы не за тем, чтобы я лишал свой фильм экзистенциализма, гомосексуализма и других тому подобных терминов, дающих полные сборы.

Я заметил, что Розенцвейг потихоньку подает кому-то знаки. Действительно, тут же поднялся какой-то маленький человечек.

— Как вам нравится Аргентина? — спросил он.

Я отвечал восторженно и направил разговор на путь, указанный Розенцвейгом. Потом я поехал на радио, а затем черноволосый «адъютант» Розенцвейга отвез меня в гостиницу, совершенно перестав тормозить на перекрестках. Вместе с ключом портье подал мне записку.

— Этот пан был час назад,— сказал он по-польски.

— Вы тоже поляк?! — воскликнул я.

— В этой гостинице нас, поляков, работает восемь человек,— ответил он.— А в других и вовсе не сосчитать. Мы все старые эмигранты, еще довоенные.

— За хлебом?

— За хлебом,— ответил он.— Как там, на родине-то?

— Пожалуй, вам было бы там не хуже,— ответил я.— Нам не хватает специалистов в гостиницах.

— Я здесь двадцать восемь лет,— ответил портье.

Я взглянул на записку. Она была от Бабецкого. «Умоляю устроить три билета на вашу премьеру. Как вы могли ничего не сказать! Телефон 45-30-70. Good luck».

Я позвонил в бюро Розенцвейга и устроил ему эти три билета. Оттуда должны были позвонить Бабецкому, чтобы он получил их. Я побежал в номер, потому что до премьеры оставалось совсем немного времени. Никогда еще я не испытывал такой неуверенности и возбуждения. Эта встреча с прошлым могла стать убийственной. Уже несколько минут, как я был готов и нервно ходил взад-вперед по номеру, когда, наконец, прибыл Робера. За окном начало темнеть, и, наверно, уже можно было дышать.

— Если мы не приедем вовремя, сеньор Розенцвейг меня убьет,— сказал Робера, поглядывая на часы. Он опоздал по собственной вине, но я знал, что в случае чего должен буду его выручить. По-французски он говорил с ужасным акцентом, и я просил его объясняться со мной по-испански. Этот испанский язык назывался здесь не просто испанским, а «castellano» — он возник на красных равнинах старой Кастилии, в самом центре полуострова, между Бургосом, Сантандером, Саламанкой и Сеговией. Вообще все в Аргентине имело отношение к старой Европе; все было испанское или же а-ля итальянское, французское, немецкое или греческое, будь то прачечная, еда или гостиница. Сам Буэнос-Айрес до смешного напоминал мещанский город на юге Европы. А то, что, вопреки внешности и культивируемым обычаям, он находится в Америке и к тому же в Южной, было вопросом тонким и интимным, как болезнь, о которой не говорят в обществе, хотя все о ней знают. Это был филиал Европы — Испании, Польши, Германии, России и всех других стран, откуда массы беженцев плыли сюда в течение последних столетий. Отданный во власть Роберы в бешено летевшем «шевроле-1946», я невероятно потел и смотрел на огни, витрины, неоновые рекламы, шумные бары, заполненные людьми — смуглыми и черноволосыми, голубоглазыми блондинами и шатенами, и ни на минуту не мог забыть о том, что это все очень далеко от Европы.

Мы ехали уже по улице Лаваже, вдоль которой на каждом шагу ярко сверкали вывески кинотеатров. И снова я увидел огромное лицо Жаклицкого, освещенное многочисленными рефлекторами. Под кистью

безымянного горе-художника оно стало каким-то мясистым. Эта международная кинозвезда, наверно, снова бегает весь день смотреть квартиры, потому что он разводится, и ему нужно обменять двухкомнатную квартиру на две однокомнатные, а потом хватает такси, чтобы успеть в театр на Праге, где играет одного из старцев в хоре настоящей греческой трагедии. Он очень рассмешил меня в этой роли, с бородой и в хламиде с меандрами, потому что я сразу же представил его себе за четвертинкой в СПАТИФе*. Только благодаря этой неожиданно пришедшей мне в голову мысли я и досидел тогда до конца акта.

Робера остановился у кино, я вбежал в фойе, сверкнули вспышки магния, журналист с блокнотом задал мне какой-то вопрос, но меня сразу же схватил стоявший с надутым видом Розенцвейг, и мы помчались по каким-то комнатам, коридорам и закоулкам. Розенцвейг грозно сопел, и я чувствовал себя как опоздавший ученик. Открылись какие-то двери, Розенцвейг вытолкнул меня на сцену. Я поклонился, искусственно улыбаясь и щуря глаза от света рефлекторов; какой-то седой господин представил меня на кастильском наречии, после чего я произнес несколько фраз о распространенности киноискусства, которое значительно больше сближает народы, чем литература, живопись или даже музыка, потому что, оперируя элементами всех этих искусств, оно создает самую полную и наиболее точную картину. Пока седой господин переводил мою речь, я стоял, стыдясь, как обычно, этих банальных фраз, и обещал себе, что больше никогда не позволю выпихнуть меня на сцену одного, без актеров. Впрочем, не было никакого смысла пытаться произнести что-либо более значительное: даже самое остроумное или самое проникновенное приветствие, произнесенное мною, не могло идти ни в какое сравнение с появлением на сцене Эвы Барабаньчик, посылающей воздушные поцелуи. Несмотря на это, зрительный зал встретил мои слова горячими аплодисментами; позднее я узнал, что в зале находилось очень много поляков. Спустя минуту все кончилось, я с облегчением уселся в ложе и, должно быть, уже в двадцатый раз стал смотреть свой фильм.

Я снял его два года назад; сейчас я делал бы его уже совсем иначе. Больше всего меня раздражала в нем беспомощная и растянутая экспозиция. Пока действие доходит до кульминации, до конфликта между тремя главными героями, пока крышу дома пробивает ящик с противотанковыми ружьями и приближается смерть героев, зритель вынужден смотреть эпизоды, иллюстрирующие место действия, ситуацию, характеры. Я несколько раз укорачивал такие эпизоды, но не мог делать это бесконечно, потому что стало бы непонятным содержание фильма. Всякий раз, когда его показывали иностранцам, я волновался и мысленно умолял зрителей высидеть первую часть со всеми ее вылазками, песенками, стонами раненых в подвале, жестокостями эсэсовцев и муками гражданского населения. Как тогда, вместе с Камой и Адамом, так и теперь в кино, я с радостью принимал ящик, сброшенный с «кукурузника», который тогда придал нам силы для отчаянной обороны, а теперь возвещал конец отмели и начало глубокой драмы.

Уже прошло примерно семьдесят метров фильма, а зрительный зал реагировал наилучшим образом. Я не слышал ни кашля, ни скрипа стульев; первая сильная сцена, во время которой эсэсовцы бросают одну за другой фосфорные бомбы в переполненные подвалы, сжигая людей живьем, вызвала в зале возгласы ужаса. Гостеприимная аргентинская земля не переживала настоящей войны с двадцатых годов XIX столетия, когда в муках рождалась объединенная республика, а генерал Хосе де Сан Мартин освобождал Чили и Перу; правду о последней войне в Поль-

---

* Общество актеров театра и кино. Так называется и ресторан, находящийся в том же здании.

ше аргентинцы могли услышать от поляков, которые очутились здесь после восстания и неволи в Германии, или же от немцев, бежавших сюда от наказания за военные преступления, но они-то, должно быть, не спешили распространяться о своих «подвигах». Впрочем, сцена сжигания людей в подвалах, почти документальная, изображенная мною на основе рассказа семнадцатилетней девушки с сожженными ногами, которую вытащили из подвала только для того, чтобы она умерла в повстанческом госпитале,— эта сцена вызывала исполненное недоверия изумление не только в Аргентине, но и во Франции, когда я вне конкурса показывал фильм на фестивале в Канне. В своих интервью я всегда подчеркивал два рода мерок, которыми пользовались гитлеровцы во время последней войны: с одной меркой они подходили к цивилизованным народам оккупированной Западной Европы, то есть к французам, бельгийцам, голландцам или датчанам, с другой — к захваченным ими «первобытным» народам Востока, то есть к полякам, русским или югославам, приговоренным согласно прусским, а позднее гитлеровским планам к выселению в Азию, уничтожению или, самое меньшее, к неквалифицированному рабскому труду. Несмотря на это, у моих западных зрителей всегда возникало некоторое недоверие, они не допускали возможности совершения очевидных для нас фактов варварства, превосходящего ужасы средневековья. Факты эти, впрочем, мешали зрителям безмятежно переваривать изысканный ужин и вносили в их благополучную жизнь неприятное беспокойство. Я чувствовал себя как человек, который не умеет держать себя в обществе.

На экране шла безошибочно воздействовавшая сцена вылазки Жаклицкого и его роты, которая как молния обрушивается на эсэсовцев, поджигающих в подвалах людей. Эта уступка сюжету всегда вызывала у зрителей энтузиазм; и теперь в зрительном зале послышались радостные и восторженные восклицания, оттого что возмездие настигает преступников так быстро. Трупы эсэсовцев валяются справа и слева, а из неподожженных еще подвалов выбегают чудом спасенные люди. Среди них находится и связная Калина, отрезанная от своего отряда; Жаклицкий приводит ее на квартиру-баррикаду. Жбик в этот момент как раз вернулся из патруля и приветствует чудом воскресшую жену. Вокруг царит спокойствие и можно даже устроить пир; танки дивизии «Викинг» еще находятся в пути.

Стулья начали скрипеть, зрители были довольны, что я дал им передышку от кошмаров. А ведь действительность была несравненно более страшной. У нас не было ни сил, ни возможностей помешать эсэсовцам и их подручным совершать страшные дела; мы сидели в своих домах, в ста метрах от немцев и кусали от бессилия руки, слушая, как взрываются гранаты и бомбы, которые они бросали в подвалы. Каждая вылазка в районы, захваченные немцами, стоила слишком больших потерь, а силы и боеприпасы надо было экономить для решающего момента. Безумная вылазка Адама закончилась постыдной неудачей и потерей нескольких человек. Лишь позднее, под покровом ночи, мы добрались до подвала и нашли среди груды трупов еще живую девушку с сожженными ногами.

Я с удовольствием наблюдал за тем, как Эва Барабаньчик кружит между двумя мужчинами, Жаклицким и Жбиком-Закшевским. Она гораздо красивее Камы, но это снова уступка фильму, ибо все героини экрана должны быть красивыми, вопреки обычной правде жизни. Зрители уже знают, что между Жаклицким и Калиной зарождается любовь; введение в мрачную повстанческую обстановку классического треугольника из французской или американской салонной комедии они приветствуют с облегчением и удовлетворением, как знакомого из клуба в толпе папуасов. Лишь один Жбик ничего не понимает в том, что происходит,

так же как ни о чем не догадывался и я. Он лишь завидует Жаклицкому, потому что тот совершил героический поступок, увенчавшийся спасением его жены. Вообще, Жбик, сравнивая себя с приятелем, испытывает мучительное ощущение собственной неполноценности; он обожает его, но подсознательно завидует его силе, отваге, бескомпромиссности и решительности. Тем более трагическим станет положение Жбика в последнюю минуту, в момент смертельной опасности, когда друг отберет у него — конечно, лишь в эмоциональном плане — и Калину, то есть все, что он имеет.

В зале снова тишина: с экрана доносится тихий гул танков. Жбик не намерен упустить случай: он покажет Адаму и Калине, что он тоже на что-то способен. Зрители следят за безумной вылазкой нескольких людей на улицу, по которой приближаются танки. Величайшим усилием воли Жбик преодолевает страх, эта вылазка необходима ему, чтобы избавиться от терзающего его ощущения неполноценности. Он готов дать убить себя, лишь бы только победить Адама. И хотя вокруг рушатся стены, он, не дрогнув, подпускает танки всего на несколько десятков метров и стреляет в них из последнего «пиата». Один из танков, охваченный пламенем, останавливается, но вокруг Жбика разверзается ад; раненный только в руку, он чудом выбирается из него ( этот эпизод я добавил в последнюю минуту, уже во время съемок, чтобы придать этой скучной фигуре больше жизни, что вызвало многочисленные изменения в сценарии).

Вылазка Жбика на несколько часов оттянула окружение баррикады. Он возвращается к жене и другу, освобожденный и гордый: теперь, казалось бы, его отношения с Адамом будут строиться на равных началах, и он уже не должен будет опускать глаза перед Калиной. Не важно, что он очень страдает и что смертный час близок! К сожалению, радость его кратковременна: в минуту прозренья, а может быть, под влиянием жара, он вдруг осознает, что уже слишком поздно, что его Калина любит Жаклицкого, а тот любит ее. Они не совершают ни одного ложного шага, ничем не проявляют себя, но Жбик ясно видит, что его собственная жена отобрала у него самого близкого друга, а друг отбил у него жену, в чувстве которой он именно сейчас так нуждается. Все напрасно.

На экране грохот, рушится потолок, зрители застывают на своих местах, и в комнату вместе с грудой кирпичей и штукатурки валится так горячо ожидаемый мною ящик с противотанковыми ружьями. Наконец я могу немножко отдохнуть — теперь-то уж зрители досидят до конца, словно пригвожденные к стульям.

Двери ложи открылись, в нее, двигаясь на ощупь, вошел Розенцвейг. Я усадил его на соседний стул.

— Хорошо! — шепнул он и зашелестел газетой.— В «Насьон» отличная рецензия. Тысячи две снобов у нас всегда найдутся.

— А публика?

— Что за вопрос! — вздохнул он.— Чем больше работаешь в этой области, тем меньше понимаешь. Но, пожалуй, все будет хорошо: напряжение есть, треугольник есть, героизм есть... только конец плохой.

— Вот именно! — признался я.

— А вам обязательно надо было всех их погубить?! Неужели вы не могли спасти этих двоих?

И он указал на экран, где Эва Барабаньчик подавала воду раненому Жбику.

— А почему не Жаклицкого? — спросил я.

— Можно и Жаклицкого,— согласился он.— Но публика предпочитает, чтобы жена осталась с мужем.

— Если бы я убил Жбика, она осталась бы вдовой,— напомнил я.

— Счастливая любовь у трупа мужа?! — с ужасом воскликнул Розенцвейг.— Это же католическая страна, пан Завада!

— Жаклицкий и Барабаньчик и так должны были бы расстаться,— сказал я.— Даже после смерти Жбик, словно стальная стена, стоял бы между ними.

— Вот так хэппи энд! — ужаснулся Розенцвейг.— Уж лучше действительно похоронить их всех под руинами.

И он умолк. Мы оба смотрели на экран. Там разверзся ад: началось последнее сокрушительное наступление танков. Первой должна была погибнуть на руках у обоих мужчин Калина, до конца гордая, непоколебимая и незапятнанная. Адам и Жбик смотрят друг другу в глаза над трупом девушки; лишь теперь, в последние минуты жизни, дружба их становится полной, ничем не омраченной. Сознание этого позволяет им умереть с достоинством и верой в необходимость их смерти, несмотря на ее внешнюю бессмысленность.

Следующим, в момент безумного порыва, погибает Жаклицкий, разорванный на куски осколками взорвавшегося танка. Жбик также должен выбрать смерть, хотя в последнюю минуту он может спастись. Смерть Жбика я продумал очень тщательно; он остается последним, уже одиноким защитником баррикады; дом в конце концов с оглушительным шумом рушится, вздымая огромную пелену дыма и пыли, заслоняющую весь кадр. Дым постепенно рассеивается, открывая сплошные руины. Среди кирпичей мы видим кусок окровавленной повязки; не известно, кому она принадлежала — Адаму, Каме или Жбику, а возможно, кому-нибудь из погибших ребят. На этом фоне появляется надпись «Конец», и заключительным аккордом звучит героическая мелодия, которая проходит через весь фильм.

Хотя я сам все это придумал и уже бесчисленное количество раз смотрел фильм, здесь, в зале кино в Буэнос-Айресе, точно так же, как прежде, я не мог сдержать волнение, которое увлажнило мои глаза; это и раздражало и смешило меня одновременно. Теперь я сумел бы закончить фильм более остро и не так мелодраматично, но зрители, наверно, хотели именно такого конца, потому что эффект всегда был один и тот же. И сейчас, когда зажегся свет, в зале несколько минут стояла полная тишина, только потом люди начали подниматься со стульев молча, как после траурного митинга или похорон.

— Ну, пан, этот зал у вас в кармане,— заявил Розенцвейг.— Однако сие еще ничего не доказывает. Они же почти все поляки.

— На здешних немцев вам нечего рассчитывать,— ответил я.

Мы вышли в широкое, ярко освещенное фойе кино. Там собрались небольшие группки зрителей, разговаривавших приглушенными голосами. При виде нас разговор прервался. Ко мне подходили господа в черных и белых смокингах и дамы в декольтированных платьях. Робера представлял меня, а Розенцвейг с довольным видом сопел, то и дело поглядывая в сторону кассы, где продавали билеты на следующий сеанс и даже образовалась небольшая очередь. Принимая поздравления, я нервно оглядывался вокруг, но не видел в фойе человека, ради которого, собственно, приехал сюда. Я обменивался любезными фразами с несколькими кинематографистами, критиками и с какой-то особой из муниципалитета. Вдруг передо мной остановились две светловолосые девочки в краковских национальных костюмах и, подталкиваемые родителями, вручили мне букеты белых и алых гвоздик. Девочки были взволнованы своей ролью, а родители искренне растроганы. Сверкнули вспышки магния. Я взял цветы и наклонился к девочкам, чтобы поцеловать их.

— После стольких лет голос из Польши...— сказала одна из матерей.

Я понял, что премьера, которая могла быть для меня обычной, вызвала у них глубокие переживания и вылилась в демонстрацию польского патриотизма, сохраняемого в этом городе, столь далеком от Варшавы и

от Европы. Мне передалось их волнение, и я, выпрямившись, взглянул поверх голов окружавших меня людей: в нескольких метрах, у стены, я наконец увидел Каму.

Она стояла между Бабецким и высоким упитанным мужчиной. Его расплывшиеся черты я хорошо знал по фотографии, которую швырнул мне в припадке ярости Адам во время нашей последней встречи. Это был нынешний муж Камы. Каме теперь, должно быть, было тридцать семь лет, но она не растолстела, не постарела. Она относилась к числу всегда молодо выглядящих блондинок с голубыми глазами. Наши взгляды встретились.

— Извините,— сказал я и направился к ней.

Она смотрела на меня спокойно, но глаза ее блестели неестественно. Наверно, она плакала. Бабецкий подбежал ко мне с широкой улыбкой.

— Мы должны поблагодарить вас за фильм,— вскричал он, пожимая мне руку.— Это было настоящее торжество! Весь зал плакал...

— Я только старался воспроизвести правду тех дней,— ответил я и подошел к Каме.

— Мои друзья, супруги Заблоцкие,— представил их Бабецкий.— Именно о них я рассказывал вам в самолете.

Кама улыбнулась и протянула мне руку. Я подождал минуту, но она ничего не сказала.

— Завада,— представился я наконец своей бывшей жене и протянул руку ее мужу. Он любезно улыбался, но взглядом посылал меня ко всем чертям.

— Мы рады познакомиться с послом польского искусства,— сказал он. Я старался овладеть собой. Непонятно было, как долго они будут продолжать эту бессмысленную игру. Уголком глаза я увидел, что Розенцвейг подает мне знаки.

— Если бы вас сегодня так не рвали на части...— начал Бабецкий и взглянул на Заблоцких. Кама посмотрела на мужа. Тот ответил положенной улыбкой.

— Мы хотели бы пригласить вас,— добавил Бабецкий.

— Отлично! — воскликнул я.— У меня здесь никого нет.

— В самом деле?! — обрадовался Бабецкий.— Вы свободны? В таком случае мы очень просим... Это будет настоящий праздник для нас.

— Я сейчас вернусь,— ответил я и пошел навстречу Розенцвейгу.

— Мне необходимо уйти,— сказал я.— В силу непредвиденных обстоятельств.

— Как это уйти?! Куда уйти! Мы сейчас едем на ужин! Все приготовлено!

— Не могу. Сегодня вечером не могу.

— Да ты, пан, именно сегодня должен! Что же ты, пан, хочешь мне премьеру провалить?! Завтра вечером делай, пан, что хочешь, но не сегодня!

— Завтра вы можете возить меня по городу голым, с султаном из перьев на голове или же выставить в витрине магазина на улице Корриентес с ножом в зубах,— ответил я.— Но сегодня я никуда не пойду. Вы скажите, что у меня сердечный приступ, или разболелась печень, или же, что снова открылась моя рана, полученная на баррикаде. Теперь все знают, что у меня была трудная юность.

Розенцвейг с минуту молчал, уничтожая меня взглядом. Но мои глаза выражали железную решимость, и он понял, что спорить бесполезно.

— И ты, пан, хочешь продавать фильмы! — вскричал он с презрением и ушел.

Я вернулся к Каме. Как видно, они уже посовещались втроем, потому что Бабецкий сказал:

— Сначала мы зайдем выпьем рюмочку в кафе, а потом супруги Заблоцкие просят к себе.

Я согласился. Уходя, Кама еще раз взглянула на снимок Эвы Барабаньчик. Я одел Эву точно в такой же комбинезон, какой носила Кама во время восстания. Снова наши взгляды встретились, и я знал, что она благодарна мне.

Мы зашли в кафе, где играл польский пианист, известный до войны композитор и дирижер танцевального оркестра. Он апатично сидел у рояля, но, увидев нас, улыбнулся, ответил на поклон Заблоцких и с неожиданной энергией ударил по клавишам. Он исполнял танго и фокстроты, которые я хорошо помнил с детства.

— Кафе-клуб,— вздохнул с тоской муж Камы.

Видя, что он непрерывно следит за женой, я думал о том, чем кончится этот вечер. Я всматривался в ее лицо и чувствовал, как у меня в висках все сильнее пульсирует кровь. Муж Камы заказал коньяк.

— Я сразу узнал Мокотув,— сказал Бабецкий,— это где-то в районе Воронича. Там наступление шло от вокзала Груецкой железной дороги?

— Оно шло с нескольких сторон одновременно,— ответил я.— Но этот фильм я снимал на Жолибоже. Сейчас в Варшаве становится все труднее найти развалины.

— А как выглядит Жолибож? — спросила Кама. Ее низкий голос показался мне совершенно чужим. Просто я забыл, как он звучит, а в последнее время отождествлял его с голосом Эвы Барабаньчик.

— Жолибож, пожалуй, изменился меньше всего,— ответил я.— Там остались все прежние улочки. Площадь Вильсона называется теперь площадью Парижской коммуны и решена в современном стиле. Разумеется, вокруг возникли новые большие жилые районы. Я даже бывал там в последнее время, потому что это район моей ранней молодости.

— Неужели? — улыбнулась Кама.— И моей тоже.

— Вы тоже участвовали в восстании, да? — спросил ее Бабецкий.

— Вы ведь собирались говорить друг другу «ты»,— поспешно вмешался муж Камы.

— Коллега женился в Англии, и я познакомился с пани Зосей только вчера,— пояснил мне Бабецкий.

Я снова взглянул на Каму. Она схватила свою рюмку и выпила ее одним глотком. У нее в метрике стояло три имени: Камилла Барбара Зофья.

— А что в этом фильме является правдой? — продолжал расспрашивать Бабецкий.— Я имею в виду героев.

— Сейчас мне трудно сказать, что в нем является правдой, а что вымыслом,— ответил я.— Мои тогдашние переживания перемешались с кинодействительностью.

— А эти отношения между троими... Вы пережили это?

— Пережил,— кратко ответил я.

— Пожалуйте к нам,— быстро вмешался муж Камы.

Пианист, видя, что мы безучастны к его игре, перестал играть и снова сгорбился. Мы вышли. Кама пошла с мужем, а Бабецкий со мной. Минуту спустя мы были на Корриентес, полной движения и неонового света.

— Большой город,— сказал муж Камы, указывая на улицу.

— И чужой,— добавил Бабецкий.

— Вы видели магазины? — спросил муж Камы.

— Видел,— ответил я без энтузиазма.

Он взглянул на меня с раздражением: я приехал из Польши, и все это должно было немедленно ослепить меня. А между тем все, что я мимоходом увидел в витринах, совершенно меня не заинтересовало.

Мы миновали несколько стометровых квадратов и свернули влево. Все время я чувствовал рядом с собой молчаливое присутствие Камы. Наконец мы вошли в какой-то дом, и муж Камы открыл двери, впустив нас в маленький коридорчик.

— Очень просим вас не шуметь, потому что дети спят,— сказал он.

— У вас много детей? — спросил я.

— Двое,— ответила Кама.— Мальчик и девочка.

Мы вошли в небольшую комнату, обставленную достаточно скромно. В ней стояли две тахты и стол со стульями, заполнившие всю комнату. Мы с Бабецким сели на тахту. Кама исчезла в смежной комнате, а ее муж пошел на кухню.

— У них нет черных слуг,— сказал я.

— И тесно,— добавил Бабецкий.— На четверых две маленькие комнатки. Пожалуй, я не решусь.

— Так что же?

— Может быть, посмотрю еще в Канаде, а может, буду сидеть в Южной Африке, пока они не начнут резать белых,— грустно ответил он.

С обеих сторон одновременно появились Заблоцкие. Хозяин дома торжественно нес две бутылки. Это было виски «блэк энд уйат» и «мартель», который поляки всего мира, неизвестно почему, считают лучшим французским коньяком. Видно было, что хозяин по-прежнему хочет поразить меня. Кама накрывала на стол.

— Выпьете виски? — спросил хозяин дома.— Я не уверен, что оно достаточно охладилось, потому что нам только сегодня привезли новый холодильник. А в Польше легко купить холодильник?

— Пожалуй, трудно, потому что все, что поступает в магазины, немедленно расхватывается,— ответил я. Этот болван раздражал меня, из-за него я не мог даже смотреть на Каму. Она как раз кончила накрывать на стол и налила себе полстакана виски. Прежде она почти совсем не пила спиртного.

— Водка тебе вредна, Зося,— сказал муж.

— А мне как раз очень хочется виски, Владек,— ответила она подчеркнуто. Теперь опустил глаза я. Владек глотнул виски и посмотрел на меня со сдержанным раздражением.

— И вы можете часто ездить за границу? — спросил он.

— Столько, сколько требуется,— ответил я.

— Да, ведь вы из числа привилегированных,— сказал он.

Я сухо поддакнул. Не за тем я пришел сюда, чтобы рассказывать ему о польских порядках оформления заграничных поездок, о валютных ограничениях.

— Пожалуйте к столу,— сказала Кама.

Мы сели. Холодный ужин был скромным. Глаза Камы после виски неестественно блестели. Как у большинства полек, у нее были не светлые и не темные волосы; она то и дело касалась их, по-видимому, беспокоясь, в порядке ли прическа. Я ковырял вилкой лежавшую на тарелке пиццу и думал о том, что терпеть не мог этой запеченной гадости, даже когда был в Италии, а сейчас меня просто чуть не тошнило от раздражения. Не имея возможности смотреть Каме в глаза, я отвечал на вопросы обоих мужчин и блуждал взором по стенам. Напротив меня висела репродукция картины Войцеха Коссака, а под ней — крест-накрест две польские сабли. Это был сентиментальный и неизменный национальный алтарь изгнанников. Я продолжал сидеть, как дурак, и мямлил фразы, приводившие меня в отчаяние. Кама по-прежнему избегала моего взгляда. В ярком свете лампы я мог рассмотреть мелкие лучеобразные морщинки вокруг ее глаз. Внезапно меня охватила волна злости, вызванной отвратительной трусостью Камы и ее мужем. Я решил расправиться с ним.

— А у вас уже есть электрическая стиральная машина? — спросил я.

— Еще нет,— ответил Владек, оживившись.— Тут эти машины очень дороги, потому что их главным образом привозят из-за границы. Аргентина — страна со слаборазвитой промышленностью. Но стиральная машина необходима Зосе, и мы купим ее весной будущего года.

Кама снова выпила виски. Я представил себе, как она стирает в новой машине белье Владека и одежду детей.

— Мой дом в Варшаве прямо-таки весь трясется от стиральных машин,— заявил я.— Мне даже трудно работать. Да еще прямо под окном выстроили кучу гаражей для частных машин, и там тоже то и дело тарахтят моторы. А вы намерены купить машину?

— Сначала мы должны сменить квартиру на бóльшую,— ответил Владек, подозрительно поглядывая на меня.— Это, вероятно, удастся нам года через три.

— Так что автомобиль вы, вероятно, сможете приобрести только через несколько лет.

— Если отменят эти разорительные пошлины,— ответил Владек менее уверенно.— Сейчас машина стоит в три раза дороже, чем в Штатах. Пожалуй, до этого мы купим телевизор.

— Так у вас нет телевизора? — бурно удивился я.

— Вот именно,— ответил Владек.— Нам еще долго ждать автомобиля.

Ему было около пятидесяти, и я подумал, что свой жизненный план он выполнит полностью лишь у самого порога смерти, а на новой машине, наверно, повезут венки на его могилу. Я встретился взглядом с Камой, и мне сразу же расхотелось глупо шутить, хотя в запасе у меня было еще несколько вопросов о его работе. Однако это было бы с моей стороны чистой демагогией. Владек работал в какой-то фирме, экспортирующей мясо, и мне не к чему было придраться. Я хорошо помнил его худощавую фигуру в изящном мундире на фоне Дворца дожей — польский офицер с цветной картинки «За вашу и нашу свободу!». Из этой встречи с Камой не могло выйти ничего хорошего. Мне стало очень грустно. Даже Бабецкий сидел теперь какой-то осовелый. Вентилятор под потолком тихо шумел. Вдруг я понял, что само мое присутствие здесь — оскорбление для этих двух мужчин, компрометация всего, на что они сделали в жизни ставку. Пока Польша была тщательно изолирована и до них доходили только сообщения местной прессы о «неволе, советской оккупации и сталинском терроре в Польше», все их существование здесь, за тысячи километров от Европы, имело в их собственных глазах глубокий смысл. Они жили на другом полушарии с сознанием того, что поставили на хорошую лошадь, и глубоко сочувствовали невзгодам «оборванных и терроризированных» земляков на родине, которым, по мере возможностей, посылали посылки с лекарствами, хотя они дорого стоили, а им и самим было очень тяжело. Известия о польских делах доходили сюда в искаженном виде и с большим опозданием, а поляков из самой Польши здесь не видели. И вдруг в их доме сидит человек, который несколько дней назад гулял по Варшаве и через несколько дней возвращается туда, они не видят в нем ни партийного деятеля, ни агента советской разведки, они читают в прессе лестные статьи о нем и польском искусстве, и этот человек держит себя по меньшей мере нахально: не бросается в магазины, не проявляет телячьего восторга, даже и не думает о том, чтобы остаться с ними, а спорит об автомобилях, стиральных машинах и телевизорах, точно он приехал из нормальной страны. Теперь вдруг им надо было пересматривать привычные истины и установившиеся в течение пятнадцати лет понятия. Я встал.

— Извините, пожалуйста, но день сегодня был полон впечатлений,— сказал я.— Мне было чрезвычайно приятно познакомиться с вами.

— Я тоже пойду в гостиницу,— сказал Бабецкий.

Заблоцкие проводили нас. Владек обнял жену жестом хозяина и даже прижался лицом к ее щеке. «Мы с твоей прежней женой любим друг друга, она ради меня даже притворилась, что не узнает тебя, и ничего ты с этим не поделаешь, ты вернешься в гостиницу один, а я пойду с ней спать»,— как бы говорил его взгляд. Но Кама мягко высвободилась из его объятий и подала мне на прощанье руку. Я почувствовал в ней какую-то крошечную бумажку, которую ловко захватил пальцами. Во время оккупации мы точно так передавали друг другу разные нелегальные записки, чтобы ничего не заметили домашние или гости, и в этом соприкосновении наших рук я узнал вдруг прежнюю Каму, хотя, конечно, ситуация была и смешной и жалкой.

— Вечер был очень приятный,— сказал Владек.— Если вы до отъезда найдете свободную минутку...

Я любезно улыбнулся; взгляд его желал мне внезапной смерти, потому что своим появлением я надолго нарушил покой его дома. Я сунул бумажку в карман и вышел с Бабецким в теплую ночь Буэнос-Айреса. Мы молча проходили квартал за кварталом.

— Если бы вы могли мне рассказать, как там все на самом деле,— вздохнул Бабецкий.— Мне бы так не хотелось совершить какую-нибудь глупость.

Я простился с ним около гостиницы. Он удалился в темноту, шагая медленно и неуверенно. Больше нам уже не пришлось увидеться. Я вбежал в холл, чтобы прочитать записку Камы.

С утра я оказался в когтях Розенцвейга, и мы стали подводить итоги вчерашней премьеры. В нескольких газетах появились рецензии, все доброжелательные, некоторые — серьезные и толковые, написанные известными здесь критиками, другие же — сенсационные и полные энтузиазма, но жидковатые. Я уже не раз встречался с подобными методами шумной рекламы фильмов и с подозрительными псевдорецензиями, полными преувеличенных восхвалений. Публикуемые в обычных рубриках газеты, они с успехом подражали объективным информационным сообщениям, зачастую раздувая обычную чепуху до размеров эпохального произведения, но от них даже на расстоянии попахивало деньгами прокатчика.

— Товар нуждается в рекламе,— заявил Розенцвейг.— А у рекламы свои законы, и публика согласна с ними. На произведения искусства идет смотреть несколько тысяч человек, и для них пишут ваши критики, а миллионы хотят попросту заполнить фильмом вечер. Мы должны вбить им в голову наше название, чтобы они не прошли равнодушно мимо кинотеатра. Держи-ка, пан! Вот оно, мое произведение.

И он швырнул мне рекламные материалы фильма «Баррикада». Тут были фотографии и проспекты для кинотеатров. Особенно мне понравились заголовки: «Беспримерное кинопроизведение!», «Военный фильм, который по своему реализму значительно превышает все, что вы до сих пор видели!», «Одно из самых больших достижений современного кинематографа!», «Более потрясающего фильма никогда не было и не будет!», «Трагическая судьба трех человек, любовь и дружба которых погребены под развалинами миллионного города!», «Великая драма любви и героизма среди руин пылающей Варшавы!»

Розенцвейг посматривал на меня с ироническим удовлетворением. Я отложил рекламные материалы и беспомощно вздохнул. В машине, отвозившей меня на дискуссию в киноклуб, я снова вернулся мыслями

к великой драме любви и героизма среди руин пылавшей Варшавы. Конец этой драмы был в действительности значительно менее эффектным, нежели в фильме. Русские противотанковые ружья на некоторое время удержали наступление танков, но немцы легко обнаружили, откуда в них стреляли. Они немедленно забросали нас снарядами из пушек, парализовали очередями автоматов — дом разваливался на глазах. В течение короткого времени большинство ружей умолкло, будучи уничтожено вместе с прислугой или засорившись от пыли, песка и мусора. Именно так произошло с ружьем, которое Адам обслуживал вместе с Камой, потому что один он не справился бы с ним из-за раны. Это она бегала с противотанковым ружьем от одного окна подвала к другому, чтобы ввести неприятеля в заблуждение, она устанавливала ружье и заряжала его, а Адам только целился и стрелял. Меня по-прежнему не брали в расчет, но теперь я испытывал смертельную усталость, у меня шумело в голове от температуры, рука болела все сильнее, и мне уже все было совершенно безразлично. Я приготовил гранаты на случай, если немцы нападут сзади, и, сидя на полу, мечтал, чтобы все это как можно скорее кончилось. Не знаю, каким чудом держались над нами остатки стропил, потому что стены вокруг напоминали своими большими дырами швейцарский сыр «эменталер», а от первого этажа почти ничего не осталось. Ружье вдруг заело, и Адам начал его нервно дергать: Кама отвела его дрожащие руки и пыталась сама спокойно разобрать ружье. Меня возмутили это ее спокойствие и эта методичность движений перед лицом надвигавшейся среди кромешного ада смерти. Но тут снаряд угодил в балку над их головами и на них посыпались кирпичи. Я пытался подняться, чтобы откопать их, потому что кирпичей было не так уж много, и я видел, что они шевелятся, однако тело перестало меня слушаться. Должно быть, у меня было тогда больше сорока градусов, потому что красные и желтые пятна так и прыгали перед моими глазами. Наконец я поднялся, споткнулся о кирпич, упал и встал на четвереньки. Я увидел, что Кама тащит Адама из-под развалин. В этот момент в подвал вбежало несколько эсэсовцев с пистолетами-автоматами. Я стоял на четвереньках и смотрел на них, как подыхающий пес, ожидающий, пока его добьют. Адам тоже пришел в себя и поднялся, весь окровавленный. Теперь мы все трое ожидали очереди, которая завершит наконец эту затянувшуюся муку. Они всегда поступали так во время восстания, когда кто-нибудь из нас попадал к ним в лапы, потому что вообще не брали пленных, считая нас бандитами. Несмотря на жар, я заметил все же слезу, стекавшую по неподвижному, суровому лицу Камы. Мне тоже хотелось плакать, потому что мы были готовы погибнуть в борьбе, с оружием в руках, а вместо этого позволили захватить себя врасплох и теперь стояли под дулами безоружные, бессильные, не как солдаты в бою, а как обычные жертвы жестокости; вдобавок ко всему я даже не мог подняться, потому что у меня не было столько силы, сколько у Адама, и я ползал по полу, а они могли раздавить меня сапогами, как таракана. Эта разница между смертью в бою и расстрелом или просто смертью под сапогом врага вдруг показалась мне очень существенной, потому что право на лучшую смерть мы ведь заслужили, пожалуй, за эти пять лет подпольной борьбы и два месяца восстания. Я нагнул голову, чтобы немцы не увидели моих слез. Они не стреляли, потому что, видимо, хотели продлить минуту нашего унижения. А я за то, что они лишили нас честно добытого права на достойную смерть, ненавидел их так, как только способен ненавидеть человек.

В это время они подошли к нам: один схватил Каму и вытолкнул ее за дверь. Двое других подхватили под руки меня и Адама и вытащили нас на лестницу, а потом на улицу. Я стиснул зубы, чтобы не кричать, потому что грубые руки эсэсовцев причиняли мне невыносимую боль;

минуту спустя мы оказались в шеренге нескольких уцелевших защитников баррикады. Эсэсовцы дали сигнал к отходу. Кама с одной стороны поддерживала меня, с другой — Адама; сплоченные таким образом, мы тащились, едва держась на ногах, тяжело дыша, не произнося ни слова, а эсэсовец сбоку размахивал автоматом и поминутно куда-то кричал: «Schneller, Schneller!» — он действительно выглядел человеком, у которого нет времени. Не знаю, откуда в Каме нашлось столько сил, чтобы тащить нас обоих от Мокотува до самого ипподрома на Служевце, хотя то, что мы шли, казалось нам бессмысленным садистским капризом эсэсовцев, которые, как только им наскучит все это, поставят нас к первой попавшейся стенке и расстреляют. Кама тянула нас с упорством и силой першерона, не позволяя ни остановиться, ни потерять сознание, хотя я умолял ее отпустить меня, потому что тогда я упаду, и эсэсовец наконец прикончит меня. Этот поход, вернее, передвижение чуть ли не ползком тянулось без конца, но все-таки мы добрались до ипподрома. Кама прислонила нас, точно кукол, к стенке барака; она была бледна и пыталась отдышаться. Мы тяжело дышали все трое и смотрели друг на друга в отупении, все еще не произнося ни слова, потому что у нас не было ни сил, ни охоты разговаривать; впрочем, все уже было позади. Я понял тогда, какая ужасная пытка заключена для обреченного в оттяжке момента казни.

Казнь не наступила, потому что в тот день был издан приказ считать нас военнопленными. Мы не были обязаны этим благородству Гитлера, просто в Германии с лихорадочной поспешностью сколачивался «фольксштурм» — отряды стариков, «обозников» и детей, а поскольку они должны были воевать в гражданской одежде, с повязками, как и мы, встал вопрос о признании за ними права считаться военными, и Гитлер срочно решил создать прецедент. Внезапно, после всего этого ада, перед нами раскрылась роскошная перспектива оказаться в лагере военнопленных.

В тот же день нас разлучили с Камой. Прощание было коротким. Кама по очереди заглянула нам в глаза.

— Следи за ним, Адам, пока к нему не вернется желание жить,— сказала она.

Адам кивнул. Как всегда, он был более сильным, хотя его рана все время кровоточила. Я действительно не хотел вернуться к жизни, и мне все было безразлично. В голове у меня шумело от жара. Кама поцеловала нас обоих в щеку — сначала меня, потом его: она всегда была тактичной и честной. Лишь в Италии она сказала мне, что мы должны разойтись. Уходя за проволоку вместе с другими женщинами, она еще раз обернулась и махнула нам рукой, стройная и прекрасная в своем изорванном и испачканном кровью комбинезоне, в туфлях без подметок. Такой она предстала предо мною и в лагере, когда я выздоровел и начал страшно тосковать о ней, ворочаясь с боку на бок на нарах подле Адама.

Робера делал все, чтобы вовремя доставить меня по указанному адресу. Мы обгоняли машины то справа, то слева и заставляли пропускать нас первыми на всех перекрестках. После встречи в киноклубе Розенцвейг снова организовал пресс-конференцию и считал, что она хорошо отразится на рекламе фильма. Теперь он нервничал оттого, что я снова куда-то исчезаю, и заставил меня поклясться, что через полтора часа я буду на телевизионной студии.

— Ты, пан, шутки шутишь, а тут речь о деньгах идет,— сказал он.— А вообще-то лучше вам не таскаться по городу, потому что тут в последнее время стали подбрасывать бомбы.

И действительно, рядом с рецензиями на мой фильм ежедневно публиковались известия о новых взрывах бомб в разных пунктах города.

Предтечи французских оасовцев, однако в данном случае следовавшие за ветром истории, сторонники изгнанного президента Перона поступали согласно традиции этих стран, производя много шума, но принося мало настоящих потерь. Свою энергию они главным образом расходовали на выписывание по стенам «Вива Перон!», а их бомбы не были еще из современного пластика, как в Париже или Алжире, и содержали старомодный порох или динамит. Однако имя генерала Перона связывалось здесь с общественными реформами, и бомбы шумно рвались в знак протеста против неограниченной свободы капитала и инфляции при президенте Фрондиси. Дело было не в отношениях между народом и Фрондиси, как не в отношениях между народом и Пероном или между народом и какой-либо другой политической партией; Аргентиной правила армия, и в первую очередь флот, который внимательно следил за политическими событиями с высоты своих капитанских мостиков и поверх своих орудийных дул, готовый убрать всякого, кто нарушит установленный порядок. Чтобы пушки не ржавели в бездействии, флот время от времени распускал сакраментальную утку о неизвестных подводных лодках у берегов страны (о происхождении которых, внушал он, разумеется, нетрудно догадаться), и тогда весь флот направлялся защищать побережье. Странной выглядела эта власть армии в стране, которая не нуждается в армии, но за этим опереточным войском стояли те силы, которые держали в своих руках богатства страны и которые не собирались их выпустить, несмотря на бомбы, волнения и грозные ветры с Кубы...

Робера затормозил, я простился с недовольно поморщившимся Розенцвейгом и оказался на одной из множества узеньких улиц. Магазины и дома здесь были более бедными, чем в центре города, и очень походили на польскую провинцию. Я еще раз вынул записку Камы: «Росита». Трудно было придумать более банальное название ресторана. Это был наполовину винный погребок, наполовину пивная с большими деревянными столами и лавками. По обе стороны от входа белели два нелегальных лозунга: «Да здравствует Коммунистическая партия Аргентины!», «Да здравствует Перон!». Я вошел в погребок и сел у окна, отирая со лба пот. Сразу же вслед за мной вошла Кама. На ней был изящный летний костюм из серого шелка, пожалуй, чуть длиннее, чем требовала последняя европейская мода.

— Здравствуй! — сказала она и села рядом.

Я неловко и нервно смял в руке сигарету и бросил ее в пепельницу, после чего протянул ей пачку.

— Спасибо,— сказала она и взяла сигарету.

Я тоже взял, дал прикурить ей и прикурил сам, пододвинул пепельницу и снова ее отодвинул. Кама закашлялась и взглянула на сигарету.

— «Экстракрепкие»,— сказал я.— Из Варшавы.

Она снова затянулась, на этот раз осторожно, а я еще раз вытер платком нос и лоб.

— Ты не привык к такому климату? — спросила она.— Зной и сырость. Мы тоже болели первый год. Я была совершенно без сил, и мне ничего не хотелось. Я могла целые дни лежать на топчане после вентилятора. Еще хуже здесь зимой. Мокро. А рождество мы проводим на пляже, в сорокаградусную жару.

— Смешно,— сказал я.— Елок тоже нет?

— Есть, маленькие и искусственные,— ответила она.

Кама не смотрела на меня, и я мог теперь внимательно разглядеть ее, потому что свет из окна падал на ее лицо. Кожа у нее была гладкая, но под глазами лежали тени усталости. Я снова отер пот. Наконец-то она была рядом со мной одна, а я не мог выдавить из себя радости.

— Ты знал, что я здесь? — спросила она.

— Знал,— ответил я искренне.— Мне говорил кто-то в Польше, что ты переехала с мужем в Аргентину. Я рассчитывал на то, что этот фильм привлечет тебя, где бы ты ни была.

— Ты мало изменился,— сказала она, не глядя мне в глаза.

Я рассматривал надпись на своей пачке папирос: «Радомская табачная фабрика».

— Я очень изменился.

— Думал ли ты тогда, что будешь делать фильмы?

— Думал ли я, что буду извлекать прибыль из трагических и худших минут нашей жизни?

— По-твоему, это были самые плохие минуты нашей жизни? — спросила она с явной горечью.

— А у тебя не было лучших здесь, за все эти годы?

— Это другое дело,— ответила она.

Я начал ковырять спичкой в пепельнице.

— Ты живешь здесь спокойно,— сказал я.

— Очень спокойно. Но нельзя идти долго по равнине, не видя перед собой хотя бы вдалеке прекрасных гор.

— Жизнь теперь кажется тебе слишком спокойной и пустой?

— А тебе?

— Я не могу пожаловаться на отсутствие впечатлений за последние пятнадцать лет,— сказал я.— Я постоянно взбирался на горы и скатывался в котловины, больно при этом разбиваясь.

— Но теперь ты снимаешь фильмы и путешествуешь.

— Мне повезло,— ответил я, и мы замолчали. Я совершенно не знал, о чем говорить. Слишком велика была разница между суммой наших переживаний в последние годы. Хотя Каме было всего тридцать семь лет, она подсознательно жила прошлым, потому что никакие более сильные впечатления не заслонили картины тех героических дней.

— Не сердишься на меня за то, что я этим фильмом нарушил твой покой?

— Я могу быть только благодарна тебе,— ответила она, и я заметил, что пальцы ее слегка дрожат.— Впрочем... Полгода назад я видела Адама.

— Этого можно было ожидать. Он здесь?

— Был здесь. Он приезжал на итальянском корабле в качестве кельнера и прожил в Буэнос-Айресе четыре дня... Поэтому я и встречаюсь с тобой по секрету от Владека. После отъезда Адама Владек стал ревновать меня к прошлому, понимаешь?

— Должно быть, он заметил в твоих глазах блеск, о котором до этого даже не подозревал,— сказал я.

И снова, как во время встречи с Марией-Аннунциатой, я почувствовал себя любопытным наблюдателем, мне просто казалось, что все это не относится ко мне лично. Я понял, что мои отношения с Камой достигли эпилога еще тогда, когда мы все ожидали атаки танков дивизии «Викинг», и не случайно я ввел в фильм трагическую развязку, заканчивающуюся смертью всех троих. Все, что было потом,— концлагерь, встреча в Италии, наконец это неожиданное свидание в Буэнос-Айресе,— все это стало лишь ненужным продолжением, которое не дает ничего нового или же, как теперь, приносит разочарование. За окном уже зашло солнце, и на улице, наверно, стало прохладнее, чем в этом ресторане.

— Хочешь пройтись немного? — спросила Кама.— Проводи меня, потому что я должна идти готовить ужин.

Она хотела заплатить за кока-колу, но я не позволил.

— Я забыла, что ты состоятельный,— сказала она.

Я вовсе не был здесь состоятельным, но никогда не признался бы в этом. Кама, вероятно, располагала очень небольшой суммой на личные

расходы, экономия ради приобретения стиральной машины, квартиры и, возможно, автомобиля.

Мы вышли на улицу. Стало немного прохладнее.

— Адам приезжал к тебе? — спросил я прямо.

— Ко мне. Знаешь, в последний раз мы виделись в Англии в сорок восьмом году. Я думала, что до Аргентины он не доберется.

— Почему же? Ведь эта страна подходит ему больше, чем Италия или Англия. Я так и вижу, как он ворочает большими стадами скота где-нибудь в Ла-Пампе или в Рио-Негро. Европа слишком тесна для него.

— Все еще ревнуешь? — улыбнулась Кама.

— Как это ревную? — удивился я.

— Ты же всегда во всем завидовал Адаму и всегда ревновал его! — вскричала Кама.— Это же одна из главных причин нашего банкротства.

— Причиной нашего банкротства была моя неопытность в обращении с женщинами,— ответил я.— Нельзя жениться на девушке, которая моложе тебя на несколько месяцев... и вообще не следует жениться в двадцать лет.

— А теперь ты женат и своим опытом доставляешь счастье женщине соответственно моложе тебя? — спросила она с иронией.

— Я не женат,— ответил я.— У меня как-то это не выходит. Во всяком случае, Адам...

— Адам был твоей настоящей любовью, с которой я никогда ничего не могла сделать,— вдруг сказала Кама.— Он всегда интересовал тебя больше, чем я. Этого женщина не может вынести, Зигмунт.

— Адам был моим другом,— с достоинством ответил я.

— А я была твоей женой! — воскликнула Кама.— Помнишь, как ты всегда оживлялся в его обществе, как старался что-нибудь сделать, чтобы вызвать у него улыбку, и как ты был счастлив, если он за что-нибудь хвалил тебя? Помнишь, как ты замолкал и становился сумрачным, когда мы оставались вдвоем? Как ты едва отвечал мне, когда я пыталась развеселить тебя? Ты ревновал Адама даже к его девушкам, Зигмунт, и ты ненавидел их всех по очереди! Ты помнишь эту историю с Зосей?

— Помню,— неохотно ответил я. При некоторых воспоминаниях, даже очень давних, человек краснеет до самой старости. Я действительно ненавидел Зосю, влюбленную в Адама, потому что она отрывала его от меня, и он вместо того, чтобы бывать с нами, тратил свободное время на глупые прогулки с нею. Он сразу же втянул ее в нелегальную работу и даже посылал ко мне с почтой. Она меня тоже терпеть не могла, и это грозило разрывом нашей дружбе с Адамом, что, впрочем, обычно и происходит из-за женщин. Я начал тогда целую кампанию против нее, распуская сплетни, говоря о ней гадости. Материала она давала мне достаточно, потому что была кокетлива, любила компанию и не пренебрегала ухаживаниями других ребят, хотя, конечно, в чем я тогда был убежден, она должна была любить Адама. Но я хорошо знал, что Адам невероятно честолюбив и не потерпит хотя бы внешне двусмысленного поведения своей девушки. В такой обстановке самые глупые сплетни и инсинуации неминуемо привели бы к бурной реакции со стороны Адама. Все произошло на одной из танцулек. Надо сказать, что наша конспирация тогда была весьма относительной, потому что все мы знали друг друга, жили в одном районе и ходили друг к другу в гости. Так как комендантский час начинался очень рано (в восемь вечера), танцульки в частных домах — единственное развлечение тех времен — продолжались всю ночь, и расставались мы в пять или в шесть утра, когда немцы позволяли уже ходить по улицам. Установи гестапо за нами даже самую незначительную слежку, оно могло бы нас всех схватить в одну минуту.

К счастью, аппарат их был слишком небольшим, а редких доносчиков мы сразу же разоблачали.

Подготовленный уже несколькими прозрачными намеками, Адам бдительно следил за Зосей. Отчасти ради развлечения, а отчасти из «спортивного интереса» я подослал к ней одного знакомого, который пользовался репутацией соблазнителя. У него были светлые завитые волосы и лицо ренессансного херувимчика. Этот Флимон, как мы его называли, был круглый дурак. Мы даже не приняли его в нашу подпольную группу, но, несмотря на наши насмешки, он очень нравился некоторым девушкам, особенно на первый взгляд. Достаточно было сказать ему, что Зося хочет познакомиться с ним поближе, как он, предвкушая легкий успех, сейчас же к ней подсел. Флимон вообще пытался вознаградить свои неудачи у мужчин успехом у женщин. Результаты не заставили себя ждать. Адам, видя, как Зося флиртует с Флимоном, что делало его в глазах других смешным, бросился ухаживать за первой попавшейся девушкой. Ею оказалась Кама. Как теперь выяснилось, Кама отлично поняла мою игру и начала танцевать с Адамом, крепко прижимаясь к нему и рассчитывая этим вызвать во мне ревность. Я же не только не испытывал никакой ревности, так как был слишком уверен в Каме, но, наоборот, чувствовал себя хозяином положения. Увидев Адама в объятиях Камы, которую она тоже не выносила, Зося начала еще больше кокетничать с Флимоном, а я, чрезвычайно довольный всем происходящим, наблюдал за обеими парами, которые танцевали, прижавшись друг к другу как настоящие любовники. Из всех четверых только Флимон был доволен и гордился легким успехом. Несмотря на все, Адам не выдержал напряжения, а Кама не смогла его остановить, хотя и хотела бы свести со мной счеты: невзирая на патрули и комендантский час, он выбежал на улицу, а на следующий день окончательно порвал с Зосей. Тогда началась полоса нового усиления нашей дружбы, но, как я позднее понял, был совершен и первый шаг Адама к Каме. Так с самого начала я сам был во всем виноват.

Мы дошли с Камой до широких бульваров. За балюстрадой, омывая хорошо видный издалека порт, текли бурные воды реки Ла-Платы. Вдоль тротуара протянулись рядами киоски с напитками. Я опять заказал кока-колу. И вдруг понял причину ее возбуждения.

— Ты не любила Адама?! — вскричал я.

— Я никогда не любила Адама,— ответила она уже спокойно.— Я слишком хорошо и слишком давно была с ним знакома, а он всегда слишком любил производить эффект, но я знала, что только так могу отомстить тебе за все. Кажется, я угодила в слабое место, правда?

— Ты вчера видела это в фильме,— ответил я.

— Я видела, что ты ничего не понял.

— Теперь я понимаю,— ответил я, глядя на воду.— Ты могла вернуться ко мне в Италии или в Англии.

— Было уже слишком поздно.

— Я не знал, что все дело было во мне! — воскликнул я.

Мы замолчали.

— Вообще я слишком хорошо играла, и вы оба попались на этом,— сказала она минуту спустя.— Я вдруг стала единственной любовью всей его жизни.

— Он приезжал теперь, чтобы забрать тебя у Владека? — спросил я.

— Он устраивал сцены, о которых даже не хочется говорить,— сказала она.— Видно, он потерпел полное крушение за эти годы в Европе, если после стольких лет решил воскресить нашу историю. Он бегал за нами по всему городу и устраивал скандалы. Хотел силой увезти меня на корабль... Владек до сих пор не может прийти в себя...

— Бедный Владек! — вздохнул я.— Счастье, что ему есть отчего худеть.

— Ты напрасно пытаешься говорить колкости,— сказала она.— Владек идеальный муж, и нет повода ставить его в подобное положение только потому, что когда-то я глупо распорядилась своей жизнью.

— Где теперь Адам? — спросил я.

— Два месяца назад он прислал мне открытку из Парижа,— ответила она.— Пишет, что в конце концов нашел город, в котором можно жить.

Где-то наверху зарокотало. Над берегом медленно плыл грохочущий вертолет, который тащил за собой транспарант с названием какого-то средства для загара. В кабине виднелась голова пилота. Транспарант сухо потрескивал на ветру.

— Это, верно, Каневский,— сказала Кама, внимательно вглядываясь в вертолет.

— Какой Каневский? — удивился я.

— Знакомый Владека. Летчик, который не хочет работать в учреждении. Он прославился в сражениях за Англию.

Я проводил взглядом вертолет, пока он не исчез за деревьями. На секунду транспарант появился снова, а потом мы с Камой опять остались вдвоем.

— Я прощусь с тобой здесь,— сказала она.— Мне не хочется раздражать Владека, у него не очень ладно с сердцем.

И она с улыбкой подала мне руку. Поддавшись непроизвольной вспышке, которой я уже не мог ожидать от себя, я схватил ее в объятия и прижал к себе. Мы постояли так с секунду, после чего Кама мягко высвободилась из моих рук. Она еще раз улыбнулась и ушла. Я смотрел ей вслед, пока она не исчезла на одной из совершенно одинаковых улиц этого большого города, расположенного так далеко от Европы.

В ту ночь я почти не спал, и на следующий день от меня было мало толку. Впрочем, рекламное давление Розенцвейга несколько ослабело, и у меня стало больше времени для прогулок по городу. Ко мне обращалось множество поляков, так что вечера я проводил в визитах и рассказывал о стране. Однажды вечером я оказался в доме молодой еще пары; они принадлежали к числу тех, кому удалось разбогатеть, открыв бюро посредничества по продаже недвижимого имущества. Разумеется, как и все поляки-эмигранты — не из тех, старых, приехавших на заработки еще до войны, а из политической и интеллигентской эмиграции,— они считали свои гражданские занятия здесь волей господней и жизненной необходимостью и продолжали сохранять в отношениях друг с другом или иерархию довоенной Польши или иерархию, существовавшую в польской армии в Англии или в Италии,— как кому было удобнее. Таким образом, я попал скорее в избранное общество штабных полковников, поручиков кавалерии, старост или даже графов и князей, а не в общество торговых агентов, владельцев контор или маленьких гостиниц, чиновников, бухгалтеров или же продавцов, каковыми они стали в действительности. Я только удивлялся тому, что вообще эта работа, к которой у них не лежало сердце и которой надо было заниматься в таком климате, когда человеку хочется лежать весь день на животе, может давать им существенную прибыль. Мы разговаривали обо всем, избегая наиболее щекотливых вопросов (лишь одна из дам спросила, где же убэк *, который за мной смотрит, а когда узнала, что я приехал один,

* Производное от УБ (Urząd Bezpieczeństwa) — названия польских органов безопасности.

сразу умолкла), и, наконец, в беседе, которую вели в стороне дамы, упомянули фамилию Заблоцких. Я стал внимательно прислушиваться к их разговору, хотя хозяин дома рассказывал мне что-то интересное об Аргентине.

— Я давно их не видела,— ответила на чей-то вопрос хозяйка дома.— Со времени той истории они постоянно избегают общества.

— Кто бы мог подумать! — вздохнула ее собеседница.— Они души не чают друг в друге.

— Ну, если этот некто приезжает из Европы и вдобавок в качестве кельнера...

— Пани Зося — это женщина, которая может так увлечь мужчину, что он за ней даже на луну полетит, моя дорогая,— ответила с улыбкой хозяйка дома.— Но я тебе ручаюсь, что она совершенно в этом неповинна.

— А мне все это кажется очень подозрительным,— продолжала упорствовать вторая.

— Ну, ясно, милочка,— с иронией вздохнула хозяйка дома.— Ни к одной из нас не приедет мужчина даже из Ла-Платы, а о Европе и говорить нечего...

— Неизвестно, не пустила ли она этот слух для рекламы,— ответила ее собеседница.— Может быть, это действительно был всего только знакомый времен войны?

— Она именно это и утверждала, моя дорогая,— улыбнулась хозяйка дома.— Ведь ты же сама начала доискиваться в этом чего-то большего...

— Да, но подумай, милая... Стал бы он тащиться в такую даль просто так?

Я перестал их слушать и повернулся к своему собеседнику, который с энтузиазмом рассказывал мне об аргентинских лошадях. Здесь все польские кавалеристы могли удовлетворить свою страсть к лошадям, что столь трудно сделать не только в Польше, но и во всей автоматизированной Европе. К сожалению, Розенцвейг не проявлял желания более подробно показать мне Аргентину, считая, что это было бы для него излишним расходом. Впрочем, поступления от фильма, как видно, оправдали его надежды, и он был со мною мил.

Однако приближался момент, когда следовало уехать, чтобы не оставить о себе воспоминаний, как о навязчивом госте. Когда однажды мы исчерпали список всех встреч, конференций и интервью, а Розенцвейг выжидающе взглянул на меня, я сказал:

— Мне надо вернуться в Варшаву ближайшим самолетом. Съемочная группа уже ждет меня.

Разумеется, это было ложью, потому что посетить Южную Америку мне, может быть, уже никогда больше не доведется, а съемочная группа вовсе не ждала меня, потому что до того, как мы начнем работать, надо раздобыть бумагу, написать сценарий и протолкнуть его, но подобной лжи требовали правила. Если бы у меня были собственные песо или доллары, я бы поспешил на первый самолет, сделав вид, что лечу в Варшаву, потому что меня ждет группа, но тут же вышел бы в каком-нибудь из городов, известных мне по неоновым надписям на аэродромах, и стал бы осматривать его. Розенцвейг молчал, так что я шутливо добавил:

— Вы довольны фильмом и мною? Игра стоила свеч?

Розенцвейг как-то странно, пожалуй, даже с упреком взглянул на меня.

— Знаете, все это прокатное дело не так-то уж сильно меня радует.

— Оно не дает больших заработков? — удивился я.

— Вы все только о деньгах! — ужаснулся Розенцвейг.— Денег у меня достаточно, чтобы прожить здесь без забот до самой смерти.

И сколько мне вообще-то осталось жить? Пять, десять лет. Вот я и подумал, что если вы там, в Польше, делаете фильмы, которые получают премии на фестивалях, то почему я не мог бы сделать такой художественный фильм для фестиваля?

Я взглянул на Розенцвейга другими глазами.

— Для фестиваля? Не дающий сборов?

— Не дающий сборов,— подтвердил он.— Художественный фильм, который получил бы премию на фестивале. Может быть, не в Канне и не в Венеции, но хотя бы в Сан-Себастьяне или даже в Мар-дель-Плата. Может быть, не первую, но вторую или третью. А потом я могу потерять на нем все деньги. Это уж мое дело.

— Понимаю,— ответил я,— ваша прихоть отлично вас характеризует. Нужно нечто большее, чем успех в делах, чтобы иметь возможность умереть удовлетворенным. От всего сердца желаю вам Золотой пальмовой ветви в Канне.

— Минутку! — воскликнул Розенцвейг.— Не понимаешь, пан, что ли? Я хочу, чтоб ты, пан, сделал этот фильм!

— Я?! Здесь, в Аргентине?!

— А почему бы и нет? Получишь, пан, переводчиков, лошадей, актеров — все, пан, чего хочешь. И вообще, я не буду вмешиваться, делай, пан, что хочешь, все, о чем только мечтаешь! Хочешь, делай, пан, драму, хочешь — комедию, хочешь — фильм о переходе евреев через Красное море! Скажешь, пан, только слово, мы сегодня же подписываем договор, и держи, пан, в ту же минуту тысячу долларов аванса!

Я растроганно взглянул на Розенцвейга. Тысяча долларов была в этих условиях суммой очень маленькой, однако она должна была произвести впечатление на человека из страны, где доллары всегда котировались на черном рынке по абстрактному курсу, не имеющему ничего общего с их подлинной покупательной способностью в мире. Однако я быстро поборол искушение.

— К сожалению, пан Розенцвейг...— начал я.

— Две тысячи долларов аванса...— быстро поправился Розенцвейг, но мне удалось устоять и перед этим искушением.

— Не в этом дело,— улыбнулся я.— В этих условиях я не мог бы гарантировать вам премию на фестивале, даже если бы я сделал фильм об открытии Америки Христофором Колумбом. Я слишком мало знаю страну и ее обычаи и поэтому предпочитаю снимать фильмы в Польше. Во всяком случае, я искренне благодарен вам за доверие.

Розенцвейг слушал меня со все возрастающим огорчением.

— Я опасался этого,— сказал он.— Жаль. Если вы передумаете, достаточно будет одной телеграммы.

— Благодарю вас,— сказал я еще раз и пожал Розенцвейгу руку.

В тот же день мне достали билет на самолет Буэнос-Айрес — Варшава, летевший через Париж, а не через Рим, потому что я попросил изменить трассу: поиски Адама надо было довести до конца. В гостинице со мной грустно попрощался портье-поляк.

— Через несколько дней вы будете в Польше,— сказал он.— Мне до Польши не добраться: я здесь уже двадцать восемь лет. Даже и поверить невозможно, что я мог бы сесть в самолет, и—не успеешь оглянуться — уже Варшава! А фильм мне даже понравился: вы там все страшно перестрадали. А я в этой гостинице уже двадцать пять лет. Сначала работал лифтером, потом носил чемоданы, а теперь вот стою у доски с ключами. Так и простою, пока меня не согнет. Вот и вся жизнь. Иногда только приснится что-нибудь.

Машина, на которой мы должны были ехать на аэродром, уже ждала. В холле гостиницы собралось несколько поляков, пришедших проводить меня. Они прощались со мной с такой сердечностью, что стоило при-

езжать сюда хотя бы ради этого. По пути на аэродром Робера продемонстрировал все свое мастерство, и я, казалось, уже привыкший к его бешеной езде, все-таки я опасался, что попаду не на аэродром, а в больницу.

— Сейчас вы от меня избавитесь,— сказал я, судорожно цепляясь за сиденье.

— Жаль, что вы не хотите снимать здесь фильм,— огорченно сказал он.

— Вы лично в этом заинтересованы? — удивился я.

— Наверно, вы бы нашли для меня какое-нибудь амплуа?

Пришлось взглянуть иначе и на Роберу. Он наверняка мог играть гангстера или торговца кокаином, и я уже видел его в кульминационной сцене безумного бегства от полиции, заканчивающейся тем, что его машина переворачивается и падает в пятидесятиметровую пропасть.

— Я не знал, что вы актер.

— Потому что вы видите меня только за рулем, когда у меня заняты руки,— с сожалением ответил он и, желая показать мне гибкость и выразительность своих рук, отпустил руль прямо у перекрестка, а я весь сжался в ожидании катастрофы.— Но если бы вам когда-нибудь понадобился актер с моими данными, достаточно только прислать телеграмму и билет, и я тут же буду в Польше или там, где вы захотите. Гонорар не имеет значения.

К сожалению, я не мог ему ничего обещать, хотя бы из-за стоимости билета в валюте, но мысленно я уже представил его в нашем Гранд-отеле, окруженным представителями кинопрессы, видел, как он позирует для снимков, которые появятся под огромным заголовком: «Мигель Робера в Польше». В интервью, опубликованном вместе со снимком, я, наверно, прочел бы: «Я приехал в Польшу из далекой Аргентины, чтобы играть в фильме вашего выдающегося режиссера Зигмунта Завады, произведения которого пользуются самым высоким признанием во всем мире». Мои коллеги повсюду рассказывали бы, что Мигель Робера — это какая-то посредственность и наверняка статист, но, несмотря на все, они не могли бы ничего возразить против того, что он аргентинец и приехал из-за океана, отчего чувствовали бы себя не на шутку задетыми. Разумеется, при условии, что Робера не проболтается в пьяном виде о своей должности шофера у Розенцвейга.

Мы приехали на аэродром слишком рано. Я выполнил все формальности и стал нервно прохаживаться вдоль большого зала ожидания, поглядывая на реактивный самолет «комета-4», который должен был доставить меня в Париж за восемнадцать часов. Так я ходил несколько минут, то и дело минуя телефонные будки. Я знал, что позвоню, и думал об этом со вчерашнего дня, но пытался убедить себя, что все это ничуть меня не волнует. Наконец я вошел в будку, вытащил блокнот и набрал номер. Было около десяти утра, и Владек, наверно, уже торговал мясом в своей фирме. Минуту спустя я действительно услышал голос Камы.

— Кама? Говорит Зигмунт.

Ответа не было, но она не повесила трубку, потому что я хорошо слышал музыку, звучавшую в ее квартире.

— Кама! Почему ты не отвечаешь?

— Я сейчас попрошу маму,— ответил голос с той стороны.

Минуту спустя я услышал:

— Да-да?

— Я уже на аэродроме,— сказал я.— И хотел проститься с тобой.

— Извини, пожалуйста, что так вышло, но ты верно, понимаешь...

— Понимаю,— ответил я.— Сколько лет твоей дочери?

— Четырнадцать, но выглядит она шестнадцатилетней и очень меня компрометирует. Хорошо, что ты ее не видел. Еще раз благодарю тебя за все и желаю дальнейших успехов.

— С этим будет нелегко,— ответил я.— Второй такой темы я не найду.

И повесил трубку.

Я снова летел над Атлантическим океаном между Америкой и Африкой, только выше, быстрее и без каких-либо потрясений. «Во время путешествия сверхреактивным самолетом «комета-4» просим поставить на поручни кресла полную рюмку. Вы убедитесь, что во время полета из нее не прольется ни единой капли». Я охотно верил им на слово, потому что эта «рюмка» стоила бы валюты, а я предпочитал сохранить валюту для Парижа. Самолет летел со скоростью 835 километров в час, и это стремительное преодоление пространства снова заставило меня вернуться к мыслям о быстром течении времени; я все чаще ощущал, как уходит время, и чувство это напоминало нарастание зубной боли, когда разрушается эмаль и оголяется нерв. Боль эта иногда затихала, иногда исчезала под влиянием более сильных ощущений, но теперь, неподвижно сидя в самолете с иллюстрированным журналом на коленях, я ощущал ее с невиданной до сих пор силой. Со времени баррикады прошло уже семнадцать лет, и скоро мне должно было исполниться сорок. Десять лет назад, когда мне перевалило за тридцать, эта боль поразила меня впервые; однако тогда — в начале пятидесятых годов двадцатого века — моя голова была занята другими проблемами.

Шел шестой или седьмой год народной демократии в Польше. Я чувствовал себя в этой действительности потерянным, как и все мое поколение и люди моей среды, которые не были убиты в войну и которым надо было найти в этой жизни какое-то место для себя и какую-то профессию. Я вынес из войны многолетнее опоздание в образовании и очень простую идеологию баррикады: борьба с захватчиком до последней капли крови. Это была программа негативная, программа-минимум, столь свойственная польской действительности последних двух столетий и так удачно выраженная в словах национального гимна: «Еще Польша не погибла, пока мы живы». Этот лозунг, понятный в условиях многовековой необходимости защищаться от нападений и захватов могущественных соседей, не мог помочь мне решить многие политические и социальные проблемы действительности 1944 года и лишь позволял погибнуть на баррикаде с полным убеждением в том, что другого выхода нет,— именно так, как это было показано в моем фильме. Идеология эта годилась только в период борьбы за независимость, а без войны или восстания теряла свой смысл. Она повелевала мне умереть на баррикаде 1944 года, свалив вину на немцев, Германию, Россию, географическое положение и измену западных союзников. Как офицер Армии Крайовой, я действительно погиб на баррикаде, положив конец известной эпохе в жизни моей страны, и подсознательно я нашел для фильма «Баррикада» настоящее художественное и политическое окончание одновременно; однако действительность сыграла со мной злую шутку. Немцы не расстреляли меня и тем самым вынудили жить дальше на родине, которая начала совершенно иную жизнь, в другом мире и совсем не требовала от меня защиты в бою. (Хотя тысячи последовательных сторонников моей бывшей идеологии ушли в лес или перешли на нелегальное положение, чтобы еще в течение нескольких лет продолжать погибать и заполнять собой тюрьмы, сражаясь на сей раз «против большевиков».) Но я, чудом спасенный, не мог продолжать провозглашать лозунг, с таким треском скомпрометировавший себя на баррикаде, когда, будучи на стороне победителей, мы потерпели позорное поражение от побежденных. Я мог сваливать всю вину на Сталина и на большевиков — понятия тогда, казалось бы, неразделимые. К сожалению, это снова была программа-минимум; вокруг меня про-

исходили слишком сложные и слишком многоплановые события — очень хорошие и очень плохие,— чтобы такое объяснение могло надолго удовлетворить. И вот, оставив свои лозунги под развалинами дома-баррикады, я вступил в мучительную эпоху преобразований голым и беззащитным. Отважившись на это, я решил руководствоваться разумом, что было для меня в тот период мыслью новой и революционной. С тех пор мне стало легче отличать черное от белого и зерно от шелухи.

Теперь все было позади. Между повстанческой баррикадой и этим новым миром 1961 года лежало семнадцать лет, прожитых неизвестно когда. Но эти семнадцать лет, конечно же, нельзя было сравнить ни с какими другими годами истории, написанной на бумаге. Земной шар подо мной сидел верхом на границе двух эпох, стеная, хрипя, тяжело дыша, и люди впервые в истории ясно понимали, что вот погибает один мир, а рождается другой; где-то надо мной кружили искусственные спутники Земли, забытые уже в громе новых сенсаций; у моих ног, в Африке, негры выходили из джунглей, чтобы основывать собственные министерства, строить заводы и лишать сна работодателей Бабецкого. В космическое пространство устремлялись корабли с человеком на борту; на больших полигонах величиной с Австралию раздавались грозные взрывы, и взмывал в небо грозный гриб дыма; энергия, высвобожденная нажатием кнопки, могла вернуть людей в пещерный век, но могла также избавить их от холода, голода и болезней. Где-то в Париже и Алжире взрывались пластиковые бомбы, брошенные руками преступных глупцов и обманутых детей, пытавшихся задержать прогресс мира. Когда-то так же печально и одиноко звучали наши пистолеты на баррикаде, между двумя сражающимися колоссами, хотя мы боролись с врагами человечества, и наша совесть была чиста. Теперь я уже наверняка знал, что, несмотря на все, мир с судорожным усилием преодолеет трудности и пойдет дальше своим путем, борясь за освобождение от барьеров, границ, унижения людей и зловещих дымов.



Рядом со мной пассажиры попивали спиртные напитки, закусывая кусочками ананаса. Это были состоятельные, уверенные в себе люди, и они вообще, должно быть, не думали о величии современной эпохи. Ведь сумели Кама и окружавшие ее люди как-то пробраться через эти семнадцать лет, избежав потрясений и тщательно сохраняя увядшие традиции в далекой стране, которая лишь теперь пробуждалась вместе со всем континентом. Ветер, веявший с Кубы, еще не напугал как следует моих соседей по самолету, уверенных в могуществе орудий своего флота. Эти избранники судьбы, владельцы предприятий, латифундий или попросту торговцы скотом летели ради бизнеса, делая вид, что ничего в мире не произошло и нет оснований для беспокойства. Иногда по их телу пробегала легкая дрожь, но так уж всегда бывает в самолете, висящем на высоте двенадцати километров над океаном. Мой сосед как раз просматривал инструкцию на случай вынужденной посадки, словно реактивный самолет мог вынужденно приземлиться, и вдобавок на волнах Атлантического океана. Изысканный и улыбающийся бизнесмен, рассматривая первую картинку, расслабил узел галстука, на второй снял очки, а разглядывая третью, стал укладывать на коленях одеяло, чтобы положить на него голову. Видно было, что ситуация чрезвычайно забавляет его, и он с любопытством ожидает вынужденной посадки, которая, по всей вероятности, превратит реактивный самолет в груды дымящегося железа, разбросанного вперемешку с кусками его холеного тела.

Я быстро отвел глаза от инструкции и снова заглянул в газету. Как обычно в те дни — Лаос, Куба, Франция, Алжир и временами мрачной

вспышкой — Берлин. Лишь спустя два месяца слово «Берлин» снова, не знаю уж в который раз, стало лишать сна перепуганных людей. Сейчас оно появлялось редко (как звучание темы, которая развернется полностью в трагическом анданте). «Франс суар» в качестве противовеса печатала воспоминания бывшей албанской королевы, жены Ахмеда Зогу, о трагическом бегстве королевской четы из Албании во Францию. Они, оказывается, были застигнуты врасплох и бежали в одном костюме и с одним мешком золота.

Наконец, в «Пари матч» я наткнулся на то, чего подсознательно искал: передо мной красовалась изящная фигурка Сары Лятур, черно-кожей девушки Адама из кофейной в Риме, которая стала международной кинозвездой. После мирового успеха фильма «Бразилианка» ее ангажировал один из наиболее способных французских режиссеров «новой волны» Жак Мишо. Ему было не более тридцати двух лет; подобно большинству режиссеров «новой волны», он ранее принадлежал к группе рецензентов и кинокритиков, объединившихся вокруг теоретического журнала «Ревю дю синема». Эти молодые люди, которым наскучила нетворческая деятельность критиков, сговорились между собой и, подготовив почву при помощи ураганного огня агрессивных статей против старой гвардии режиссеров, пошли в наступление на кинокрепость с революционным возгласом: «Долой рутину и окостенение!» Согласно установленной заранее очередности, они один за другим дебютировали в качестве режиссеров, доказывая, что не боги горшки обжигают, и снимая свои фильмы значительно дешевле и совершенно иначе, нежели «старики». Разумеется, статьи коллег превозносили до небес произведение каждого дебютанта. Взлетев с таким шумом на вершины искусства и, что не менее важно, очутившись возле кассы, они немедленно отказались от своих принципов и стали подчиняться рутинным законам кинопромышленности. Но в этой группе, с ее бессвязным бормотанием, позой и кинографоманией, выделилось несколько способных и интеллигентных людей. Одним из них несомненно был Мишо.

Я помнил Мишо по фестивалю в Канне, где его носили на руках почитатели фильма «Маменькины сынки». Это был фильм, резко критиковавший прогнившую среду состоятельных сынков, фильм с отличными съемками на великолепной натуре и с превосходными декорациями. Он принес режиссеру состояние и открыл доступ к карманам всех продюсеров. В «Пари матч» Мишо улыбался Саре Лятур, а она всматривалась в него с шутливой покорностью, по-видимому слушая его замечания относительно будущей роли. Они собирались сделать фильм на основе какого-то малоизвестного романа конца XIX века, но осовременить его и перенести действие во Францию 1961 года. Девушка-провинциалка из романа должна была превратиться в негритянку, но безумная любовь к молодому аристократу оставалась такой же, как в романе,— заранее безнадежной и трагической, усиленной в данном случае разницей в цвете кожи. Однако в этом фильме не следовало искать какого бы то ни было похода против расизма. Режиссер пообещал в интервью, что это будет глубокий анализ любви, проникновение в области, куда до сих пор проникала только литература. Ведущим мотивом здесь должно было стать пресловутое трагическое взаимное непонимание даже очень любящих друг друга существ, отсутствие общего языка между людьми, хотя они и говорят на одном языке,— весьма современная черта, извлеченная в последнее время на свет божий во многих произведениях литературы и кино. Я представлял себе великолепную спортивную машину «ягуар», на которой молодой аристократ будет возить свою негритянку по Франции. Мы, в Польше, не можем придавать современное звучание старым романам, потому что последние семнадцать лет радикально, раз и навсегда, вычеркнули из нашей жизни такого рода обстановку и тематику.

Я завидовал тому спокойствию. с которым режиссер Мишо вытаскивает на свет покрытые пылью произведения в тот момент, когда вся Франция шатается до самого основания. Но Сара Лятур, цветущая черная красавица, наверняка привлечет зрителей, а тонкая работа оператора и великолепные кадры снова приведут в восторг критику.

Хотя я приехал в Париж ночью и добрался в маленькую гостиницу в Сен-Жермен-де-Пре лишь в четыре часа утра, около восьми я уже проснулся и быстро спустился позавтракать в кафе «Руаяль Сен-Жермен». Как и всякий так называемый художник из Варшавы, всегда пребывающий в первом ряду снобов и приверженцев моды, я не мог позволить себе снимать номер в гостинице на правом берегу Сены, там, где и следовало бы, а останавливался лишь на левом берегу, или, на худой конец, в Латинском квартале, в районе бульвара Сен-Мишель, или у Нотр-Дам, на острове Сен-Луи, или, что было лучше всего, в Сен-Жермен-де-Пре. Такой снобизм, впрочем, был не лишен реальных эстетических оснований, потому что именно этот район был самым интересным, наименее механизированным и обладал совершенно неповторимой атмосферой подлинного города искусства. Единственным проявлением моей независимости был бойкот наиболее модного в последние годы «литературного» кафе «О де маго» или даже его менее счастливой конкурентки «Флоры»; я избрал резиденцию напротив, в более дешевом и ярком «Руаяль Сен-Жермен», где сиживали не только художники или кинематографисты, восемнадцатилетние и снобы, а главным образом жители этого района или парижане из города, приходившие сюда в субботний или воскресный вечер поглядеть на сборище художников.

Было около восьми утра, столики на тротуаре только что расставили, и в кафе было пусто, если не считать двух мужчин со смуглыми лицами, целиком поглощенных своим разговором. Я сел за столик впереди них, на тротуаре. Было начало апреля, и хотя пальто уже не носили, приезжему из Южной Америки утро показалось прохладным; однако, несмотря на пробиравшую меня дрожь, я и не думал прятаться внутрь кафе. Поглядывая на каменные башни собора, построенного девять веков назад, на маленькую площадь, на угол улицы Сен-Бенуа, на «О де маго» и «Флору», на книжный магазин «Ла юн», на киоск со всеми газетами мира, на утреннее, еще довольно редкое движение вдоль бульвара автомобилей и пешеходов,— я вдыхал запах ночного дождя, асфальта и дымков и знал, что я снова в Европе.

Вдруг у кафе остановился черный невзрачный фургончик из нерифленой жести, каких полно в Париже. Из него выскочило четверо или пятеро полицейских в обычных мундирах, но с защитными панцирями на груди и спине, что напоминало пассажиров корабля в спасательных жилетах. Трое из них встали у дверей кафе с автоматами наготове, а двое с автоматами наперевес бросились в проход между столиками. Картина эта, хотя мундиры их были другими и совсем не вражескими, а над всем вокруг по-прежнему высилась башня собора, слишком напомнила мне кое-что из пережитого девятнадцать с лишним лет назад, еще до финала на баррикаде. Вот почему мне было трудно усидеть спокойно, хотя все выглядело как кадры из другого фильма. Это был уже просто рефлекс, выработавшийся за пять лет оккупации, реакция, которую вызывали люди в мундирах, бегущие с оружием наперевес, и я едва успел расслабить напрягшиеся мускулы. Полицейские подбежали к моему столику, обошли его и бросились к двум смуглым мужчинам, сидевшим позади. Внезапно я понял — это были алжирцы. Через минуту они стояли, подняв руки вверх, а полицейские ощупывали их в поисках оружия. Потом, следуя хорошо известному мне порядку, они стали проверять документы. Одного из мужчин сразу забрали в фургончик. Полицейские сели вслед за ним, и машина уехала.

Его товарищ тяжело опустился на стул. К нему тотчас подошел кельнер с двумя чашками кофе.

— Только одну,— сказал мужчина.

Кельнер поставил чашку и, не произнося ни слова, отнес вторую обратно. Город равнодушно продолжал жить своей жизнью, никто из прохожих не обернулся, не задержался, подъехал первый автобус «ситерама» с американскими туристами; мой любимый пейзаж ничуть не изменился, но больше уже не радовал меня.

Это было на Жолибоже осенью 1942 года еще до наступления темноты. Вместе с двумя товарищами я стоял на широком тротуаре на углу площади Инвалидов и улицы Чарнецкого. Мы все держали руки в карманах, на холодных рукоятках пистолетов. В ста пятидесяти метрах, на углу улицы Мирославского, стоял с несколькими ребятами Адам. Все ожидали приказа начать операцию. Его должна была доставить связная Кама, но она почему-то запаздывала, и, хотя я хорошо знал, что она не повинна в этом, я собирался встретить ее резкими словами. Вдруг на улице Чарнецкого, мчась от улицы Мирославского, появилась машина с вооруженными жандармами. Уже через секунду она оказалась возле нас, с ужасным визгом затормозила, и четыре жандарма, держа, как обычно, оружие наперевес, бросились к нам. Все это произошло мгновенно и буквально парализовало меня. В те времена, если при тебе было оружие, следовало сразу же стрелять, чтобы тебя самого не пристрелили на месте или не расстреляли позднее. А я не вытащил пистолета, и ребята, глядя на меня, продолжали стоять, держа руки в карманах. Жандармы были уже совсем рядом, я видел их красные морды прямо у своего лица. Но глаза их смотрели не на нас. Я стремительно обернулся. Сзади, возле дома, женщины продавали белые пшеничные булочки. Именно на этих женщин и накинулись жандармы, избивая их и вырывая запрещенный товар. Мы все трое, медленно шагая, ушли. Меня мутило. Позднее Адам спрашивал: «Ты знал, что они направлялись к этим бабам с булками?» — «Не знал,— ответил я.— Было похоже на то, что они бегут прямо на нас».— «Так почему же ты не стрелял?» — «Я обалдел. Все это произошло слишком быстро».— «Ты не сдал экзамена на сообразительность. Ты не годишься в командиры».— «Если бы я выстрелил, кто-нибудь из нас наверняка бы погиб,— растерянно оправдывался я.— А так мы все живы».— «Дело не в результатах,— сурово сказал Адам.— Ты должен был стрелять. Если бы они бежали на вас, они взяли бы всех, как баранов, и теперь загоняли бы вам под ногти иглы перед расстрелом». Тогда я был уверен, что Адам прав, и выместил свою горечь и злость на Каме, но сцена с бегущими жандармами снилась мне в течение нескольких ночей, пока ее не вытеснили из моей памяти другие, более сильные впечатления. Теперь, спустя девятнадцать лет, она вдруг с новой силой ожила в кафе «Руаяль Сен-Жермен», среди пробудившегося для обычных дел Парижа — города, в котором я всегда забывал обо всех волнениях и заботах.

Я опустил в автомат жетон, набрал номер и услышал в телефонной трубке мужской голос:

— Завада? Вы надолго в Париж?

— От самолета до самолета,— ответил я.— До завтрашнего дня.

— Это жаль, но в общем хорошо! — воскликнул мой собеседник.— Вы сегодня вечером обязательно должны зайти ко мне!

— С удовольствием,— сказал я.— Не знаете ли вы случайно Сару Лятур?

— Как же я могу не знать Сару Лятур! — рассмеялся он.

— А вы не могли бы ее тоже пригласить вечером?

— Если только она будет свободна,— ответил он.— Деловой или мужской интерес?

— Деловой,— ответил я.
— Жду вас в семь,— сказал он.
Таким образом, вечер у меня был заполнен. Бювен, одинокий бонвиван, был мастер устраивать веселые вечера, а я, режиссер из экзотической страны, которая столько пережила, с «той», «коммунистической стороны», ходивший, несмотря на это, на двух ногах, как любой другой человек, и обладающий более или менее нормальными манерами, представлял собой на светском аукционе довольно ценный товар при условии, если буду появляться редко и исчезать вовремя. С Бювеном я познакомился на фестивале в Канне, после показа «Баррикады». Он был горячим поклонником этого фильма и написал о нем лестную рецензию, восхваляя драматургию, постановку и великолепные съемки. Кинокритикой он развлекался как любитель, существуя на унаследованные от отца в большом количестве акции разных обществ, причем пытался это скрывать, потому что уже миновала эпоха, когда приличествовало жить только на ренту. Балуясь кинокритикой и проявляя при этом остроумие и неплохой вкус, он обеспечивал себе возможность вращаться в «кругах» и дружил с людьми, которые обычного рантье не пустили бы на порог. Заинтересовавшись нашим фильмом и побывав, как многие другие, на фестивале в Карловых Варах, он отправился в двухнедельное путешествие по Польше. Бювен с удивлением открыл европейскую страну: многие говорили по-французски и понимали юмор, девушки были одеты со вкусом, никто никому не подражал и никто ничего не боялся. Но больше всего его поразила в Польше бескорыстность людей и их легкомыслие. Сын и внук рантье, эгоист и сибарит, исполненный, несмотря на свои богемные наклонности, мещанского стремления постоянно экономить и накапливать, Бювен смотрел широко раскрытыми глазами на поляков, готовых немедленно истратить последние сто злотых, ни на секунду не задумываясь о завтрашнем дне. Именно они, зарабатывающие очень немного по сравнению с его доходом от акций, угощали его ужинами, обедами, спиртными напитками и сердечно приглашали к себе, ничего не требуя взамен. Они совершенно не тревожились о будущем, о курсах на бирже, о старости. Все они как-то существовали, вроде бы будучи неимущими, много работали, часто нервничали, жили среди постоянных парадоксов, устраиваясь возможно более удобно в жестких рамках строя, как в новом, не пригнанном еще костюме, ни на минуту не теряя при этом чувства юмора и самокритичности. Все понятия Бювена о коммунистической стране, какой он ее представлял себе на основе прочитанного, немедленно рухнули. Когда я сказал ему в Канне, что сюжет «Баррикады» построен на моих собственных переживаниях, он не хотел верить, а потом счел меня исключительным героем или несчастливцем; в Польше во время какой-то товарищеской встречи он вдруг понял, что среди присутствующих нет ни одного человека, кто бы во время войны не провел несколько лет в концлагере, не боролся в подполье или на баррикаде или, наконец, не потерял кого-нибудь из близких, убитым самым зверским образом. А встреча происходила в скромной, но новой квартире, в новом районе уничтоженного более полутора десятка лет назад города, и все эти люди, бывшие мученики и герои, развлекались, острили и сплетничали. В глазах сентиментального рантье Бювена я увидел вдруг изумление, а потом слезы. «Теперь я понимаю,— прошептал он.— Моя рецензия о вашей «Баррикаде» была глупой. Я видел в фильме только интересный драматургический прием и новую, очень мрачную военную ситуацию, ловко выдуманную автором». В тот вечер, последний перед его отъездом, мы долго сидели в баре его гостиницы, и я, отмахиваясь от пьяниц, рассказывал ему историю Польши последних двухсот лет. Вскоре выяснилось принципиальное недоразумение: под влиянием многолетней антикоммунистической и коммунистической пропаганды во Франции, где жизнь в социалистических

странах изображалась либо как ад, либо как рай в абстрактной и абсолютной форме, Бювен попросту сравнивал условия жизни в Париже и в Варшаве, совершенно не думая ни об историческом развитии обеих стран, ни о той пропасти, которая была между жизненным уровнем французов и поляков как в момент начала войны, то есть 1 сентября 1939 года, так и в момент ее окончания, то есть 9 мая 1945 года. Если бы не существовал реактивный самолет «каравелла», соединяющий Париж и Прагу с Варшавой, Бювен смог бы увидеть в окно поезда соломенные крыши мазовецких хат и при его нынешнем уровне познаний о Польше приписал бы эту нищету коммунистическому строю. На следующий день мы прощались с Бювеном на аэродроме. «Я наглотался польской бацилы»,— сказал он. И уехал в Париж, чтобы снова погрузиться в свою блистательную жизнь, но уже несколько изменившимся и более зрелым.

К Бювену я опоздал на полчаса, хотя он жил в нескольких минутах пути, на набережной Сены, среди выставок художников, как и подобало богатому снобу. Просто, проходя по дороге к нему мимо «О де маго», я вынужден был остановиться у столика, за которым сидело не менее десятка знакомых поляков — художников и писателей. Встречаясь в Варшаве, эти люди обменивались лишь поклонами, спрашивая: «Что слышно?» — и направлялись дальше; здесь они бросались друг другу в объятия и проводили вместе целые часы. Я не мог пройти мимо, потому что заслужил бы репутацию чудака или грубияна...

— Что в Варшаве?! — вскричали они при виде меня.

— К сожалению, я возвращаюсь из Буэнос-Айреса,— ответил я.

— Эх,— разочарованно бросил кто-то.

И они вернулись к варшавским сплетням. Мне сразу же вспомнился случай, происшедший в прошлом году, когда я приземлился на лондонском аэродроме. Аэродром был огромный и современный, вокруг шумели реактивные самолеты, мчались цистерны и подъемные краны. Я вышел из самолета на трап и окинул взглядом это внушительное зрелище. Вдруг, заглушая шум моторов и говор, раздался пронзительный крик: «Зигмунт!» Я удивленно поднял голову. На террасе огромного вокзала аэропорта, среди множества людей, рассматривающих самолеты, размахивала руками какая-то огромная фигура. Это был хорошо знакомый мне писатель из Варшавы. Я помахал ему в ответ и отправился выполнять положенные паспортные и таможенные формальности. Ожидая багаж, я снова заметил, как он подает из-за дверей нетерпеливые знаки. Меня охватило предчувствие какого-то несчастья, катастрофы, а может быть, он даже решил попросить у меня валюту, поскольку этот писатель, по натуре человек ленивый, редко проявлял подобную возбужденность; должно быть, дело было действительно исключительно важным, если он приехал ко мне на аэродром, столь далеко расположенный от города. Я подбежал к двери. «У тебя есть «Жице Варшавы»?!» — воскликнул он трагическим голосом.

У меня было «Жице Варшавы» и вдобавок воскресный номер с иллюстрированным приложением. Он вырвал газету у меня из рук. «Я уже месяц сижу в этом Лондоне!» — воскликнул он и исчез, забрав газету. Больше я его на аэродроме не видел.

За столиком исчерпали тему служебных перестановок в Варшаве. Одна молодая художница, до сих пор молчавшая, робко похвалила витражи Шагала, выставленные как раз в те дни в зале при Лувре. Я улыбнулся ей; она нравилась мне не меньше этих витражей. Красивая женщина и способная художница, она обрекла себя в Варшаве на трудную и почти отшельническую жизнь: она занималась только станковой живописью. Связанная с несколькими такими же молодыми художниками, она на несколько лет заперлась в своей мастерской и, борясь с безмерными материальными трудностями, часто недоедая, достигла значительных

успехов в своем искусстве, которое отличалось большой тонкостью. При этом она отказалась от возможности зарабатывать графикой, плакатами или иллюстрациями — очень современной и распространенной формой изобразительного искусства, оставшись до конца верной классическому, «королевскому» средству выражения. Она и подобные ей люди всегда привлекали меня тем упорством, с которым отдавали себя искусству, не имеющему практических шансов на широкое признание и предназначавшемуся чаще всего для группы друзей. Это была упорная и отчаянная борьба не только с сопротивлением материала самого произведения, но и со всеобщим равнодушием окружающих, а отсюда — с утратой собственного энтузиазма. Мы подружились даже как представители противоположных полюсов: мои фильмы смотрели миллионы. Привыкший к широкому зрителю, шуму и рекламе, я в глубине души завидовал чистоте ее призвания, не нарушенного всей той разлагающей мишурой, которая сопутствует успеху, но и не мог согласиться на творчество без зрителя. Она убеждала меня, что ей достаточно сознания успеха на ее трудном пути и что самое большое удовлетворение дает не слава, а самый процесс созидания; однако я чувствовал в ее словах горечь и естественное для художника желание не только вызвать восторги узкого круга друзей, но и заслужить общественное признание. Несмотря на все, она продолжала стоять на своем.

Теперь я подхватил затронутую ею тему о витражах Шагала. Витражи, по своему происхождению средневековый элемент католических храмов, были предназначены на этот раз для новой синагоги в Израиле. Я видел их утром и был ими искренне восхищен, особенно теми, где преобладали светлые краски — и больше всего желтая,— создающие одновременно впечатление и силы божества, и оптимизма. Я попытался произнести какие-то слова по этому поводу, но сразу же заметил, что большинство присутствующих едва слушает меня, а один литературный критик даже демонстративно заговорил о другом. Подобное пренебрежение было вызвано не позицией, занимаемой мною в киноискусстве, — оно отражало демонстративное презрение вообще к кино, как к искусству еще ярмарочному, в котором добиться успеха значительно легче, нежели, скажем, в литературе. Такое отношение было вызвано не только тем, что кинофильмы были более популярны, чем литературные произведения (я уж не говорю о всеобщности кинокартины, понятной людям всего мира), но также и тем, что в кинематографе, как это обычно происходит с молодым искусством, критерии оценок значительно более мягки и менее определенны. Отсутствие вкуса в литературе обнаруживается немедленно, отсутствием вкуса в кино иногда восторгаются кинокритики всего мира. К тому же шумный аппарат рекламы придает блистательной карьере кинематографистов некий привкус двусмысленности, чтобы не сказать дешевки.

Но, с другой стороны, почти каждого писателя привлекает (если даже он не хочет в этом признаться) вся эта нервозная атмосфера активности, мишуры, прожекторов и интервью, а особенно привлекают его полные людей залы, куда он редко мог бы попасть со своей книгой. Литература, еще недавно абсолютная властительница дум, должна была уступить место кино, которое с шумом вырвалось вперед и грубо оттолкнуло ее. Поначалу оно, будучи ярко и вразнобой одето, принялось под шумное одобрение миллионов рассказывать глупые анекдоты, выкидывать всякие трюки или же рвать на себе волосы, изображая шутовское отчаяние. Позднее, уже задрапированное в тогу, оно стало принимать торжественные позы, читать проповеди, корить, предостерегать и ужасать и, наконец, вычистив ногти и вымыв шею, вторглось во владения, до тех пор исключительно сохранявшиеся за литературой, эксплуатируя их безжалостно и неумело, как невежда. Оно брало литературное произведение,

потрошило его и, подобно тому как сумасшедший ест рыбу, захватывало в пасть скелет, а мясо выбрасывало на помойку. Потрясенная литература с неприязнью и удивлением попятилась, оставив в добычу кинематографу лишь скелет — историйку, литературный анекдот. Но ему было мало и этого: наглый, богатый и нахальный, он быстро перемолол кости, поморщившись, выплюнул их и, приобретя вкус к мясу, пытается теперь забраться в душу человека, которого до сих пор показывал только в движении — во время погони, на балу, в постели с женщиной или же в борьбе. Теперь уже кинематограф мечтает о психологическом анализе и интроспекции.

Однако мы тоже смотрели на писателей с завистью. Она проистекала из неумения изящно передать в картине не только психологическое содержание, но даже и чистое описание — запах нагретого солнцем луга, цвет спелой ржи или тепло летней ночи. Над нами все еще висело проклятие техники. Объектив охватывал все, но при этом лишал даже такой возможности, как показать цвет, выбранный мною, а не цвет пленок, выпускаемых фирмами «Агфа» или «Истмен-Кодак». У нас уже вызывали скуку более или менее умело скроенные историйки, о которых ежегодно рассказывалось в тысяче кинофильмов мира. Но я не мечтал, как некоторые мои коллеги, восполнить недостаток подлинного содержания игрой в форму и, вопреки требованиям фильма, сохранить, например, классическое единство времени, действия и места, чтобы показать свое режиссерское мастерство. С этой целью мои коллеги помещали героев или, еще лучше, героя в лифт, комнату, подвал или тюремную камеру, ни на минуту не расставаясь с этой декорацией.

В последнее время, следуя литературной моде смешения времен (от чего проведенный автором читатель неизбежно теряется и вынужден самостоятельно все додумывать), мои коллеги считают кинофильм таким произведением, в котором время действия должно быть особенно запутанным, а прыжки из нынешней кинодействительности в прошлое и обратно они стараются переплести так, чтобы зритель как можно дольше не знал, разыгрывается ли данная сцена вчера, сегодня или завтра. Эти формальные поиски, а скорее формальные странствия по стежке, протоптанной литературой, часто сопровождаются убожеством содержания и мысли, для меньшей опознаваемости подкрепленным настроением. Впрочем, в области настроения кино умеет использовать впечатлительность зрителя, как подлинный мастер. Убожество содержания особенно проявляется в тех случаях, когда сначала, да и то с трудом, создается форма, и лишь потом в нее вливается какое попало, и часто банальное, содержание. Такого рода попытки — и с триединством, и со смешением времен в фильмах — никогда не интересовали меня как самоцель, потому что я всегда сначала думал не о том как, а о том, что я хочу сказать. Однако для большинства моих коллег, черпающих содержание из литературы, а часто и из специально переделанных чужих сценариев, форма оставалась единственным полем проявления творчества, и в нее, а не в содержание, вкладывали они свою душу. Мы боролись с литературой, эксплуатировали ее и калечили в тщетных поисках самовыражения, но мы и завидовали ей, сознавая, что идем только по ее следам, неумело заменяя слово изображением. У миллионов зрителей, которые брались за книгу только по праздникам, а в кино ходили два раза в неделю, мы отбирали то, что было самым ценным в восприятии литературы: игру воображения, разбуженного словом, и то отсутствие в литературе грубого буквализма, которое заставляло читателя соучаствовать, думать, создавать картины, быть инструментом в искусных руках писателя. Наши зрители, дети эпохи, не имели к нам претензий по этому поводу.

Спровоцированный чьим-то вопросом, литературный критик за столиком говорил о провинциализме некоторых польских писателей, ибо они

рассказывают о том, что пережили на берегах Вислы, вместо того чтобы поднимать современные и общечеловеческие темы. Он не догадывался, что такие темы вызревают в тишине и покое, а не тогда, когда постоянно горит или грохочет за окном, а ветер истории беспрерывно хлопает дверью. Эти вопросы не имели ко мне непосредственного отношения (литературные критики бросались на нас только тогда, когда какой-нибудь фильм имел явный успех), поэтому я воспользовался тем, что разговор перестал быть общим, не без сожаления простился с художницей и направился дальше, к квартире Бювена.

Я пришел последним. Бювен, профессиональный отшельник, обставил свою квартирку в блистательном стиле начала века, что соответствовало как характеру всего дома, так и последней моде. Глубокие кресла, плюшевая тахта, тяжелые занавеси на окнах, густо позолоченные керосиновые лампы, вишневые обои, мраморный камин. В этом салоне сидело и стояло несколько человек, из которых я никого не знал лично. Но двоих я узнал немедленно: сидящую на тахте черную кинозвезду Сару Лятур и небрежно опиравшегося на камин, сосредоточившего на себе внимание общества и являющегося его душой и украшением, модного режиссера Жака Мишо.

— Мой друг из Варшавы, режиссер Завада, автор «Баррикады»,— представил меня Бювен, сердечно взяв под руку.

Собравшиеся наверняка не видели фильма, но, по всей вероятности, читали о нем или слышали, потому что лица их осветили любезные улыбки. Я взглянул в сильно подкрашенные прекрасные глаза Сары Лятур. Ее, по-видимому, уже воспитали профессионально, потому что она смотрела на меня вызывающе и с откровенным цинизмом. Сара была восхитительна. Кроме нее, в салоне находилась еще одна девушка: молодая и стройная блондинка, кукла с идеальными формами и лицом, застывшим под толстым слоем косметики. Рядом с ней, одетый с элегантностью парвеню, небрежно развалился в кресле уже седой мужчина. Вокруг режиссера Мишо, подобно влюбленным или придворным, увивались с обеих сторон двое молодых людей, ловившие каждое его слово; мое прибытие вызвало у них легкую гримасу нетерпения. Режиссер Мишо, встретив меня улыбкой и любезно солгав «мы все восхищались вашим фильмом», вернулся к беседе, которую столь бестактно прервал мой запоздалый приход. Таким образом, он дал понять, что я — человек, которому адресуется любезная фраза, но который не может повлиять своим присутствием даже на ход беседы. Я сел на тахту возле Сары Лятур, взял из рук Бювена стакан с виски и стал прислушиваться к разговору.

— Сара не могла ничего показать в «Бразилианке», которая, как известно, была обыкновенной халтурой, сфабрикованной на потребу дурным вкусам публики, — сказал Мишо. — Но я знаю, что она способна на нечто большее, нежели вихлять прекрасными бедрами. Моя Сара будет женщиной, которая не только страдает от любви — это было бы слишком банально,— но которая сознательно вступает в борьбу против священных законов: действия времени, взаимного уничтожения и сжигания, принципиального непонимания...

— Проистекающего из-за разницы в цвете кожи? — спросил один из «придворных».

— Мой фильм не будет цветным, — с иронией ответил Мишо, — непонимание всегда существует там, где два существа любят друг друга, и проистекает из глубин их психики.

— Ну, на психику алжирца в Париже в последнее время влияет цвет его кожи, — вмешался Бювен. Мишо взглянул на него укоризненно.

— Я делаю фильм не об этом, — сказал он. — Алжирская проблема будет рано или поздно решена, а проблемы любви мы не решим никогда.

Я как раз и хочу показать в своем фильме глубокие причины этой квадратуры круга.

— Да, эти проблемы вечны,— поддержал его второй «придворный».— Именно это обеспечит вашему фильму универсальность.

Мишо снисходительно улыбнулся и отпил виски. Наступила минута молчания, исполненного уважения. Только седой изысканный господин, развалившийся в кресле, незаметно зевнул. Бювен решил еще раз обратить на меня внимание общества.

— А вы сейчас что-нибудь делаете, господин Завада? — спросил он.

Сара Лятур остановила на мне свой тяжелый взгляд.

— Да копаюсь понемножку, — скромно ответил я.

— Что-нибудь снова о войне? — со снисходительным доброжелательством спросил Мишо.

— Быть может, — ответил я наивно. — Знаете ли, ведь куда легче снимать фильмы на военные темы, в которых героям с самого начала грозит уничтожение, грохают бомбы, пылают города и мы всегда можем оживить действие какой-нибудь эффектной и жестокой смертью, нежели пытаться создать настоящий глубокий психологический фильм, действие которого может ведь происходить в одной комнате или даже только в постели...

— Именно поэтому я не мог бы делать фильмы о войне, о детях или животных, — ответил Мишо.

— Да, это, конечно, льготный тариф, — признал я.

— Что вы говорите, господин Завада?! — возмутился Бювен. — Ваша «Баррикада» — потрясающий документ...

— Вот именно, я умею снимать только фильмы-документы,— ответил я. — И то слегка подретушированные. Я мечтаю снять фильм, подобный тому, какой теперь снимает господин Мишо. К сожалению, в моей стране это значительно труднее. Чисто внепсихологические проблемы, а скорее проблемы, относящиеся к национальной и социальной психологии, такие как война, восстания, а в последнее время упрочение нового строя, в течение многих лет преследуют нас так настойчиво, что если бы даже я поместил своих героев, сообразно своей мечте, в лифте, застрявшем между этажами, и вообще не дал им выйти из него даже на лестничную площадку, то и там мои герои начали бы говорить о делах, происходящих за кадром. У нас трудно ограничиться чистой психологией, без примеси политики.

— Нужно отряхнуться от всех неотложных повседневных дел, — пояснил мне Мишо поучающим тоном. — То, что проделывают в мире политики, годится только для горькой сатиры. Вы можете исходить из того, что ваши герои спрятались в лифт, чтобы забыть обо всем, угнетающем их в обыденной жизни, и хотят говорить только о любви.

— К сожалению, это также будет политический фильм, — вздохнул я. — Ведь я должен был бы показать, от чего они бегут.

— От жизни! — нетерпеливо ответил один из «придворных».

— От какой жизни? — спросил я.

— От жизни вообще, — любезно улыбнулся Мишо. — От навязанных им обязанностей и тягот, от денежных хлопот и полиции, от учреждений, тесноты и хамства, от международной напряженности и угрозы атомной войны, от раздела мира, от ракет и искусственных спутников — от всего, что угнетает людей, мучает и пугает их.

— Понимаю ваши намерения,— ответил я.— Вы хотели бы спрятаться от всего этого со своими героями в глубинах постели. К сожалению, от всего этого нельзя бежать во второй половине двадцатого века. Теперь каждый приперт к стене.

— Вы в Польше все еще страдаете комплексом войны, правда? — спросил Мишо.

— Не все,— ответил я.— К счастью, молодежь смеется над этим. Можно спросить вас, что вы делали во время войны?

— Ходил в школу,— улыбнулся Мишо.

— А люди, близкие вам, семья, знакомые?

— Или занимались собственными предприятиями, или работали у других, терпя лишения. Это были плохие и серые времена.

— Вот именно,— вздохнул я.— Я не удивляюсь тому, что вы не хотите снимать фильмы о серых временах. У нас было немного иначе. Попробуйте пропустить кота через выжимальную машину, и вы увидите, будет ли у него комплекс, связанный с этой машиной.

— Ты должен был бы съездить туда, Мишо,— вмешался Бювен.— Там погибли миллионы.

— Понимаю,— ответил Мишо и взглянул на часы.— Я должен уже идти, но я оставляю вам нашу прелестную Еву.

Он обаятельно улыбнулся и начал прощаться. За ним последовали оба «придворных».

— Меня утомляют военные фильмы,— сказала блондинка в косметической маске.— Стреляют и гибнут, гибнут и стреляют.

Седой господин в кресле потянулся.

— Жаклин для меня барометр настроения публики,— сказал он.— В военный фильм я не вложил бы и гроша. Стрельба в фильме без всех этих мундиров, танков и пушек окупает себя гораздо больше.

— Господин Янсен, продюсер,— пояснил Бювен, многозначительно взглянув на меня.— Пожалуйте к столу.

Мы перешли в столовую. Бювен посадил меня между обеими женщинами. Сам он сел напротив, рядом с Янсеном. Я наклонился к Саре Лятур.

— Я был недавно в Риме, в «Альберго-деи-Фьори»,— сказал я.

Сара Лятур улыбнулась, не проявляя удивления.

— Адам много раз вспоминал о вас.

— Хорошо?

— Хорошо и плохо. Адам часто менял мнения, господин Завада.

— Я смогу вас проводить? — спросил я.

— Разумеется,— ответила она, и мы принялись за ростбиф.

Бювен наливал «божоле». Г-н Янсен, продюсер, набросился на еду.

— Я читал этот сценарий,— сказал он Бювену, чавкая.— К сожалению, там мало действия.

— Как это мало действия?! — возмутился Бювен.— Да в нем одно только действие и есть!

— Где там! — пожал плечами Янсен.— Это сценарий для авторского фильма. Психология, проблемы, длинные сцены в каюте, диалоги и так далее. Дайте это господину Мишо из «новой волны», а не уважающему себя продюсеру.

Бювен возвел глаза к небу.

— Вы только послушайте, господин Завада! — воскликнул он.— Это послужит вам предостережением. Сценарий, который я предложил господину Янсену, посвящен контрабанде наркотиков. Две группы гангстеров, не гнушаясь никакими средствами, борются за пачку героина миллионной стоимости, чтобы переслать его в Соединенные Штаты. Глава одной из этих групп, вырвавший ценой многих убийств героин у конкурентов, решает послать его на другое полушарие через такого человека, которого конкуренты не могли бы заподозрить в контрабанде. Его выбор падает на неизвестного и голодного художника, упорно занимающегося своим искусством. Гангстер изображает из себя мецената, покупает все полотна художника и отправляет его пароходом в Нью-Йорк вместе со всеми его картинами, которые якобы будут там выставлены. Художник и понятия не имеет о том, что среди его картин находятся наркотики и

что он играет жалкую роль почтового голубя. Он ошеломлен внезапной переменой, наступившей в его печальной жизни, и ему уже снятся слава и богатство. Но гангстеры-конкуренты бдительны: благодаря измене им все становится известно. В последнюю минуту на пароход садится прелестная девушка, она должна отобрать героин у художника во время пятидневного путешествия из Гавра в Нью-Йорк. Корабль отплывает...

— И ничего не происходит,— вмешался Янсен.

— Да как же так ничего не происходит? — снова вскричал Бювен.— Вы только оцените уровень наших продюсеров, Завада! Девушка знакомится с художником, увлекает его, находит среди картин наркотик, но сама попадает в собственную ловушку: в ней пробуждается чувство к благородному, наивному, неиспорченному художнику, к тому же она вдруг осознает, что его картины очень хороши. Для этой прежде жестокой и ловкой женщины возникшая ситуация нова и неожиданна; однако героиня обладает не только хорошим вкусом, но и широким размахом. Она готова рассказать художнику правду; к сожалению, правда погребет все его мечты и надежды. Если она, ничего не говоря, украдет героин, ожидающие художника гангстеры не станут терять времени на игру в выставку, а бросятся на поиски товара. Поэтому она впервые в жизни решает изменить гангстерам и сделать вид, что не нашла наркотика. Ей хорошо известно, на что она себя обрекает: гангстеры вскоре узнают правду и застрелят ее за измену — таковы законы этого мира. Но подобная цена не слишком высока за несколько дней счастья с любимым и за успех его карьеры. Художник высаживается в порту, его картинами немедленно начинают заниматься «специалисты», и спустя два дня открывается небольшая выставка его полотен. Талантливый художник, как и предвидела девушка, действительно имеет огромный успех. Счастливый и ошеломленный, он принимает поздравления, заказы и чеки, а рядом с ним — наша героиня, свидетельница его триумфа. Она впервые в жизни счастлива. Но вот ее плеча касается рука какого-то мужчины с твердым взглядом. Девушка без звука идет за ним — пришла пора расплаты. И в ту минуту, когда художник вместе с другими пьет за свой успех, где-то во тьме звучит выстрел.

— И будит публику,— сказал Янсен.— В эпизодах на пароходе нет действия. Другое дело, если бы напустить туда гангстеров из обеих групп, заставить их драться, парочку людей застрелить, кого-нибудь выбросить в море...

— Или вообще потопить пароход и действие в дальнейшем развернуть на спасательных плотах: на одном художник с девушкой и с картинами, на втором бандиты, стреляющие в них из автоматов,— добавил Бювен.

— Это было бы неплохо,— сказал Янсен.— Я еще не видел в кино погони на плотах.

— Необыкновенно! — воскликнула, захлебываясь, Жаклин.— Ты должен снять это, Леон!

— Бандиты прострелили бы картины,— вмешался я.

— Тем лучше! — обрадовался Бювен.— Картины с дырками, как сыр «грюйер», как раз могли бы иметь огромный успех у публики и критики, падких на новаторство и творческие поиски. Что вы на это скажете, Янсен?

Янсен внимательно взглянул на него.

— Вы смеетесь надо мной,— сказал он.— Впрочем, все это невозможно. Если пароходная компания и разрешит нам съемки, то никогда не позволит устроить на пароходе гангстерское побоище, не говоря о том, чтобы затопить его. В кино можно затопить только «Титаник». Они конкурируют с самолетными компаниями и хотят показать, что путешествие

через Атлантический океан на пароходе — сплошное и огромное удовольствие.

— Сценарий именно это и предусматривает,— заявил Бювен.— Наша героиня обольщает художника во время игры в кегли, в дансинге, в бассейне и во время демонстрации широкоэкранного фильма «Падение Вавилона». Все вокруг отлично развлекаются, и если думают о чем-либо с тревогой, то только о конце путешествия.

— Это может быть отличной метафорой жизни,— быстро добавил я.— Нью-Йорк играл бы здесь роль смерти, к которой нас приближает каждая минута, проведенная, казалось бы, в беззаботных развлечениях. Поздравляю тебя, Бювен.

— Но-но, никаких метафор! — воскликнул Янсен.— В моих фильмах все означает только то, что оно означает! Вы бы, наверно, хотели, чтобы я имел неприятности с правительством?

— Правительство не вмешивается в проблемы жизни и смерти,— заявил Бювен.

— Это не меняет положения,— решил Янсен.— Для вашего сценария я должен был бы взять хорошего режиссера и хороших актеров.

— Но ведь это, вероятно, само собой разумеется! — воскликнул я.

Янсен снисходительно взглянул в мою сторону.

— Совсем не само собой разумеется,— ответил он терпеливо.— Я не помещаю денег в фильмы господина Мишо или его коллег. Извините...— обратился он к Саре.

— Можете быть искренним,— ответила Сара.

— С господином Мишо можно выиграть, но можно также позорно проиграть,— продолжал Янсен.— Многие продюсеры никак костей не соберут после этой «новой волны». У меня риск доведен до минимума. Я покупаю сценарий, который должен понравиться публике, нанимаю режиссера, который готов слушать меня за небольшой гонорар, вместо того чтобы снимать главное произведение своей жизни, подбираю актеров, у которых еще не помутилось в голове от рекламы и которые не устраивают истерик во время съемок. Пока что ни на одном фильме я не потерял ни гроша, господин...

— Завада,— подсказал я.

— Завада,— повторил он.— Я произвожу солидный товар, который приносит мне приличную прибыль.

— Пожалуй, нам пора, Леон,— пропела Жаклин. Янсен встал.

— Извините, что мы срываемся сразу же после обеда, но я предупреждал: завтра на рассвете у нас съемка,— сказал он. Жаклин поднялась лениво, точно персидская кошка; было видно, что Янсен тратится на нее, не скупясь. Мы с Сарой молча сидели, пока Бювен не проводил гостей.

— Понравился тебе этот экземпляр? — спросил Бювен, возвратившись.— Он один из немногих, способных финансировать производство фильмов без помощи государства, прокатчиков и компаньонов. Он просто выписывает чек на сто миллионов. Но самое удивительное — это то, что он иногда выпускает совсем неплохие фильмы.

— С таким же успехом он мог бы производить кофейные мельницы,— сказал я.

— Меньше прибыли,— ответил Бювен.— А кроме того, он предпочитает видеть свою фамилию не на мельницах, а на киноплакатах.

— Что ты сделаешь с этим сценарием? — спросил я.

— Дам его прочитать госпоже Саре,— ответил Бювен.— Если ей понравится роль...

— Судя по тому, что вы рассказывали, она мне уже понравилась,— ответила Сара.— Я предпочитаю играть влюбленную мошенницу, нежели влюбленную идиотку. Посмотрим, что можно будет сделать.

— Вы можете производить фильмы? — спросил я.

— Одно слово Сары Лятур способно привести в движение миллионы,— сказал Бювен.— Все хотят теперь снимать фильмы с ее участием.

Мы выпили кофе, я осушил рюмку коньяку и взглянул на Сару.

— Мне было очень приятно,— сказала она, вставая. Ее смуглые плечи блестели в коричневатом свете лампы.

— Благодарю вас,— улыбнулся Бювен и подал ей сценарий.— Даже обед среди друзей не обходится без деловых интересов. Мечтаю о ферме в Бретани, где я мог бы спокойно писать вдали от всего этого. К сожалению, адская машина так засасывает...

Я сочувственно улыбнулся. Я знал, что он очень доволен этой машиной и не выдержал бы на ферме в Бретани даже недели. Мы с Сарой вышли на улицу. Рядом белела неоновая надпись «Галерея 55». Саре удалось поставить автомобиль в двух минутах пути, на площади Фюрстенберга. Разумеется, это была спортивная машина: сверкающая, серостальная «абарт-2200», обитая кожей, пахнущая новизной и крепкими духами Сары.

— Плоды славы ароматнее кофейных зерен,— пошутил я.— Вы уже несчастливы?

— Почему? — спросила она.

— Ну, слава вынуждает вас сидеть дома или за высокой оградой сада, все вокруг или льстят вам, или завидуют, никто не дарит вас бескорыстным чувством или дружбой, механизм киноуспеха высасывает из вас все, доводя своим безумным ритмом до нервных потрясений... Вы с тоской вспоминаете о том времени, когда были обычной девушкой, которая делала все, что хотела: ходила по улице, любила и ела спагетти в траттории на виа Боттеге Оскуре...

— Это было не так уж весело,— ответила она.— Я сидела в этом кафе по десять часов в день и не могла заработать на содержание матери. Я ненавижу спагетти, беготню по улицам, у меня всегда болели ноги, потому что я экономила на транспорте и к тому же должна была постоянно удирать от мужчин, так как они принимали меня за проститутку. «Как это — чернокожая и такая добродетельная?» — кричали они.

— Ну теперь вы можете влюбить в себя всякого,— убежденно заявил я. Мне очень нравилась эта красивая, благоухающая женщина, и я даже почувствовал легкое смущение.

— Не думаете же вы...

— Не думаю,— ответил я.— Вы не можете теперь позволить себе роман с кем угодно.

— Вот именно, мой импресарио мне не позволяет,— ответила она, и я не знал, насмешка это или нет.

Она включила мотор и ловко вывела машину с площади.

— Куда вы меня везете? — спросил я.

— Ведь вы же хотите увидеть Адама.

— Я даже не могу представить себе, что сейчас увижу Адама. Он знает?

— Откуда? Не думаете же вы, что нас теперь связывают близкие и сердечные отношения! Просто я знаю, где его можно найти.

— Что он делает?

— Увидите,— ответила она.

Мы ехали теперь по бульвару Сен-Жермен.

— Я смотрела вашу «Баррикаду»,— сказала Сара.— Один из них — Адам, правда?

— А второй я,— ответил я.— Но это только фантазия на определенную тему. Адам, наверно, рассказывал вам?

— Много рассказывал, особенно, когда бывал пьян. Но это старые

времена. Даже вспомнить смешно, как он топтал меня за эту вашу войну, восстание и за эту Каму.

— Теперь положение изменилось.

— Теперь уже нет никакого положения,— ответила она.

Мы осторожно въехали на остров Сен-Луи. Мест для машин здесь было неожиданно много. Сара вела машину уверенно.

— Вы производите впечатление старой парижанки.

— Я здесь уже полтора года.

— Это очень мало.

— У меня были хорошие учителя,— ответила она.— А теперь у меня отличный импресарио.

Мы вошли в маленькую дверь. Это был небольшой ресторанчик со стенами, выложенными тростником, как негритянская хижина. Может быть, в хижине с такими стенами родилась в Сомали Сара Лятур? Из невидимых репродукторов плыла танцевальная музыка. Так как было очень рано, за низкими столиками сидело, а вернее, полулежало в креслах всего несколько человек и только одна пара медленно кружилась, сплетенная в крепком объятии. У бара двое бледных юношей что-то пили. При виде Сары Лятур они с удивлением отставили свои стаканы, а полный бармен низко поклонился.

— Мсье Адам? — спросила Сара.

— Минуточку, мадемуазель,— покорно ответил бармен и сунул голову за занавеску. Сара села за свободный столик в углу. Я тоже расположился в кресле и подсунул ей «Экстракрепкие».

— Импресарио не разрешает,— ответила она с улыбкой.

В эту минуту из-за стойки вышел мужчина в черном. В зале был полумрак, и только по движениям я узнал Адама. Он подошел прямо к Саре.

— Чему обязан честью? — спросил он по-итальянски.— Мы же договорились, что ты не будешь сюда приходить!

Сара улыбнулась и указала на меня очаровательным кивком головы. Адам взглянул мне в глаза.

— А, это ты,— сказал он.— Я ожидал, что рано или поздно...

— Не очень-то ты любезно встречаешь человека, с которым как-никак...

— Ну, ладно,— сказал Адам и сел.— Что вы будете пить?

— Предпочитаю коньяк,— ответил я.

— Мне не разрешает импресарио,— сказала Сара и встала.— Желаю вам приятной беседы. Я должна до двенадцати быть в постели.

— Импресарио требует? — спросил я.

— Разумеется,— ответила она.— Ко мне относятся, как к скаковой лошади или олимпийскому спортсмену. Если бы вы хотели до отъезда зайти ко мне и поговорить... Вот мой личный телефон. Меня очень интересует эта ваша Польша. Может быть, я даже как-нибудь выбралась бы туда?

Я сразу же подумал, что приезд Сары Лятур в Гранд-отель на Кручей улице стал бы сенсацией куда похлеще, чем выступление аргентинца Роберы, и у всех коллег совершенно испортилось бы настроение, но я тут же отогнал эту мысль.

— Импресарио наверняка не позволил бы вам этого,— ответил я.— Ваш гонорар за роль в нашем фильме составил бы столько, сколько вы тратите в Париже за одну неделю.

— Поэтому вы делаете интересные фильмы,— сказала она и ушла.

Адам наблюдал за нами молча. Теперь я взглянул на него. Он изменился за те пятнадцать лет, что мы не виделись,— немного растолстел, вокруг рта у него пролегли две горькие морщины, но он не облысел

и не начал седеть, несмотря на свои сорок лет. Насколько в «Баррикаде» Эва Барабаньчик была для меня полным воплощением Камы, настолько Жаклицкий ни в чем не мог заменить Адама, и особенно не мог воспроизвести этого неуловимого очарования его движений и улыбки. Сейчас Адам не улыбался.

— Выпьем,— сказал он и властным жестом подозвал кельнера.— Ну, что ты, как? Наверно, пришел сюда произвести на меня впечатление? Похвастаться своей карьерой?

Он смотрел на меня с едва сдерживаемой злобой. Я тоже рассматривал его, но бесстрастно и, пожалуй, без всяких чувств. Дрожь, охватившая меня при его появлении, прошла так же внезапно, как и началась. Передо мной сидел сорокалетний мужчина, одетый с несколько преувеличенной элегантностью распорядителя ночного ресторана.

— Ты слышал обо мне? — спросил я.

— Я даже видел этот фильм,— ответил он.— Ты должен поделиться со мной гонораром.

— И с Камой,— ответил я, но он не прореагировал.

— Ловко ты все это выдумал,— рассмеялся Адам и глотнул виски.— Когда я сидел в зале, я очень разволновался, хотя все это неправда. Потом я был горд и даже хотел кричать на весь зал, что это фильм обо мне и что экзотический герой с баррикады — это я, что я вовсе не погиб там, на этом сгнившем востоке Европы, а сижу среди них, в этом кино, на Итальянском бульваре, а вечером они могут прийти в «Ютт», где увидят, как я выписываю счета и слежу за кассой, а также улыбаюсь милым гостям — американцам, немцам, японцам и шлюхам.

— Это довольно банально,— заметил я.— В литературе и кино часто используется мотив деклассированных героев. После такой баррикады смерти всякая профессия смешна.

— Они должны были расстрелять нас, скоты,— сказал Адам убежденно.

— К сожалению, они этого не сделали,— вздохнул я.

— Я не чувствую себя деклассированным! — воскликнул вдруг Адам.— Я всегда мечтал иметь ресторан. Вы в Польше даже не можете иметь ресторана.

— Ты получил какое-нибудь наследство? — спросил я.

— Мне одолжили денег,— ответил он.

Я посмотрел ему в глаза. Он отвел взгляд.

— Не думал я, что ты захочешь наживать состояние,— сказал я.

— У каждого возраста свои радости,— пояснил он.— Если уж я должен страдать в изгнании, то хотя бы в собственной машине и с красивой шлюхой в постели. Для этого здесь не надо быть кинорежиссером.

— Ты женился?

— Зачем? Я только недавно встал на ноги, а в моем возрасте человек женится неохотно. Вероятно, я покину этот мир, не оставив потомства.

Он снова кивнул кельнеру. Теперь уже все кресла были заняты, и на паркете шаркало несколько пар. Адам снова выпил виски.

— Полно! — улыбнулся он, с удовольствием показывая на паркет.— Тысяча франков с человека. Тебе хватает денег в Париже?

— Хватает,— ответил я и не знал, о чем говорить с ним дальше.

— Ты в самом деле думал, что я влюблен в Каму? — вдруг спросил он.— Как в этом фильме?

— В самом деле,— ответил я.

— Это очень забавно,— снова рассмеялся Адам.— Ну, ничего, теперь это просто старая история.

— Однако по-прежнему интересная,— добавил я.— Что ты хочешь этим сказать, Адам?

— То, что я изображал влюбленного в Каму исключительно по ее просьбе,— ответил он.— Таким образом она хотела вызвать в тебе ревность и любовь.

Я снова взглянул ему в глаза. На этот раз он не отвел взгляда.

— Интересно,— улыбнулся я.— А эта сцена в Англии, когда мы виделись в последний раз? Когда Кама наплевала на нас обоих? Мне казалось, ты был в отчаянии.

— Игру надо было довести до конца,— заявил Адам.— Я не мог тогда сказать тебе правды, потому что это очень больно ранило бы тебя, да я и сам стыдился. Разыгрывая любовь со мной, Кама попала в собственные сети: она действительно влюбилась в меня. Когда ты уехал в Англию, у нас было достаточно времени выяснить отношения. Кама поняла, что из этого ничего не выйдет и что я никогда не женюсь на ней.

— Ты жил с ней? — спросил я.

— Конечно,— ответил он.— Именно в Италии. Впрочем, она сказала, что между нею и тобой все раз и навсегда кончено, что она уже ничего не чувствует к тебе, и, пожалуй, мне не в чем было упрекнуть себя. Ей я тоже никогда ничего не обещал.

— А фотография с Заблоцким? — спросил я.

Адам рассмеялся.

— Этого Заблоцкого мы как раз встретили в Венеции. Он жил в гостинице «Даниэли», как и мы, и в одиночестве проводил там отпуск перед отъездом в Англию. Мы из жалости иногда брали его с собой, когда ходили смотреть город. Знаешь, после ночных разговоров с Камой я рад был присутствию кого-нибудь третьего. А фотографию я сам сделал у Дворца дожей. Тебе нетрудно догадаться, что Заблоцкий воспылал могучим чувством к прекрасной и несчастной Каме, чему я совершенно не противился, потому что только кто-нибудь третий мог вывести нас из этого положения. Заблоцкий оставил Польшу в сентябре тридцать девятого года и в течение семи лет не видел близко ни одной красивой польки, благодаря чему дело быстро двинулось вперед. В данной ситуации Кама недолго сопротивлялась. Эти женщины, даже если они не знаю как самостоятельны и независимы, ни одного дня не любят жить в одиночестве. Мы все трое разъехались по своим отрядам. Заблоцкий поплыл в Англию первым, но ожидал Каму в Ливерпуле и забрал ее прямо с корабля. Я до конца не был уверен, все ли пойдет гладко, и потому на всякий случай взял в лагере комнату в семейном бараке, чтобы Кама не осталась на улице. Ну, вот, ты знаешь всю правду.

Теперь я выпил виски. Адам озорно посматривал на меня.

— Знаешь, Адам, я сейчас как раз возвращаюсь из Буэнос-Айреса,— сказал я.— Я ездил туда с «Баррикадой» и видел Каму.

— Да? — обрадовался Адам.— Как она себя чувствует? Дети здоровы?

— Я слышал, что ты был там в прошлом году,— продолжал я.

— Был,— ответил Адам, не дрогнув.— Вообще все эти годы меня носило с места на место. Но это долгое плавание на пароходе меня очень утомило: я не гожусь в Конрады.

— Ну, и тяжелый труд кельнера...

— Вот именно,— улыбнулся он.— Я уже побывал в разных шкурах. Но эта практика очень пригодилась мне теперь, когда я держу ресторан.

— Ты без труда нашел Каму?

— Я ее не нашел, а встретил в польском клубе в первый же вечер. Они все туда приходят. Кама с мужем сразу пригласили меня к себе ужинать. К сожалению, Заблоцкий очень продвинулся и совершенно забыл, что я сосватал ему Каму. Он помнил только, что Кама когда-то меня любила, и не дал нам даже спокойно поговорить о прежних временах. Он ревнует ко всему, что происходило с Камой до того, как она его уз-

нала, а больше всего — к этому нашему восстанию. Он даже произнес передо мной страстную речь о том, что это был абсурд, преступление и так далее, словно я был Бур-Коморовским или правительством в Лондоне. Представляю себе, как он принял тебя с твоим фильмом.

— Прохладно,— признался я, внимательно глядя на Адама.

Он снова улыбнулся мне.

— Я был там у них еще раза два, поиграл с детьми, потом встретил их в кино и всегда чувствовал себя глупо, так как не скрывал, что работаю кельнером на пароходе, а Заблоцкий происходит из каких-то графов и полагает, что можно протирать брюки в учреждении, но нельзя прислуживать другим. Мне было неприятно из-за Камы, и я с облегчением уехал. А что ты? Намерен продолжать делать фильмы из нашей жизни?

— На сей раз я сниму какой-нибудь фильм о моих новых приключениях,— ответил я с улыбкой, но тут же решил атаковать его.— Ты, конечно, знаешь, где живет Сара Лятур?

Адам сразу стал серьезным.

— Знаю,— ответил он.— В великолепных апартаментах недалеко от Булонского леса, но сомневаюсь, чтобы тебе удалось с ней что-нибудь.

— А что мне может не удаться?

— Спать. Тебя нет в списке.

— В каком списке?

— В списке людей, с которыми ей велели выспаться,— пояснил Адам с искусственной улыбкой.— Их было около двенадцати. Журналисты, режиссеры, деятели рекламы. Сразу же после этого из нее сделали кинозвезду. Мы знакомы еще по Риму.

— Знаю,— ответил я и добавил: — Она мне рассказывала.

— Это старая история, а теперь и она и я делаем деньги. Разумеется, она делает куда большие. Я убедился, старина, что свободу здесь можно только купить. Я мог стать шахтером, продавцом, зятем аптекаря, мужем хозяйки гостиницы, и меня очень хотела женить на себе итальянка, у которой было столько денег, что она сама не знала, сколько их. Но в каждом из этих случаев я должен был бы кому-нибудь продаться. Вот приедешь сюда через несколько лет, тогда увидишь пана Адама Витецкого: я буду путешествовать не как кельнер, а как пассажир первого класса и нигде не должен буду ни на кого работать. Тогда, может быть, я съезжу в Варшаву.

— А все потому, что кто-то одолжил тебе денег,— сказал я.

Адам мрачно взглянул на меня.

— Я их возвращаю и возвращу все до копейки,— ответил он. Мы замолчали. Репродукторы продолжали посылать в зал медленную сладкую музыку, а сплетенные пары еле двигались.

— Ну, пойду,— сказал я.— Желаю тебе приятной и легкой старости.

— Этого уже недолго ждать, старина,— сказал он и грустно улыбнулся.— Оказывается, жизнь-то... раз, два и обчелся.

На минуту с нас все слетело. Я пожал ему руку.

— Завтра буду в Варшаве,— сказал я еще раз.— Может быть, кому-нибудь что-нибудь передать?

Адам помолчал.

— А этот наш дом отстроили? — тихо спросил он.— Баррикаду?

Я взглянул ему в глаза.

— Там нет ни этого дома, ни этой улицы,— сказал я.— На том месте построили большой жилой район.

Адам смотрел куда-то на паркет, вдруг он рассмеялся.

— Ну, ясно,— сказал он.— Ничего не поделаешь, старина.

Рядом танцевали ча-ча-ча. Мы протиснулись к выходу. У стойки

было уже полно народу. Адам пошлепал ниже поясницы какую-то молоденькую прелестную девушку, та улыбнулась, наклонилась, показав полную грудь, и поцеловала Адама в щеку.

— Хочешь ее? — спросил Адам.

— Нет, спасибо,— ответил я.

— Тогда желаю успеха у Сары! — воскликнул он со злой иронией.

Больше разговаривать было не о чем. Я вышел на улицу и медленно побрел вдоль берега Сены к своей гостинице.

И снова я сидел в самолете, в старом «конвере» польских авиалиний. Я позвонил Саре Лятур перед отъездом, около двенадцати часов, когда кинозвезды уже подходят к телефону.

— Спасибо и до свиданья,— сказал я.— Надеюсь увидеть вас когда-нибудь в Польше с вашим новым фильмом.

— Как вы находите Адама? — спросила она.

— Я рад, что он твердо стоит на ногах,— ответил я.— Но никогда не думал, что он захочет наживать состояние. Я, знаете ли, окружил его образ легендой...

— Он противился этому до прошлого года,— сказала она.

— Счастье, что он нашел кого-то, кто одолжил ему денег.

— Да, это очень хорошо сложилось,— ответила она, и мы помолчали. Закончить разговор полагалось мне.

— Благодарю вас,— повторил я.— Прошу передать от меня привет господину Мишо. Вы наверняка сделаете фильм, о котором будут много говорить в мире.

— Я очень рассчитываю на это,— ответила она.— Именно сегодня я примеряю костюм и пробую постель.

Самолет преодолевал пространство упорно и медленно. Я снова пересекал границу двух миров. Стюардесса разносила «Жице Варшавы»; я с жадностью набросился на газету. Внимание города было сосредоточено на велокроссе мира и перестройке Ерозолимских Аллей; меня особенно заинтересовало известие об открытии в моем районе нескольких новых магазинов. (Как всякий уважающий себя творческий работник, я живу в Старом Месте, и вдобавок в самом лучшем его месте, за собором, на маленькой площади у Канонии, и мое окно выходит на Вислу.) Я вспомнил также, что не купил за границей обещанных подарков, и решил на следующий же день побежать в какой-нибудь из комиссионных магазинов и купить что-нибудь заграничное родственникам, а может быть, даже Ванде, но прежде всего Эве Барабаньчик. Я поступил, как свинья, и вместо подарка послал ей из Буэнос-Айреса открытку, а ведь именно она должна была поехать на эту премьеру. Розенцвейг мог оплатить путешествие только одного человека, она же, как большинство молодых актрис, совсем не знала иностранных языков.

Самолет приземлился в Берлине, снова поднялся в воздух и перепорхнул границу Польши. Эти несколько недель промелькнули как несколько часов, но я ощущал явную усталость от путешествия и радость при мысли о Варшаве, о доме и ежедневных обязанностях. Каждое путешествие, столь ожидаемое и нужное, ибо оно предвещает изменения, показывало мне в обновленном виде ту жизнь, от которой я отрывался на несколько недель, и заставляло снова радоваться всему, что перед отъездом казалось обычным, будничным и даже обременительным. Но это путешествие было чем-то бо́льшим, и к чувству утомления прибавилось какое-то ощущение горечи, воплощенное в постаревших лицах Камы и Адама, преследовавших меня теперь неотступно даже во время чтения «Жице Варшавы»: одно, печальное — на бульваре в Буэнос-Айресе, другое, злое — в ресторанчике из тростника на острове Сен-Луи. Хотя я

находил в них знакомые черты, лица эти стали теперь чужими, жалкими и смешными, они мучили меня и откровенно издевались надо мной. Погоня за Адамом и Камой оказалась непростительной ошибкой с моей стороны: у нас не было больше общего языка. И я снова убедился, что наскоро придуманное мною окончание «Баррикады», необходимая для драматургии и смысла фильма трагическая смерть героев, является единственным подлинным финалом всей этой истории, и ничего с этим нельзя поделать.

То же самое, впрочем, относилось и к другим периодам моей жизни. Она складывалась как бы из законченных эпизодов — одноактных пьес, продолжающихся самое большее несколько лет, каждая со своими декорациями и актерами, в костюмах данной эпохи, завершенная или драматической кульминацией, или взрывом с большой детонацией, и персонажи одной из пьес обычно не выступали на сцене в следующей, потому что в финале вьюга истории их сметала. Это была не целеустремленная сознательная деятельность, а печальное отражение истории Варшавы на протяжении последних двадцати с лишним лет. За эти годы каждый был вынужден здесь не раз начинать жизнь заново — в другом районе, среди других людей, а позднее и в других политических и социальных условиях. Мой приятель Бювен, как всякий французский буржуа, никогда не лишился ни единого костюма, все его близкие умирали в постели, а портрет бабки висел над его комодом десятки лет. Однако я убедился, что эта вынужденная фрагментарность моей жизни позволяла мне вести мнимую, правда, но успешную борьбу со временем, потому что ведь его разрушительное действие лучше всего видишь на своих окружающих, которые служат как бы зеркалом, а мое окружение слишком часто менялось, чтобы стариться вместе со мной. Поэтому я отклонял приглашения на съезды или товарищеские встречи бывших воспитанников гимназии, бывших курсантов школы подхорунжих, бывших солдат подпольного отряда; меня страшила мысль о встрече за рюмкой водки и, что еще хуже, за игрой в карты, в узком кругу лысых и уже незнакомых мне господ (узком, потому что большинство погибло, а часть, подобно Адаму, рассеялась где-то по свету), хотя когда-то я получал вместе с ними двойки, бегал по оврагам под визгливый крик сержанта или стрелял из-за угла в эсэсовца. Я не хотел смотреть на их физиономии, ставшие карикатурой на те, детские лица. То же самое относилось, хотя и в меньшей степени, к персонажам более поздних, послевоенных эпизодов, происходивших до того, как я вступил на путь кинокарьеры. Этот последний эпизод моей уже зрелой жизни продолжается добрых несколько лет, что меня радует и тревожит одновременно, ибо ничто не предвещает перемены, жизнь вокруг все более стабилизируется, нас уже, пожалуй, несмотря на сотрясающие мир конвульсии, не ждут новые взрывы, и, вероятно, я дождусь своего великого финала в обществе, которое окружает меня в последние годы.

Дома моего детства дважды были превращены в развалины, и памятные мне с тех времен места приходится искать далеко, скорее на Пьяцца-делла-Минерва или в Сен-Жермен-де-Пре, нежели в Варшаве, в нескольких минутах езды трамваем. Я мог посещать эти давние места, но не должен был разыскивать людей. Не знаю, почему мне пришло в голову исколесить полсвета в поисках персонажей давно уже снятого с афиши представления и заглядывать им в лица.

К театру я подъехал в ту минуту, когда из него начали выходить первые зрители. Это была какая-то школьная экскурсия из провинции, потому что ставили «Дамы и гусары» (пьеса шла уже много месяцев, затыкая собой дыры в репертуаре и в кассе), и я смотрел на нескончае-

мый поток двенадцати- или четырнадцатилетних ребят из Пултуска, Гостынина или Седлец, немного шаловливых, немного сонных, неутомимо рассматривающих все вокруг — магазины, трамваи, машины — и сгоняемых учителями в стайку, как гуси. Вдруг среди них, как среди младших братьев и сестер, появилась Эва Барабаньчик. Дети немедленно узнали Зосю из спектакля и Калину из «Баррикады», зашептались, расступились перед ней, а несколько смельчаков подбежало за автографами. Минуту спустя Эву окружила чуть ли не сотня детей с тетрадями, листками бумаги и кусками газеты, а она, улыбающаяся, быстро ставила свою подпись, которой выучилась в начальной школе в деревне Лопухи под Плонском и которую окончательно отработала на фестивале в Канне, где на набережной Круазетт, так же, как теперь здесь, ее окружали юные любители автографов. Но вот подъехали автобусы, учителя загнали туда детей, и Эва подошла ко мне.

— Ты ездишь по всему свету, а я играю в двести тридцать седьмой раз в «Дамах и гусарах»,— сказала она, подставляя щеку.

— Мне очень не хватало тебя там,— ответил я.— Посидим где-нибудь, ладно?

Мы подошли к кафе. В это время здесь было пустовато, но до закрытия оставалось еще около часа. Я сел напротив Эвы. На ее лицо падал свет лампы. Она улыбалась мне так, как Жаклицкому в фильме. Я уже не знал, кто существовал в действительности — Кама или Калина.

— Я привез рецензии. Тебя очень хвалят, Эва.

— В этом твоя заслуга.

— Не будем говорить друг другу комплиментов. Ты сегодня прелестно выглядишь.

— Знаешь, я переменила адрес и живу теперь ближе к театру. Что ты так смотришь на меня?

— Потому что ты сегодня особенно мне нравишься. Ты репетируешь что-нибудь новое?

— Конечно! Современную польскую пьесу. Дебют. О молодежи.

Я внимательно смотрел на нее. Она была подвижна, весела, полна энергии и надежды. Ее голубые глаза блестели.

— Кого ты играешь там?

— Разумеется, современную девушку, которая учится. Я ценю профессию, технику, искусственные спутники Земли, я деловита и очень хотела бы хорошо работать, жить с удобствами, иметь мужа с интересной профессией, путешествовать, купить когда-нибудь машину, а до того холодильник...

— ...стиральную машину, телевизор и пылесос,— добавил я.— После «Баррикады» это большой скачок.

— «Баррикада» — это история. А из истории лучше всего брать минуты великие и трагические.

— Это было всего семнадцать лет назад,— ответил я.

— Такие семнадцать лет значат больше, чем раньше значили сто,— сказала она.— Теперь дети изучают это в школе и, наверно, получают двойки за то, что не приготовили урока.

— Ты действительно думаешь, как героиня этой пьесы?

— Я-то — дело другое,— улыбнулась она и на минуту задумалась.— Я бы хотела сделать в жизни что-нибудь большое... что-нибудь, как в «Баррикаде», но не теперь. Не знаю, понимаешь ли ты...

— Ты хотела бы привнести немного фантазии в эти холодильники?— спросил я.— Знаешь, холодильники очень нужны.

— Знаю. Впрочем, придет время, когда у всех будет все, и что тогда? Я бы хотела... Я бы хотела уметь так увлечь людей, чтобы они не бросались в гардероб сразу же после последней реплики. Если я задержу их хоть на минуту, я буду счастлива.

— А хотела бы ты снова сыграть в фильме?

— Ты же хорошо знаешь, что я мечтаю об этом,— ответила она.— А ты думаешь о чем-нибудь новом?

— Разумеется.

— Но, наверно, не о военном фильме? Потому что, знаешь, все уже досыта насмотрелись этих военных фильмов.

— Знаю,— ответил я медленно.— Я хочу сделать фильм о беге времени.

Эва посмотрела на меня с удивлением.

— О беге времени? Как можно делать такой фильм? Ведь этого бега не видно! Впрочем, такой фильм, пожалуй, был бы скучен... Знаешь, я ощущаю время только тогда, когда скучаю! Тогда время так тянется...

— Посмотрим,— неуверенно ответил я. Вокруг официантки вытирали столики перед закрытием. Эва сидела напротив меня улыбающаяся, умная, полная жизни. Я смотрел на нее с надеждой. Мне хотелось смотреть на нее как можно дольше.

— Закрывают,— сказал я.— Пойдем куда-нибудь потанцевать?

Она опустила глаза, но тут же подняла их.

— Извини, пожалуйста, но я не могу,— ответила она краснея.— Не потому, что не хотела бы... Ведь мы так давно знакомы. Но это было бы неприятно моему другу.

— У тебя есть друг? — спросил я.

— Я влюбилась! — ответила она.— Я чертовски влюбилась... Это актер. Он недавно пришел в театр... Знаешь, отличный парень и очень способный...

— Очень рад,— ответил я и улыбнулся как можно более искренне.

— Знаешь, если ты захочешь поговорить об этом фильме... Ты только позвони... я сразу прибегу.

— Хорошо, я позвоню,— ответил я и расплатился.— Я наверняка позвоню, и мы снова возьмемся за работу. Я хотел бы как можно скорее взяться за работу.

Мы вышли. Я простился с ней у ворот ее дома. Было слышно, как она, что-то напевая, легко взбегает по лестнице. Я пошел к машине, тяжело опустился на сиденье и сидел так некоторое время, глядя на ворота театра, темневшего напротив. Ворота были пустыми, а теперь вдруг и над ними погасили свет, и вся улица сразу погрузилась во мрак. Я нажал на стартер и поехал. Возвращаясь домой, я думал уже только о своей будущей работе, и, прежде чем подъехал к гаражу, очертания фильма встали передо мной точно в ослепительном сиянии. И я сразу почувствовал себя счастливым.

# СЛОВО ТРЕХ ПОЭТОВ КУБЫ

МАНУЭЛЬ
НАВАРРО ЛУНА

## Песнь звезды на кубинском флаге

Над землей, где еще не остыли
кровь и горестный пепел,
звезда — наш сверкающий вымпел —
взметнула белые крылья.
Она нам дорогу укажет,
чист и суров ее лик,
пусть светит спокойно — на страже
Фидель и солдатский штык.

Призывно и радостно блещет
звезда в колыбели орлиной,
тщетно из черной трясины
к ней тянутся злобные клещи,
тщетно пытаются янки
сокрушить негасимый маяк —
горит треугольник и ярко
озаряет трепещущий стяг.

В ночи засияла надежда,
чтоб миру свой подвиг поведать,
измерила наша победа
размах лучей белоснежных.
Вздымается гордым колоссом
знамя Плайя-Хирон,
Давидом, упрямым подростком,
силач Голиаф был сражен.
Звезда никогда не угаснет,
захватчикам не покорится,
она — боевая зарница,
мы вверили ей свое счастье
Звезда взошла над горами
и вырвала нас из оков,
ее беспощадное пламя
всегда настигает врагов.

Над морями, как факел, пылает
звезда победного стяга,
орлиную мощь и отвагу
в сердца героев вливает.

Выдержит все испытанья
звезда наших славных побед
и над горестным пеплом страданья
расплещет живительный свет.

## Труд, учеба, винтовка

Труд — постамент жизни,
наш гимн и победный гений,
родник, из которого брызжет
чистая влага свершений.

Не кормит наш труд богатеев,
на впалые щеки не льет
липкий, мучительный пот —
наш труд кормит тех, кто сеет.

Наш труд не вгрызается в жилы,
не обжигает, как провод,
наш труд — искрометная сила,
сокрушившая рабство и голод.

Наш труд — рядом с нами, сегодня,
над кровью и пеплом руин
он, молодой исполин,
знамя свободное поднял.

Наш труд перестал быть игом,
перестал быть цепью и клеткой —
с готовальней, пером и книгой
труд наш сдружился крепко.

Учиться, учиться, учиться,
в цеху и с ружьем на плече,
в походе, при тусклой свече —
прикасаться к заветным страницам...

Упорство и свет наших знаний —
вот щит молодого титана,
теперь уж его не обманет
слезливым елеем сутана.

Винтовка свободы не дремлет,
проверен и смазан затвор,
отважный солдатский дозор
охраняет цветущую землю.

*Перевод с испанского*
*МАРИНЫ ТАРАСОВОЙ*

■

## ФАЙЯД ХАМИС

### Среди людей

Я здесь
обучаюсь рождаться
в каждом нащупавшем солнце ростке;
я здесь,
чтобы в вере своей утверждаться
и удивляться,
глядя,
как вырастают стены
для тех, кому негде было скрыть свои слезы;
глядя
на зелень полей, садов и плантаций,
нарядившихся в песни крестьян,
глядя
на чисто одетых детей,
которые учатся читать на ладони родины.
Я здесь —
еще один камень
среди камней,
еще одно дерево среди деревьев,
река среди рек,
трактор среди тракторов.
Я человек
среди людей,
засевающих звездами
будущее.

■

## Корабли
## в порту Гаваны

В полукружье
гаванской гавани
и в остальные,
голубые и звонкие,
порты моей страны
входят
груженные нефтью и дружбой
стальные
громадины корабли.
И чувствую вдруг,
вглядываясь в их следы,
в странные и простые
их имена,
дрожащие в складках воды,
и чувствую вдруг,
что не один,
что вокруг
птицы, деревья и люди,
окна и нефть,
волны, машины и трубы,
веселое солнце Кубы,
звезды —
и снова люди.
Отсюда,
с высокого мола,
вижу — заря
обагряет гаванскую гавань,
слышу — посла́нцы далекой
и близкой земли,
корабли,
вонзают грохочущие якоря
в воды залива,
а это почти все равно
что в мою кровь;
отсюда,
с высокого мола,
вижу — грузовики, выползая
из порта,
развозят
по гаванским кварталам
нефть и дружбу.
Волны взлетают,
с размаха
расшибаясь о мол,—
в брызгах лицо и рубаха.
Радостью свободы
мне грудь распирает,
как ветром.

*Перевод с испанского*
*М. САМАЕВА*

## МАНУЭЛЬ ДИАС МАРТИНЕС

## Хлеб

Хлеб согревает скромные руки.
Руки поденщика в черных мозолях,
руки ребенка с грифелем школьным —
жизнь в первородном своем естестве,
как высшее благо,
приемлет хлеб.

О яркое солнце
на смуглой ладони!
Посланец надежды,
ты с нами встречаешь зарю,
отворяешь щедрое сердце
на дощатом нашем столе.

Ты — знамя добра,
соткан твой шелк из душистых колосьев,
как велика твоя ласка,
как скупо ты даришь ее...

Твоя золотая свирель
нас обливает сладостным медом.

## Я здесь

Я здесь с той минуты,
как мое сердце впервые забилось
в такт с материнским,
с той минуты, как надо мной
закружились голуби
в непостижимом ритме
и я ощутил его пламя
в биении собственной крови.
Я здесь — как семя, я набухаю
в черной утробе земли,
а вокруг простирается мир,
в который я прорастаю.
Исполинская кузница
сотрясается от мощных ударов,
ее наковальня —
стальная ладонь революции.
Я здесь — я склоняюсь и пью
из этой шершавой ладони,
пью раскаленную лаву,
мое сердце — ликующий молот,
пламенный сгусток любви.
Я здесь — как вино и хлеб,
я нужен для каждого,
это меня согревает...
Я здесь — я ношу в себе песнь
будущих дней,
я смотрю на людей, на бутоны гвоздик
и сам расцветаю под солнцем.

*Перевод с испанского*
*МАРИНЫ ТАРАСОВОЙ*

НАГИБ МАХФУЗ

# ВОР И СОБАКИ

ПОВЕСТЬ

*Перевод с арабского*
*Е. СТЕФАНОВОЙ*

## Глава первая

вот он опять на воле. Пыль, нестерпимая жара и духота. Его не ждал никто — разве что старый синий костюм и ботинки на каучуке. Жизнь возвращается, и все дальше отодвигаются глухие тюремные ворота, за которыми таинственный мир отчаяния и горечи... Все те же обожженные солнцем улицы, бешеный бег машин, сутолока, те же сидящие фигуры, те же дома, лавки... И ни одной улыбки. Он один. Он потерял многое. Даже четыре года из самых золотых лет и те пропали даром. Ну, ничего, еще немного — и он предстанет перед ними и предъявит свой счет. Пришла пора дать волю гневу. Настало время заставить подлецов трястись от страха и сорвать с Измены ее гнусную маску. Набавия Илеш... Было два имени, стало — одно. Каким-то он будет для вас, этот день? Думали, тюремные ворота захлопнулись за мной навеки. А теперь сидите выжидаете... Но я не дам заманить себя в ловушку. Я улучу момент и обрушусь на вас, как рок... Сана... Когда думаешь о ней, забываешь о жаре, о пыли, о ненависти и обо всей этой дряни, и нежность наполняет душу, она становится чистой и ясной, как воздух после освежающего дождя. Что знает малышка о своем отце? Не больше, чем эта улица, прохожие, раскаленный воздух. А он за долгие четыре года не забывал о ней ни на миг. Неясный образ являлся во сне, манил и звал куда-то. Удастся ли повидаться с ней с глазу на глаз, чтобы никто не помешал тебе до конца насладиться завоеванной радостью? А Измена? Опять эта проклятая мысль. Призови на помощь всю свою хитрость. Ты умел хорошо терпеть, там, за решеткой. Сумей же нанести и хороший удар. Они тебя еще узнают. Ты будешь быстрым, как рыба в воде, внезапным, как коршун в небе, упорным, как мышь, что точит каменную стену, стремительным, как пуля... Интересно, как он тебя встретит? Как посмотрит тебе в глаза? Забыл, Илеш, что было время, когда ты, как собака, лизал мне сапоги? Не я ли поставил тебя на ноги? Бывало, окурки подбирал, а я сделал из тебя человека... Да и не только ты забыл... Забыла и она, эта выросшая в зловонной грязи женщина, имя которой— Измена... И среди всей этой мерзости одна ты улыбаешься мне, Сана... Еще немного, и я узнаю радость встречи с тобой. Вот только пройду эту улицу с темными арками, дорогу былых развлечений, ведущую в нику-

да... Ненавижу... Винные лавки закрыты. Остались только заговорщики-переулки, размеренные удары каблуков по тротуару-змее, визгливая брань трамвайных колес. И эти крики, резкие, как вонь прогнивших овощей... Ненавижу. Окна домов, полных соблазна, даже когда в них нечего взять... Хмурые, потрескавшиеся стены и этот странный переулок Сайрафи — мрачный свидетель того, как вор попался на удочку и его в мгновение ока скрутили по рукам и ногам. Предатели, будь они прокляты. Вот здесь облава, как удав, сжимала свои кольца, чтобы задушить тебя, когда ты зазевался. А еще годом раньше ты проходил по этому переулку и нес мешок с мукой к празднику, а она шла впереди и держала на руках запеленутую Сану. Какое было время. Даже не верится. Праздник и любовь, дочь и преступление — все они в памяти рядом, как буквы в строчке.

Показались высокие минареты мечети, проплыла по небу верхушка крепости. Улица влилась в площадь. Под палящими лучами зелень сада кажется особенно яркой. А вот и ветерок, сухой, но несмотря на зной, живительный. Площадь у крепости, с ее обжигающими воспоминаниями. Как пылает лицо. Надо успокоиться. Надо охладить этот внутренний жар и казаться добродушным и спокойным, чтобы как следует сыграть свою роль. Он перешел через площадь и двинулся к улице Сиккат аль-Имам, туда, где в самом конце, на углу перекрестка, стоит трехэтажный дом. Так, небольшой визит вежливости. Сейчас они узнают, что он приберег для встречи. Запомни все хорошенько. И эти лавки с выглядывающими головами — перепуганные мыши!

Сзади его окликнули:

— Саид Махран! Добро пожаловать!

Он остановился. Окликнувший догнал его, протянул руку. Поздоровались, улыбнулись. Так. Значит, у гадюки нашлись дружки. Посмотрим, что скрывается за этим приемом. Наверно, ты, Илеш, сейчас подглядываешь из-за занавески, прячешься, как баба.

— Спасибо, Баяза...

А из соседних лавок уже выбегают люди, и все громче становятся голоса и горячее приветствия. И вот он окружен толпой. И все приятели его врага, это ясно. И все наперебой орут:

— Слава тебе господи, цел и невредим...

— Радость-то какая!

— Я же говорил — в День революции выпустят.

Он пристально оглядел их продолговатыми рыжими глазами.

— Премного благодарен...

Баяза хлопнул его по плечу.

— Пошли выпьем шербету!

— Потом, на обратном пути...

Голос его звучал спокойно.

— На обратном пути?

Один из толпы заорал, глядя в окно на третьем этаже:

— Эй, Илеш!.. Слышишь, Илеш!.. Спустись-ка поздравить Саида Махрана...

Могли бы и не предупреждать, подонки. Ведь не ночью же я пришел. И знаю, что вы меня ждали.

— Так, говоришь, на обратном пути? — снова спросил Баяза.

— Да, кое-какие старые счеты...

Баяза нахмурился.

— Это с кем же?

— Ты, может, забыл, что я все-таки отец? И что у Илеша моя дочь?

— Верно, но на то есть закон. Он вас и рассудит...

— Лучше добром договориться,— сказал другой.

А третий примирительно добавил:

— Все-таки ведь ты только что из тюрьмы, Саид... Послушал бы совета...

Он почувствовал, как все в нем закипает, но сдержался.

— А я за тем и пришел, чтобы договориться добром...

Окно на третьем этаже распахнулось, и из него выглянул Илеш. Запрокинутые головы застыли в напряженном ожидании. Но прежде чем было произнесено хоть слово, из двери дома вышел широкоплечий верзила в полосатом гальбабе* и тяжелых ботинках, какие носят в полиции. Саид узнал Хасабаллу, легавого, и прикинулся удивленным:

— Как, и ты здесь? Но ведь я же и вправду пришел, чтобы решить все добром. Стоило ли так беспокоиться?

Легавый подошел к нему и быстро с профессиональной ловкостью обшарил карманы, пощупал, нет ли чего за пазухой.

— Цыц, ворюга... Зачем пожаловал?

— Пришел договориться насчет дочери...

— С таким, как ты, только и договариваться!

— Представь себе! Ради дочери...

— В суд обращайся...

— Пойду и в суд, когда ничего не останется...

— Пусти его! — крикнул Илеш сверху.— Пусть войдет!

Всех собрал, трус. Посмотрим, надежна ли твоя крепость. Ничего, придет и мой час, и тогда не помогут тебе ни легавый, ни толстые стены.

Они вошли в комнату и расселись — кто на диване, кто на креслах. Открыли окна, и в комнату ворвался свет и мухи. На голубом ковре чернели прожженные дыры. На стене большой портрет — Илеш Сидра глядит, опираясь на тяжелую трость. А вот и он сам — огромная бочка в просторном гальбабе, широкое лицо, тяжелый мясистый нос с перебитой переносицей, квадратная челюсть нависла над двойным подбородком. С деланным спокойствием протянул руку:

— Ну, поздравляю...

Воцарилось тягостное молчание. Тревожными стали взгляды; Илеш заговорил первым:

— Что было, то быльем поросло. Подумаешь, великое дело!.. Случаются вещи и похуже. Ну, были друзьями, а потом разошлись... И вообще, в своем позоре каждый виноват сам...

Саид следил за ним горящим взором. Мускулистый, поджарый, он в этот миг походил на тигра, который вот-вот кинется на слона.

— Да, в своем позоре каждый виноват сам...— повторил он, и разом впились в него глаза. Рука легавого, перебиравшая четки, настороженно застыла. И Саид, угадывая их мысли, торопливо поправился:

— Да нет, все это верно! Я и сам так считаю!

— Хватит ходить вокруг да около,— раздраженно перебил легавый.— Поговорим о деле!

— О деле? — Саид слабо усмехнулся.— С какого же дела начнем?

— С какого начнем, тем и кончим. Одно у тебя дело здесь — дочка твоя.

А жена, а деньги мои, паршивый пес? Ну, погодите, погодите... Гляди мне в глаза. Ничтожество, жалкий паук, слизняк... Горе тому, кто пляшет под дудку бабы. Но пусть они думают, что он согласен. Он кивнул. Один из подлипал сказал:

— Дочь твоя в надежных руках, с матерью. Да и по закону маленькой девчонке положено быть с матерью. Захочешь — можешь видеться с ней раз в неделю...

— Но есть кое-какие обстоятельства, из-за которых она по закону принадлежит мне.

---

* Широкая, длинная рубаха, распространенный вид национальной одежды.

Он нарочно повысил голос, чтобы было слышно на улице.

— Ты на что намекаешь? — с вызовом спросил Илеш.

Легавый поспешил вмешаться:

— Так мы ни до чего не договоримся.

— Я ни в чем перед тобой не виноват.— Голос Илеша звучал уверенно.— Сама судьба так решила. Долг — да, да, мой долг как мужчины повелел мне так поступить. И все ради нее, ради этой девочки...

Мужской долг, гадюка. Не долг, а предательство, двойная измена. Топор, занесенный над головой, и веревка от виселицы... Но все-таки надо увидеть Сану. И он со всем хладнокровием, на которое в этот миг был способен, сказал:

— Девочка ни в чем не нуждалась. У меня же оставались деньги, много денег...

— Это те, что ты награбил? — взорвался легавый.— Те, от которых ты отпирался на суде?

— Хотя бы и так. Куда они подевались?

— Да ни гроша у него не было! — завопил Илеш.— Клянусь вам, они в такой нужде остались — врагу своему того не пожелаю. А я, я только исполнил свой долг...

Саид не выдержал:

— Хотел бы я знать, откуда это вдруг у тебя взялись денежки, чтобы жить припеваючи да еще и других содержать?

— А кто ты такой, что я должен перед тобой отчитываться? — рассвирепел Илеш.

— Не горячись, Саид! — сказал подлипала.

— Что до меня,— вмешался легавый,— так мне все ясно. Я тебя насквозь вижу. Да только не трудись понапрасну, кроме как о дочке ни о чем я тебе говорить не дам.

Саид усмехнулся, отвел глаза. Придется уступить.

— Что ж, пусть будет по-вашему, господин полицейский...

— Да, да, я тебя раскусил, но из уважения к этим людям все-таки позволю тебе повидаться с дочкой. Давайте ее сюда. Неплохо ведь и ее спросить тоже...

— Это как же, господин полицейский?

— Я понимаю, чего ты добиваешься, Саид. Девчонка тебе не нужна, да и девать тебе ее некуда. Когда-то еще самому себе найдешь приют! Но из жалости, справедливости ради, тебе ее покажут. Приведите девочку!

И мать. Пусть мать приведут тоже. Пусть встретятся взгляды. Может, хоть тогда я разгадаю эту дьявольскую тайну. Топор и веревка от виселицы.

Илеш пошел за девочкой. За дверью послышались шаги, и сердце больно сжалось. Саид закусил губу. Подступившая волна нежности и радостного нетерпения унесла и злобу и гнев. Наконец вот и Сана — удивленно озирается вокруг. Илеш держит ее сзади за плечи. Пришла все-таки. Как же я ждал тебя. В белом красивом платьице, а на ногах — босоножки, тоже белые, и проглядывают накрашенные ноготки. Смуглое личико, темные, зачесанные наверх волосы. Он так и пожирал ее глазами. А она недоверчиво переводила взгляд с одного лица на другое. Его лицо ей особенно не понравилось — ведь он рассматривал ее пристальней всех. И, чувствуя, что именно к нему ее заставляют подойти, она принялась изо всех сил упираться и пятиться назад. Он глядел на нее, не сводя глаз, но на сердце стало холодно и пусто. Осталось только одно чувство — сознание утраты. Чужая. А глаза такие же, как у него. И такой же узкий овал лица. И нос с горбинкой. А вот чужая. Где же голос крови? Или он тоже предал? И почему все-таки, несмотря на все, так хочется прижать ее к груди?

— Вот твой отец! — хмуро бросил легавый.

А Илеш с бесстрастным лицом добавил:

— Поздоровайся с папой.

Бедная мышка. Чего боится? Если бы она только знала, как мне дорога. Он протянул навстречу ей руку и судорожно глотнул — в горле стоял ком. Зазывающе улыбнулся, но девочка сказала: «Нет!» — и попятилась назад. Илеш преградил ей путь. Она закричала: «Мама!» — но Илеш снова легонько подтолкнул ее вперед:

— Поздоровайся с отцом!

Глаза присутствующих загорелись злорадным блеском. И Саид понял, что тюремные муки, вообще-то, не так уж тяжелы.

— Подойди ко мне, Сана! — В голосе его звучала мольба. И, чувствуя, что не вынесет ее отказа, он привстал ей навстречу.

— Нет!

— Я твой отец!

Она удивленно взглянула на Илеша. Саид упрямо повторил:

— Я твой отец, я! Иди сюда!

Но она стала упираться еще сильнее. Тогда он — уже с силой — потянул ее к себе. Она закричала. Он прижал ее к груди, она заплакала и оттолкнула его. С отчаянием понимая, что проиграл, он пытался ее поцеловать, но она отворачивала лицо, и он сумел поцеловать только руку, которой она отбивалась с безжалостной яростью.

— Да не бойся же, я твой отец, понимаешь?

У нее так же пахли волосы, как у ее матери, и этот знакомый запах заставил его вздрогнуть. А девочка отбивалась и горько плакала, пока легавый наконец не вмешался:

— Ты все-таки потише, она ведь тебя не знает!

С чувством горечи он отпустил ее, сел и со злостью сказал:

— Я ее заберу!

Последовало минутное молчание.

— Ты сначала успокойся,— начал было Баяза.

Но Саид стоял на своем:

— Она должна быть со мной.

— Это уже решит судья! — отрезал легавый и вопрошающе повернулся к Илешу.— Ведь так?

— Мое дело — сторона, но ее мать без суда на это не пойдет.

— Я так и говорил с самого начала,— сказал легавый.— Словом, суд — и никаких разговоров.

Саид чувствовал, что еще немного — и он взорвется от ярости. Но надо сдерживаться. В конце концов он пришел сюда не за этим.

— Будь по-вашему. Суд так суд!

— Как видишь,— сказал Баяза,— девочка живет хорошо, ни в чем не нуждается.

А легавый не преминул ввернуть с издевкой:

— Ты бы сперва подыскал себе честный заработок...

Но Саид уже овладел собой:

— Что ж, все это верно... Жалеть мне не о чем. Подумаю еще раз, должно быть, и вправду лучше забыть о прошлом, поискать работу, чтобы со временем было куда взять дочь...

Воцарилось изумленное молчание. Недоверчиво забегали глаза. Легавый зажал четки в кулак:

— Значит, с этим покончили?

— Покончили,— сказал Саид.— Только книги отдайте.

— Какие еще там книги?

— Мои.

— Да их поди все растрепала Сана! — воскликнул Илеш.— А те, что остались, я сейчас принесу.

Он вышел из комнаты и вскоре вернулся с небольшой стопкой книг, положил их на пол посреди комнаты. Саид принялся перебирать их.

— И в самом деле, почти все пропало! Экая досада!

— С каких это пор ты стал таким ученым? — насмешливо спросил легавый. — Может, ты и книжки воровал? — и поднялся, давая понять, что разговор окончен.

Все заулыбались. Саид молча собирал книги. Он не улыбался.

## Глава вторая

Дверь открыта. Она всегда бывала открытой, даже и в те далекие времена. Он шел сюда по горной дороге. Приют милосердия... Квартал Дираса, притаившийся в отрогах горы Мукаттам... Сколько воспоминаний хранит он!.. Кругом дети, песок, расплавленный жар — и он сам, задыхающийся от волнения и усталости. А взгляд невольно останавливается на маленьких девочках. Бездельницы, прячась от палящего солнца, полеживают в холодке. Сколько их... На пороге открытой двери он на минутку остановился и огляделся вокруг, припоминая. Когда он был здесь в последний раз? До чего же прост этот дом. Должно быть, так жили еще при Адаме. Просторный некрытый двор, в левом углу — высокая пальма с согнутой верхушкой. Направо от входа — открытая дверь в единственную комнату. В этом странном доме не было запертых дверей. Сердце учащенно забилось, и мысли унесли его к далеким милым дням... Детство, отцовская ласка, грезы о чем-то неземном, неясном... И имя всевышнего, трепетом отзывавшееся в душе. «Смотри, слушай, учись и открой свое сердце»,— бывало говорил отец. И огромная, необъятная радость, рожденная мечтой, верой, песнопениями и еще предвкушением зеленого чая. Как-то ты поживаешь, владыка, шейх Али Гунеди? Из комнаты донесся голос — хозяин заканчивал молитву. Саид улыбнулся и, подхватив свои книги, решительно переступил порог.

Вот и сам шейх. Скрестив ноги, он сидит на молитвенном коврике и с отрешенным видом что-то бормочет. Все та же комната. В ней почти ничто не изменилось. Циновки, правда, новые — не иначе, как постарались ученики, а у западной стены прежнее скромное ложе, возле которого пляшет пробравшийся через окошко луч заходящего солнца. Остальные стены почти скрылись за полками с книгами. Запах ладана, такой застарелый, что, кажется, будто он не обновлялся десятки лет. Саид опустил книги на пол и подошел к шейху:

— Мир тебе, владыка!

Шейх неторопливо закончил свое бормотание и поднял голову. Узкое, живое, одухотворенное лицо, словно ореолом обрамленное седой бородой. Белоснежная шапочка-такия плотно обтягивает серебро когда-то густых волос. Пристальный взгляд человека, который прожил восемь десятков лет на этом свете и для которого иной мир не является тайной. Взгляд, не потерявший своей остроты и таинственной притягательной силы. И, припав к его руке, Саид снова припомнил далекое прошлое, отца, сладкие мечты юности и украдкой смахнул непрошеную слезу.

— И да пребудет с тобой тоже мир и милость аллаха.

Тот же голос. Интересно, а какой голос был у отца? Он стал припоминать, но только зрение осталось верным памяти — он видел лицо отца и его шевелящиеся губы. Но голос — голос был забыт безвозвратно. А где же твои ученики, о шейх Али Гунеди? Где те, что приходили сюда славить аллаха? Скрестив ноги, он сел на циновку:

— Сажусь без спроса. Помнится, ты не любил, когда у тебя спрашивали позволения.

Ему показалось, что шейх улыбнулся, хотя бледные губы были по-прежнему неподвижны. Любопытно, вспомнил ли он его? И он сказал:

— Прости, но кроме твоего дома у меня нет иного приюта.

Шейх уронил голову на грудь и прошептал:

— Ты говоришь о стенах, но не о сердце.

Саид вздохнул: непонятно!

— А я только сегодня вышел из тюрьмы.— Он сказал это подчеркнуто небрежным тоном.

Шейх вопросительно поднял прикрытые веками глаза:

— Из тюрьмы?

— Ну да. Ты не видел меня больше десяти лет. За это время произошли удивительные вещи. Может быть, ты слышал о них от своих учеников, которые меня знают...

— Я слышу многое и поэтому не слышу почти ничего...

— Словом, так или иначе, но я не хочу ничего от тебя скрывать. Поэтому и говорю тебе прямо, что только сегодня вышел из тюрьмы...

Шейх медленно покачал головой и с сожалением произнес:

— Нет, ты не вышел из тюрьмы...

Саид улыбнулся. Снова те же знакомые слова, из которых каждое имеет свой особый, таинственный смысл. И он сказал:

— Нет, владыка, нет тюрьмы страшнее той, что создана государством.

Шейх пристально поглядел на него своими чистыми глазами и пробормотал:

— Он говорит, что нет тюрьмы страшнее той, что создана государством...

Саид снова улыбнулся. Нет, не понять им друг друга. И все-таки спросил с живым нетерпением:

— А ты меня помнишь?

Шейх равнодушно изрек:

— Довольствуйся тем, что имеешь сейчас...

И хотя Саид был почти уверен, что старик его вспомнил, он не уступал:

— А покойного отца моего, Махрана?

— Да упокоит аллах прах его...

— Хорошее было время!..

— Если можешь, скажи так и о настоящем...

— Но...

— Да простит нас аллах...

— Я говорю, что только сегодня вышел из тюрьмы...

Шейх внезапно оживился:

— «И когда его посадили на кол, он сказал с улыбкой: «Что посеешь, то и пожнешь...»

Отец понимал тебя. Но как же ты должен меня осуждать, если даже твое доброе чувство ко мне оборачивается жестокостью? Ноги сами привели меня в этот мир ладана и душевной тревоги. Да и что остается делать тому, кто одинок и у кого нет дома?

— Владыка,— сказал он,— от меня отказалась родная дочь...

— И в деяниях самых малых творений заключена тайна Его,— молвил со вздохом шейх.

— Вот я и сказал себе,— продолжал Саид,— «Если всевышний сохранил его на этом свете, я найду дверь его дома открытой».

— Но открылись ли тебе небесные двери? — спокойно возразил шейх.

— Для меня нет места на земле. Родная дочь отказалась от меня...

— Как она сходна с тобой...

— Почему, владыка?

— Тебе нужен дом, но не истина...

Саид подпер голову смуглой рукой с набухшими венами.

— В минуту тоски отец всегда шел к тебе за помощью,— задумчиво произнес он.— И я подумал...

Не повышая голоса, шейх перебил его:

— Но тебе нужен только дом.

«А может, он меня так и не узнал?» — тревожно мелькнуло в голове.

— Нет, не только дом. Я хочу, чтобы всевышний сжалился надо мной...

— «И сказала Мариам: «Не стыдно ли тебе просить о жалости того, к кому ты безжалостен сам?» — нараспев протянул шейх.

Пустынную тишину внезапно нарушил рыдающий крик осла, и чей-то противный голос пропел: «Где ты, счастье мое, где удача?» И он вспомнил, как отец однажды поймал его на том, что он мурлыкал «Угадай-ка, угадай!», и легонько пихнул его с упреком: «Разве подобает петь такое, когда мы идем к святому шейху?» Молясь, отец закрывал глаза, раскачивался из стороны в сторону, голос его хрипел, по лицу струился пот. А ты сидел под пальмой, разглядывал при свете фонаря ряды молящихся, грыз плод домы * и чувствовал себя необъяснимо счастливым. Это было давно, еще до того, как ты отведал первую жгучую каплю любви. Шейх закрыл глаза. Казалось, он спит. Все вокруг уже стало привычным, и даже в воздухе не было прежнего запаха ладана. И он подумал, что привычка — основа лени, скуки и смерти. Это она, привычка, повинна во всех его злоключениях — в том, что он предан, отвергнут, что жизнь прожита напрасно.

— А моления бывают здесь, как и раньше? — Он спросил это только затем, чтобы вывести шейха из оцепенения. Но шейх молчал. И тогда он встревожился: — Ты даже не сказал мне: «Добро пожаловать!»

Шейх открыл глаза.

— Ничтожен просящий, и просьба его ничтожна.

— Но ведь ты хозяин этого дома!

— Хозяин этого дома рад тебе, как и всякому другому,— мягко проговорил шейх.

Ободренный Саид улыбнулся и поспешно сказал:

— А у меня вот ничего нет...

Солнечный луч перебрался с циновки на стену.

— Но как бы то ни было,— продолжал он,— а этот дом теперь стал и моим, как был когда-то домом моего отца и домом всякого, кто шел сюда, и за это тебе, владыка, мое спасибо.

— «О аллах, я не в силах отблагодарить тебя за твое добро. Возблагодари себя сам»...

— Но мне так нужно доброе слово,— с надеждой начал Саид.

— Не лги! — мягко упрекнул шейх.

Он опустил голову, отчего белая борода растеклась по груди, и ушел в свои мысли. Саид терпеливо ждал. Он отполз немного назад, прислонился спиной к полке с книгами и принялся разглядывать шейха. До чего же все-таки красив! Потом ему надоело ждать, и, он спросил:

— Может быть, тебе что-нибудь нужно?

Шейх, казалось, не слышал. Снова воцарилось молчание. Саид машинально следил взглядом за муравьями, которые легкой вереницей скользили по циновке. И тут вдруг шейх сказал:

— Возьми Коран и читай.

---

* Род пальмы с жесткими плодами.

Он смутился.

— Но ведь я только сегодня из тюрьмы... Я не совершил омовения...

— Соверши его и читай...

— От меня отказалась родная дочь,— жалобно заговорил Саид.— Испугалась меня, словно черта. А еще раньше ее мать изменила мне...

— Соверши омовение и читай,— мягко, но настойчиво повторил шейх.

— ...изменила мне с жалким негодяем, который учился у меня и, как собака, ждал моей подачки. Потребовала развод, пока я был в тюрьме, и вышла за него замуж!

— Соверши омовение и читай.

— Все мои деньги,— упрямо продолжал Саид,— все имущество, драгоценности — все он отнял. Большим человеком стал. Еще бы, теперь все бандиты в квартале — его люди.

— Соверши омовение и читай.

Саид нахмурился так, что на лбу проступили вены.

— Полиция не могла бы меня схватить. Я знаю, я сумел бы бежать, так уже бывало. Этот пес выдал меня. Сговорился с ней и выдал. И посыпались несчастья. Даже дочь и та от меня отказалась...

— Соверши омовение и читай,— укоризненно твердил шейх.—Читай: «Если любите аллаха, повинуйтесь мне и он возлюбит вас», читай: «Я избрал тебя...» Повторяй: «Любовь есть согласие и покорность его велениям, воздержание от того, что он запрещает, довольство тем, что он назначил и предопределил».

Ты видишь перед собой отца. Он радостно качает головой и с улыбкой глядит на тебя, будто хочет сказать: «Слушай и учись!» Ты же норовишь улучить момент и влезть на пальму. И тебе хочется камнями сшибать финики с дерева. А иногда ты потихоньку присоединяешься к хору молящихся. И, когда ты однажды возвращался домой в студенческое общежитие в Гизе, ты увидел ее. Она шла тебе навстречу с корзиной в руках, красивая и желанная, тая в себе все райское блаженство и все те муки ада, которые тебе суждено было изведать. Как это звучит тот стих, что особенно нравился тебе в молениях? «Явился и светом озарил твой путь. И увидал ты месяц в небе и увидал любимой лик». А солнце еще не зашло. Последняя золотая ниточка медленно тает в окошке. И впереди долгая ночь. Первая ночь на свободе. Один наедине со своей свободой. И с шейхом, который витает в небесах и бормочет слова, непонятные тому, кто играет с огнем. Но ведь податься-то больше некуда...

## Глава третья

Просматривая газету «Захра», он наткнулся на имя Рауфа Альвана и с жадностью стал читать. Он не успел еще отойти далеко от дома шейха Али Гунеди, где провел ночь. Посмотрим, в какой чернильнице черпает Рауф Альван свое вдохновение! Заметки о женских модах, рекламы радиоприемников, ответ читательнице, которую бросил муж. Красивые слова, но где же здесь Рауф Альван? Студенческое общежитие и милые дни прошлого. Сгусток неукротимой энергии, воплощенный в облике студента из провинции, который ходил в старой, поношенной одежде, но имел большое сердце. Рауф... Правдивое блестящее перо. Что же все-таки произошло? И где причина этих удивительных, прямо-таки загадочных превращений? Или, может, и здесь приключилось нечто, подобное тому, что произошло в переулке Сайрафи, где остались Набавия, Илеш и маленькая девочка, отказавшаяся от родного отца? Я должен его видеть. Шейх дал мне ночлег, но мне нужны и деньги. Я должен начинать жизнь

сначала, господин Альван. Ты так же мудр, как и шейх Али, ты — самое главное, что осталось у меня в этой беспощадной жизни. На площади Мааріф он остановился перед зданием редакции газеты «Захра». Грандиозно, ничего не скажешь. В такой дом непросто вломиться. И этот внушительный ряд автомобилей, застывший, как часовой у мрачных стен. И глухой рокот ротационных машин, доносящийся из-за решеток полуподвала, словно сонное бормотание какого-то огромного страшного существа. Слившись с общим потоком, Саид вошел в здание. Подойдя к справочному бюро, хрипло спросил:

— К господину Рауфу Альвану как пройти?

Чиновник оглядел его и, видимо оставшись недоволен — уж очень нагло смотрели эти узкие с прищуром глаза,— сухо бросил:

— Четвертый этаж.

Он направился к лифту. Среди посетителей он странно выделялся своим голубым пиджаком и ботинками на каучуке. И потом, этот крупный нос с горбинкой и вызывающий острый взгляд. В кабине лифта была девушка, и он снова со злобой вспомнил Набавию и Илеша. (Ну погодите же!) Оказавшись на четвертом этаже, быстро прошмыгнул мимо служителя в комнату секретаря. Большая продолговатая комната, стены из стекла, окно выходит на улицу. Никакой мебели. Секретарша по телефону убеждала кого-то, что господин Рауф Альван находится у главного редактора и будет не раньше, чем через два часа. Ну и ну! И все-таки он продолжал стоять с безразличным видом и с вызывающей бесцеремонностью разглядывал лица посетителей. А что с ними церемониться? Было время, когда он глядел на таких с одной мыслью — прирезать или не стоит? Но здесь мне Рауф не нужен. Совсем не подходящее место для встречи старых друзей. Да, видно, большим человеком стал Рауф. И комната эта ему под стать. А ведь был-то всего-навсего редактором в заштатной газетенке «Назир» на улице Мухаммеда Али. Но зато была эта газета глашатаем свободы. Так каким же ты стал теперь, Рауф? Изменил ли ты мне, как Набавия? Откажешься ли от меня, как Сана? Но не надо думать о дурном. Он твой друг и учитель, он — обнаженный меч, защищающий свободу. Таким ты его знал, и таким он остался, несмотря на это величие, внушающее невольный страх, и несмотря на свои странные статьи и изящную секретаршу. И если мне не удастся обнять его в этой крепости, то я разыщу его адрес в телефонной книге.

...Сидя на росистой траве у набережной Нила, он ждал, укрытый тенью дерева от света электрических фонарей. Месяц закатился рано, и среди ночного мрака остались только звезды. Подул прозрачный ласковый ветерок, принеся ночную прохладу, такую живительную после раскаленного безумия летнего дня. Обхватив колени, он сидел спиной к Нилу и не сводил глаз с виллы под номером 18. Дом открыт с трех сторон, а четвертой выходит в большой сад. Деревья, словно призраки, таинственно шепчутся о чем-то вокруг белого здания. Знакомое зрелище, символ богатства и власти. Но откуда? Каким образом? И в такой короткий срок! Даже ворам не снилось подобное. Раньше, глядя на такие виллы, я прикидывал, как бы туда залезть. Так почему же сегодня я жду, что в этой меня встретит теплое дружеское слово? Да, Рауф Альван, задал ты мне загадку. Но я ее разгадаю. Как странно — Махран... Альван... Почти в рифму. А собака Илеш завладел всем, что я имел...

К дому подъехала машина, и он встал. Когда сторож настежь распахнул ворота, он быстро перебежал дорогу и заглянул в машину, пытаясь разглядеть того, кто в ней сидел. Темно, не видно. И тогда он громко окликнул:

— Господин Рауф... Это я, Саид Махран...

Сидевший в машине выглянул в окно, и Саид услышал густой спокойный бас:

— О!.. Да никак Саид?

Он не успел увидеть лица, но в тоне голоса было что-то ободряющее. Несколько секунд выжидающего молчания, потом дверца машины распахнулась, и тот же голос коротко приказал:

— Садись.

Для начала неплохо. Нет, все-таки Рауф остался самим собой, несмотря на секретариат со стеклянными стенами и эту роскошную виллу. Машина по извилистой дорожке покатила к дому.

— Ну, Саид, как дела, дружище? Когда вышел?

— Вчера.

— Вчера?

— Да. Мне бы следовало сразу прийти к тебе, да не смог: неотложные дела задержали. И отдохнуть надо было. Пошел ночевать к шейху Али Гунеди, помнишь его?

Они вошли в дом.

— Еще бы... И твоего покойного отца помню. Ведь я не раз видел вас на молениях у старца...

— А забавно было, правда?

— Да, нравилось мне, как они пели.

Слуга зажег люстру, и Саид залюбовался ее устремленными вверх светильниками, в которых горели тысячи звезд. Статуэтки на золоченых подставках, словно вышедшие из тьмы веков. Лепные химеры на потолке, узорчатые ковры, мягкие кресла и подушки у ног. Взгляд его остановился на лице хозяина. Полное круглое лицо. Он так любил его, так часто не отрываясь в него глядел, что мог наизусть восстановить в памяти эти черты. И, пока слуга открывал дверь, которая вела в сад, и отдергивал шторы, он глядел на Рауфа, не забывая, правда, отмечать про себя все новые и новые красивые вещи, что были в комнате. Густой одурманивающий аромат долетал из сада. Голова у него закружилась, и все поплыло перед глазами. Лицо Рауфа вдруг расплылось и стало широким, как коровья морда. Нет, несмотря на всю свою живость, приветливость и радушие, где-то он все-таки недоступен. Аристократ. И повадки все такие, хотя нос приплюснут, а скулы широковаты. Тревожно забилось сердце — куда податься, если и эта последняя надежда рухнет? Рауф опустился на диван у двери на веранду и указал Саиду на одно из мягких кресел, которые окружали тонкую колонну, расписанную на сюжеты из мифологии. Он не заставил себя просить и сел, спокойно и просто. Рауф вытянул длинные ноги:

— Ты заходил ко мне в редакцию?

— Да, но я решил, что она едва ли самое подходящее место для встречи.

Рауф засмеялся. У него были испорченные, почерневшие у корней зубы.

— Да, если работаешь в газете, вертишься как белка в колесе. И что же ты, долго меня ждал?

— Целую вечность!

Рауф снова засмеялся, а потом многозначительно сказал:

— Ну, а дорогу сюда ты, конечно, нашел легко. Она, кажется, была тебе знакома и прежде?

Теперь уже и Саид рассмеялся:

— Еще бы, на этой улице я имел неплохую клиентуру. На вилле Фаделя-паши Хасанейна разжился тысячью фунтами, от актрисы Кавакиб вынес редкие алмазные серьги...

Вошел слуга, толкая перед собой столик на колесах, на котором стояла бутылка и два бокала, изящное лиловое ведерко со льдом, поднос с пирамидой яблок, закуски, кувшин с серебристой водой. Рауф сделал

знак слуге, чтоб тот вышел, и сам наполнил бокалы. Протянул один Саиду, поднял другой.

— За свободу!

Пригубил немного — Саид осушил свой залпом — и спросил:

— Ну а как твоя дочка? Кстати, я же совсем забыл — а почему ты, собственно, ночевал у шейха?

Он ни о чем не знает, но помнит, что у тебя дочка. Спокойно и сухо Саид вкратце рассказал историю своих злоключений и закончил:

— Вчера зашел в переулок Сайрафи и, конечно, тут же напоролся на легавого. А дочка — дочка меня не узнала. Испугалась, расплакалась...— Он налил себе вина.

— Ну что ж,— сказал Рауф,— все это грустно. Впрочем, дочка твоя и правда не виновата. Она тебя просто не помнит. А вырастет — узнает, полюбит...

— Да нет, все женщины одинаковы... Не верю я им больше...

— Это ты только сейчас так говоришь. А там — кто знает? Будешь думать по-другому. Так уж устроена жизнь...

Зазвонил телефон. Рауф снял трубку, расплылся в широкой улыбке и, взяв телефон, вышел на веранду. Саид пристально за ним следил. Женщина? Ну, ясное дело. Заулыбался, ушел на балкон, в темноту. Интересно, он по-прежнему не женат? Вот сидят они тут, пьют, разговаривают. И все-таки почему-то больно. Какое-то предчувствие говорит ему, что подобная встреча вряд ли повторится еще. Он сам не знает, откуда это чувство, но верит ему, как человек, привыкший полагаться на свою интуицию. Теперь Рауф — обитатель квартала, который существовал для тебя только как место доходного грабежа. Может быть, он и принимает-то тебя здесь поневоле. Может быть, он тоже переменился и от прежнего Рауфа не осталось ничего, кроме внешней оболочки? С веранды до него долетел смех, и он помрачнел еще больше. Взял яблоко и мрачно вонзил в него зубы. Вся твоя жизнь — живое воплощение идей человека, что безмятежно смеется в телефон, там, на веранде, и горе ему, если он изменил этим идеям. Рауф снова вошел в комнату, поставил телефон на место, сел. Он весь светился — так был собой доволен.

— Нет, что ни говори, а свобода — великая вещь. Можно потерять самое дорогое, но если у тебя есть свобода — все утраты тебе нипочем.

Он положил в рот кусок бастурмы.

— Итак, ты вышел из тюрьмы,— заговорил он снова, но по всему было видно, что он утратил интерес к разговору,— и теперь начнешь новую жизнь...

Он наполнил бокалы. Саид жадно ел. Украдкой он взглянул на своего собеседника, и тот поспешно улыбнулся. Но Саид успел поймать его откровенно неприязненный взгляд. Ты просто идиот, если думал, что он рад тебе искренне. Да это же обычная вежливость. Ему стыдно, но и стыд скоро исчезнет без следа. Да, эта измена, пожалуй, самая тяжелая. Какая страшная пустота.

Рауф протянул руку к резной китайской шкатулке, стоявшей в углублении колонны, взял сигарету, закурил:

— Такие-то дела, братец ты мой! То, что отравляло нам когда-то жизнь, ушло безвозвратно.

— Как же, еще в тюрьме об этом услышал. И кто бы мог только подумать? — сквозь зубы процедил Саид.

Очаровательная улыбка.

— Выходит, воевать нам больше не с кем...

— Что ж, пусть будет перемирие. В конце концов поле битвы обширно...— Он взглядом обвел комнату.— Да, хоть бы и этот роскошный зал — чем не поле битвы?

И тут же пожалел о своих словах. Глаза Рауфа сверкнули холодным блеском. (Ну надо же было тебе, невежа, брякнуть такое!)

— Не понимаю, что здесь общего...— В голосе его звучала тихая ярость.

Саид поспешил исправиться:

— Да нет, я просто хотел сказать... Прекрасная комната... Столько вкуса...

Рауф отвернулся и раздраженно бросил:

— Не юли. Выкладывай лучше все начистоту. Ведь я тебя насквозь вижу, сам знаешь...

Саид улыбнулся, но улыбка получилась жалкой...

— Клянусь, я не хотел сказать ничего обидного...

— Да будет тебе известно, я живу на деньги, которые в поте лица добываю собственным трудом...

— Я никогда в этом и не сомневался. Честное слово, ты напрасно так сердишься...

Рауф молчал, нервно куря сигарету. Саид прервал еду и, извиняясь, заговорил:

— Видишь ли, я еще окончательно не пришел в себя после тюрьмы. Наверно, долго еще буду учиться заново вежливым манерам. И потом, не забывай, я сейчас просто сам не свой после той встречи, которую мне устроили дома. И про дочку не могу забыть...

Ах, так. Рауф поднял брови, как бы давая понять, что больше не сердится. И, заметив, что Саид вопросительно поглядывает на поднос, бросил:

— Ешь...— К нему вернулось прежнее спокойствие.

Не заставляя себя упрашивать, Саид снова набросился на еду. Происшедшее нисколько не отразилось на его аппетите. Но Рауф, видимо, решил, что пора кончать.

— Надо все изменить в корне. Ты думал о будущем?

Саид закурил:

— Я еще весь в прошлом. Где уж тут думать о будущем!

— Мне почему-то всегда казалось, что женщин в мире больше, чем мужчин. А посему не стоит из-за измены жены так убиваться. И дочка в свое время узнает тебя и полюбит. Самое для тебя главное сейчас — найти работу.

Глядя на китайского божка — само олицетворение сонливой величавости,— Саид задумчиво произнес:

— В тюрьме меня научили шить...

Рауф удивился:

— Откроешь мастерскую?

— Ну уж нет!

— Тогда что же?

Саид вызывающе усмехнулся:

— В своей жизни я умел делать хорошо только одно...

— Неужели опять воровать? — В голосе его снова послышалось раздражение.

— А что ж, воровское ремесло — дело выгодное, сам знаешь...

Рауф взорвался:

— А почему, собственно, я должен это знать?

Саид прикинулся удивленным:

— Не надо так кипятиться, я хотел сказать — сам знаешь из моего опыта. Разве не так?

Рауф опустил глаза, словно раздумывая — верить или нет? Но радушное выражение окончательно исчезло с его лица, и он сказал тоном человека, который торопится закончить неприятный разговор:

— Ну, вот что. Сегодняшний день — не вчерашний. Ты был вором

и в силу ряда известных тебе причин был также моим другом. Но, я повторяю, сегодняшний день — не вчерашний. И если ты опять вернешься к старому, то будешь вором, но и только!

Саид резко вскочил, не в силах совладать с отчаянием, охватившим его со всей безжалостной откровенностью. Однако огромным усилием воли заставил себя сесть обратно и, стараясь казаться спокойным, предложил:

— Раз так, найди мне подходящую работу.

— Что ты называешь подходящей? Говори — я тебя слушаю.

Усмехнувшись в душе, Саид сказал:

— Ну, например, предложи мне работу у себя в газете. Я — человек грамотный, когда-то был твоим учеником. Под твоим наблюдением прочел горы книг. Ты ведь сам не раз говорил, что у меня большие способности...

Рауф так яростно замотал головой, что на его густой, черной, напомаженной шевелюре испуганно запрыгал отраженный свет люстры.

— Сейчас не время для шуток. Ты никогда не занимался журналистикой, к тому же только вчера вышел из тюрьмы. Нет, видно, я просто даром на тебя трачу время.

— Так что же, значит, заняться каким-нибудь жалким ремеслом?

— Честное ремесло не может быть жалким.

На смену отчаянию пришла пустота. Он обвел взглядом богатый красивый зал и горько усмехнулся:

— Как это благородно, когда богачи учат нас жить в бедности...

Вместо ответа Рауф взглянул на часы. Саид заторопился:

— В самом деле, я отнял у тебя бездну времени.

Рауф откровенно просиял:

— Что поделаешь, уйма работы.

— Спасибо,— сказал Саид.— И за теплый прием спасибо, и за ужин, и за доброту твою.

Рауф вытащил из кармана бумажник, вынул две бумажки по пять фунтов каждая и протянул их Саиду:

— Утешься. И не сердись на меня, я и правда занят. Тебе сегодня просто повезло, что застал меня.

Саид взял деньги, улыбнулся, пожал Рауфу руку, пожелал успеха и вышел.

## Глава четвертая

Так вот каков он, Рауф Альван. Вот она истина без прикрас — зловонный труп, не засыпанный землей. Другой Рауф, прежний, исчез без следа, как вчерашний день, как любовь Набавии или верность Илеша. Меня не проведешь. Красивые слова? Хитрость. Улыбки? Скривленные губы. Щедрость? Простое движение руки. Если б это было удобно, он не пустил бы меня даже на порог. Сам меня создал и сам же от меня отступился. Легко и просто изменил своим идеям, после того как я стал их воплощением. И вот теперь я стою, как потерянный, и мне не на что надеяться, и некуда податься, и никому я не нужен. Подлец, предатель. Даже если бы гора Мукаттам сейчас обрушилась на твою голову, и тогда, кажется, мне не стало бы легче. Интересно, а сам с собою наедине признается ли он в своей измене? Или и душу свою обманывает так же, как пытается обмануть других? Неужели никогда, даже ночью, не тревожит тебя твоя совесть? Хотел бы я заглянуть к тебе в душу, как заглянул сегодня в этот дом с зеркалами и статуэтками. Но нет, я нашел бы там только Измену. Нашел бы Набавию в облике Рауфа, или Рауфа в облике Набавии, или, может, не того и не другого, а Илеша Сидру. И Измена призналась бы мне, что среди всех земных подлостей она —

самая гнусная. Представляю, как они переглядывались за моей спиной — эти настороженные, тревожные, похотливые глаза. Такой взгляд бывает у кошки, когда она, крадясь на брюхе, несет с собой смерть беспечной птахе. А потом боязнь упустить удобный случай взяла верх над стыдом и колебаниями, и Илеш Сидра сказал ей где-нибудь в переулке Сайрафи, а может, и у меня дома: «Выдам его полиции — и дело с концом». И мать твоей дочери промолчала. И язык, что столько раз горячо шептал мне: «Люблю... Ты мой единственный мужчина»,— на этот раз безмолвствовал. И я, которого сам черт не мог перехитрить, попал в западню. И посыпались пинки и удары. А теперь ты, Рауф. Даже не знаю, который из вас подлее. Да нет, пожалуй, все-таки ты. Мудрец и книжник. Это ты довел меня до тюрьмы, а сам поселился во дворце из света и зеркал. Или ты, может, забыл свои огненные речи о хижинах и дворцах? Но я-то их хорошо помню.

Дойдя до моста Аббас, он опустился на каменную скамейку и тут только подумал: куда же я иду? И словно обращаясь к темноте, сказал:

— Чем скорее, тем лучше... И сейчас же, сразу, пока он не успел опомниться...

Нечего долго раздумывать. В конце концов, это твое ремесло, и оно не менее справедливо и законно, чем всякое другое. В особенности, когда обращается против того, кто создал эту философию. А я, когда разделаюсь с этими негодяями, найду, где спрятаться. Разве могу я забыть прошлое, и жить, и дышать одним воздухом с Набавией, Илешем, Рауфом? Наверно, сумей я это сделать, мне было бы легче! И не маячила бы впереди виселица. Но что это за жизнь, если не сведены счеты? А прошлого мне не забыть, хотя бы по той простой причине, что для меня оно не прошлое, а настоящее. И налет этой ночью будет лучшим началом. И добыча будет жирной.

В темные воды Нила стрелами вонзался отраженный свет береговых фонарей. Кругом было спокойно и тихо. И чем ближе становился рассвет, тем ниже клонились к горизонту звезды. Он встал, потянулся и берегом пошел к тому месту, откуда пришел. Он шел не спеша, старательно обходя слабые огни немногих фонарей, что еще горели в этот предрассветный час. Завидев вдали дворец, открытый с трех сторон, он пошел еще медленнее. Внимательно оглядел улицу, заборы соседних домов, берег... Дом, казалось, сомкнул веки, и безмолвные призраки-деревья, как часовые, стерегли его сон. Измена почивала с безмятежным спокойствием, которого совершенно не заслуживала. Ну, да ничего, богатая добыча с лихвой вознаградит меня за всю обманутую жизнь. Неторопливым спокойным шагом, не глядя по сторонам, он пересек улицу, завернул за угол и пошел по переулку, зорко всматриваясь в темноту. Убедившись, что вокруг никого нет, быстро нырнул к забору под тень жасмина и сирени и застыл. Если в доме есть собака — твой приятель, разумеется, не в счет, — она разразится лаем. Но все было тихо. Ну, Рауф... Сейчас твой ученик облегчит тебе немного бремя благ мирских. Он просунул руки сквозь плотную паутину ветвей, легко и привычно, как обезьяна, уцепился за край ограды, подтянулся и легко перенес тело через острые зубцы. Очутившись в зарослях по ту сторону, на мгновение замер, переводя дыхание. Надо привыкнуть к этой гуще мрака и кустов. Ты влезешь на крышу и оттуда проникнешь в дом. У тебя нет с собой ни отмычки, ни карманного фонаря, и ты не имеешь ни малейшего представления о том, как расположены комнаты. Ведь Набавия не стирала в этом доме белье и не работала служанкой. Набавия теперь помогает Илешу. Он яростно поморщился, отгоняя от себя неприятные мысли. Потом осторожно вышел из кустов и, встав на четвереньки, пополз к дому. Ощупывая стены, обогнул его, наткнулся рукой на водосточную трубу и с ловкостью акробата полез наверх. Он думал добраться так до крыши, но по

дороге заметил открытое окно и решил рискнуть. Поставил ногу на выступ окна, ухватился за карниз, и вот он уже стоит на подоконнике. Мягко соскользнул на пол. По-видимому, это была кухня. Как темно. Он принялся искать дверь. Наверно, в комнатах будет еще темнее. Но там деньги, дорогие вещи, и ты должен идти. Ага, вот она, дверь... Дело подвигается. Но до чего же темно, просто хоть глаз выколи. Внезапно он ощутил какое-то слабое дуновение. Ветер? Откуда здесь быть ветру? Гладкая поверхность стены завернула, он протянул руку в темноту... Раздался слабый звон, почти шелест. Испуганно замерло сердце. Да это же хрустальные подвески на занавеси! Значит, он почти у цели. В кармане есть спички... Нет, не нужно... Слегка раздвинув занавес, он проскользнул вовнутрь и осторожно задернул его за собой, стараясь не издать ни единого звука. Сделал шаг, другой и наткнулся на кресло или какой-то другой предмет. Обошел его. Если бы было чуть-чуть светлее. Теперь от этого зависело все. Но его окружал мрак, тяжелый и давящий, как кошмар. Хотя бы на мгновение зажечь спичку!.. И тут его ослепил яркий свет, вспыхнувший со всех сторон. Резкий и внезапный, как смертельный удар. От неожиданности он зажмурился, а когда открыл глаза, увидел на расстоянии двух шагов от себя Рауфа. Почти рядом. В своем длинном, до полу, халате Рауф показался ему огромным, как великан. Одна рука в кармане — наверно, револьвер, — ледяной взгляд, от которого мертвящим холодом сжало сердце, в изгибах рта застыла откровенная ненависть. Молчание, тягостное, как тюремные стены. («Опять к нам? Что так скоро?» — ехидно скажет тюремный надзиратель.)

— Прикажете вызвать полицию? — произнес чей-то металлический голос.

Он обернулся и увидел позади себя трех слуг.

— Ступайте и ждите за дверью, — хрипло приказал Рауф.

Дверь открылась, потом закрылась, и он машинально отметил про себя, что верхняя часть ее украшена перламутровой инкрустацией. Какая-то пословица, а может, стих из Корана. И снова его встретил хмурый взгляд, и опять он услышал хриплый голос:

— Неужели ты настолько глуп, что думал меня провести? Ну, нет, со мной такие номера не проходят. Уж я-то тебя насквозь вижу!

Саид молчал. Он еще не пришел в себя — уж слишком велика была неожиданность. Проиграл. Эта мысль приводила в отчаяние, но вместе с ним в душе крепла уверенность, что на этот раз, как и вчера, он, кажется, избежал ареста.

— Я ждал тебя и был начеку. Я даже знал, откуда ты придешь. Я был бы рад ошибиться, но, видно, ты создан для того, чтобы оправдывать самые скверные предположения...

Саид опустил глаза — под ногами навощенный до блеска пол — и снова, по-прежнему молча, поднял голову.

— Я вижу, говорить с тобой бесполезно. Как был ты подонком, так и остался. И таким будешь до конца дней своих. Поэтому самое разумное, что можно сделать, это передать тебя полиции.

Саид нервно передернулся.

— Ну, отвечай, — жестко сказал Рауф, — зачем пожаловал?

Саид опять потупился.

— Решил объявить мне войну. Забыл все хорошее, что я для тебя сделал. А все — злоба, зависть... Что, неплохо я тебя разгадал?

Не поднимая глаз от пола, Саид сдавленным голосом произнес:

— Сам не знаю, что со мной происходит. Со вчерашнего дня голова как в тумане.

— Лжешь. Да только напрасно, меня обмануть тебе не удастся. Просто-напросто ты решил, что теперь я сам стал одним из тех богачей, против которых боролся, а раз так, то и разговор со мной другой.

— Вовсе даже нет...

— Тогда зачем же ты тайком проник в мой дом? Не для того ли, чтобы меня ограбить?

Саид долго обдумывал ответ.

— Не знаю. Я сейчас сам не свой, и ты мне все равно не поверишь.

— Еще бы! Потому что знаешь, что лжешь, и сам себе не веришь. Возомнил и о себе невесть что, обалдел от зависти и, как обычно, потерял голову!.. Нет, хочешь не хочешь, а, видно, придется тебе сидеть снова...

Саид сдался:

— Прости меня, должно быть, я все еще во власти моего преступного прошлого.

— Никакого тебе прощения не будет. Да я же все твои мысли читаю! Все, о чем ты думаешь. Все. До единого слова! Нет, теперь-то уж я передам тебя полиции...

Саид умоляюще поднял руку:

— Не надо...

— Ах, не надо?! А разве ты этого не заслуживаешь?

— Заслуживаю, но только все равно не надо!

Рауф сердито засопел:

— Если еще раз попадешься мне на пути — знай, раздавлю, как букашку!

Саид облегченно вздохнул, рванулся к двери.

— Верни деньги! — раздалось сзади.

На мгновение он оторопел, потом вынул из кармана две смятые бумажки, и тот, другой, взял их у него, процедив:

— Вон отсюда!

...И снова он шел по берегу Нила. Уцелел? Как будто бы так. Но радость от сознания, что на этот раз сошло, омрачалась мыслью о пораженнии. Вдыхая сырой предрассветный воздух, он с удивлением вспомнил, что кроме двери с инкрустациями и навощенного пола так и не успел ничего разглядеть в комнате, где попался. Э, да ладно!.. И он отдался на милость росистой прохлады, забыв на время даже о двух бумажках, с которыми пришлось расстаться.

Высоко над головой в утреннем небе догорали последние звезды...

## Глава пятая

Посетители — их было немного — повскакали со своих мест, не веря глазам.

— Смотрите, кто пожаловал!

— Подумать только!.. Вот радость-то!

Обступили, бросились обнимать, целовать: хозяин кофейни, муаллим Тарзан, подскочил первым. Саид с благодарностью пожал каждому руку:

— Спасибо, муаллим Тарзан, спасибо, братцы...

— Давно вышел?

— Позавчера.

— Мы так и думали — к празднику выпустят.

— Слава аллаху...

— Ну, а остальные?

— Помаленьку, все в свое время...

Муаллим Тарзан наконец прервал беседу, увел его к себе, усадил на диван. Остальные вернулись на свои места, и в кофейне водворился прежний покой. Все тут осталось без перемен. Казалось, он был здесь только вчера. Та же круглая комната, тот же медный столб, деревянные

стулья с плетеными соломенными спинками. Те же немногие завсегдатаи, сидящие по углам. Так же попивают чай и заключают сделки. За широким окном и распахнутой дверью по обе стороны дома — простор, бескрайний, бесконечный. Безбрежное море мрака — ни лучика света. И тишина, которую только изредка нарушает доносящийся издалека хохот. Легкий сквознячок пролетел от окна к двери, принеся с собой сухой и чистый воздух пустыни. Саид взял из рук мальчика-слуги стакан чая, не дожидаясь, пока он остынет, отхлебнул, наклонился к муаллиму Тарзану.

— Ну, как идут дела?

Тарзан недовольно скривил губы.

— Не на кого стало положиться...

— А в чем дело?

— Дармоеды! Можно подумать, они на государственной службе...

Саид фыркнул.

— Во всяком случае, дармоеды лучше, чем предатели. Из-за одного вот такого предателя я в тюрьму сел...

— Да что ты!

Саид прищурился.

— Будто не знаешь?

Муаллим Тарзан отрицательно покачал головой. Саид наклонился к его уху:

— Мне нужен хороший револьвер!

Тарзан с готовностью ответил:

— Пожалуйста!

Саид благодарно хлопнул его по плечу и смущенно добавил:

— Ты уж извини...

Тарзан укоризненно зажал ему рот:

— Кому-кому, а тебе ни в чем нет отказа!..

Он с облегчением снова принялся за свой чай. Потом встал и подошел к окну — невысокий, худой, упругий. Ветер раздувал полы его пиджака, как парус. Он глядел в темную пустоту за окном. Песчинки звезд рассыпаны по небу. У дома на пригорке тоже зажглись звездочки: любители темноты и свежего воздуха закурили. Где-то вдали, на западе, у самого горизонта мерцают огни Аббасии. Только глядя на них, понимаешь, как далеко забралась в пустыню эта маленькая кофейня — островок в безбрежном океане, самолет в бескрайнем небе. Он высунул голову из окна, и до него долетели голоса сидевших на пригорке, тех, кто в погоне за свежим воздухом и покоем забрались так далеко. Торопливо пробежал мальчик-слуга, неся наргиле* — раскаленные угли с треском разбрасывали искры. Оживилась беседа, громче зазвучал смех, и чей-то молодой разомлевший голос произнес:

— Нет, вы покажите мне такое место на земле, где было бы спокойно!

А другой задорно возразил:

— Да хоть бы вот здесь. Разве тебе сейчас не спокойно?

— Вот именно — сейчас! В том-то все и дело.

— А чем плохо, когда тревожно? По крайней мере, хоть забываешь о том, что будет завтра.

— Значит, покой и мир тебе не по душе?

— Когда знаешь, что тебя ждет виселица, бежишь от такого покоя без оглядки!

— Это к делу не относится! Тут уж пусть тебе палач поможет разобраться!

— Ну да, здесь-то вы горазды болтать, в темноте да в пустыне. А в город небось не вернетесь!

---

* Кальян.

— Да все несчастье в том, что враг наш — он же нам и приятель.
— А я скажу тебе, все несчастье в том, что наш приятель нам враг.
— Попросту говоря, мы сами трусы.
— Может быть. Да только разве в наше время остались смелые люди?
— Ничего подобного, смелость — во все времена смелость.
— А смерть — во все времена смерть.
— Так же, как ночь и пустыня!

Ну и разговор! Ничего не понял. И все-таки их слова задели какую-то струну в твоей душе. Неясную и загадочную, как тайны этой ночи. И ты тоже когда-то был молод и пылок. И вино энергии пьянило сердце. И ты взял револьвер, как борец, не как убийца. Вон там, за этим пригорком, на котором стоит кофейня, молодые парни в поношенной одежде, но с чистыми сердцами учились стрелять. А тот, что живет теперь в вилле под номером 18, был у них главным. Стрелял сам, и учил их, и изрекал истины. «Револьвер важнее хлебной лепешки, Саид Махран! И важнее молитвенных песнопений, на которые ты ходишь с отцом!» А однажды вечером он спросил: «Ты знаешь, Саид, что нужно человеку в этой стране? — И не дожидаясь ответа, сказал: — Револьвер и книга. Револьвер,— чтобы рассчитаться с прошлым, и книга,— чтобы обеспечить себе будущее. А потому учись стрелять и читай!» А его лицо, ты помнишь его лицо, когда он хохотал в студенческом общежитии? «Неужели украл? Не побоялся? Ну, молодец! Ничего, узурпаторам только на пользу, когда немного облегчат их грехи. Ты имел на это полное право, Саид, можешь не сомневаться!» И пустырь этот знает, на что ты способен. Твои пули без промаха били в цель. Про тебя говорили, что ты — сама смерть.

Он подставил лицо свежему ветру и зажмурился. Чья-то рука легла ему на плечо. Он обернулся: муаллим Тарзан протягивал ему револьвер.

— Стреляй своих врагов и да поможет тебе аллах...

Он взял оружие, осмотрел его, попробовал курок...

— Сколько я тебе должен, муаллим Тарзан?
— Так дарю.
— Да нет! Я надеюсь разбогатеть с твоей помощью!
— Сколько же раз для этого надо выстрелить?

Они снова сели на диван. Из-за двери донесся звонкий женский смех.

Муаллим Тарзан усмехнулся:

— Это Нур, помнишь ее?

Саид поглядел в темноту.

— По-прежнему сюда ходит?
— Так, иногда. Увидит тебя — обрадуется.
— Кого-нибудь подцепила?
— Еще бы! Фабриканта-кондитера сынок!

Муаллим окликнул мальчика-слугу:

— Не в службу, а в дружбу, сбегай позови сюда Нур!

Пусть зайдет. Посмотрим, что сделало с ней время. Как она тебя когда-то добивалась! Но твое сердце безраздельно принадлежало другой, той, изменнице. Когда стремишься к тому, кто к тебе глух,— что может быть тяжелее? Это все равно как соловьиная песня, обращенная к камню, или ласковое дуновение ветерка, разбивающееся об острые зубцы ограды. Даже ее подарки ты отдавал той, что теперь зовется Набавия Илеш. Он стиснул зубы и потрогал револьвер в кармане. В дверях показалась ничего не подозревающая Нур. Увидела его, растерянно застыла на месте. Улыбаясь, он пристально ее разглядывал. Похудела. Лицо покрыто толстым слоем пудры. Узкое белое платье вызывающе обтягивает фигуру, юбка выше колен, бесстыдно обнаженные плечи.

Коротко подстриженные волосы растрепало ветром. Бросилась к нему, жмет руки:

— Как я рада...

И засмеялась нервным смехом, скрывая волнение.

— Как живешь, Нур?

Она опустилась на диван между ним и муаллимом Тарзаном. Тарзан улыбнулся:

— Как видишь, она все такая же.

А Нур сказала:

— Я-то хорошо, а ты как? Выглядишь как будто неплохо. Но глаза? Ты на кого-то зол, я вижу...

Он усмехнулся:

— Не понимаю!

— Ну, я не знаю, как тебе объяснить... Какой-то яростный взгляд и на губах невысказанная угроза...

Он рассмеялся, а потом сказал с сожалением:

— Сейчас твой кавалер за тобой заедет...

Она задорно тряхнула головой, смахивая со лба непокорную прядь.

— Ну и что? Он такой растяпа!

— Не важно. Все равно ты не свободна...

Она хитро взглянула на него.

— Хочешь, я пошлю его ко всем чертям?

— Только не сегодня. Как-нибудь в другой раз, мы еще встретимся.— И уже серьезно добавил: — Говорят, неплохой кусок, а?

— Неплохой. Собираемся поехать на его машине в пустыню, к гробнице Мученика. Он любит там бывать.

Он насторожился, и от нее это не скрылось.

— Говоришь, любит бывать в пустыне у гробницы Мученика?

Веки ее встревоженно вздрогнули. Она подняла глаза, встретилась с ним взглядом и, встревожась еще больше, с укором сказала:

— Вот видишь! Тебе нужна совсем не я!

Но он как будто вовсе и не заметил обиды в ее голосе.

— Почему? Я к тебе очень хорошо отношусь.

— Нет, тебе нужен мой богатый ухажер...

Он усмехнулся:

— От него зависит, будем ли мы вместе...

Она испугалась.

— Если это откроется, я пропала. Отец его большой человек, да и родственников у него уйма! Тебе что, нужны деньги?

— А еще больше машина!

Он ласково потрепал ее по щеке:

— Веди себя как ни в чем не бывало. Ничего ужасного не случится, и никто о тебе ничего не подумает. Я не ребенок. А после этого мы будем очень часто встречаться, даже чаще, чем ты думаешь...

## Глава шестая

Он стороной обошел казармы и углубился в пустыню, торопясь скорее добраться до цели. Пустыня Аббасия была хорошо знакома ему еще с прежних времен, и теперь он шел уверенно, как по компасу. Завидев черневший при звездном свете круглый купол гробницы, осмотрелся. Они должны быть где-то здесь. Пристально вглядываясь в темноту, он стал обходить гробницу. Машины не было. Наконец у южной стороны он заметил ее черный силуэт. Он решительно двинулся вперед. потом пригнулся и, уже крадучись, подобрался поближе. До слуха долетел

прерывистый шепот и какие-то неясные звуки. Очень сожалею, но придется нарушить ваше уединение. Сейчас на смену восторгу придет испуг. Что поделаешь, в этой жизни все радости недолговечны. «У нас хорошие намерения, но нам не хватает организованности»,— говаривал, бывало, Рауф Альван. Он подкрался еще ближе и осторожно взялся за ручку автомобильной дверцы. Ощутил на лице жар чужого дыхания, с силой рванул ручку:

— Ни с места!

Испуганный вскрик. Застывшие от неожиданности силуэты. Он навел на них дуло револьвера:

— Одно движение, и я буду стрелять... Выходите!

Жалобный голос Нур:

— Умоляю...

И голос мужчины, скрипучий и сиплый, как будто все горло у него забито песком:

— В чем дело?.. Что вам угодно?

— Вылезайте!

Схватив в охапку одежду, Нур выскочила из машины. Ее спутник медлил, но Саид не дал ему замешкаться, приставил пистолет к виску.

— Не надо, не стреляйте! — плачущим голосом закричал тот.

— Деньги! — коротко потребовал Саид.

— Они там, в пиджаке!

Саид грубо подтолкнул Нур к машине:

— Достань!

Охнув, она повиновалась.

— Только, ради всего святого, не стреляйте!

— Давай пиджак!

Торопливо вынул бумажник и швырнул пиджак владельцу.

— И уноси ноги, покуда цел!

Не оглядываясь, мужчина бросился в темноту.

Саид вскочил в машину, включил зажигание. Мотор взревел. Нур поспешно приводила в порядок свой туалет.

— А я хоть и ждала тебя, все-таки здорово напугалась!

Ведя машину на предельной скорости, он буркнул:

— Выпей, успокойся.

Он протянул бутылку, она отхлебнула глоток, отдала ему. Он тоже отпил немного.

— Бедняжка! У него даже колени задрожали от страха!

— Добрая ты женщина, Нур. А я вот не люблю фабрикантов.

Нур откинулась на сиденье и значительно сказала:

— Ты вообще никого не любишь!

Нашла время кокетничать! Он ничего не ответил. Машина неслась в сторону Аббасии.

— Нас могут увидеть вместе,— жалобно проговорила Нур.

Он и сам об этом подумал. Свернул на извилистую улицу, которая вела в квартал Дираса, немного сбавил скорость.

— Я зашел к Тарзану, чтобы раздобыть револьвер и договориться со знакомыми шоферами такси. Кто бы мог думать, что мне так повезет с машиной!

— Вот видишь, я всегда тебе помогаю!

— Верно. А на этот раз ты была просто неподражаема. Почему бы тебе не стать актрисой?

— Но я вначале по-настоящему испугалась!

— А потом?

— Мне кажется, сумела довести роль до конца и он ничего не заподозрил.

— Он так перетрусил, что ему было не до подозрений!

Она повернула к нему голову:
— А зачем тебе понадобились револьвер и машина?
— Для дела...
— Ты с ума сошел! Давно ли ты вышел из тюрьмы?
— Ну, позавчера.
— И опять за старое?
— А тебе легко расстаться со своей профессией?

Она не ответила, глядя в темноту, туда, где под фарами машины блестела дорога. У поворота ночь как будто стала еще темнее и гуще — дорога вплотную подошла к горе.

— Ты вот не знаешь,— вкрадчиво сказала Нур,— как я убивалась, когда узнала, что тебя посадили!
— Как?

Она обиделась:
— Опять ты со своими насмешками!
— Да я вовсе не смеюсь! Я тебе верю: у тебя хорошее сердце.
— Зато у тебя вообще нет сердца...
— А оно по инструкции осталось в тюрьме...
— Нет, ты и в тюрьму попал уже без сердца...

Что она привязалась — сердце, сердце?.. Спросила бы лучше ту, что мне изменила, или друзей-предателей, или дочь, которая меня оттолкнула...

— Ничего, когда-нибудь и я найду свое сердце...
— А где ты вчера ночевал? Жена твоя знает, где ты?
— Не думаю.
— Ты поедешь домой?
— Вряд ли... Во всяком случае, не сегодня.
— Поедем ко мне! — попросила она.
— А ты живешь одна?
— Да. Улица Нагмуддин, за кладбищем.
— Номер?
— Там один дом. Внизу контора по продаже джута, а позади кладбище.

Он не удержался от смеха.
— Ну и местечко ты себе выбрала!

Она тоже рассмеялась.

— А меня там никто не знает. Никто ко мне никогда не приходил. Ты будешь первым... Я живу на самом верху...

Она ждала, что он скажет, но он молчал, сосредоточив все внимание на дороге, которая с трудом пробиралась между горой и домами. И среди них дом шейха Али Гунеди. В конце квартала он остановил машину и повернулся к Нур:

— Здесь я тебя высажу.
— А разве ты со мной не пойдешь?
— Я приду потом.
— Куда же ты денешься в такую поздноту?
— Слушай. Ты сейчас прямо отсюда пойдешь в полицейский участок. Расскажешь там все, что случилось, слово в слово, как будто ты ни при чем. Опиши меня, только, разумеется, совсем наоборот — толстый блондин, на правой щеке шрам... Скажешь, что я увез тебя силой. Ну, изнасиловал, что ли...
— Изнасиловал?

Он даже не улыбнулся:

— Скажешь, что все это случилось в пустыне Зенхом, что я по дороге выбросил тебя и угнал машину.
— А ты потом придешь?

— Приду. Слово мужчины! А ты сумеешь в участке сыграть свою роль так же хорошо, как в машине?

— Постараюсь...

— Прощай.

И машина умчалась...

## Глава седьмая

Предел удачи — если удастся убить сразу обоих. И Набавию и Илеша. А тогда остается только свести счеты с Рауфом Альваном и бежать. Может быть, и за границу. Да, но с кем же останется Сана? Острая колючка, вонзившаяся в сердце... Тобою руководит не разум, а чувство. Ты должен выждать, устроить свои дела и потом налететь внезапно, как коршун. Нет, ждать не имеет смысла. За тобою следят. Следят с самого момента, как ты вышел из тюрьмы. А теперь, после истории с этой машиной, слежка усилится... К тому же в бумажнике у сынка фабриканта оказалось всего несколько фунтов. Нет, надо нанести удар немедленно, не откладывая, иначе все пропало. А с кем останется Сана? Острая колючка, вонзившаяся в сердце. Оттолкнула тебя, и все же мысль с тоской возвращается к ней снова и снова. Может быть, ради тебя оставить в живых твою вероломную мать? Отвечай, я должен решить это сейчас же. Он бродил в темноте вокруг дома на углу улицы Сиккат аль-Имам, а машина ждала его в конце улицы со стороны площади у крепости. Торговые лавки закрыты. На улице ни души. Никто его как будто не ждет. В такой час все живое прячется в нору. Он, наверно, и не подозревает, что ты, как гром среди ясного неба, явишься сводить с ним счеты. А может быть, он начеку, ждет? Но все равно это тебя не остановит. Даже если Сана останется сиротой. Потому что, господин Рауф Альван, предательство — это большая гнусность. Сжимая в кармане револьвер. он посмотрел на окна. И, чтобы в этой жизни легче дышалось живым, подлецов надо выкорчевывать с корнем. Крадучись вдоль стены, он подошел к подъезду. Проскользнул внутрь и затаив дыхание стал подниматься по лестнице. В непроглядной тьме миновал первый этаж, потом второй... третий. Вот она, дверь, за которой укрылись самые отвратительные помыслы и низменные страсти. Если я постучу, интересно, кто мне откроет? Набавия? И не притаился ли где-нибудь легавый? Мерзавцам не уйти от пули, даже если мне придется силой вломиться в дом. Надо действовать, и не медля ни минуты. Позор, если Илеш Сидра проживет хоть день, когда Саид Махран на свободе. Ты сумеешь улизнуть. Так уже бывало десятки раз. В считанные секунды ты умеешь взобраться на самый верх дома и спрыгнуть с третьего этажа на землю целым и невредимым. Стоит тебе захотеть, и у тебя вырастут крылья. Нет, как ни крути, а в дверь постучать придется, хотя стук может привлечь внимание. Особенно сейчас, глубокой ночью. Набавия поднимет крик, всех перебудит, сбегутся эти негодяи, примчится легавый. Надо разбить стеклянный проем в верхней части двери Он думал об этом еще в машине по дороге сюда и теперь окончательно утвердился в своем решении. Он вынул револьвер и сквозь решетку рукояткой ударил по стеклу. Посыпались осколки, и звон их прозвучал как сдавленный крик в ночи. Он вплотную подошел к двери и, держа пистолет наготове, застыл в ожидании, напряженно вглядываясь в темноту. Сердце учащенно билось. За дверью послышался голос: «Кто там?» Мужской голос. Голос Илеша Сидры. Он узнал его, несмотря на то что в висках стучало от боли. Дверь слегка приоткрылась. Слабый луч света и в нем неясный силуэт человека, озиравшегося с опаской. Саид нажал курок. Короткий выстрел, резкий, как визг злого духа. Вскрик. И снова выстрел, настигший уже падающее тело. И снова крик — пронзительный крик ужаса и мольбы о помощи.

Набавия. «И до тебя дойдет очередь, от меня не уйдешь! Я — сам дьявол»,— злорадно отозвался он, уже сбегая с лестницы. Кубарем скатился вниз, на мгновение остановился, чтобы перевести дыхание, и незаметно выскользнул на улицу. Спокойным шагом пошел прочь. До слуха долетел стук распахиваемых ставен, тревожные голоса, какие-то восклицания... Вот наконец и машина в конце улицы. Он рывком открыл дверцу и сел. От площади в сторону улицы Сиккат аль-Имам бежал полицейский. Саид быстро нырнул на дно машины. Полицейский протопал мимо. Тогда он осторожно вылез, сел за руль и, не теряя времени, поехал прочь. На обычной скорости обогнул площадь; крики еще не утихли. Впрочем, он слышал их еще долго после того, как отъехал далеко и уже, казалось, не мог их слышать. В полном оцепенении он вел машину, не понимая, куда и зачем едет. Убийца. Но еще остается Рауф Альван, этот утонченный предатель. Пожалуй, он-то поважнее Илеша Сидры и опаснее его. Убийца. Я стал убийцей. Перешел в иную категорию. И судьба у меня теперь будет иной. Раньше похищал ценности, теперь буду похищать подлые людские души. «А до тебя еще дойдет очередь, ты от меня не уйдешь, я — сам дьявол». Только ради Саны я пощадил тебя. Но я найду для тебя кару пострашнее. Ты будешь бояться смерти и жить в вечном страхе, не зная ни минуты покоя, покуда я жив. Улица Мухаммеда Али. Он сидел за рулем и все ехал, ехал куда-то. Теперь имя убийцы у всех на устах. Мне надо скрыться. Я должен изо всех сил остерегаться виселицы. Нет, нет, палач не спросит меня, какое мое последнее желание. Придется им повременить с этим вопросом. Он наконец стряхнул с себя оцепенение. Машина почти миновала улицу Армии и приближалась к Аббасии. Удивительное дело! Его опять невольно привело к этому опасному месту. Он резко развернулся, дал газ и в несколько минут достиг моста. У первого же перекрестка остановил машину, спокойно вылез и, не оглядываясь по сторонам, пошел прочь. Он шел неторопливо, словно прогуливался. На смену недавнему нервному напряжению пришла пустота и тупая боль. Сейчас ночь, но тебе некуда идти. И не только сейчас. А Нур? Но у нее появляться рискованно, и особенно сегодня. И этот мрак будет продолжаться вечно...

## Глава восьмая

Он толкнул дверь во двор дома шейха, и она легко поддалась. Он вошел, прикрыл ее за собой. Снова тот же некрытый двор, та же пальма, такая высокая, что кажется, будто верхушка ее упирается в звезды. Вот где хорошо прятаться. Каморка шейха, погруженная во тьму, открыта, как всегда. Можно подумать, его здесь ждали. Он тихо переступил порог. До слуха донеслось невнятное бормотание, из которого он уловил только слово «аллах». Очевидно, шейх не заметил, как он вошел, а может, сделал вид, что не заметил. Он незаметно пробрался в свой угол, туда, где были сложены его книги, и, как был в пиджаке и ботинках, с револьвером в кармане, опустился на циновку. Вытянул ноги, лег, опираясь на локти, и откинул назад голову, чувствуя во всем теле смертельную усталость. Голова гудит, как пчелиный улей. И некуда деваться. Вспомни еще раз и еще раз треск выстрела и крик Набавии и снова обрадуйся, что так и не услышал испуганного голоса Саны. Надо бы поздороваться с шейхом, но почему-то внезапно пропал голос. А ты еще думал, что заснешь, как мертвый, стоит только преклонить голову к земле. «...от которого задрожат те, что убоятся господа своего, и при упоминании имени аллаха смягчатся их сердца...» Когда же спит этот удивительный человек? Но «удивительный человек» вдруг проговорил нараспев какую-то загадочную, одному ему понятную фразу и громким голосом на всю

комнату изрек: «И прозрели их сердца, и слепота сковала им очи». Саид не удержался от улыбки. На мгновение он даже забыл обо всех своих огорчениях. Поэтому-то он меня и не заметил. Да я и сам себя почти не замечаю. Спокойную тишину ночи вдруг нарушил крик муэдзина. И он вспомнил другую ночь, когда тоже не спал до рассвета, и так же кричал муэдзин, и он предвкушал что-то радостное, что должно было произойти на следующий день,— он уже не помнит, что именно. И как он, услышав тогда голос муэдзина, встал, довольный, что избавился наконец от томительной бессонной ночи, и выглянул в окно навстречу голубому рассвету и улыбавшейся заре, полный радостного ожидания чего-то хорошего, о чем он уже забыл. И он навсегда полюбил рассвет за этот напев муэдзина, за голубизну небес, улыбку наступающего утра и ощущение теперь уже забытой радости. И вот снова настает рассвет, а он от усталости не может даже потрогать револьвер в кармане. Шейх стал готовиться к молитве, зажег светильник — он по-прежнему не обращал на Саида никакого внимания. Расстелил молитвенный коврик, уселся и тут только спросил:

— А ты не будешь молиться?

Он не ответил — от усталости даже язык перестал ему повиноваться. Уже засыпая, сквозь затуманенное сознание он увидел, как шейх начал молиться. Ему снилось, что он в тюрьме и его, несмотря на примерное поведение, стегают плетью. И он кричал, униженно и жалко. Потом они начали поить его молоком. Потом он увидел малышку Сану. Она под лестницей хлестала кнутом Рауфа Альвана. Потом он услышал, как читают Коран, и понял, что кто-то умер. Потом он увидел себя в машине. За ним гнались, но в моторе что-то испортилось, и ему пришлось отстреливаться во все стороны. Но вдруг из радиоприемника в машине возник Рауф Альван и, прежде чем он успел выстрелить, схватил его за руку и вырвал револьвер. И тогда Саид Махран закричал: «Если хочешь, убей меня, но дочь моя ни в чем не виновата! Это не она хлестала тебя кнутом под лестницей, а ее мать, Набавия, которую подговорил Илеш Сидра!» Потом он увидел себя в кругу молящихся у шейха Али Гунеди. Он пришел сюда, чтобы скрыться от погони, и шейх осуждающе спросил его: «Кто ты такой и как ты среди нас оказался?» И он сказал: «Я — Саид Махран, сын твоего верного мюрида»,— напомнил шейху про пальму, и про плод домы, и про счастливые былые дни. Но шейх вдруг потребовал у него пропуск. Саид удивился и сказал, что мюриду пропуск ни к чему и что в религии и праведники и грешники равны, но шейх сказал, что он не любит праведников. И тогда Саид показал ему свой револьвер и сказал, что каждая недостающая пуля — убитый человек, но шейх упорно требовал пропуск, говоря, что правительство дало очень суровые установки на этот счет. И Саид снова удивился, недоумевая, с чего это правительство вдруг стало встревать в дела религии. И тогда шейх сказал, что это сделано по предложению уважаемого господина Рауфа Альвана, кандидата на высшую духовную должность. И Саид в третий раз удивился и сказал, что Рауф самый обыкновенный предатель и преступник, на что шейх ответил, что поэтому-то его и прочат на эту высокую должность. Ведь именно он посулил дать Корану новое толкование, согласно которому для каждого откроются возможности соответственно его покупательной способности. А доходы от изданий этого Корана поступят в фонд строительства клубов — клуб фехтования, клуб охотников, клуб самоубийц. И тогда Саид сказал, что он готов быть казначеем в департаменте по новому толкованию Корана и Рауф Альван поручится за него, как за самого способного из своих учеников. И тут шейх прочел суру Победы *, на пальме зажглись фонари и один из моля-

* Глава из Корана.

щихся пропел: «О жители Египта, счастливы вы, приютив у себя Хусейна!..»*

Он открыл глаза. Все вокруг было в каком-то нелепом красном тумане. Потом он увидел шейха. Тот сидел, скрестив ноги, спокойный, неподвижный, ослепительно белый — борода, рубаха, шапочка... Услышав, что Саид завозился, шейх тут же спокойно поглядел в его сторону. Саид смутился и поспешно сел. Ярким светом вспыхнули воспоминания о событиях минувшей ночи.

— Скоро уже вечер,— сказал шейх,— а ты ничего не ел...

Саид посмотрел на окошко, снова перевел взгляд на шейха и растерянно повторил:

— Скоро вечер...

— Да. Я сказал себе: «Не буду его будить. Всевышний посылает нам свои дары, когда пожелает...»

Он встревожился. А что, если кто-нибудь видел, как он проспал тут целый день?

— Во сне я слышал, как сюда заходили люди...

— Ничего ты не слышал. Но тут были люди. Один принес поесть, другой подмегал, полил кактус и пальму и побрызгал двор водой к приходу молящихся.

Он насторожился:

— А когда они придут, владыка?

— К заходу солнца. А ты когда пришел?

— На заре...

Наступило короткое молчание. Шейх провел рукой по бороде.

— Ты очень несчастен, сын мой!

— Почему? — тревожно спросил он.

— Ты спал долго, но и во сне ты не был спокоен. Как ребенок, без присмотра оставленный на солнцепеке. Ему жарко, хочется в тень, а он продолжает идти по жаре. Неужели ты еще не научился правильно ходить?

Саид потер покрасневшие веки.

— Как-то не по себе становится, когда подумаешь, что тебя видели спящим...

— Кто не видит, что происходит вокруг, для того происходящее не существует,— невозмутимо произнес шейх.

Саид осторожно потрогал в кармане револьвер. А если бы вдруг взять да и прицелиться в шейха, что бы он сделал? Какая сила на свете способна поколебать его спокойствие?

— Ты голоден? — снова спросил шейх.

— Нет.

Ему показалось, что шейх слабо улыбнулся:

— Если верно, что всевышний делает нас нищими, верно и то, что он дарует нам богатство.

— Вот именно — если! — И насмешливо добавил: — Что бы ты сделал, владыка, если бы имел несчастье быть женатым на такой женщине, как моя жена, и если бы родная дочь оттолкнула тебя?

В чистых глазах шейха мелькнуло сострадание.

— Пути всевышнего неисповедимы...

Прикуси язык, или он тебя предаст и все выболтает, тебе хочется во всем сознаться. А ему, наверно, это вовсе ни к чему. Он и так, должно быть, обо всем догадывается. Он все видит, все знает. Под окном раздался крик газетчика. Он быстро выбежал, подозвал газетчика, протянул монету и, взяв газету «Сфинкс», вернулся. Шейх был забыт. Глаза впи-

---

* Хусейн — сын имама Али, внук Мухаммеда. Согласно преданию, могила его находится в Египте.

лись в жирный черный заголовок через всю страницу: «Зверское убийство в районе крепости». Он пробежал заметку и ничего не понял. Может, это какое-то другое убийство? Нет, вот его портрет, а рядом портреты Набавии и Илеша Сидры. Так кто же, в таком случае, убитый? Подробно изложена вся его история, позор, разнесенный по свету, как пыль в период ветра хамсин. Человек вышел из тюрьмы и обнаружил, что жена вышла замуж за одного из его помощников. Но все-таки кто же убитый? Ничего не понимаю. Надо прочесть все сначала. Надо понять, кто тобою убит, кого настигла твоя пуля. Что такое? Убитый — совершенно незнакомый тебе человек, ты впервые видишь его на портрете. Читай еще раз. Стало быть, Набавия и Илеш Сидра съехали с квартиры в тот самый день, когда ты побывал там в присутствии легавого и прихвостней Илеша, а на их месте поселилась другая семья. Наверно, перекупили у Илеша контракт с хозяином дома. Значит, голос, который ты слышал, принадлежал не Илешу. И кричала вовсе не Набавия. И убит был человек по имени Шаабан Хусейн, рабочий лавки пряностей на улице Мухаммеда Али. Саид Махран пришел, чтобы убить свою жену и старого приятеля, а вместо этого убил нового постояльца Шаабана Хусейна. Один из соседей заявляет, что видел, как Саид, совершив преступление, выходил из дома. Сосед стал звать полицию, но голос его потерялся в общем шуме. Какая идиотская ошибка, какое бессмысленное злодейство! Тебе угрожает виселица, а Илеш Сидра цел и невредим. Вот она, истина, страшная, как пустота обворованной могилы. Он с трудом оторвался от газеты. Шейх Али Гунеди смотрел сквозь окошко на небо и чему-то улыбался. Ему вдруг стало страшно и на мгновение захотелось проследить за взглядом шейха. Может, и он увидит на небесах нечто такое, что вызовет улыбку? Но он не сделал этого. Пусть его улыбается, пусть видит то, что не доступно взорам других. Но скоро придут мюриды, и его могут узнать — ведь многие видели его портрет в газете. Тысячи людей сейчас рассматривают твое лицо, иные с удивлением, иные со страхом, иные с тайным звериным удовольствием. А ты скрываешься от погони и будешь скрываться до конца дней своих. Одинокий, вынужденный бояться даже собственного отражения в зеркале. Живой труп.

Будешь прятаться из норы в нору, как мышь, которой угрожает яд, и кошки, и палка. А враги твои будут злорадствовать. Шейх повернулся в его сторону и ласково сказал:

— Устал ты.. Встань, умойся...

Он раздраженно свернул газету:

— Я сейчас уйду и избавлю тебя от своего присутствия...

— Здесь твой приют,— мягко сказал шейх.

— Верно, но, может, у меня есть и другой приют, кроме этого...

Шейх опустил голову.

— Если бы это было так, ты бы не пришел ко мне.

Уйди в горы и жди, пока не настанет ночь. Не выходи до темноты. Избегай света и радуйся ночному мраку. Какая усталость, а все ради чего? Ради того, чтобы убить Шаабана Хусейна. Кто ты, Шаабан? Я тебя не знаю, и ты меня никогда не встречал. Есть ли у тебя дети? Думал ли ты когда-нибудь, что будешь убит человеком, который тебе не знаком и который сам тебя в глаза не видел? Убит ни за что. Убит, потому что Набавия Слиман вышла замуж за Илеша Сидру. Убит по ошибке пулей, которая предназначалась другому. Я убийца, но я ничего не понимаю. И даже сам шейх Али Гунеди не способен здесь ничего понять. Я бы рад хоть что-нибудь понять, но задача мне не по силам.

— Как ты устал,— снова повторил шейх.

— Жизнь утомительна.

— Да, иногда мы так говорим,— согласился шейх.

Саид встал и пошел к двери:

— Прощай, владыка!

— Бессмысленные слова,— возразил шейх,— скажи: «До свидания!»

## Глава девятая

Как темно. Впору превратиться в летучую мышь. И этот запах жареного масла, несущийся из дверей. Когда же наконец вернется Нур? И одна ли она вернется? И сможешь ли ты оставаться у нее, пока не угихнет боль? Наверно, ты думаешь, Рауф, что избавился от меня навеки? Как бы не так! С этим револьвером я способен на многое, вот только не изменила бы удача. Он поможет мне разбудить тех, в ком уснула совесть. Это они во всем виноваты. Они создали Набавию, Илеша, Рауфа и им подобных...

Ему послышалось, что кто-то поднимается по лестнице. Так и есть. Он заглянул в пролет и увидел, как по стенке движется слабый огонек. Должно быть, зажгла спичку. Она поднималась медленно, тяжело ступая со ступеньки на ступеньку. Надо дать ей знать, что ты здесь, а то еще, чего доброго, испугается от неожиданности. Он кашлянул и в ответ услышал испуганное:

— Кто там?

Он свесился с перил и прошептал:

— Это я, Саид Махран...

Шаги заторопились. Он слышит ее учащенное дыхание. Спичка погасла. И вот Нур уже рядом, он чувствует ее руку на своем плече.

— Ты? Боже мой... Ты давно ждешь?..— Голос ее прерывается — то ли от радости, то ли от быстрой ходьбы.

Отперла замок, втащила его за собой, зажгла свет. Длинный пустой коридор. Сбоку — дверь. Небольшая квадратная комната. Нур бросилась к окну, распахнула его настежь — в комнате стояла страшная духота. Он повалился на кушетку и жалобно сказал:

— Я пришел еще в полночь. Ждал тебя, ждал, чуть не состарился...

Она стянула с себя платье и целую кучу каких-то тряпок. Села на другую кушетку напротив.

— По правде говоря, я уже не надеялась, что ты придешь...

Их усталые взгляды встретились, и он улыбнулся, стараясь скрыть внутреннее равнодушие:

— Почему? Я же дал честное слово...

Она слабо усмехнулась:

— Вчера в полиции меня совсем измучили допросом. Все домогались, где машина.

Он сбросил пиджак и остался в пыльной пропотевшей рубашке.

— Хотя она мне и была еще нужна, я решил ее бросить. Так что они ее найдут и вернут законному владельцу. На то и власти, чтобы одних воров защищать от других.

— Что ты вчера натворил? — тревожно спросила она.

— Да ничего. В свое время узнаешь.

Он поглядел в окно и глубоко вздохнул:

— А окно твое выходит на север, в сторону моря. Хорошо здесь дышится...

— До самого Баб ан-Наср пустырь. Здесь кладбище...

Он улыбнулся:

— Так вот откуда свежий воздух...

С какой жадностью она на тебя смотрит. А ты ощущаешь только скуку. И, вместо того чтобы утешить ее, думаешь о своем унижении. Возвращаясь к прерванному разговору, она спросила:

— Ты долго ждал?.. Так досадно получилось...
Он испытующе поглядел на нее.
— Теперь я останусь у тебя надолго...
Она встрепенулась от радости.
— Хоть навсегда...
Он мотнул головой в сторону окна.
— Вот именно, пока не поселюсь по соседству.
Она не слышала, думая о чем-то своем.
— А дома о тебе не будут беспокоиться?
Он поглядел на свои ботинки.
— У меня нет дома...
— Да нет, я говорю о твоей жене...
О моем страдании. О безумии и пуле, истраченной понапрасну. Ждешь от меня унизительного признания. И увидишь, что теперь стало еще труднее проникнуть в душу, которая была закрыта для тебя прежде. Но какой смысл лгать, когда газеты обо всем уже раззвонили?
— Я же тебе сказал — у меня нет дома...
Задумалась. Глаза заблестели от радости. А мне отвратительна твоя радость. И я вижу, какое увядшее у тебя лицо...
— Развелся?
Он с досадой махнул рукой.
— Еще давно, когда был в тюрьме. Слушай, давай не будем больше об этом...
— Дрянь! — злобно сказала она.— Таких, как ты, положено ждать, даже если они осуждены на вечную каторгу...
Хитришь. Но таким, как я, не нужна жалость. Не смей меня жалеть. Пулю вот жалко — сгубила невинного человека...
— Ну, положим, я сам перед ней во многом виноват...
— Все равно она тебя не стоит.
Вот это верно. И никакая другая женщина тоже. Но она свежа, полна жизни, а ты стоишь над пропастью. Слабое дуновение — и ты погаснешь. И я не испытываю к тебе ничего, кроме жалости.
— Меня никто не должен здесь видеть...
Она засмеялась, обрадованная, что наконец-то его заполучила.
— Я спрячу тебя так, что никто не найдет...
И вкрадчиво спросила:
— А ты ничего не натворил?
Он презрительно дернул плечами.
— Я приготовлю тебе поесть.— Она встала.— У меня всего полно. А помнишь, как сухо ты со мной обращался раньше?
— Мне было не до любви.
Она бросила на него укоризненный взгляд.
— Разве есть на свете что-нибудь важнее любви? Я говорила себе: у него каменное сердце. И все-таки, когда тебя посадили, никто по тебе так не убивался, как я...
— Наверно, потому я к тебе и пришел.
Она рассердилась.
— Да ты же встретил меня случайно!.. Небось даже забыл о моем существовании!
Он притворно нахмурился.
— Думаешь, мне некуда больше пойти?
Ей стало его жалко. Она подошла, погладила его по щеке и, извиняясь, сказала:
— «Запрещено дразнить зверей!» Я совсем об этом забыла... Как у тебя горит лицо!.. И все обросло щетиной. Что, если я предложу тебе принять холодный душ?

Он улыбнулся. Против душа он не возражал.

— Тогда марш в ванную! А я пока накрою на стол. Ужинать будем в спальне, там как-то уютней. И окно там тоже выходит на кладбище...

## Глава десятая

Могилы, могилы до самого горизонта... Надгробные плиты, словно руки, простертые к небесам в мольбе и страхе, хотя им-то, кажется, нечего бояться. Город Молчания и Истины. Перекресток, где сходятся пути всех — счастливцев и неудачников, убитых и убийц. Обитель, ставшая вечным приютом и для полицейских и для воров, в первый и последний раз мирно почивших рядом... Нур безмятежно похрапывает и, видно, не проснется уже до утра. И в этой тюрьме ты будешь сидеть, пока о тебе не забудет полиция. Вопрос только в том, забудет ли она... Смерть — это тоже измена, измена жизни, а могилы затем, чтобы оставшиеся в живых помнили об измене. Но ты и так не забываешь... Набавия, Илеш, Рауф... Впрочем, с момента этого нелепого выстрела ты сам подобен мертвецу. А ведь тебе предстоит стрелять еще, и не один раз...

Позади раздался громкий зевок, почти стон. Он обернулся. Нур сидела на постели — полуголая, встрепанная, растерянная. Увидела его, облегченно вздохнула:

— Мне приснилось, что тебя опять нет и я, как безумная, тебя жду...

— Это только во сне,— мрачно отозвался он,— а наяву все наоборот: ты уходишь, а я тебя жду.

Она вышла в ванную, потом вернулась, вытирая на ходу лицо и мокрые волосы. Принялась краситься. Он пристально следил за ее руками. Совсем другое лицо стало — веселое, молодое. Она ему ровесница — под тридцать, но, чтобы казаться моложе, идет на прямой обман. Сколько глупостей и подлостей делают люди в открытую. А вот воруют почему-то втихомолку. И это очень жаль. Он проводил ее до дверей и напомнил:

— Не забудь про газеты...

Вернулся в комнату, повалился на кушетку. Один, в полном смысле этого слова. Даже книги и те остались у шейха Али Гунеди. От нечего делать стал разглядывать матовый в трещинах потолок — будто перевернутое зеркало, в котором отражается скучный бесцветный ковер. В окно виден кусок тусклого неба, которое время от времени прорезает стайка голубей. Сана... Как она перепугалась. Вспомнишь — и даже больно становится, как при виде могил. Не знаю, доведется ли нам еще когда-нибудь встретиться. Да и где? Нет, в этом мире нелепых выстрелов мне не дадут тебя любить. Как часто в жизни мечты, словно неверная пуля, пролетают мимо цели, оставляя после себя только следы досадных промахов. Начать хотя бы с того первого промаха возле общежития студентов, что по дороге в Гизу. В конце концов, Илеш тебе никто. Случайный человек, и о нем жалеть не стоит. Но Набавия, эта женщина, овладевшая всем твоим существом!.. Если бы Измена, как сыпь, проступала на лице, уродство не могло бы рядиться в личину красоты. Сколько сердец избежало бы тогда бессмысленного обмана!.. Перед домом общежития стояла бакалейная лавка, и Набавия, неся миску, шла за покупками. В хорошем платье, а по мнению служанок, наверно, даже в нарядном. Такою ты узнал ее, служанку старой турецкой госпожи, что жила в конце улицы, одна занимая целый дом с большим садом. Богатая чванливая старуха, которая требовала, чтобы всякий, кто имел с ней дело, был красив, аккуратен и чисто одет. И Набавия всегда бывала гладко причесана, с длинной, до поясницы, косой, в туфельках без задника; просторная рубашка складно облегала молодое, полное кипучей жизни тело. И даже те, кто не был заворожен ею, как ты, находили, что она красива

истинной крестьянской красотой — круглое лицо, румяные полные щеки, светлые карие глаза, короткий толстый носик, губы, трепетно ожидавшие наслаждений, на подбородке темная мушка-родинка. Закончив работу, ты выходил из дома, к подъезду и смотрел в конец улицы, нетерпеливо ожидая, когда же наконец покажется ее складная фигурка. И вот она появилась и приближается своей милой походкой, и с каждым шагом в твоей душе растет непередаваемое прекрасное чувство, которое, подобно сладкой музыке, сопровождает само ее появление, и ты, как пьяный, не отрываясь глядишь на нее, и следишь за каждым ее движением, и ни на миг не теряешь ее из виду в толпе. Она заходит в лавку, потом выходит, и ты чувствуешь, что стал любить ее еще больше и должен ее о чем-то спросить или хотя бы как-то еще дать о себе знать: что-нибудь сказать, кивнуть, крикнуть — все равно! А потом она скрывается из виду, и ты понимаешь, что день кончен и впереди бесконечная ночь, и ты вздыхаешь, и опьянение понемногу проходит, и почему-то замолкают птицы на деревьях, и вдруг кажется, что наступила осень. И однажды ты замечаешь, что под твоими взглядами она как будто сильнее обычного покачивает бедрами и что она не прочь пококетничать, и ты срываешься с места и бежишь за ней. И, конечно, не рассчитав, обгоняешь ее, а потом уже на краю поля, возле одинокой пальмы оборачиваешься и — откуда только взялась смелость! — преграждаешь ей путь. И она пугается, естественно или притворно, и говорит: кто вы такой. А ты прикидываешься удивленным и говоришь: разве вы не знаете, я — тот, чьи глаза знают каждый изгиб вашего тела, а она сердито говорит: я не люблю нахалов. И ты говоришь: я, вроде вас, их тоже не люблю и, наоборот, люблю людей воспитанных, красивых, ласковых. И вы как раз такой человек. Теперь вы знаете, кто я такой. Позвольте, я понесу вашу корзину и провожу вас до дома. А она говорит: не нужна мне ваша помощь и не стойте на дороге. И идет дальше, а ты рядом, ободренный едва заметной улыбкой, которую она тут же спрятала, притворно нахмурив брови. Но все равно ты уже заметил ее, эту улыбку, легкую, как свежий ветерок, первый предвестник утра средь сумрака ночи. И она сказала: иди обратно, хватит, а то моя госпожа сидит на балконе и может нас увидеть, а ты сказал: я упрямый, я один не пойду, давай вернемся вместе, немного, вон до той пальмы, я должен с тобой поговорить. А она сказала: о чем мне с тобой говорить, я ведь не слепая, и замотала головой, но все-таки замедлила шаг и сердито заворчала что-то, но все-таки замедлила шаг, и капризно изогнула шею, но все-таки замедлила шаг. И ты понял, что она к тебе тоже неравнодушна и прекрасно видела, как ты стоял и вздыхал у дверей студенческого общежития, и ты вдруг подумал, что мимолетные взгляды на дороге грозят превратиться во что-то такое, что перевернет жизнь и твою и ее, и что вообще вся жизнь станет враждебнее и опасней, и ты сказал: до завтра, и остался стоять, где был, опасаясь, как бы ей не попало от злобной старой турчанки, которая жила на нашей улице, никому не понятная и загадочная. А потом ты пошел обратно и, дойдя до пальмы, от радости вскарабкался на нее, как обезьяна, и с трехметровой высоты спрыгнул на землю — там еще рос редис. Потом ты вернулся в общежитие и во весь голос затянул песню, ревя, как бык, взбесившийся от радости: А когда волей судеб ты попал на работу в бродячую цирковую труппу Зията и скитался из города в город, ты, боясь, как бы не оправдалась пословица «С глаз долой — из сердца вон», сказал ей: давай поженимся и будем жить как все люди. И вы еще стояли тогда у входа в мечеть, куда ты никогда не лазил, а другие дураки лазили, и вокруг было темно, а на небе у самого горизонта висел огромный месяц. И она обрадовалась и опустила глаза в землю, и в лунном свете блеснул ее низкий лоб, и ты сказал: у меня доходная работа, и я скоро разбогатею. Я живу в квартале Дираса, это по дороге в горы. Чистый земляной до-

мик, и недалеко живет шейх Али Гунеди, когда мы поженимся, ты его узнаешь. А мы должны пожениться, и чем скорее, тем лучше, ведь мы уже так давно любим друг друга, пора тебе уйти от своей старухи. А она сказала: я сирота, и у меня никого нет, кроме тетки, которая живет в Сиди Арбаин, а ты сказал: тем лучше, и поцеловал ее при лунном свете. А потом была свадьба, такая веселая, что о ней долго еще говорили, и Зият подарил тебе целых десять фунтов, и Илеш Сидра ходил такой счастливый, что казалось, будто это он женится, а не ты, и прикидывался верным, преданным другом, а на самом деле вовсе не был тебе другом, и просто удивительно, как я мог в нем так ошибиться, вроде бы я совсем не дурак, самого черта могу перехитрить. Я ходил как герой, а он был моим рабом, смотрел на меня обожающими глазами, пресмыкался, боялся невзначай чем-нибудь рассердить, подбирал крохи с моего стола и ждал моих подачек, и я думал, что пошли я его с Набавией хоть в пустыню, где бродил пророк Моисей, и то я буду там у него перед глазами и он не посмеет прикоснуться к ней пальцем, да и как придет ей в голову забыть про льва и отдать предпочтение собаке, но оказалось, что она просто грязная дрянь, от природы такая, убить ее мало; вот если бы только пули не ошибались и не попадали в невинных людей, вместо того чтобы убивать подлецов и мерзавцев, а ты потом страдаешь и мечешься в бессильной злобе и чуть не сходишь с ума. Забудь о том хорошем, что было. И про вашу первую ночь, проведенную вместе, тоже забудь, и про то, как мальчишки еще играли тогда во дворе, и любовь была чистой, ничем не омраченной, и как потом родилась Сана, и ты в первый раз увидел ее личико, и услышал ее крик, и взял ее на руки, тоже в первый раз; и ее улыбки, которых ты не считал, а зря, и весь ее облик, и если бы ты только мог забыть ее испуганный крик, который проник тебе в самую душу и умертвил все теплое и светлое, что там было...

Уже стало темно, и в комнате темно, и на улице, и еще сильнее давит молчание могил. А ты не можешь зажечь свет, потому что, пока не вернулась Нур, все в доме должно оставаться как прежде. Но ничего, можно потерпеть, терпел же ты в тюрьме, и терпел недавно эти гнусные рожи; хорошо бы выпить, но тоже нельзя — твою возню могут услышать, а в доме должна быть мертвая тишина, как в могиле. Даже мертвые не должны подозревать о твоем присутствии, и одному аллаху известно, как тебе удастся выдержать эту тюрьму и до каких пор ты обречен здесь сидеть. Он-то знал, что ты убьешь Шаабана Хусейна вместо Илеша Сидры. Нет, рано или поздно ты все равно выйдешь побродить хотя бы ночью, хотя бы по самым безопасным местам. Но лучше отложим это до тех пор, пока полиция в бесплодных поисках не высунет язык. А ты моли аллаха, чтобы Шаабана Хусейна не хоронили на этом кладбище — здесь старый район и груз таких жестоких смертей ему явно не под силу. Ты жди. Жди, пока вернется Нур, и перестань спрашивать, когда же она вернется. Привыкай к темноте, к молчанию, к одиночеству — ведь жизнь как будто не собирается изменять своим дурным привычкам. А Нур тоже несчастна, и чувство ее к тебе, в конце концов, тоже дурная привычка, а в тебе страдания и злоба убили все другие чувства, и ее любовь тебе неприятна, так же как и ее увядшая красота, и ты не знаешь, что тебе с ней делать — разве что пить с горя да жалеть ее — бедняжка так старается... Но все-таки она женщина, и ты не должен про это забывать, и Набавия тоже женщина, только трусливая и вероломная, и страх за свою жизнь все равно убьет ее еще прежде, чем у тебя на шее захлестнется петля от виселицы или сердце пронзит предательский свинец, и полиция будет порочить твое имя, а Сана ничего о тебе не узнает, и никто ей не расскажет про то, как ты ее любил, вот и получается, что и в этой любви ты тоже промахнулся, как и в...

Он незаметно заснул и, только проснувшись, понял, что спал. По-

прежнему один, в темноте, в квартире Нур на улице Нагмуддин. И никакой Илеш Сидра здесь не появлялся и в него не стрелял. И неизвестно, который теперь час. Тут он услышал, как в замке повернулся ключ, хлопнула входная дверь, в коридоре зажегся свет. А вот и Нур — улыбается, под мышкой большой сверток. Подошла, поцеловала.

— Принесла кучу всяких вкусных вещей, сейчас устроим пир...

От нее пахло вином.

— Ты выпила?

— Что поделаешь, издержки производства... Я только помоюсь, минутку... Вот тебе газеты...

Он проводил ее взглядом и впился в газеты... Утренние, вечерние... Ничего нового, но интерес к преступлению и к тому, кто его совершил, оказывается, значительно сильнее, чем ты думал. Особенно старается «Захра», газета Рауфа Альвана. С трогательной подробностью повествует о его воровском прошлом, детально расписывает налеты, о которых шла речь еще на суде, перечисляет ограбленные им дома богачей... И о нем самом написано немало — и про то, что он-де маньяк и что дерзость грабителя довела его теперь до убийства. А какие огромные заголовки. Тысячи людей обсуждают сейчас историю его преступлений, смакуют пикантные подробности измены Набавии и заключают пари о его дальнейшей судьбе. Еще бы, он стал сенсацией. Ему страшно, но вместе с тем он испытывает какую-то тщеславную гордость. Небывалое волнение охватывает его, мысли начинают беспорядочно путаться, легкий дурман пьянит голову. Ничего, он еще себя покажет. Если бы они только знали, о чем он тут думал, один, в тишине. Он выйдет победителем, пусть даже и после смерти. Один против всех, но что из этого? Они ведь не знают, о чем думает человек в тиши наедине с самим собой. Не знают, что он думает и о них, и не подозревают, глядя на эти фотографии, что глаза им лгут и речь идет вовсе не о каких-то чужих, незнакомых людях, а о них самих. Он умиленно посмотрел на портрет Саны, потом перевел взгляд на остальные снимки. Вот он сам — какое-то зверское выражение лица, а вот Набавия, которая вышла похожей на проститутку. И снова он глядит на портрет Саны... Смеется... Да, да, смеется, потому что не видит его и ничего не знает. И он не отрываясь смотрит на ее портрет, как будто гипнотизирует ее взглядом, и вдруг понимает, что все напрасно, и слышит, как за окном печально вздохнула ночь. Если бы украсть ее и уехать в такое место, где никто его не знает. Или напоследок перед виселицей увидеть ее еще хоть раз. Он встал, подошел к кушетке напротив, где в ворохе тряпья лежали ножницы, и аккуратно вырезал портрет. Когда Нур вышла из ванной, он уже почти совсем успокоился.

Нур позвала его в спальню, и он покорно пошел, удивляясь про себя, как это она принесла ему все новости, а сама до сих пор ничего не знает. Увидел стол, ломившийся от еды — Нур не поскупилась,— и почувствовал, как сильно он проголодался. Сел рядом с ней на кушетку у стола и довольно потрепал ее по мокрым волосам:

— Вот это, я понимаю, женщина! Не чета другим...

Она повязала голову красной косынкой и принялась разливать вино в бокалы, все время улыбаясь его словам. Освеженная купанием, как человек, отведавший простой, но здоровой пищи, смуглая, теперь уже без следов косметики на лице, гордая от сознания, что он наконец с ней, хотя бы и ненадолго, она сидела рядом, спокойная, умиротворенная, и на душе у него тоже стало спокойно и бездумно.

— И это говоришь ты? — она бросила на него недоверчивый взгляд.— Я иногда думаю, что скорее можно дождаться милости от полиции, чем от тебя...

— Да нет же, я правда по-настоящему доволен, что я с тобой...

— Честное слово?

— Можешь мне поверить. Твоя доброта обезоруживает...
— Так почему же она не обезоруживала тебя прежде?
О, видно, одержанная без труда победа не способна вытравить из памяти горечь тяжелого поражения.
— Раньше? Раньше у меня не было сердца.
— А теперь?
Он поднял свой бокал.
— Давай-ка лучше выпьем...
Они с аппетитом принялись за еду.
— Ну,— спросила Нур,— а что ты без меня делал?
Он повертел куриную косточку в тарелке с соусом:
— Сидел в потемках, смотрел на могилы... у тебя кто-нибудь здесь похоронен?
— Нет, мои все на кладбище в Блене...
Помолчали. Нур, гремя тарелками, принялась убирать со стола.
— Я вот тебя о чем хотел попросить,— заговорил он.— Купи-ка мне материи на офицерский китель...
— Зачем?
— А я в тюрьме научился шить, разве ты не знаешь?
— Ну, а китель тебе зачем? — в голосе ее звучала тревога.
— Считай, что меня призывают...
— Ты что, не понимаешь, что я не хочу потерять тебя снова?
— За меня бояться нечего,— сказал он и сам удивился своей уверенности.— Если бы не предатель, они бы меня никогда не схватили.
Но она только вздохнула.
— Ну, хорошо,— сквозь зубы процедил он,— а разве тебе самой никогда ничто не угрожает? — И улыбнулся.— Ну, например, какой-нибудь бандит в пустыне?
Она не удержалась от смеха. Подошла, поцеловала его.
— Пожалуй, ты прав! Чтобы жить, надо забыть о страхе...
Он кивнул головой на окно.
— И даже о смерти?
— Ой, что ты говоришь! — испуганно воскликнула она, но тут же задорно добавила: — А вообще-то говоря, я и о ней забываю, когда судьба сводит меня с тем, кого я люблю...
И он снова с удивлением подумал, какое у нее большое и горячее сердце, и восхитился ее упорством и почувствовал к ней признательность и жалость.
...Около лампы, не прикрытой никаким абажуром, кружилась ночная бабочка.

## Глава одиннадцатая

Дня не проходит, чтобы кладбище не принимало новых постояльцев. Можно подумать, весь смысл жизни для тебя теперь в том, чтобы прятаться за жалюзи и подглядывать за этой ни на миг не прекращающейся упорной работой смерти. Но если кто действительно заслуживает жалости, так это те, кто провожают покойников. Приходят толпами, плачут, а похоронят — и, глядишь, уже утерли слезы, болтают как ни в чем не бывало. Должно быть, какая-то сила, более могучая, чем смерть, убеждает их, что надо жить дальше. Вот так же хоронили и твоих близких... Махран, добрый старый сторож в студенческом общежитии... Честный и неприхотливый работяга. С малых лет ты помогал ему в работе, и, хоть жили вы бедно и трудно, но каждый вечер, бывало, кончался счастливым отдыхом в маленькой лачуге с земляным полом, что стояла во дворе дома. Отец с матерью мирно беседуют, а ты играешь. Отец был

набожным человеком, и вера учила его не роптать на жизнь. Студенты его уважали. Единственным местом, куда он ходил, был дом шейха Али Гунеди. Он-то и показал тебе туда дорогу. Пойдем со мной, Саид, я отведу тебя туда, где ты забудешь про свои глупые игры и поймешь, как сладка жизнь, освященная небесной благодатью, и сердце твое обретет покой, а сердечный покой — это редкий дар. Шейх ласково поглядел на тебя, а ты бесконечно удивился его белоснежно-седой бороде. А потом он сказал отцу: «Так вот он, твой сын, о котором ты мне говорил? Глаза у него смышленые, а сердце доброе. Иншалла *, хорошим будет человеком». И тебе очень понравился шейх Али Гунеди, понравилось его красивое лицо и добрые лучистые глаза. И еще тебе понравились молитвенные песнопения, нашедшие отклик в твоем сердце, еще и не тронутом любовью... И однажды Махран сказал шейху: «Научи этого малого уму-разуму»,— и шейх, наклонившись, внимательно заглянул тебе в глаза и сказал: «Мы учимся всю жизнь, но ты начни с того, что научись остерегаться самого себя. И пусть все, что ты делаешь, будет на пользу людям». И ты честно старался следовать его совету, но тебе это окончательно удалось, только когда ты стал настоящим вором. Дни летели незаметно, и однажды Махрана, отца твоего, вдруг не стало. Ты был тогда еще мал и не мог понять, что такое смерть. Да вряд ли и сам шейх Али Гунеди мог бы объяснить тебе ее загадку. «Горе нам... горе... умер твой отец...»,— причитала и вопила мать, а ты тряс головой и спросонья тер глаза, разбуженный посреди ночи ее криком в каморке с земляным полом. И плакал, понимая свое бессилие. Вот тогда-то и проявилось благородство Рауфа Альвана, студента с юридического факультета. Он во всем был благороден, и ты любил его так же, как шейха Али Гунеди, или даже больше. Ведь это его хлопотами тебя взяли сторожем вместо покойного отца, вернее, взяли вас с матерью. И ты, совсем еще мальчишка, начал работать и приносить деньги в дом. А потом не стало и матери. И Рауф Альван, конечно, помнит, что с тобой творилось, когда она заболела. Этот страшный день, когда у нее случилось кровотечение и ты кинулся в ближайшую больницу. И это была больница Сабера, стоящая как неприступная крепость в роскошном саду. Ты помнишь, как вы с матерью очутились в вестибюле, который подавил тебя своим великолепием. Казалось, все вокруг гнало вас прочь, но матери была необходима помощь врача, к тому же самая срочная. И тебе назвали какое-то светило — он как раз вышел в эту минуту из комнаты,— и ты со свех ног бросился к нему, бессвязно лопоча: «Там кровь... мать...» Но он только осуждающе окинул стеклянным взглядом твою рубаху и сандалии, покосился на кресло, где чернела фигура матери, и, не сказав ни слова, исчез. Там еще стояла медицинская сестра-иностранка, наблюдавшая всю эту сцену, и она подошла к тебе и что-то залопотала — что именно, ты не понял, но по тону ее догадался, что она тебе сочувствует. И хоть был ты мал, но разозлился, как взрослый, и разразился проклятьями и бранью, схватил стул, швырнул его об пол, сломал спинку. На шум сбежались служители, и через секунду вы с матерью уже были на улице, под деревьями. А через месяц после этого мать умерла в госпитале Каср аль-Айни**. Умирая, она все держала тебя за руку и не сводила с тебя глаз. А еще через месяц ты совершил кражу, первую кражу в своей жизни. Обокрал одного приезжего студента в общежитии. Он догадался, что это ты, но доказать не мог и в злобе накинулся на тебя с кулаками. Но тут появился Рауф Альван, вырвал тебя из его лап и мигом все уладил. Нет, ты все-таки был человеком, Рауф, и даже больше — ты был моим учителем. Когда мы остались с тобой одни, ты мне сказал: «Не волнуйся.

---

* Если пожелает аллах *(арабск.)*.

** Большой государственный госпиталь в Каире.

я-то во всяком случае считаю, что подобные кражи абсолютно справедливы». Но тут же добавил: «Только помни, что полиция будет вечно у тебя на хвосте. И какие бы убедительные доводы в свою защиту ты ни приводил — судья будет к тебе беспощаден. Ведь он тоже защищает себя. Но, в сущности, разве это не справедливо, когда ты крадешь, чтобы вернуть себе то, что было украдено у тебя другими? — Он окончательно распалился: — Разве это справедливо, что я должен учиться вдали от своей семьи и каждый день терпеть лишения, голод и муки?» Куда же девалась теперь твоя былая мудрость, Рауф? Ее нет. Умерла, как умерли мои отец и мать, как умерла верность моей жены.

...А потом тебе пришлось оставить работу в студенческом общежитии и искать себе заработок в другом месте. И ты стоял и ждал Набавию возле одинокой пальмы на краю поля, а когда она появилась, бросился к ней и сказал: не бойся, я должен тебе кое-что сказать, я уезжаю, я должен найти себе хороший заработок. И еще сказал: я тебя люблю, не забывай меня, я люблю тебя и буду всегда любить и сумею сделать тебя счастливой, и у нас будет богатый дом... В те далекие дни огорчения легко забывались, обиды прощались и все казалось простым и легким. А вы, могилы, утопающие там, во мраке, не смейтесь над моими воспоминаниями!

Он поднялся и сказал в темноту, обращаясь к Рауфу Альвану, так, будто видел его перед собой:

— Если бы ты, мерзавец, взял меня к себе в газету редактором, я напечатал бы свои мемуары и от твоего фальшивого блеска не осталось бы и следа...

И, помолчав немного, вслух спросил самого себя:

— Неужели я смогу опять сидеть здесь в темноте и дожидаться до рассвета, пока не придет Нур?

Им овладело вдруг такое нестерпимое желание выйти и побродить в ночи, что все попытки бороться с этим желанием мгновенно рухнули, как карточный домик. Он крадучись выбрался из дома и пошел по дороге к заводам, но потом свернул на пустырь. Теперь, покинув свое укрытие, он с особой остротой понял, как это тяжело, когда за тобой охотятся. Вот так, должно быть, чувствуют себя мыши или змеи, когда осторожно выползают из своих нор. Один в ночи... Вдали поблескивает огнями враждебно притаившийся город, а ты один и должен испить свое одиночество до дна.

...Он опустился на кушетку рядом с Тарзаном. В кофейне кроме них был только какой-то тип, промышлявший контрабандой оружия, да мальчик-слуга. Завсегдатаи сумерничали на пригорке. Мальчик принес чай. Тарзан наклонился к его уху:

— Тебе нельзя нигде оставаться больше чем на одну ночь...

— Уехать тебе надо, в Верхний Египет, к примеру,— сказал контрабандист.

— У меня там никого нет...

— О тебе говорят, как о герое, восхищаются...— сказал контрабандист.

Тарзан рассердился:

— А полиция им тоже восхищается, да?

Контрабандист затрясся от смеха, как будто ехал рысью на верблюде.

— Ну, полицию ничем не удивишь...

— Еще не родилось то чудо...— пробормотал Саид.

— Красть у богатых — что же в этом плохого? — задорно воскликнул мальчик. Саид не удержался от улыбки — вот и единомышленник нашелся!

— Если бы только не эти газеты!.. У них язык длиннее, чем веревка у виселицы. Да и что мне толку в людском сочувствии, когда меня ненавидит полиция!

Тарзан вдруг вскочил и бросился к окну. Выглянул, посмотрел по сторонам, потом вернулся на место:

— Мне показалось, что кто-то за нами подглядывает...

Саид тревожно оглянулся на дверь, покосился на окно. Мальчик побежал разузнать, в чем там дело, а контрабандист сказал:

— Вечно тебе что-нибудь померещится!

— Заткнись! — обозлился Тарзан.— Виселица — это тебе не шуточки!..

Сжимая в кармане револьвер, Саид вышел из кофейни и побрел по пустырю, настороженно вглядываясь и вслушиваясь в темноту. На душе стало еще тревожнее. Одинокий загнанный зверь... И враги твои, эта банда презренных трусов, погрязших в похоти, все равно не успокоятся, пока не увидят твой труп. Подойдя к дому на улице Нагмуддин, он заметил свет в окошке у Нур и впервые за весь вечер облегченно вздохнул. Нур спала. Он захотел приласкать ее, но, взглянув на ее лицо, невольно остановился: под глазами круги, веки покраснели и болезненно припухли.

— Что с тобой, Нур? — он присел на край кушетки.

— Ой, я совсем мертвая. Меня так рвало...

— Выпила лишнего?

Глаза ее налились слезами.

— Какое там выпила! Да я всю жизнь пью...

Он впервые видел, как она плачет, и ему стало ее жаль:

— Так в чем же дело?

— Избили меня...

— Полиция?

— Да нет, какие-то парни, наверное, студенты. ...я стала с них требовать деньги...

Он явственно ощутил, как внутри у него что-то сжалось.

— Пойди умойся, выпей воды...

— Потом... Сейчас просто сил нет...

— Мерзавцы! — яростно вырвалось у него. Бедная Нур! Он ласково потрепал ее по коленке.

— Я купила тебе материю — она кивнула на другую кушетку и, почувствовав ласковое прикосновение его руки, словно извиняясь, сказала:

— Наверно, сегодня я кажусь тебе такой противной!..

— Как тебе не стыдно?.. Иди умойся и ложись спать...

Они замолчали. Где-то у входа на кладбище залаяла собака. Нур тяжело вздохнула:

— «Твой путь, говорит, будет усыпан розами».

— Кто это говорит? — удивился он.

— Да гадалка! «И настанет, говорит, в твоей жизни мир и покой».

Он посмотрел в окно, в черную пропасть ночи и мрака.

— Но когда же это будет, когда? — заговорила снова Нур.— Жду, жду и никакого толку... У меня есть приятельница, старше меня на много лет, так она говорит мне частенько, что мы станем грудой костей и даже собаки не захотят нас жрать...

Ему вдруг показалось, что это говорит не Нур, а кто-то из тех, что лежат под могильными плитами. Щемящая тоска сжала сердце, и он не нашелся, что возразить. А она все говорила:

— Когда же сбудется твое предсказание, гадалка? Где они, обещанные тобою мир и тишина? Я хочу спокойно спать, хочу радостно просыпаться, хочу жить как все люди... Неужели ему, который создал даже небеса, так уж трудно это сделать?

Ты тоже мечтал об этом. А на деле получилось, что ты всю свою жизнь лазал по водосточным трубам, прыгал с крыш да прятался в темноте. Ну, и еще убивал по ошибке невинных людей. И он хмуро сказал:

— Тебе надо поспать...

— Мне надо, чтобы исполнилось гадалкино предсказание... И я знаю, оно все равно исполнится...

— Ну, хорошо, хорошо...

Она рассердилась.

— Ты успокаиваешь меня, точно я маленькая!

— Да ничего подобного!

— А я все равно знаю — оно исполнится...

## Глава двенадцатая

Он надел офицерский китель — примерить. Нур удивленно на него поглядела и не удержалась:

— Я тебя умоляю, будь умницей... Я просто не вынесу, если потеряю тебя снова...

— Не был бы я умницей — не сшил бы себе этот китель.

Он придирчиво осмотрел себя в зеркале и усмехнулся.

— Меньше чем на капитана я не согласен...

В ту же ночь она обо всем узнала: увидела его портреты в еженедельнике у одного из своих случайных клиентов. Ее отчаянию не было предела.

— Ты убил человека? Какой ужас!.. Ведь я же так тебя просила...

Он пробовал ее успокоить:

— Это произошло еще до того, как мы встретились...

Она была безутешна.

— Ты меня не любишь, я это знаю... Но разве мы не могли по-прежнему быть вместе, пока бы ты меня не полюбил?

— Так ведь такая возможность есть еще и сейчас...

— Нет,— сказала она с упрямым отчаянием,— теперь это невозможно... Ты совершил убийство...

Он усмехнулся:

— Убежим — чего уж проще...

— Так чего же мы ждем?

— Пусть немного уляжется эта шумиха.

Она топнула ногой.

— Говорят, на всех дорогах выставлены патрули... Можно подумать, до тебя никто никого не убивал...

Ох, эти газеты... Тайная война... И, стараясь казаться спокойным, сказал:

— Стоит мне захотеть, и я убегу...— Он дернул ее за волосы.— Ты еще не знаешь Саида Махрана! О нем все газеты трубят, а ты ему не веришь... Слушай меня... Мы навсегда останемся вместе, и предсказание гадалки сбудется...

На следующую ночь, спасаясь от одиночества, он снова пошел в кофейню Тарзана — узнать, нет ли новостей. На этот раз хозяин сам поспешил ему навстречу, увел подальше от дома в пустыню и смущенно сказал:

— Ты уж извини, да только и в кофейне у меня стало небезопасно...

Саид помрачнел.

— А я думал, что все уже улеглось...

— Какое там! С каждым днем только сильнее становится... Газеты подняли такую бучу. Тебе надо скрыться. Но только не вздумай сейчас бежать из Каира.

Саид разозлился.

— Можно подумать, газетам больше не о чем писать как о Саиде Махране!

— Они столько трезвонили о твоих прежних похождениях, что власти заинтересовались тобой всерьез...

И уже вдогонку ему сказал:

— Если хочешь, можем встречаться, только где-нибудь подальше от кофейни...

И снова он вернулся в свою нору к Нур, к своему одиночеству и бесконечному ожиданию во мраке. Это все Рауф, это его рук дело. Газеты уже забыли о тебе. И только «Захра» копается в твоем прошлом и подстрекает полицию. Сделали из тебя чуть ли не героя. А все затем, чтобы погубить. Нет, Рауф Альван не успокоится, пока не увидит тебя на виселице. В его руках все — и закон, и полиция. А ты? Какой смысл имеет твоя жалкая жизнь, если ты не можешь разделаться со своими врагами? Илеш Сидра сбежал неизвестно куда, а Рауф Альван укрылся в своем дворце за семью замками. Но какой смысл жить, если ты по-прежнему не отомщен? Нет, ничто не помешает тебе покарать собак. Ничто.

И он сказал вслух:

— Нет, ты все-таки скажи мне, Рауф Альван, как это время ухитряется так подло менять людей?

Студент-бунтарь. Нет, бунт в образе студента. Я сижу во дворе у ног отца, и до меня долетает твой сильный голос и рождает незнакомое волнение в душе. Ты говоришь об эмирах и пашах, и, как по волшебству, господа становятся ворами. А вот ты идешь в компании друзей по улице к провинциальному муниципалитету — все в широких рубахах, грызете тростник. И голос твой разносится по полю, и пальма склоняется тебе навстречу. И это было замечательно, и даже у шейха Али Гунеди я не встречал ничего подобного. Вот каким ты был, Рауф. И только благодаря тебе отец отдал меня учиться. А когда я окончил с отличием, не ты ли хохотал от радости и говорил отцу: «Ну, что, видишь? А ты еще не хотел его учить... Да ты только посмотри, какие у него глаза... Такой далеко пойдет...» И это ты научил меня любить книги и говорил со мной, как с равным. И я был среди тех, кто слушал тебя под пальмой, той самой, что стала свидетельницей моей любви. «Народ... Грабеж... Священный огонь... Революция... Голод... Попранная справедливость...» Когда тебя арестовали, ты поднялся в глазах моих до небес. А когда я впервые украл и ты за меня заступился, ты стал для меня божеством. В тот день ты вернул мне уважение к самому себе. Я помню, как ты сказал с грустью: «Одиночные кражи не имеют смысла, здесь нужен размах и организация». И с тех пор я не расставался с книгой и воровал. А ты выбирал для меня тех, кого стоило грабить. И грабежи принесли мне славу, и я почувствовал себя человеком. Я щедрой рукой раздавал деньги многим и, к сожалению, Илешу Сидре тоже. Но неужели же человек, живущий теперь в этой вилле, в самом деле ты, Рауф Альван? Коварная змея, укрывшаяся за газетной шумихой. Значит, и ты тоже хочешь моей смерти. Убить меня, как ты уже убил свою совесть. И как убил свое прошлое. Но, прежде чем умереть, я сам убью тебя. Ты — самый главный изменник. Как глупо — погибнуть из-за того, что убил человека, которого даже и в глаза не видел. Нет, чтобы жизнь имела смысл и смерть не была даром, я должен тебя убить. И пусть это будет последней вспышкой гнева против несправедливостей этого мира. И те, кто лежат там, на кладбище, за окном, тебе сочувствуют. И пусть над этой загадкой ломает голову шейх Али Гунеди...

...На рассвете дверь хлопнула — вернулась Нур. Принесла жареного мяса, вина и кипу газет. Она казалась веселой и как будто совсем забыла свои вчерашние огорчения. С ее приходом мрак рассеялся, и захотелось

жить и радоваться жизни — есть, пить, узнать, что в мире нового. Он тепло ее расцеловал, в первый раз без притворства. Если б она вот так всегда была с ним рядом. Единственный человек, подаривший ему любовь перед смертью. Он откупорил бутылку, налил себе вина, выпил залпом и почувствовал, как внутри все обожгло.

Она внимательно поглядела в его усталое лицо.

— Почему ты не спал?

Но он, погрузившись в газеты, уже не слышал ее.

— Сидеть и ждать в темноте — такое мучение! — сочувственно сказала она.

Он отшвырнул газеты.

— Что слышно?

— Да то же, что и раньше.

Сбросила с себя платье и осталась в одной рубашке. До него долетел запах дешевой пудры и пота.

— Люди говорят о тебе, как о герое... Если бы они только знали, как мы мучаемся...

— Это потому, — сказал он просто, — что у нас народ не боится воров и не питает к ним ненависти.

Некоторое время они молча жевали мясо.

— Но они, — вдруг заговорил он снова, — инстинктивно ненавидят собак.

Она улыбнулась и посмотрела на свои ногти:

— А я вот люблю собак...

— Да я не про этих...

— Очень люблю... у меня всегда был полон дом собак. А когда последняя из них сдохла, я так плакала, что решила больше никогда их не заводить...

Он усмехнулся.

— Если мы уже и сейчас друг от друга устали, мы не сможем любить друг друга.

— А ты и так меня не любишь и не понимаешь...

— Не надо, Нур,— умоляюще сказал он. — Жизнь так ко мне несправедлива. Не хватает еще, чтобы и ты...

Она выпила несколько бокалов один за другим, опьянела и вдруг призналась ему, что настоящее имя ее Шалабия, рассказала пару забавных историй из своего прошлого, когда она жила еще в Блене. Вспомнила детство, тихую жизнь, юность, побег из дома... Потом кокетливо сказала:

— А знаешь, мой отец был старостой...

— Не старостой, а слугой у старосты, — поправил он.

Она было нахмурилась, но он поспешил объяснить:

— Ты ведь сама мне раньше так говорила.

— Разве? — Она засмеялась. На зубах у нее зеленел прилипший листик петрушки.

— Вот так, — строго заметил он, — Рауф Альван стал предателем.

Она не поняла.

— Какой Рауф Альван?

— Никогда не лги, — сказал он злобно. — Когда человек обречен на одиночество и ожидание в темноте, он не в силах выносить еще и ложь...

## Глава тринадцатая

В полночь он шел по пустыне. На западе у самого горизонта в небе висел бледный серп месяца. Метрах в ста от пригорка, на котором стояла кофейня, он остановился и три раза свистнул. Он больше не может

ждать. Надо нанести удар, или он сойдет с ума. Сейчас Тарзан сообщит ему все новости. А вот и он сам — темная фигура, возникшая из мрака. Они обнялись.

— Что нового?

Толстяк Тарзан с трудом перевел дыхание.

— Наконец-то пожаловал один из них...

— Кто? — нетерпеливо спросил Саид.

— Баяза. Он сейчас в кофейне, заключает сделку...

— Не теряет, значит, времени даром... А как он пойдет обратно?

— По горной дороге...

Саид крепко пожал ему руку.

— Спасибо, Тарзан...

Он повернулся и быстро пошел к востоку, туда, где в слабом лунном свете чернела над рекой роща. Обогнул ее с южной стороны, где роща клином вдавалась в пустыню. Здесь начиналась горная дорога. Он притаился под деревом и стал ждать. Подул сухой приятный ветер, и роща тихо зашелестела. Пустыня тонула в безбрежном мраке. Он сжимал револьвер в кармане и думал, наконец-то представился случай застать врага врасплох. Потом предстоит самое трудное. А там — смерть, и на этом все кончится. И он сказал вслух, обращаясь к деревьям, которые, как пьяные, качались под ветром:

— В одну ночь обоих — сначала Илеш Сидра, потом Рауф... А там будь что будет...

Он был как на иголках. Но ждать пришлось недолго. Во мраке мелькнула тень — кто-то быстро спускался с пригорка к роще. И, когда их разделяло уже не более метра, Саид стремительно выскочил из своей засады.

— Ни с места! — Он выхватил револьвер.

Человек замер, как вкопанный. С перепугу он не мог вымолвить ни слова.

— Баяза, — сказал Саид, — мне известно, откуда ты идешь, и я знаю, что у тебя с собой деньги...

Послышался вздох — будто змея зашипела. Баяза поднял руку, неуверенно запротестовал:

— Какие там деньги... Так, гроши...

Он со всего размаха ударил Баязу в лицо. Разрубая слова, прохрипел:

— Ты что, не узнал меня, Баяза, собака?

— Кто это? — закричал Баяза. — Голос вроде бы знакомый... Не может быть... Саид Махран?

— Ни с места. Сделаешь шаг — пристрелю...

— Меня? Да за что же? Мы ведь с тобой не враги!

Саид сунул ему руку за пазуху, нащупал мешок, яростно дернул.

— Это раз...

— Но это мои деньги, — заверещал Баяза, — мы же с тобой не враги...

— Заткнись!.. Это еще не все...

— Но ведь мы были друзьями... Это нечестно так поступать...

Саид угрожающе потряс револьвером.

— Если тебе дорога жизнь, говори, где Илеш Сидра?

— Не знаю,— твердо сказал Баяза.— И никто этого не знает...

Последовал новый удар, сильнее прежнего.

— Не скажешь — убью на месте,— яростно сказал Саид. И если вздумаешь врать — не видать тебе твоих денег.

— Да клянусь же, не знаю,— взмолился Баяза.

— Врешь!

— Чем хочешь могу поклясться!..

— Так что же он, растаял, что ли?

— Поверь мне,— убеждал Баяза,— ни я не знаю, ни кто другой не знает. Вот как пришел ты тогда, так он сразу после этого и съехал с квартиры. Боялся, видно. Перебрался в другой квартал...

— Адрес?

— Да ты дай мне договорить... Как убил ты Шаабана Хусейна, он и оттуда переехал, со всей семьей, и никому не сказал куда. Совсем спятил от страха. Да и жена, говорят, напугалась... Так что, где они теперь — никто не знает.

— Ох, Баяза!..

— Ну, клянусь тебе чем хочешь!

Он ударил его в третий раз. Баяза охнул и запричитал:

— За что бьешь, Саид? Да чтоб ему пусто было, где бы он ни жил... Что я, брат ему или отец, чтобы из-за него умирать?

Пришлось поверить. Один, значит, ускользнул. Если бы только за ним сейчас не охотились из-за этого нелепого убийства, можно было бы и подождать, пока представится удобный случай. Эх, и как он только мог промахнуться! Теперь все надежды рухнули.

— Обидел ты меня, Саид,— заворчал Баяза.— Ни за что обидел...

Саид молчал. Баяза потрогал горящую щеку.

— Вот ты говоришь «деньги». Я тебе ничего дурного не сделал... Деньги эти мои, за что же ты меня обижаешь? Нехорошо, Саид, с друзьями так не поступают...

— Ты был с ним заодно,— презрительно процедил Саид.

— Я был его другом и был с ним в доле. Ну так что? Это еще не значит, что я тебе враг. Он тебя предал, а я-то при чем?

Спорить больше было не о чем.

— Мне нужны деньги,— признался Саид.

— Бери сколько хочешь,— поспешно предложил Баяза.

Он удовольствовался десятью фунтами, и Баяза ушел, с трудом веря в то, что уцелел... И снова он один. Кругом пустыня, месяц в небе стал ярче, и громче переговариваются о чем-то деревья. Да, Илеш Сидра от него ускользнул, это ясно. Так что благословенная армия предателей увеличилась еще на одного. Но остается еще Рауф. Он — последняя твоя надежда на то, что жизнь будет прожита недаром.

## Глава четырнадцатая

Он вернулся домой и около часа ночи вышел, одетый в офицерский мундир, и двинулся в сторону Аббасии. Обходил фонари стороною и напрягал всю свою волю, чтобы казаться естественным и не привлекать внимания. Сел в такси, добрался до моста Гиля. Завидев полицейского, невольно вздрагивал. У лодочной пристани неподалеку от моста взял напрокат на два часа маленький ялик и погреб к югу, в сторону виллы Рауфа Альвана. Было свежо, в чистом небе перламутром поблескивали звезды, над берегом поверх деревьев висел ломоть луны. Он ощущал небывалый прилив сил. Еще немного — и все свершится. Правда, Илеш Сидра удрал, но это еще не поражение. У тебя еще есть Рауф Альван, это воплощение Измены, пригревшей Илеша, Набавию и всех прочих предателей. Ну, Рауф, пришло время рассчитаться. И если бы судьей между нами была не полиция, я бы совершил свой суд над тобой в открытую. Пусть видят люди. Ведь они на моей стороне. Все, кроме истинных воров, конечно, и это меня утешает. Я — твоя собственная совесть, которую ты предал. Но мне, как ты говорил, не хватает размаха и организации. Ничего, сегодня я понял многое из того, что прежде мне было непонятно в твоих речах. Несчастье людей в том, что, хотя миллионы

людей и разделяют мои мысли, я все-таки один и мне не от кого ждать помощи. Обидно и непонятно, и одна пуля тут, конечно, мало что исправит. Но все равно, она будет кровавым протестом, и это как нельзя кстати, чтобы мертвецам было спокойнее и чтобы живые не теряли надежды. Примерно напротив виллы он пристал к берегу. Вылез и вытянул ялик на сушу, чтобы не унесло волной. Забрался по склону на набережную. Офицерская форма придавала ему уверенности. Вокруг ни души. Легавых вроде бы тоже не видно. У него отлегло от сердца. Но злоба не утихала. Вилла погружена во мрак, и только у входа горит фонарь. Значит, хозяин еще не вернулся. Тем лучше, не придется проникать в дом. Неторопливо он обошел дом слева, потом свернул и по улице Гиз обогнул его с правой стороны и вышел снова на набережную. Надо не упустить ни одной мелочи. Он притаился под деревом, укрытый густой тенью от света уличных фонарей, и стал ждать. Он пристально следил за домом и только изредка, давая отдохнуть глазам, смотрел на темную поверхность реки. Он думал о том, какой предатель Рауф, и о том обмане, из-за которого вся жизнь пошла кувырком, и что теперь он конченный человек, и его ожидает смерть, и за это он должен убить Рауфа и непременно его убьет. Мимо проезжали машины, и он всякий раз настораживался. Наконец одна остановилась у виллы, сторож распахнул ворота. Саид сорвался с места и, прижимаясь к забору, обежал дом слева. Напротив входа в дом, там, где, по его расчету, Рауф должен был выйти из машины, он остановился. Машина проехала через сад и действительно остановилась у входа. Ярко вспыхнул свет. Саид вынул револьвер и прицелился. Дверца машины открылась, и вышел Рауф Альван.

— Рауф! — окликнул он.

Рауф удивленно обернулся.

— Я — Саид Махран... На, получай!

Но, прежде чем он успел нажать на курок, из сада прогремел выстрел. Пуля просвистела у него над самым ухом. Этого он не ожидал. Он тоже выстрелил и быстро пригнулся, ожидая ответной пальбы. Потом осторожно выглянул, прицелился получше и снова выстрелил, и еще раз, и еще, но уже в спешке, не целясь. А еще через мгновение он уже бежал что было сил к берегу Нила, туда, где осталась лодка. Столкнул ее в воду и, налегая на весла, поплыл к другому берегу. Мысли беспорядочно кружились в голове, и он с трудом соображал, что происходит вокруг. Почему-то мерещилось, что вдогонку трещат выстрелы, доносятся крики. Во всем теле была какая-то непонятная слабость. В том месте, где он переплывал реку, расстояние между берегами было невелико. И вот он уже на противоположной стороне. Выпрыгнул на берег и пустил лодку на волю волн. Сжимая револьвер в кармане, вышел на улицу и, стараясь подавить волнение, неторопливо и спокойно пошел вперед. Озираться было некогда. Теперь он уже явственно слышал топот шагов и громкие голоса на том берегу. Потом раздался заливистый полицейский свисток. Сейчас догонят. Надо собраться с силами и отпираться до последнего, а если не удастся, дать им последний бой. Мимо проехало такси. Он остановил его, сел и в то же мгновение почувствовал острую боль. Но сознание того, что он и на этот раз ушел от погони, было сильнее. Пользуясь темнотой, он незаметно прокрался домой, скинул с себя мундир, бросил его на кушетку. И снова почувствовал острую боль. На этот раз понял — колено! Потрогал рукой — что-то мокрое, липкое. Неужели он обо что-то ударился? А может быть, пуля? Или оцарапался о забор, когда бежал? Он ощупал колено. Пустяки, простая царапина. Если бы он был ранен, пуля застряла бы в ноге. В темноте он нашел свою рубашку, оделся. Прошелся по комнате — как будто не больно. Однажды ты с пулей в ноге пробежал всю улицу Мухаммеда Али. Ты способен творить чудеса. И кажется, на этот раз ты сумел ловко смыться. А рана — это

пустяки. Немного кофе — и от нее не останется и следа*. Но убил ли он Рауфа Альвана? И кто стрелял в него из сада? Не приведи господь, не убить бы и на этот раз кого-нибудь другого. Нет, не может этого быть. Ты убил Рауфа, рука твоя не может ошибиться. И пустырь за пригорком у кофейни мог бы это подтвердить. Погоди, ты еще пошлешь письмо в газеты: «Почему я убил Рауфа Альвана...» Вот тогда жизнь твоя окончательно обретет утраченный смысл. Пуля, убившая Рауфа Альвана, убила и в твоей душе ощущение, что все напрасно. Жизнь без совести и чести все равно что земля, лишенная притяжения. А ты хочешь, чтобы тебе дали умереть не напрасно. И только.

...Вернулась Нур — усталая, с неизменным свертком под мышкой. Увидела его, обрадовалась, как всегда, поцеловала. Но тут взгляд ее остановился на его штанине. Бросила покупки на кушетку, кинулась к нему.

— Что это?.. Кровь?!

Только тут он заметил на штанах пятно. Показал ей коленку.

— Да так, пустяки, простая царапина. В такси ударился.

Но она закричала:

— Нет, ты не зря надевал форму... Я так и знала, ты на этом не остановишься... Ты меня погубишь!..

— Не волнуйся... Немножко кофе, и к утру как рукой снимет...

— Не волноваться? Да ты просто хочешь моей смерти... Когда же наконец кончится этот кошмар?

Она захлопотала, стала присыпать рану кофе, замотала колено клочком материи, оставшейся от платья, которое она себе шила. И все время причитала и жаловалась на судьбу. Он не выдержал.

— Ступай прими душ... Может, хоть он тебя успокоит...

Она послушалась, но, выходя из комнаты, все-таки бросила:

— Ты сам не понимаешь, как себе вредишь...

Когда она вернулась, он уже выпил треть бутылки и, немного повеселев, встретил ее словами:

— Выпей... Здесь я в безопасности, и полиции до меня не добраться.

Расчесывая мокрые волосы, она грустно сказала:

— Какая же я несчастная...

Он отхлебнул из стакана.

— Никто не знает, что будет завтра...

— То же, что и сегодня...

— Ничего, абсолютно ничего ты не можешь знать наверняка. А я знаю только, что ты со мной и я без тебя не могу...

— И это говоришь ты?

— Да. И я тебе даже больше скажу. Ты — райский тихий уголок среди шквала пуль, летящих мне вслед...

Она только вздохнула.

— Ты хороший человек, Нур, и мне приятно тебе об этом сказать.

— Я — несчастный человек. Мне ничего не надо — только бы ты был цел и невредим.

— Еще не все потеряно...

— Да, бежать. Нам нужно бежать.

— Нужно. Но придется подождать, пока заснет собака...

— Но ты так неосторожен! — с отчаянием сказала она.— Все мечтаешь убить свою жену и ее нового мужа? Их ты не убьешь, а себя вот погубишь...

— А что говорят в городе?

— Шофер такси сегодня с жаром тебя защищал. Но и он тоже сказал, что ты убил невинного человека...

---

* Народный обычай в Египте останавливать кровь, присыпав рану кофе.

Он сердито фыркнул и, чтобы скрыть раздражение, потянулся к стакану. Кивнул — выпей и ты тоже. Она поднесла стакан ко рту.

— А что еще говорят в городе? — спросил он.

— В ресторане на поплавке, где я сегодня была, один сказал, что вся эта история с тобой — неплохая разрядка от скуки.

— А ты что?

— Что я? — Она взглянула на него с упреком.— Я, разумеется, молчала. Я-то тебя берегу, да только ты вот себя не бережешь. Я знаю, ты меня не любишь, но ты для меня дороже жизни. Только с тобой я по-настоящему узнала счастье. Но тебе, видно, даже смерть приятней, чем моя любовь...

И она, все еще держа стакан в руке, заплакала. Он ласково прижал ее к себе.

— Не плачь, я сдержу свое слово... Мы убежим и навсегда останемся вместе...

## Глава пятнадцатая

Какие огромные заголовки... И эти крикливые, рассчитанные на сенсацию снимки. ...Основное событие дня. Рауф Альван дает интервью. Да, он познакомился с Саидом Махраном, еще когда жил в студенческом общежитии, где тот работал сторожем. Он всегда относился к Саиду с большой симпатией. Даже когда тот вышел из тюрьмы и пришел к нему за помощью, он дал ему денег, чтобы было с чем начинать новую жизнь, но в ту же ночь Махран пытался ограбить его дом. Он поймал его с поличным, сделал ему строгое внушение, но все-таки пожалел и отпустил. И вот он снова явился, на этот раз, чтобы его убить!.. Газеты считают, что ты сумасшедший. Кровожадный маньяк, одержимый бредовой идеей собственного величия. Лишился рассудка из-за измены жены и теперь стреляет во всех без разбора. И убит вовсе не Рауф Альван, а бедняга сторож. Еще одна невинная жертва.

— Проклятие!

Эхо, короткое и резкое, как выстрел. За твою голову обещана большая денежная награда. Газеты предостерегают своих читателей, убеждают, что не надо тебе сочувствовать. Ты стал для них главным интересом в жизни. И так будет продолжаться, пока ты не сложишь голову. Подобно загадочным явлениям природы, ты вызываешь изумление и страх. Скучающие бездельники ликуют. Еще бы — такое развлечение! А револьвер твой, видно, только и способен, что убивать невинных людей. И последней его жертвой будешь ты сам.

— Но разве же это безумие? — уныло спросил он. Тебе всегда нравилось возмущать спокойствие, даже когда ты был еще простым акробатом в цирке. Твои победные набеги на дворцы богачей пьянили голову и приятно щекотали самолюбие. Ты верил речам Рауфа, а он от них отступился, и вот теперь они привели тебя к гибели.

Ночь тянулась, а он все сидел один. В бутылке оставалось вино, и он допил его. Потом встал. Мрак, густой мрак, окутанный могильной тишиной. И ему вдруг показалось, что все еще, может, обойдется и смерть, в конце концов, не так уж страшна. На душе стало легко и спокойно, и он сказал в темноту:

— Одна неверная пуля, и я стал сенсацией!

Он подошел к окну. Могилы мирно спали в лунном свете.

— Слушайте меня внимательно, господа советники, я решил защищать себя сам...— Он отошел на середину комнаты и стянул с себя рубаху — в комнате было душно, а от выпитого вина по всему телу разливался жар. Рана под повязкой напомнила о себе острой болью — значит,

начала заживать.— Я не похож на тех, кто до меня сидел на этой скамье,— продолжал он, глядя в темноту,— ведь должны же вы считаться с тем, что я человек образованный! По сути дела, между мной и вами нет никакой разницы, разве только та, что я — обвиняемый, а вы — судьи. Но это разница чисто формальная и значения не имеет. Однако, если что действительно и вызывает смех, так это то, что мой высокочтимый наставник и учитель оказался предателем и мерзавцем. Да, да, вы вправе удивляться, но ведь электрический провод, по которому бежит ток, часто бывает снаружи загажен и засижен мухами...

Он лег на диван. Издалека до слуха долетел собачий лай... Но как ты можешь рассчитывать на снисходительность судей, когда они — твои враги и интересы общего блага им безразличны? Они сродни тому мерзавцу, и между вами лежит целая пропасть. А тебе остается призывать в свидетели свои жертвы и доказывать, что измена была сговором.

— Я не убивал слуги Рауфа Альвана. Да и зачем мне убивать незнакомого человека? Нет, он убит только потому, что был слугой Рауфа Альвана. Вчера мне явился его дух, и, когда я в смятении отпрянул, он сказал: миллионы людей гибнут без причины, убитые по ошибке...

Это будет блестящая, яркая речь. Она сумеет доказать твою невиновность. Ведь сам-то ты убежден в своей правоте. Да и они в глубине души понимают, что ремесло твое законно, ибо разве не оно — ремесло господ во все века и времена? Какое лицемерие считать, что жизнь твоя не стоит и миллима *, тогда как смерть оценивается в тысячу фунтов? И вот уже судья, сидящий слева, хитро подмигивает тебе: не горюй, выше голову!

— И если палач спросит, каково мое последнее желание, я предпочту смерть Рауфа Альвана свиданию с дочерью. И пусть мой конец близок, я не считаю по пальцам оставшиеся дни. Когда человек спасается от погони, одиночество заставляет его ценить каждое мгновение и делает жизнь богатой, до отказа насыщенной чувствами.

...Никакой приговор не может быть страшнее, чем испуг Саны. Она убила тебя еще прежде, чем ты попал на виселицу. И что из того, если миллионы людей молча сочувствуют тебе? Их сочувствие бессильно, как мечты мертвецов. Так неужели же вы не простите револьверу его невольную ошибку? Ведь он — ваш Высший Повелитель и Судья!

— Моя смерть будет смертью миллионов. Ведь я — надежда и защита всех, кто робок, кому не хватает смелости. Я — их образец, их утешение, их невыплаканные слезы. И если вы считаете меня безумным, то считайте безумными и их тоже. Задумайтесь же о причинах этого повального безумия и потом уже судите меня...

Мысли стали путаться. ...Нет, все-таки ты великолепен, в полном смысле этого слова. Жаль только, что великолепие твое обведено погребальной траурной рамкой. Но ничего, после смерти тебя оценят. И само безумие твое будет благословенно, дав животворную силу корням растений, клеточкам животных, сердцам людей... Незаметно подкрался сон. Он понял, что спал, только когда проснулся, разбуженный ярким светом, и увидел Нур. Потухший мертвый взгляд, отвислая губа, бессильно опущенные плечи — само воплощение растерянности и отчаяния. И он тут же понял, что за этим кроется: узнала о новом преступлении.

— Нет, ты еще страшнее, чем я себе представляла. Я тебя умоляю — сжалься, убей и меня тоже...

Не отвечая ей, он поднялся, сел на кушетке.

— Ты думаешь не о бегстве, а о том, чтобы убивать... И будешь убивать снова и снова... Но неужели ты надеешься одержать верх над властями, когда все улицы сейчас забиты полицейскими?

---

* Мелкая монета, в египетском фунте — тысяча миллимов.

— Сядь и давай поговорим спокойно...

— Спокойно? Да разве ж я могу быть спокойной? И вообще, о чем нам разговаривать? Все кончено... Лучше убей меня...

— Ни один волос не упадет с твоей головы,— мягко сказал он.

— Я не верю ни единому твоему слову... Зачем ты убиваешь сторожей?

— Я не желал ему зла...

— Ему? А другому? Кто такой этот Рауф Альван и что за вражда между вами? У него тоже что-то было с твоей женой?

Он хрипло рассмеялся.

— Смешно! Нет, на то есть другие причины. Правда, он тоже предатель, но уже совсем другого рода. Я тебе не могу этого сейчас объяснить...

Она рассердилась.

— Ну конечно, ты можешь только мучить меня...

— Я же сказал: сядь и поговорим спокойно...

— Ты по-прежнему любишь свою жену, эту изменницу! Меня же только мучишь...

— Не надо, Нур! Мне и без того так тяжело...

В голосе его звучало неподдельное страдание, и она, пораженная этим, умолкла, но тут же печально заговорила опять:

— Я только чувствую, что самое дорогое, что было у меня в жизни, гибнет на моих глазах...

— Это только так кажется. Ты просто напугана... Но авантюристы, подобные мне, не отступают перед трудностями. Вот увидишь...

— Но когда? — воскликнула она, чуть не плача.

— Скорее, чем ты думаешь...— сказал он, изо всех сил стараясь казаться уверенным. Потом притянул ее к себе. В ноздри ударил запах винного перегара и пота. Но теперь он не почувствовал отвращения, и поцелуй его был искренним и нежным.

## Глава шестнадцатая

...Скоро уже рассвет, а Нур все еще не вернулась. Утомленный мыслями и бесконечным ожиданием, он понял, что уже не уснет. Внезапно из душной темноты возникла страшная мысль: а что, если Нур соблазнилась наградой, обещанной за его голову? Воистину, кровь твоя до последней капли отравлена ядом подозрительности. Это потому, что мысль об измене преследует тебя, неотвязная и прилипчивая, как пыль, когда дует ветер хамсин. Но было время, когда ты считал, что и Набавия принадлежит тебе безраздельно, а на самом деле она тебя никогда не любила, даже и там, под одинокой пальмой на краю поля. Нет, нет, все-таки Нур тебе не изменит. Она не польстится на эту награду и не выдаст тебя полиции. Она устала от этой жизни, молодость прошла, и ей хочется искренней человеческой близости. Ты не смеешь о ней плохо думать.. Но когда же она все-таки вернется? Ты голоден, тебе хочется пить и смертельно надоело ждать. Совсем как тогда. Помнишь, ты стоял и ждал ее под пальмой. Ждал Набавию, а она не шла. Потом ты ходил вокруг дома старой турчанки, и грыз ногти, и от отчаяния был готов даже постучать в дверь. Но вот она наконец появилась — нет, взошла, как солнце,— и сладкая дрожь пробежала по телу, и радость, огромная, восторженная, пьянящая, несказанная радость охватила тебя, всего целиком, с головы до кончиков пальцев, и в ней было все — и слезы, и смех, и порыв, и уверенность, и снова дикая, необузданная радость. Не надо вспоминать те времена у пальмы, это — прошлое, и между вами кровь, пули, безумие. Лучше подумай, где найти силы, чтобы справиться

с тоской ожидания в душной, убийственно душной темноте. Наверно, Нур не хочет возвращаться, не хочет избавить тебя от мук одиночества, темноты, голода и жажды. ...И он заснул, устав ругать себя за свою подозрительность. Когда он открыл глаза, сквозь жалюзи пробивался яркий дневной свет. В комнате было уже не просто душно, а как в раскаленном пекле. Охваченный тревогой, он вскочил с кушетки и бросился в спальню. Все то же самое. Нур не возвращалась. Где же она ночевала? И почему не вернулась? Значит, он теперь обречен сидеть в этой одиночной камере? Но как ни тревожны были его мысли, а голод дал себя знать и погнал на кухню. Там он нашел остатки хлеба, мяса, петрушку и подобрал все до последней крошки, обсосав кости, как собака. День тянулся томительно, и он все ломал голову, теряясь в догадках, почему до сих пор не вернулась Нур и когда же она наконец придет. Садился, потом вскакивал и начинал ходить по комнате и снова садился и коротал время, поглядывая из-за жалюзи на кладбище, смотрел на похороны, бессмысленно считал могилы. Настал вечер, и она не пришла. Нет, тут что-то не ладно. Что могло с ней случиться? Его обуревала тревога. И по-прежнему хотелось есть. Она попала в западню, в этом нет никакого сомнения. Но она должна выпутаться, должна вернуться, иначе что же будет с ним?

Около полуночи он неслышно вышел из дома и через пустырь направился в кофейню Тарзана. В условленном месте три раза свистнул и принялся ждать. Вот и Тарзан.

— Ты бы все-таки поосторожнее... Легавые на каждом шагу...

— Есть я хочу...

— Помилуй, неужто только за этим вышел?

— Что поделаешь? Сейчас ничему не приходится удивляться...

— Пойду пришлю тебе кебаб. Но ты бы правда все-таки поостерегся...

— Ничего, бывали в переделках и похуже этой...

— Не скажи... После недавнего твоего налета все на тебя теперь зубы точат...

— Так оно всегда и было...

— И угораздило же тебя связаться с таким важным человеком!

Тарзан ушел. Примерно через час мальчик принес кебаб, и он с жадностью набросился на еду. Потом он сидел на песке, в небе висела почти полная луна. Он глядел на далекий огонек на холме и живо представлял себе завсегдатаев кофейни Тарзана. Сидят, балагурят, кто в доме, кто снаружи. Все-таки нет на свете ничего противнее одиночества. Среди людей он чувствовал себя великаном. Любил, повелевал, был героем. А без этого и жить не стоит. Интересно, вернулась ли Нур. И вообще, вернется ли? Дома ли она или он снова идет навстречу гнетущему одиночеству? Он встал, отряхнул брюки и пошел к роще, чтобы оттуда выйти на дорогу, огибающую гробницу Мученика с южной стороны. Он уже дошел до того самого места, где недавно подкарауливал Баязу, когда перед ним, как из-под земли, выросли две тени и преградили ему дорогу.

— Ни с места! — раздался окрик. Говор был деревенский.

— Документы! — рявкнул другой.

В лицо ему ударил пучок лучей карманного фонаря. Он быстро опустил голову, будто спасая глаза от резкого света, с бешенством крикнул:

— Кто такие?.. Отвечать!..

Его повелительный тон, видимо, смутил их. К тому же при свете фонаря они разглядели его офицерский мундир.

— Извините, ваша честь, в темноте не разобрали!..

— Кто такие? — переспросил он, стараясь придать голосу неподдельную ярость.

— Из корпуса Вайли, ваша честь...

Фонарик погас. Но он успел заметить, как один из них что-то уж слишком пристально его разглядывал. Как будто заподозрил неладное. Раздумывать было некогда. Два молниеносных удара, правой и левой в брюхо, одному и другому. А теперь в челюсть одному и под вздох другому. И вот уже оба, не успев опомниться, без памяти валяются на земле. А теперь прочь, как можно скорее! На углу улицы Нагмуддин он на мгновение остановился, чтобы убедиться, не гонятся ли за ним, и только тогда вошел в дом. По-прежнему никого. То же одиночество, уныние и тревога. И тот же мрак. Он сбросил мундир и в тоске повалился на кушетку.

— Нур, где ты?

С тобой что-то случилось. Может, тебя сцапала полиция? Или на тебя напали какие-нибудь негодяи? Сердце говорит мне, что ты попала в беду. Я знаю, я больше тебя не увижу. Ему стало отчаянно грустно. И вовсе дело не в том, что он вот-вот лишится своего надежного убежища. Нет. Он потерял любящее женское сердце. Он глядел в темноту и видел ее улыбку, вспоминал ее ласку, ее несчастное, жалкое лицо, и сердце его сжималось. Да, видно, он был привязан к ней больше, чем думал. Она стала неотрывной частью его нелепой растерзанной жизни, которая теперь висит на волоске. И, зажмурившись, он признался самому себе, что любит ее и готов отдать жизнь, лишь бы она вернулась целой и невредимой. Кто пожалеет о ней, если она погибнет? Никто. Ни один взгляд простого сострадания не будет брошен в ее сторону. Одинокая обездоленная женщина в океане равнодушия и враждебности. Вот так же и Сана в один прекрасный день обнаружит, что никому нет до нее никакого дела. Даже подумать страшно. В бессильной злобе он выхватил револьвер и прицелился в темноту, готовый уже сейчас встретить неведомое грядущее. Нет, все напрасно, напрасно... И он сражался с кошмарами Тишины и Мрака, пока не уснул, уже перед самым рассветом.

Когда он открыл глаза, было уже светло. Он понял, что его разбудил стук в дверь. В тревоге он вскочил и на цыпочках подкрался к двери. Стук повторился. А вот и голос. Женский голос. «Госпожа Нур!.. Вы слышите? Госпожа Нур!..» Кто эта женщина и что ей надо? Он вернулся в комнату и на всякий случай взял револьвер. А вот и мужской голос: «Наверно, ее нет дома». И опять женский: «Да нет, она в это время всегда бывает дома! Да и за квартиру она аккуратно платит». А, так это, значит, хозяйка. Снова яростный стук в дверь, и снова женский голос: «Сегодня уже пятое число, я не могу больше ждать!» И оба, сердито переговариваясь о чем-то, ушли.

Теперь уже не только полиция, но и сами обстоятельства против него. Хозяйка, конечно, не станет долго ждать и, рано или поздно, взломает дверь. Так что самое хорошее — это уйти отсюда, и чем скорее, тем лучше. Вот только куда?..

## Глава семнадцатая

Днем хозяйка снова стучала в дверь и вечером тоже. Уходя, она бросила: «Ну, нет, госпожа Нур, всему есть предел!»

В полночь он выскользнул из дома. Хотя теперь уверенность окончательно покинула его, он шел неторопливо, будто прогуливался. Несколько раз ему показалось, что прохожие — это переодетые шпики, и он уже приготовился к последней отчаянной схватке. После вчерашней ночной драки полиция, конечно, оцепила весь квартал у кофейни Тарзана. Он свернул на горную дорогу. Сильно хотелось есть. Шейх Али

Гунеди — вот у кого он найдет приют, хотя бы на время, чтобы собраться с мыслями. А там — видно будет. Он осторожно проскользнул во двор, окруживший его тишиной, и тут только спохватился: его мундир! Он остался на квартире у Нур. Экая досада! Но теперь уже поздно, ничего не поделаешь. И он вошел в дом. В комнате горел светильник. Шейх Али Гунеди, скрестив ноги, сидел в углу и молился. Саид проплелся в глубь комнаты, туда, где у стены были сложены его книги, и устало опустился на пол. Шейх продолжал молиться.

— Добрый вечер, владыка,— окликнул его Саид.

Шейх поднес руку к голове, как бы отвечая на приветствие, но молитвы не прервал.

— Я голоден, владыка,— сказал Саид.

На этот раз подействовало. Шейх посмотрел на него отсутствующим взглядом и кивнул на поднос с инжиром и хлебом. Не раздумывая, Саид набросился на еду, подчистил все, что было на подносе, но не наелся.

— У тебя нет денег? — спросил шейх.

— Есть.

— Тогда пойди и поешь.

Он не ответил и сел на прежнее место. Шейх поглядел на него с любопытством.

— Когда же ты наконец успокоишься?

— Наверно, уже на том свете...

— Вот потому-то ты и голоден, хотя и с деньгами...

— Может быть...

— А я тут читал стихи о печалях, но на сердце у меня было радостно...

— Ты счастливый человек...— И со злобой добавил: — Подлецы ускользнули! Как же могу я быть спокоен?

— Сколько же их?

— Трое.

— Благословен мир, если в нем всего лишь трое подлецов.

— Да нет, их много, но я враждую с тремя...

— Значит, ни один из них не ускользнул!

— И потом, какое мне дело до всего мира?

— Человек за все в ответе. И за этот мир, и за мир иной...

Саид нетерпеливо фыркнул.

— Терпение свято,— сказал шейх,— и оно освящает все вокруг...

— Но преступники спасаются от кары, а невиновные гибнут! — печально усмехнулся он.

Шейх вздохнул:

— Когда же мы обретем сердечный покой под сенью закона?

— Когда закон этот будет справедлив!

— Он всегда справедлив.

Саид сердито тряхнул головой.

— Вот только жаль, что покрывает подлецов...

Шейх улыбнулся и ничего не ответил. И Саид решил, что пора переменить тему разговора.

— Я лягу лицом к стене. Я не хочу, чтобы меня здесь видели. Я скрываюсь и пришел к тебе просить убежища...

— Убежище дает нам лишь всевышний...

— Ты отказываешься мне помочь? — встревоженно спросил он.

— Помилуй, что ты...

— Неужели даже ты, чья добродетель всем известна, не в силах меня спасти?

— Если хочешь, спаси себя сам...

«Но я — убийца...» — про себя подумал Саид и вслух добавил:

— Можешь ли ты выпрямить кривую тень?

— Мне нет дела до теней,— спокойно ответствовал шейх.

Воцарилось молчание. За окошком, сквозь которое лился лунный свет, проснулась и зашевелилась жизнь. «...В ней твое искушение»...— мурлыкал шейх. Да, он всегда найдет, что сказать. А все-таки, владыка, дом твой — ненадежное место, хотя сам ты — воплощение верности. И я должен бежать, чего бы мне это ни стоило. И пусть тебе, Нур, поможет хоть счастливая случайность, если не помогли справедливость и милосердие. Но как я мог забыть там мундир? Я же свернул его, приготовил, а в самый последний момент забыл. Видно, бесконечное тревожное ожидание в темноте, бессонница и одиночество убили в тебе самые ценные качества... Если они найдут мундир, они нападут на твой след. Приведут собак, окружат — и тогда конец трагедии, которой газеты разлекают своих читателей.

— Я хотел просить тебя обратить свой лик к небу,— печально заговорил вдруг шейх,— но ты, опередив меня, заявил, что обратишь его к стене!

— А ты забыл, что я сказал про подлецов? — воскликнул Саид.

— «Если забыл, вспомни господа своего!» — нараспев прогудел шейх.

Какая тоска. Он закрыл глаза и снова подумал: как я мог забыть там мундир?

Тревожное предчувствие не давало покоя.

— И когда его спросили: «Знаешь ли ты заклинание, к которому нам надлежит прибегнуть, и снадобье, которое может нас излечить? Доступны ли они всевышнему?» — он ответил: «Всевышнему они доступны»,— пробубнил шейх.

— Что это значит?

Шейх вздохнул.

— Твой отец всегда понимал меня...

— Мне очень жаль, но ты не смог накормить меня досыта. Кроме того, я забыл свой мундир, и это тоже очень жаль. И вообще я, видно, не способен тебя понять. И я буду спать, отвернувшись лицом к стене. И все равно я уверен, что я прав...

Шейх с состраданием улыбнулся:

— «И сказал сейид: я по нескольку раз в день смотрюсь в зеркало, боясь, что лицо мое почернело!»

— Ты?!

— Да не я, а сейид!

— В таком случае подлецам приходится глядеться в зеркало каждый час,— съехидничал Саид.

Шейх опустил голову и замурлыкал опять: «...В ней твое искушение»... Саид закрыл глаза. Устал я, подумал он, по-настоящему устал. И все равно не успокоюсь, пока не заберу оттуда свой мундир.

## Глава восемнадцатая

Усталость растопила волю, и он, несмотря на свое решение во что бы то ни стало принести мундир, уснул и проспал до полудня. Ожидая наступления темноты, он обдумал план бегства. Но, пока полиция не ослабит контроль над кварталом кофейни Тарзана, успех его затеи невозможен. Так что выходит, какое-то еще время придется выжидать... Когда совсем стемнело, он отправился на улицу Нагмуддин. В окне у Нур горел свет. Он не поверил своим глазам. Гулко, до боли в ушах забилось сердце. Могучей волной нахлынула радость. Конец кошмару... Нур вернулась, она дома. Но где же она пропадала? Неважно, он узнает об этом позже, самое главное — она вернулась. Наверно, волнуется, ду-

мает, где он, сходит с ума от тревоги, как и сам он недавно. Вернулась! Он знает это, чует сердцем, а сердце еще никогда его не обманывало. Прощайте, страхи бездомной жизни! Хотя бы на время, а там — кто знает? — может, и навсегда. Сейчас он сожмет ее в своих объятиях и скажет, как он по ней истосковался, как любит ее. Не помня себя от счастья, он мчался по лестнице, и каждая ступенька вела его навстречу Победе — огромной, такой, что никому и не снилась. Побег ему, конечно, удастся. Он исчезнет, исчезнет надолго, но в одно прекрасное утро однажды вернется — и тогда не сдобровать подлецам. Вот и дверь ее квартиры. Он с трудом перевел дыхание. Нур, родная, люблю тебя, люблю... Обниму тебя и на твоей груди забуду и горечь всех утрат, и измену предателей, и испуганный крик Саны. Он постучал... Что это?!. На пороге стоял мужчина. Низкорослый мужчина в исподнем. (Мгновение, одно только мгновение — и от счастья осталась кучка пепла!) Мужчина с недоумением взглянул на Саида.

— Вам что?

И вот уже недоумение во взгляде сменяется подозрительностью. «Да он же сейчас тебя узнает!» — мелькнуло в голове. Зажал ему рот левой рукой, а правой нанес сильный удар повыше живота. Бережно поддержал падающее тело и осторожно положил на пороге. Вот так, не надо шума. Теперь бы влететь в комнату, схватить мундир и бегом прочь — но что, если там еще кто-нибудь? Так и есть. Какая-то женщина.

— Кто там пришел, папаша?

Досадно, ничего не выйдет. Он сбежал по лестнице. Мимо заводов вышел на горную дорогу. Какие-то подозрительные тени. Он ничком бросился на землю возле дома и отлеживался, пока дорога не опустела совершенно. Уже почти на рассвете, крадучись, юркнул в жилище шейха. Сидя в своем углу, старец поджидал, когда муэдзин возвестит время молитвы. Саид сбросил пиджак, растянулся на циновке и, хотя ничуть не надеялся уснуть, на всякий случай отвернулся к стене.

— Спи! — сказал шейх.— Сон — божество таких, как ты...

Он не ответил. «Аллах!» — чуть слышно вздохнул шейх.

Муэдзин прокричал свой призыв на молитву, а он все не спал. Потом до слуха долетел голос уличного торговца молоком, а сон упорно не шел. Потом начались кошмары, и тут он понял, что все-таки спал. Он открыл глаза. Тусклый свет лампы расползался по комнате туманом. Значит, он спал час, не больше. Он оглядел комнату. Подстилка, служившая шейху ложем, была пуста. Возле стопки его книг стоял поднос с жареным мясом, инжиром и кувшин с водой. Спасибо, владыка, но когда же ты успел? Во дворе какие-то голоса... Странно. Он подполз к двери и осторожно выглянул в щелку. Мюриды чистили циновки. Он удивился еще больше. А вот и сторож, зажигает лампу над входной дверью. Так. значит, уже вечер. А он-то думал, сейчас раннее утро. Выходит, незаметно для себя он проспал целый день. Крепко же я спал. Не надо ни о чем думать. Сначала поешь. Покончив с едой, он надел пиджак и сел, привалившись спиной к книгам. Вытянул ноги. И сразу же беспорядочно забегали, заметались мысли — забытый мундир... человек, открывший ему дверь... Сана... Нур... Рауф... Набавия... Илеш... легавые... Тарзан... машина, чтобы вырваться из осады... Нет, ты во что бы то ни стало должен связаться с Тарзаном. И ты проберешься к нему, хотя бы ползком, через пустыню. Ох, как будет завтра полиция кусать локти и какой страх охватит подлецов!.. Во дворе раздался призывный хлопок в ладоши, голоса стихли, и воцарилась торжественная тишина. Шейх Али Гунеди трижды провозгласил: «Аллах»,— остальные нараспев повторили. Он представил себе, как они ритмично раскачиваются в такт... Аллах... Аллах... Аллах... Ритм ускоряется, и громче звучат голоса и сливаются в единый монотонный гул, напоминающий стук проходящего поезда.

Колеса стучали долго, потом понемногу стали затихать, четкий ритм нарушился, все медленнее, медленнее... Качнулись в последний раз и встали. Тишина. И вдруг взвился чей-то звонкий голос:

Увы, промелькнуло летучее время,
Но вас, о любезные сердцу, не встретил!
Напрасно покоя тот ищет на свете,
Чей жребий печальный — вражда и разлука...

Стон восхищения прокатился по двору. И новый голос:

О любовь, ты рассудка меня лишила,
Страсть маячит вдали, за собой увлекает, зовет...
Неотступная Смерть бредет по пятам за спиною...

И снова стон восхищения. И снова пение, и снова хлопок в ладоши, и снова бесконечное гудение: «аллах... аллах... аллах...»

Он слушал, отдавшись своим мыслям. Медленно ползла ночь, и облаками проплывали воспоминания... Отец, раскачивающийся в кружке молящихся: «аллах... аллах... аллах...» Мальчик, сидя под пальмой, изумленно наблюдает необычное зрелище... Причудливые тени Вечности, осененные именем Милосердного... Яркая вспышка былых надежд, воскресших из пелены забвения... Одинокая пальма на краю поля и шепот, упоительный и свежий, как утренняя роса... Сана... Он держит ее на руках... Ее первый, волшебный лепет... А потом полыхнуло жарким огнем, как из ада, и посыпались удары, удары... Протяжное пение и стоны молящихся... Напрасно покоя тот ищет... Промелькнуло летучее время... Но вас я не встретил... Неотступная Смерть за спиною... А револьвер твой, дрожащий от нетерпения в кармане, еще скажет свое слово. И в схватке с Вероломством и Пороком ты все-таки выйдешь победителем. И впервые вор будет преследовать собак...

Неожиданный крик под окном, резкий, как удар плетью... И гул голосов, все громче, громче...

— Что это? Облава? Совсем как во время войны. Саид Махран...

Он сжался, словно пружина. Судорожно напряглись мускулы, рука впилась в револьвер. Дико оглянулся вокруг. Толпа народу, а где народ — там и легавые. Медлить некогда. Сейчас они, наверно, разглядывают твой мундир. И у них собаки. А ты сидишь здесь у всех на виду. И если дорога через пустыню на каждом шагу чревата для тебя опасностями, то здесь тебе до смерти рукой подать. Я буду драться до последнего вздоха. Он решительно шагнул к двери. Молятся. Можешь смело идти, они не заметят. Он незаметно выскользнул на улицу и пошел налево, вниз, в сторону кладбища. Ночь уже вступила в свои права, но луны еще нет, и мрак черной стеной преграждает дорогу. Нырнул в черноту могил и побрел наугад, плутая в лабиринте Небытия. Забирался вглубь и снова возвращался. И хотя у него не осталось теперь ни единой искорки надежды, он почему-то чувствовал небывалый прилив сил. Теплый ветер донес до слуха отдаленный неясный шум. Хорошо бы спрятаться в какой-нибудь могиле, подумал он, но не остановился. Он чувствовал, что просто не в силах остановиться. Все равно не поможет, хотя собаки -- это очень страшно. Потом он обнаружил, что дошел до края кладбища. Что-то знакомое было в этих очертаниях. Да это же северный вход, а вон и улица Нагмуддин! Да, да, она самая. А вот и единственный дом, и в нем квартира Нур, и ее окно. Свет горит. Он пристально вгляделся, и ему показалось, что он видит в окне неясный женский силуэт. Нур? Встрепенувшись, взволнованно забилось сердце. Неужели все-таки вернулась? Или глаза обманывают его, как вчера обмануло сердце? Что-то часто ты стал обманываться, видно, близок твой конец. Но если это и правда Нур, ему ничего-ничего от нее не надо, пусть толь-

ко позаботится о Сане, когда свершится неизбежное. Сейчас он ее окликнет. Это рискованно, но ему нечего терять. И тут он услышал собачий лай. Отрывистый и гулкий, как выстрелы в тишине. Ему стало страшно, и он побежал. Дальше, дальше, туда, за могилы. Лай приближался. Он прижался спиной к надгробью, выхватил револьвер и напряженно уставился в темноту. Вот он, конец. Если в ход пущены собаки, надеяться больше не на что. На этот раз подлецы уцелели. И в последний раз он сказал себе, что жизнь прожита напрасно. С какой стороны они идут? Не поймешь, кажется, будто со всех сторон. И со всех сторон тебя окружает мрак, и, беги не беги, от него никуда не укрыться. Подлецы уцелели, а твоя жизнь прожита напрасно. Все ближе шум, и ближе лай, и скоро ты услышишь на своем лице их дыхание, полное ненависти и злорадства. Он яростно стиснул револьвер. А лай все ближе, все громче. И вдруг яркий, ослепительно яркий свет огненным кольцом опоясал все кладбище. Он зажмурился и бросился на землю. И торжествующий голос:

— Сдавайся, сопротивляться бесполезно...

Тяжелые шаги подступают, надвигаются со всех сторон...

— Сдавайся, Саид...

Он еще крепче прижался к надгробью — втиснуться бы туда — и, затравленно озираясь по сторонам, приготовился стрелять. И снова торжественно прогудел голос:

— Сдавайся! Обещаю тебе, что с тобой обойдутся по-человечески.

Ну, разумеется. Рауф, Набавия, Илеш и все эти собаки тоже обошлись со мной по-человечески.

— Ты окружен. Подумай хорошенько и сдавайся!

За могилами они тебя не видят. Он не шелохнулся, решив отбиваться до последнего.

— Ты понимаешь, что сопротивляться бесполезно? — упрямо повторил голос. На этот раз он звучал ближе, чем прежде.

— Не подходи! Убью! — закричал он в ярости.

— Ну ладно, не буду... Да только на что надеешься? Выбирай сам: смерть или суд по справедливости...

— Знаю я вашу справедливость!

— Ты, я вижу, упрям... Ну что ж, даю тебе минуту срока...

И он увидел Смерть. Она шагала, разгребая мрак. Отчаянно забилась и закричала перепуганная Сана... Он уловил какое-то подозрительное движение за спиной и выпалил в темноту. Засвистели ответные выстрелы, брызнули каменные осколки надгробья. Он выстрелил еще раз. Теперь он уже ни о чем не думал. Целый дождь ответного свинца.

— Собаки! — прохрипел он в остервенении. Он отстреливался во все стороны.

Внезапно свет погас, и все снова погрузилось во мрак. Пальба прекратилась, воцарилась глухая тишина. Он опустил револьвер. Тишина... Каким удивительным сейчас кажется мир... Как странно, подумал он, что... И тут же забыл, что ему показалось странным. Да и не все ли равно? Похоже, что они отступили. Растворились в ночи. Конечно же. Ты победил. Мрак сгустился, и вот уже он не видит ничего, даже силуэтов надгробий. И не надо. Он ничего не хочет видеть. Бездонная пучина мрака... Ему некуда идти и негде искать спасения. Да и зачем? Он дрался изо всех сил, пытаясь одержать верх хотя бы здесь, в этом последнем поединке. И наконец понял: надо сдаваться. И он сдался. Теперь все равно... Теперь все равно...

Я. ФРИД

# ЛИТЕРАТУРА КОШМАРОВ И РЕБУСОВ

## 1

Искусство всегда в движенье; одни художники прежде всего подытоживают опыт предшественников либо варьируют сказанное до них; другие прежде всего стремятся обновить содержание и форму искусства. Но обновляют они по-разному, и не всякое обновление искусства плодотворно.

Настоящее обновление искусства невозможно без совершенствования техники внимания и наблюдения, без смелых поисков, расширения кругозора и оснащенности мастерства такими средствами, которые делают возможным все более глубокое изображение действительности и выражение идей, типичных для эпохи. Обновление плодотворно, когда оно помогает подвинуть вперед художественное исследование реального мира, в котором участвует и стихия чувств и целеустремленная, пытливая, постоянно проверяющая себя мысль.

Стендаль сравнил роман с зеркалом, которое проносят по большой дороге жизни так, что оно отражает и облака и грязь. Фантазия, так же как потребность познания, входит в «состав», который делает «зеркало» реализма все более разносторонне, конкретно и обобщенно отражающим мир. Горький, сказав, что творчество подобно увеличивающему стеклу телескопа, имел в виду и художественный отбор впечатлений, фактов, деталей и преображающую силу фантазии, ее участие в реалистическом обобщении, в создании рельефных образов. Без фантазии не было бы и перевоплощения, не было бы вечного трепета жизни в Анне Карениной и Эмме Бовари; она бессмертна в чуде, которое Лермонтов начал строкою: «В полдневный жар в долине Дагестана...», в несомненной реальности Чапаева, воссозданного Фурмановым и Бабочкиным.

Но реакционные предрассудки стремятся подчинить себе и крылатую фантазию. Ведь субъективистская эстетика таких современных обновителей литературы, как Беккет, противопоставляет фантазию познанию, подменяет ее имитацией бреда. Иные исследователи, недооценивая диалектическое единство наблюдения, самонаблюдения и фантазии, тяготеют к «биографическому методу» и ограничивают исследование характеров поисками прототипов в биографии писателя; в последнее же время уверяют, будто художник выражает в произведении искусства свой внутренний мир, ничем не связанный с объективным миром.

Обновление необходимо, чтобы литература не отставала от все большей сложности жизни, от эпохи, устремленной к новизне будущего. Лишь такая литература делает более зоркими, обогащает интеллектуально, эмоционально, нравственно и современников и потомков. Независимая от «моды», такая литература не стареет и навсегда остается обновленной.

Одни из сторонников лжеобновления — подобно французским романистам, объеди-

ненным «школой нового романа»,— подменяют «зеркало» Стендаля и «телескопное стекло» Горького крохотным увеличивающим зеркальцем, которое пригодно лишь для исследования гнилого зуба, объявленного по этому случаю наиболее интересным явлением действительности. Другие — подобно законодателям уже отходящего в прошлое театрального «авангарда» во Франции — презирают исследование жизни, а преображающее творчество фантазии подменяют вогнуто-выпуклым зеркалом из «комнаты смеха».

Модернисты считают подобное лжеобновление величайшим достижением искусства: оно, дескать, и «смелое новаторство» и «переоценка ценностей смелой мыслью». В чем же проявляется эта «иррационалистическая смелость» интеллекта?

Прежде всего в том, что интеллект заявляет во всеуслышание о своей слепоте, даже о своей смерти и, наконец, устраивает себе модернистские похороны по первому разряду.

В этом участвуют и искусство и критика, объясняющая, почему такие похороны совершенно необходимы. Например, французский критик Р. М. Альберес утверждает в объемистой книге «Интеллектуальная авантюра XX века. Панорама европейской литературы 1900—1959»: кризис гуманизма в современной художественной литературе носит универсальный характер, ибо основа гуманизма — уверенность в познавательной мощи разума, а в наше время разум мертв и познание мира невозможно.

Кризис буржуазного сознания Альберес признал общечеловеческой нормой. Он решил, что все современники не способны к взаимопониманию и их представления о действительности, несовместимые одно с другим, сталкиваясь, образуют бессмыслицу. Это — нечто вроде мифа о сооружении Вавилонской башни: смешение языков, неразбериха, мрак взаимного непонимания, невозможность объективного знания. «Таково идеологическое следствие всеобщей смерти разума...» На деле эту путаницу — все чаще преднамеренно — вносит буржуазное мышление, которое не впервые предпочло разуму иррационализм.

Можно ли вообще говорить о гуманизме и познании в эпоху, когда человеческая психика представляет собой, по мнению Альбереса, «абсурдную машину», словно созданную сумасшедшим?

Дидро сравнил с «сумасшедшим фортепьяно» субъективный идеализм английского философа епископа Беркли, который решил, что «вся гармония вселенной» происходит в сознании человека. Ленин распознал потомка этого «фортепьяно» в новейшем позитивизме махистов. Особенность современного субъективизма в том, что он переносит в сознание человека всю дисгармонию капиталистического мира и поэтому сам открыто признает хаотическое состояние распада, состояние «сумасшедшего фортепьяно» нормой для психики, философии, искусства (считая притом враждебность разуму своим преимуществом). Представление о процессе восприятия действительности как о бессмысленной активности множества солипсистов («абсурдных машин»), каждый из которых думает, что только он разумен и прав, и ни один не в состоянии убедить в этом остальных,— вот фундамент реакционной идеологии и эстетики, пораженных жесточайшим кризисом буржуазного сознания.

Бальзак и Стендаль, исследуя жизнь общества проницательной мыслью, зорким искусством, обнаруживали ее сложность и драматизм. Иные наши современники подменяют сложность бессмысленным, непознаваемым, непонятным *хаосом*, а драматизм — нескончаемым, отвратительным, мучительным и загадочным *кошмаром*, в котором видят художественное выражение сущности бытия. Эта эстетика своевольно «отменяет» то, что Стендаль назвал «железными законами реального мира»; жизнь лишена закономерностей и непостижима, говорят нам, и, изображая ее, можно создавать только не поддающиеся разгадке *ребусы*. Бальзак уподобил поступательное движение истории спирали. Те, кто объявляет теперь Бальзака устаревшим, не говорят о спирали; они обнаруживают *лабиринт* существования, в котором поступательного движения не может быть. Развитие сюжета, образов, характеров все более вытесняется *механическим монтажом*.

Монтаж как принцип построения типичен и для буржуазной идеологии и для буржуазного искусства, создаваемых людьми, которые пытаются не считаться с реальными взаимосвязями между явлениями жизни, с реальным процессом общественного, исторического развития. Своевольное «перемонтирование» тех или иных частей, элементов реальности противопоставляется субъективистской эстетикой реалистическому обоб-

щению. Реалист, собирая и сплавляя в художественных образах типичные для эпохи черты, познает закономерности развития действительности. Монтаж изменяет, разрушает, отменяет реальные закономерности и развитие. Его функции — создание конструкции, «не зависящей» от закономерностей реального мира, конструирование «мифа». Один из новейших примеров такой «магии» — картина французского художника М. Лапужада «Скалы в Этрета». Как ее автор сам заметил, монтаж линий и мазков на этом полотне ничем не напоминает массивные скалы, о которых говорит название картины. Оно понадобилось живописцу, чтобы он мог продемонстрировать свою «независимость» от реального мира: несколькими «магическими» взмахами кисти он создал свои, абстрактные, индивидуальные, «мифические», не существующие в природе «скалы в Этрета».

Как видим, эта «магия» не всегда в самом деле иррационалистична; ведь и Альбереса философия «сумасшедшего фортепьяно» привлекает главным образом как удобная служебная гипотеза, помогающая писателю поверить в свою свободу от закономерностей мира. Нередко встречается имитация иррационалистического мировосприятия как панацеи, «излечивающей» от связей с реальностью и освобождающей от необходимости познавать мир.

«Магическая» расправа с реальным миром более всего по душе художникам, воображающим, что в одиночной камере индивидуализма, которую они считают своей несокрушимой крепостью, они находят полную свободу личности и творчества, сочиняя «мифы» и избегая таким образом необходимости изображать мир средствами искусства. Они механически отрывают художественное переживание от исследования действительности средствами искусства и ограничивают содержание творческого процесса одним переживанием.

## 2

Особенности субъективистского искусства в его нынешнем виде, быть может, впервые отчетливо проявились в творчестве Франца Кафки, глубоко потрясенного своим открытием: он поверил, что человек подчинен всегда непредвиденному и бессмысленному своеволью, самодурству неразумного и всесильного, бюрократически равнодушного Рока. Природа капиталистических общественных отношений и ранее могла подсказать такое восприятие социальной действительности: при капитализме люди, говорит Маркс, «подчинены общественному производству, которое наподобие рока существует вне их, а не общественное производство подчинено индивидам, которые управляли бы им как своим общим достоянием»*. Двадцатый век с его мировыми войнами, своевольем империалистов особенно благоприятствует такому пониманию жизни; «роковым» оказывается даже исторический процесс в целом, и обычной становится ненависть, нередко истерическая, к истории — стихии загадочной и страшной. Искусство, доносящее до современников это восприятие жизни, говорит им о жестокости и безумии окружающего их мира, о смятении, одиночестве и беспомощности современного человека.

Человек в капиталистическом обществе «отчаянно борется за то, чтобы отстоять себя как личность...»**. Если он идет при этом по пути индивидуализма, то чем враждебнее и недоверчивее он насторожен против *всего* окружающего мира, чем ожесточеннее прячется от него в своей «крепости» — одиночной камере своего субъективизма, тем легче ему, одинокому, окруженному бурным драматизмом эпохи, оказываться в том положении, которое В. И. Ленин обозначил словами «выбитый из колеи».

«Анархизм,— писал Ленин,— вывороченный наизнанку буржуазный *индивидуализм*. Индивидуализм... основа всего мировоззрения анархизма... (Анархизм — порождение *отчаяния*. Психология выбитого из колеи интеллигента или босяка, а не пролетария)»***

Характеризуя (в тезисах «Анархизм и социализм») анархизм как бесплодное в области теории и вредное политически мировоззрение, Ленин подчеркнул также неспособность анархизма понять закономерности исторического развития: «Непонимание развития общества», «Непонимание *классовой* борьбы пролетариата» — в пяти тезисах

---

* Архив Маркса и Энгельса, т. IV, стр. 91.

** Д. Олдридж. Писатель и общественная мораль. «Иностранная литература» № 9 за 1963 г., стр. 217.

*** В. И. Ленин. Анархизм и социализм. Соч., изд. 5, т. 5, стр. 377—378.

слова «непонимание», «недостает понимания» повторены шесть раз *.

В наше время психология «выбитого из колеи интеллигента» принимает самый различный характер и типична не только для анархизма как политического течения или как умонастроения. Многие «выбитые из колеи» событиями нашей эпохи не в состоянии понять мир; иные отказываются понимать его. И для тех и для других эстетика «кошмара» и «ребуса» представляет собой подлинный клад.

«Кошмар» и «ребусное» построение отдаленно напоминают лейтмотивы, типичные для французского преромантизма и «черного» («готического») романа конца XVIII — начала XIX века (не случайно в наше время воскрешен термин «черный роман»), но они, конечно, лишены наивной примитивности той литературы, очень усложнены либо искусственно имитируют примитивность. Более ста пятидесяти лет назад писатели, повествуя в мистифицированном виде о незаслуженной и непонятной «ярости судьбы», выражали чувства, порожденные напряженным драматизмом жизни в революционной и послереволюционной Франции. Теперь же мистифицирующая форма порождена главным образом предрассудками, ослепляющими писателей и художников, мешающими им увидеть и показать то, что уже ясно видят и понимают и демократическая интеллигенция капиталистических стран, и миллионы менее образованных, чем эти писатели, рабочих и крестьян.

## 3

Враждебны ли реализму по сути своей условность, аллегории, «кошмары» и т. п.?

Достаточно вспомнить о кошмарах Анны Карениной или Клима Самгина, о технике «романа тайн» (своеобразного «ребуса») у Диккенса и Бальзака, чтобы ответить на этот вопрос отрицательно. Гротеск «Носа» Гоголя возник из невероятной условности. Однако великолепная ирония этой условности глубоко реалистична и участвует в исследовании николаевской России, в которой должность и власть, и только они, имели значение, а качества существа, обладающего ими, значения не имеют: не то что фитюльку Хлестакова легко принять за важное лицо — даже нос коллежского асессора, майора Ковалева, вдруг отделенный от его лица и существующий «сам по себе», сойдет за статского советника, если он окажется в шитом золотом мундире. Мысль Гоголя выражена так пластически и ясно на языке условности и гротеска и вместе с тем бытовой, социальной, психологической конкретности, что в «Носе» нет ни двусмысленности, ни «ребуса», ни тем более — «неразрешимой загадки».

Художественная функция конкретного изображения или условности, психологизма или символа, аллегории и т. п. не бывает однозначной, одной и той же во всех стилях и при любом мировоззрении. В «Шагреневой коже» Бальзака аллегорический образ магического куска кожи, поистине «сросшийся» (а не смонтированный) с конкретной обрисовкой жизни,— основа реалистического обобщения.

Сергей Коненков выразил сожаление о том, что молодым советским скульпторам «не хватает смелой фантазии, умения мыслить аллегориями и символами», тогда как «наше время настоятельно требует больших обобщений, ясных символов». «Как можно через заземленный конкретный образ выразить восхищение космическими полетами?» Образ аллегорический, лишенный *бытовой* конкретности, но смело и ярко обобщающий, может прекрасно выразить *исторически* конкретную поэзию необычайного, героическую романтику Человека, рожденную нашей революционной эпохой. Разве не такими были бессмертные аллегорические образы первого социалистического реалиста — Сокол, Буревестник, Данко или близкий к аллегорическому образ Бородатого солдата (из воспоминаний Горького, напечатанных в «Наших достижениях»)? Горький использовал поэтическую условность, чтобы усилить политическую ясность, определенность, конкретность этих образов.

Когда мотив кошмара в литературе конкретно мотивирован, он утрачивает «загадочную» абстрактность. Но для современной буржуазной литературы становится все более и более характерным полное отсутствие исторической, социальной мотивировки «кошмарных» мотивов. «Сумасшедшее фортепьяно» классового субъективизма объявляет своим эстетическим идеалом кошмар, объясняя подчас этот выбор лишь своим явным презрением и недоброжелательством к современникам. Вот один из наиболее заметных образцов такой литературы. Когда в Париже почти ежедневно взрывались бомбы оасовцев и Франция была встревожена организованностью и размахом

---

* В. И. Ленин. Анархизм и социализм. Соч., изд. 5, т. 5, стр. 377—378.

этого терроризма, Жан Ко, автор романа «Милосердие бога», получившего в 1961 году Гонкуровскую премию, заявил: «ОАС — это миф». Надо было обладать немалым запасом равнодушия, чтобы суметь не заметить в то время ОАС! Роман Жана Ко — философская притча, близкая по своим выразительным средствам эксцентрическому гротеску «авангардного» театра,— говорит о снисходительном презрении писателя к людям: удивительную способность мыслить они, подлые и слабые, используют лишь для того, чтобы подменять правду о действительности полуправдой, ложью, субъективистскими выдумками. Решив сочинить аллегорию о душевном смятении человека второй половины XX столетия, Жан Ко увидел в современности только типичные для состояния кризиса боязнь знания, желание уклониться от соприкосновения с действительностью.

Тюремная камера, и в ней четверо. Каждый из них за убийство осужден на пожизненное заключение. Они говорят, говорят... Не только чтобы скоротать оставленные им годы существования: вспоминая о том, за что их осудили, они *сочиняют*. «Сегодня Эжен убил своего мастера... Сегодня Эжен был ревнив». Они выдумывают так долго, упорно и однообразно, что уже невозможно отличить правду от вранья. А они и не сомневаются в том, что ложь, не отличаясь от правды, лучше, удобнее. Запутывая других и самого себя, каждый из них словно прячется от ответственности за свои поступки. Хотят ли они улизнуть от своей совести? Или от осуждения сожителей по камере, от какой-то высшей силы, сурового бога?

Они ежедневно монтируют варианты «биографий» и обсуждают монтаж с видом знатоков. Истории эти однотипны: убил или не убил, а если убил, то почему не виноват в этом; почему ревновал и т. п. Постепенно монтаж словно образует одну общую историю. Каждый из рассказчиков начинает утрачивать представление о себе самом как об определенной, отдельной, конкретной индивидуальности; эти мотивы словно проникли в роман из сочинений Беккета и Ионеско. Три образа как бы становятся взаимопроницаемыми. Лишь самый примитивный — тупой боксер Алекс — твердо знает: он Алекс.

Доктору — эпилептику, пожилому, умному и циничному — вдруг показалось, что он молодой, здоровый и глупый боксер. Это лишь начало. Алексу приходится устраивать переклички для установления личности каждого из его сожителей. В гротескной сцене переклички на одно имя отзываются двоетрое; нелегко выяснить, кто же настоящий? Впрочем, «не все ли равно, фальшивый или настоящий»? Субъективизм, безмерно разросшийся, разрушает личность. Социальная основа этой патологии — желание «избавиться» от самого себя, чтобы избежать участи, которая устрашает.

В конце романа-притчи Доктор, паясничая, изображает из себя «сумасшедшее фортепьяно» солипсизма. «Вы не существуете,— сообщает он своим сожителям.— Я вижу вас во сне. Вы, любезные мои товарищи, всего лишь сон мертвеца... Господа, как только мне придет в голову фантазия не видеть вас больше во сне — вы исчезнете... Ни живые, ни мертвые! Вас нет!» — «Это неправда»,— неуверенно отвечают ему. «Правда, ложь... Предрассудок». Сожители Доктора растерялись и умоляют его не прекращать из сострадания их иллюзорное существование. Успокоившись, они обсуждают свое положение, и финал романа, внутренне близкий Кафке и «черному» фарсу Беккета «В ожидании Годо», завершается тем, что убийцы решают: им выгодно, чувствуя себя как будто вполне живыми, существовать лишь во сне Доктора — благодаря такой хитроумной двойственности они избегнут ответственности за свои поступки, за свою далеко не образцовую жизнь. Алекс от имени пожизненно заключенных почтительно сообщает Доктору: отныне они считают его своим богом (конечно, не суровым, а снисходительным, дарующим сострадание и прощение). Доктор отвечает: это логично, он согласен быть их богом; затем—засыпает.

Вслед за «Милосердием бога» Жан Ко сочинил пьесу «Парашютисты» (1963), в которой смешаны белая и черная краска и одной серой изображены и алжирские патриоты и пытающие их наемники — парашютисты; все они стоят друг друга, все и невинны и виновны, и правы и ошибаются.

А. Стиль в «Юманите», Д. Бонтемпи в итальянской газете «Паэзе сера» одновременно написали о мрачном романе-фарсе Жана Ко: «мешанина». Так как «путаница...— мать каждого нынешнего литературного успеха», писал А. Стиль, романисты стараются «затемнить, мистифицировать» картину жизни.

---

## 4

Сообщив в своей последней книге «История современного романа» (1962), что буржуазная литература последних десятилетий преодолевает «ограниченность кругозора», разрывая «опасные связи с предрассудками» и «банальным» видением мира, Альберес уподобился человеку, который встал на голову, вверх ногами и совершил великое открытие: небо-то, оказывается, внизу! Дело в том, что почтенный критик подразумевает не ограниченность реакционной идеологии и не опасность связей с ее предрассудками, иллюзиями, предвзятостью, а «ограниченность» реализма и опасность для литературы ее связей с восприятием действительности широкими массами — «средними людьми».

Назвав кризис преодолением кризиса, Альберес следующим образом объясняет, почему, дескать, реализм наивен, устарел и нежелателен.

XVII—XIX века, говорит Альберес, были для литературы и искусства временем компромисса: стремясь к популярности, художники расплачивались за нее тем, что видели мир глазами «профана», «любого человека», «цирюльника», «писца из нотариальной конторы». Реализм, утверждает Альберес, воспринял характерные черты этих «средних» людей: он «мелкобуржуазен», «требователен и кичлив»; наконец, реалист, «романист, сочиняющий анекдотические (то есть сюжетные.— *Я. Ф.)* произведения», например, Бальзак, «желая удовлетворить «профанов», рассказывая, все объясняет...»

Альберес не одобряет привычек Бальзака, потому что мода, порожденная кризисом сознания, изгоняет из искусства естественную склонность познавать и объяснять действительность.

Поэтому такие нежелательные качества литературы, как конкретность изображения, требовательность к обществу и человеку, критицизм и познавательная ценность («страсть объяснять»), объявлены не только устаревшими, но и буржуазными, мелкобуржуазными, приемлемыми лишь для «буржуазного писателя» Бальзака. «Пережитая реальность остается непостижимой». Все непостижимо — «смысл жизни того или иного человека либо смысл того или иного жеста, того или иного слова...»

Если сказать Альбересу, что он неправ и смысл жизни Даниэли Казанова или героический поступок Манолиса Глезоса, сорвавшего фашистское знамя с Акрополя, ясны, он возразит: это слишком просто, это понятно большинству, которое и вносит в литературу реализм, «чуждый» ее, литературы, природе!

Но почему такова «природа» литературы? Это, оказывается, аксиома, не требующая доказательств. И, повинуясь именно этой странной «природе», те писатели, которых Альберес называет современными, порвали с традициями реализма: «В этой революции нет ничего необычайного. Джойс, Пруст, Кафка — явления более естественные, чем Бальзак, чем Золя, чем Дюамель».

По мнению Альбереса, поскольку реализм понятен большинству, у реалиста нет индивидуальной зоркости, своеобразного восприятия мира. Поэтому, дескать, реализм препятствует новаторству.

Но подлинный новатор — основатель парижского Национального народного театра Жан Вилар утверждает: «Создание театрального искусства означает для меня *умение донести хлеб и соль познания до самого большого множества людей,* и прежде всего — наименее подготовленных».

Главный признак «естественного», то есть «современного», искусства — его непостижимость, иррациональная сущность. Альберес, считая этот признак типичным для средневековья, заявляет: «Живопись и литература последних десятилетий, отказавшись от реализма, возрождают навыки средневековья, учатся у него воспринимать мир как «загадочный» и так же его изображать». По мнению Альбереса, Франц Кафка — первый, кто возродил средневековое восприятие мира, стиль мышления, искусства. «До него повествование было как бы истолкованием жизни. Кафка писал повести «необъяснимые» «непостижимые», «стремясь сделать невозможной любую их интерпретацию».

Итак, не кто иной, как Кафка, перебросил эстетический мост к средневековью. Это и есть признание его творчества *наисовременнейшим* с точки зрения тех, кому нравится мешающая движению к будущему какофоническая музыка современного субъективистского «сумасшедшего фортепьяно». Вот почему имя Кафки — один из девизов на знамени так называемого модернистского искусства. Кафку сделали символом смятенного сознания, выбитого из колеи необыкновенной сложностью, необыкновенным драматизмом эпохи, символом мучительного, неотвязного страха перед будущим, который делает милым и желанным недосягаемое средневековье.

## 5

В «Человеческой комедии», как и в жизни, немало загадок, постепенно проясняемых автором: взаимоотношения людей сложны и запутанны, в каждой семье — своя тайна. Читателю трудно оторваться — он идет по лабиринту интриги к развязке.

Роб-Грийе развивает другую, враждебную реализму традицию: у него лабиринт никуда не приводит; в его «ребусе», как на абстрактной картине, и разгадывать-то нечего. Единственное, что получает читатель от книг этого писателя,— общее впечатление «кошмарного лабиринта» или странного «сна». Все это настолько бесспорно, что не раз было отмечено французскими критиками различных направлений. Роб-Грийе и К. Симон, говорит Альберес, «описывают в романах, представляющих собою более загадки, чем повествование, лабиринт, в виде которого человеческий ум воспринимает реальность».

Альберес оправдывает субъективистскую эстетику непознаваемости мира как соответствующую представлению всех людей. В действительности эта эстетика навязывает людям свой стандарт: вместо поисков нового, создания множества образов жизни — варианты все тех же двух образов: лабиринта, хаоса. Марксистские критики Э. Люп и А. Соваж точно объяснили происхождение и смысл этой нищеты искусства: в романах Роб-Грийе и М. Бютора «образ лабиринта... есть не что иное, как эстетическая переплавка понятия непостижимости». Подлинное содержание такого образа — пустота. Писатель Б. Пенго ее и обнаружил с удовлетворением у Роб-Грийе: бесконечные коридоры, стены домов, тротуары возникают в них как бы во сне, и все более отчетлив «образ лабиринта», «раскрывающий иллюзорный характер вселенной, в которую ввел нас автор»; читателю эти романы говорят, «что он здесь у себя дома, то есть в пустоте».

Нечеловечески равнодушны романы Роб-Грийе; они населены роботами. Критик Бартес признал: этому писателю удался в романе «Соглядатай» «решительный отказ от трагедии». Поменьше бы таких удач выпадало на долю литературы! Механический монтаж описаний в романах Роб-Грийе, изгоняя равнодушием понимание и переживание драмы, препятствует познанию драматического содержания нашей эпохи. И удалось А. Роб-Грийе лишь показать, что «дедраматизация», «дегероизация» искусства — это его наиболее последовательное приспособление к кризису буржуазного гуманизма и буржуазного сознания в целом.

В романах Клода Мориака и Клода Симона отдельные, разрозненные «кадрики», клочки и клеточки прозы написаны талантливо, искусно, но чтение их в большом количестве — занятие томительное, бесплодное, скучное. Это объясняется прежде всего тем, что клочки смонтированы нарочито бессвязно. Для книг этих писателей — как и для Роб-Грийе — характерен также монтаж бесконечных повторов. Повторяются и отдельные подробности, и целые абзацы. Между ними часто бывают, как отметили Э. Люп и А. Соваж, равномерные интервалы. По мнению этих критиков, повторы призваны укрепить представление читателя о реальности описываемого. Но у них имеются также другие функции: разбросанные, словно пятна на абстрактной картине, они создают впечатление хаотичности и неподвижности происходящего, воспоминаний, да и самого времени.

Клод Симон особенно упорно добивается такого впечатления. Тонко чувствуя язык, владея его стихией, Симон выработал свой стиль, для которого характерны кошмарные образы, мрачные афоризмы, имитация истерического монолога. Весь роман К. Симона «Дорога Фландрии» (1960) звучит как такой монолог, в котором неотличим голос автора от голосов персонажей и перемешаны несколько временных пластов событий и воспоминаний. Жорж, освобожденный после второй мировой войны из гитлеровского лагеря для военнопленных, приехав к жене убитого командира своего эскадрона, вспоминает о лагере, где он и его товарищи вспоминали о пережитом ими в «странной войне», о довоенном времени и судили-рядили о своем командире, о загадочном прошлом этого человека и его предках. Разграничить временные пласты повествования — нелегкая работа. Оно льется сплошной бесформенной массой. В книге мало абзацев и точек, Симон любит «фразы», занимающие не одну и даже не две страницы, и в такие гипертрофированные «фразы» при помощи обильных скобок включает клочки, вырванные из других временных пластов.

Это бесформенное построение ребуса — именно та форма, какая надобна Симону, чтобы выразить его мировосприятие и ми-

ровоззрение. Это — механический монтаж лейтмотивов, аллегорических образов и навязываемых читателю ассоциаций. У Симона обнажено его назначение — вытеснять из романа развитие действия, сюжета, характеров, мыслей, сделать «мнимым» и «нереальным» всякое движение.

У Симона таков принцип построения не только всего романа и его кусков, но и отдельных образов. Вот, например, аллегорический мотив кошмара войны: «Четыре кавалериста и пять лошадей словно во сне и, не продвигаясь вперед, но с лошадиными ногами, подымающимися и опускающимися на одном и том же месте, фактически неподвижны на дороге, а карта обширной поверхности земли, луга и леса, медленно перемещается под ними и вокруг них...»

«Мнимость» движения во времени и в пространстве — такова разгадка этого мрачного ребуса. Она связана с темой войны и смерти, как «естественной формы» бытия. Поэтому, если у Саррот — единая серая «психическая материя» и в ней выделяются голоса и «комплексы» персонажей, то у Симона — единая гниющая «материя» жизни, истории, в которой барахтаются персонажи, расплываются пятнами их мысли, воспоминания.

Наиболее часто повторяющиеся в «Дороге Фландрии» «слова-ключи» — «зловоние», «смерть», «труп» и т. д. Периодически повторяется тщательно выписанный лейтмотивный образ застреленной и агонизирующей лошади, увлекаемой «во владения мрака, где неутомимо скачут мертвые кони».

Этим кровавым и кошмарным лабиринтом К. Симон приходит в финале книги к окончательной разгадке ребуса. В последнем «абзаце» без точек, размахнувшемся более чем на десять страниц, автором назван отрицательный герой романа: это — поток времени, история, так же выдуманная «богом Разумом», как и Провидение и Непорочное зачатие. Даже война подобна штилю на море по сравнению с безличной разрушительной работой времени «в неподвижном мире под неподвижным небом». Эту работу и называют, дескать, историческим прогрессом. К. Симон — художник не походит на А. Роб-Грийе — художника. Но у обоих мир неподвижен или движение — мнимое.

В течение тысячелетий литература и искусство овладевали пространством и временем. В романах Бальзака реально историческое время — эпоха, смена эпох; у Стендаля субъективное восприятие времени уже имеет художественную функцию и в крушении всяческих иллюзий уже участвует. Начиная с русских реалистов — Тургенева, Гончарова, Л. Толстого, а во французской литературе — начиная с «Воспитания чувств» Флобера, сочетание «субъективного» времени с историческим создает эффект глубины, подобный перспективе в живописи, и становится, как и последняя, огромным достижением искусства, познающего действительность. У Толстого историческое и «субъективное» время наполняют друг друга, обогащают персонажей и эпоху поэтическим содержанием, драматизмом. Функция движения времени, «работа» времени присуща французскому критическому реализму и в XX веке (например, в «Семье Тибо» Роже Мартен дю Гара, в цикле романов Ж. Дюамеля о Салавене). Для К. Симона исторический процесс — враг; время не движется, оно только разрушает, убивает. К. Симон, вступив в борьбу с этим врагом, кромсает, уничтожает, отменяет его, создавая не эффект глубины, а эффект кошмарного неподвижного хаоса.

В романе К. Симона «Отель Палас» (1962) — Барселона во время антифашистской войны в Испании. Но лишь испанские фразы, вмонтированные в книгу, говорят о месте и времени действия. К. Симон не знает, да и не хочет знать народной, прекрасной и трагической Испании, которую мы находим в поэзии Гарсиа Лорки и в «Романсеро испанской войны», у Эренбурга, Кольцова и Хемингуэя. К. Симон абстрагирует свое повествование от конкретной исторической действительности, и именно поэтому ему удалось подменить трагизм событий все тем же переходящим из книги в книгу, от писателя к писателю вневременным кошмаром гниения.

В прозе «Паласа» можно увязнуть, как в болоте; не только абзацы, но и фразы — в несколько страниц со сложной системой скобок: в огромной фразе в скобках большая фраза, в ней, тоже в скобках,— несколько, подчас довольно много, маленьких фраз. Словно с кочки на кочку переступаешь в этом запутанном лабиринте ассоциаций. Они перемешаны так же, как временные пласты в «Дороге Фландрии». Этот монтаж предназначен, во-первых, для того, чтобы создать впечатление бесплодности движения жизни, истории; во-вторых, чтобы повторять и варьировать одни и те же ассоциации, навязывать их читателю.

Роман субъективистски тенденциозен от эпиграфа до последнего слова. Вот эпиграф: «Революция: движение тела, которое, описывая замкнутую кривую, последовательно вновь проходит по тем же точкам. Словарь Ларусс». В самых кратких французских словарях рядом с этим физико-астрономическим значением слова «Révolution» («обращение», «вращение») дано и другое: ниспровержение общественных институтов, быстрое и глубокое изменение. К. Симон смонтировал оба значения и произвел подмену: революция в жизни общества — это «бесплодный круговорот».

Отсутствие исторической конкретности подчеркивается нудно подробным описанием предметов (например, мебель в номере гостиницы «Палас» — в первой главе «Инвентарь»). Поначалу кажется, что это — такая же инвентаризация, как у Роб-Грийе; затем замечаешь, что опись то и дело как бы переходит в пародирование деловитости Роб-Грийе и утопает в бесконечных ассоциациях. Среди персонажей выделяются студент, американец и итальянец. Это — не образы, а некие безликие тени; они не только условны, но и абстрактны; в конце книги одному из них кажется, что два его спутника — лишь «части» его самого. Определенности личности у таких персонажей нет (как и в романе Жана Ко «Милосердие бога»).

Ассоциации, связанные с Барселоной, образуют лейтмотив романа. В первой главе К. Симон так комментирует план этого города: его «улицы, площади, авеню с именами королей, святых, догм, сражений» «подобны ужасному катафалку истории, трупу на ложе из цветов», мрачному перечислению имен, предписанному ритуалом «безжалостной религии, безжалостной, высокомерной и таинственной Истории, покрытой зловонным гноем и незалечимыми шрамами». История — это не только труп и гнойник прошлого: в конце книги «агонизирующая» Барселона уподоблена (с отвратительными, низменными подробностями) королеве, обреченной родить и рождающей, истекая кровью, маленькое большеголовое и дегенеративное чудовище. В этой кощунственной аллегории роды — «революция», а «чудовище» — «будущее»; оно — выродившийся потомок «трупа прошлого».

Испания тех лет была не для туристов, и приезжали туда не обыватели. К. Симон глядит теперь на нее глазами человека, которому совершенно непонятно, что можно быть не обывателем, который видит в героической эпопее и трагедии Испании лишь обильное и бессмысленное «кровопускание».

К. Симон как бы перепевает и Жана Ко, и Эжена Ионеско. Это объясняется тем, что очень невелик выбор способов изображения и выражения у писателей, отказывающихся исследовать средствами искусства реальный мир и стремящихся выражать лишь одно чувство — ненависть к Истории и превратить свою ненависть в литературный заслон от будущего.

Что происходит, когда персонажи в романах таких писателей решают перейти от размышлений к действиям?

Вообразив, что они нашли свободу в отказе от познания закономерностей общественной жизни, они и активными могут быть только вслепую; между *риском незнания* и *риском авантюризма* — прямая связь. Отказ от знания ведет к слепоте, истерике и делает единственно возможным действие, совершаемое «вслепую», авантюристское*.

В абстрактной живописи механический и хаотический монтаж цветовых мазков, пятен, линий предназначен заменять образное искусство, способное отражать эпоху. Кандинский отлично понимал это и знал, к чему стремится. К. Симон, А. Роб-Грийе, К. Мориак также не действуют бессознательно; их влекут к себе «лабиринт» и механический монтаж смысловых «пятен», потому что они хотят вытеснить из романа *развитие,* хотят создавать представление о «кошмарной нереальности» жизни, о «неподвижности движения» человечества к будущему.

Добиваясь этого, К. Симон монтирует ассоциации с описаниями. Клод Мориак в третьем томе своей тетралогии «Маркиза вышла ровно в пять» (1961) монтирует размышления с документами, цитатами. Эту книгу можно читать как своеобразный путеводитель по историческому прошлому

---

* См. статью Я. Фрида «Об авантюризме мысли и действия». «Иностранная литература» № 8 за 1962 г.

небольшого района Парижа, представляющий собою монтаж материала, извлеченного из старинных, редких книг и архивных документов. Если бы писатель ограничился этим и не был бы тенденциозным, документальный жанр обогатился бы любопытной книгой. Но К. Мориак снабдил персонажей, о которых он сам говорит как о взаимозаменяемых манекенах, внутренними монологами, и в них фактический материал истолкован в духе реакционной «философии истории». К. Мориак не скрывает своих идей, в отличие от А. Роб-Грийе, который уверяет, будто обходится без идей. К. Мориак, как и К. Симон, для того и изобретает композицию хитроумного монтажа, чтобы при его помощи получше выразить свои идеи, порожденные кризисом буржуазного сознания.

Автор «Маркизы» перетасовал исторические факты таким образом, чтобы создать впечатление, будто у перекрестка Бюси пересекаются не только улицы, но и века — они перемешаны, сосуществуют с настоящим временем, не менее реальны, чем оно. Так и настоящее, и прошлое становятся в романе равно призрачными, время исчезает. Главный персонаж романа Карнежу хочет убедить себя в том, что время «не существует», хотя и «убивает нас».

К. Мориак назвал предшественников, учителей — своих и Карнежу. В двух афоризмах, приведенных им в «Маркизе», превосходно выражены те характерные черты современного индивидуалистического мировосприятия, из которых, поясняет К. Мориак, «родилось много новейших произведений». Первое изречение принадлежит Джойсу: «История — кошмар, пробудиться от которого я пытаюсь». Что же надо сделать, чтобы «пробудиться» от истории? «Надо *исключить элемент времени*, сделав одновременными вчера и сегодня». Это программное заявление принадлежит художнику П. Клее, одному из родоначальников абстракционизма. В этих афоризмах Джойса и Клее — ключ к той французской литературе, к той французской живописи середины XX столетия, которые пропитаны поистине паническим страхом перед будущим — страхом «выбитых из колеи», желающих и современникам внушить ненависть к «идолу истории» (выражение А. Камю). Французский литератор Б. Дор нашел точные слова, сказав, что в произведениях Роб-Грийе выражен «страх французской буржуазии перед Историей».

Изгнание человека и образности из живописи, изгнание времени из романа и раздробление человеческого образа на микроэлементы — работа механическая. Поэтому К. Мориак, последовательно заостряя программу «нового романа» (но все же не без оттенка иронии), выразил недоверие ко всему старомодно-человеческому — к пытливости ума, эмоциональности, впечатлительности, субъективности — и доверие к тому, что теперь в большой моде — к бесчеловечно-механическому. К. Мориак объяснил, как он сделал для своей книги монтаж из архивных материалов: «Я механически зарегистрировал (факты), подобно машине, устроенной так, что она запоминает одни сведения предпочтительно перед другими... Электронный мозг произвел бы этот отбор так же хорошо, как я, и даже лучше» (располагая более обширной информацией). Это демонстративное возвышение электронного мозга над «обыкновенным», над творческой индивидуальностью понадобилось К. Мориаку, потому что ему кажется: кризис мышления и гуманизма стал «нормой».

Натали Саррот сетует в книге «Эра подозрений»: многие читатели предпочитают факты вымыслу, книги документального жанра — романам; писательница объясняет это устарелостью характеров, реалистической типизации. Но читатели, о которых упомянула Н. Саррот, не снобы, не модники. Они чувствуют, что жизнь интереснее и героичнее тех произведений, которые нравятся Н. Саррот и, по ее мнению, должны прийти на смену большой правде большого искусства.

Лишь преуспевающих дельцов может удовлетворить фальшивый оптимизм буржуазной идеологии, восхваляющей капиталистический строй. Но люди устали от «стоического пессимизма» и «пессимистического гуманизма», тоскливого индивидуализма и мрачных размышлений о сомнительном смысле или явной бессмысленности человеческого бытия. Не так уж много снобов, удовлетворенных тем, что они по самой последней моде разочарованы в жизни и обзавелись цинизмом наиновейшего сорта. Четыре раза (с 1955 года по 1958 год) группам учащейся молодежи во французской провинции было предложено назвать пять любимых писателей. Первое место в ответах неизменно занимал Сент-Экзюпери: по душе молодежи чистосердечие его мужественных и добрых раздумий; она проголо-

совала за поэзию дружбы людей, жителей одной планеты, за оптимизм деятельной любви к человеку и настоящего доверия к нему — оптимизм гуманиста и антифашиста, за патетику творческого познания действительности. Второе место дважды занял великий оптимист-демократ Гюго. Результаты анкеты не случайны. Познание смысла жизни, надежда (а не иллюзия), глубокий, общечеловеческий оптимизм нужны, как воздух, нашим современникам.

Демократического читателя отталкивают книги, развенчивающие человека и его разум, отвлеченные от действительных драм и фарсов современности, от политики и психологии, от жажды познания и восхищения прекрасным. Ведь вместо всего этого искусство нагружают тщательно придуманными кошмарами, кошмариками, абсурдными композициями, искусственным, безжизненным монтажом, равнодушием. Демократический читатель не признает эти произведения современными, потому что не может обнаружить в них свою эпоху; они не в состоянии взволновать его так, как его волнует жизнь; учат его они лишь безучастности, неспособности стремиться к высокой, благородной цели, учат чувствовать себя сбившимся с пути, выбитым из колеи. Этому читателю всегда нужны «хлеб и соль познанья», о которых говорит Ж. Вилар. Не удивительно, что он предпочитает произведения Сент-Экзюпери, рожденные суровой действительностью, воодушевляющие призывом к долгу и романтикой подвига, или же такие замечательные книги документального жанра, как «За бортом по своей воле» Алена Бомбара — деловито-точный отчет и вдохновенное повествование о реальном подвиге гуманизма, о каком могли бы мечтать самые романтические герои Жюля Верна.

«Моды, эти эпидемии ума, отталкивают от романов разного рода»,— записал Стендаль 120 лет назад на полях своих «Прогулок по Риму».

Подлинно передовые люди не имеют ничего общего с так называемым литературным и театральным «авангардом».

Альберес думает, что психика его современников походит на «абсурдную машину», сконструированную сумасшедшим. Кто же этот безумец? Спятивший XX век? Свихнувшийся Рок? Нет, следует говорить не о безумной и злой судьбе, а о мировосприятии «сумасшедшего фортепьяно», типичном для современного субъективизма, о литературе, которая боится правды реализма и, превращенная в аккумулятор реакционных предрассудков и иллюзий буржуазии, мешает современникам понять нашу эпоху.

Реализм, напротив, помогает людям понять, чтобы действовать. Чем более углубляется кризис буржуазного мышления, тем злободневнее звучат слова Арагона, сказанные им в 1952 году: «Борьба за реализм — часть борьбы за подлинную демократию и за мир»*.

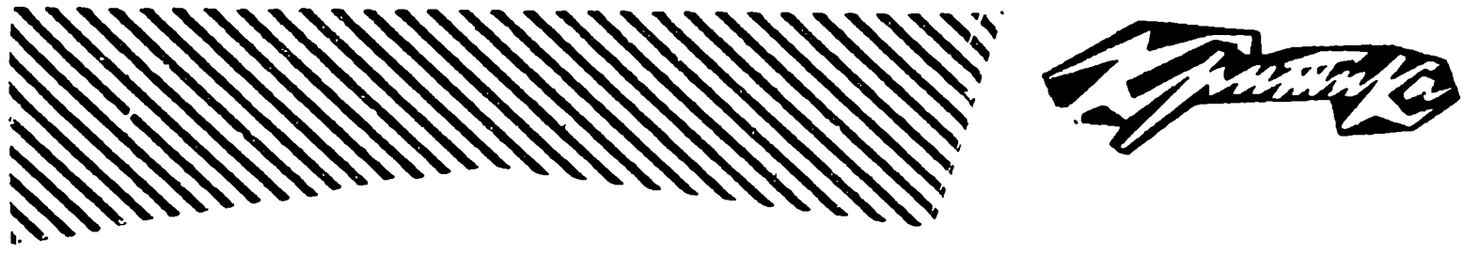
Современное мышление, реалистическое и вдохновленное романтикой переделки жизни во имя счастья человечества, овладевает действительностью, включая в нее будущее.

Мышление, которое страшится такой реалистичности и отвергает такую романтику, отстало от эпохи. Иным кажется, что именно это отсталое мышление дарует человеку свободу жизни и активности вне исторического процесса. В действительности оно, стремясь отменить закономерности исторического развития, дарует не свободу, а слепоту, при которой возможным оказывается лишь риск гибельного авантюристического действия.

Изобретателен ум человеческий. Но бесплодна его изобретательность, когда она изыскивает и вырабатывает лишь причудливую технику уклонения от настоящей реализации его возможностей, уводит человека с верного пути. Вот где Флобер мог бы найти материал для «Бувара и Пекюше» — иронической и печальной книги о заблуждениях, чудачествах и авантюрах мысли!

---

* Арагон. Гюго — поэт-реалист (в сб. Арагон. Литература и искусство. Избранные статьи и речи. М. Госполитиздат, 1957, стр. 38).



А. КАРЕЛЬСКИЙ

# СТАНЦИИ ЭРНСТА ЮНГЕРА

Строгие серые тома, стройное членение материала по жанрам: четыре тома дневников, четыре тома эссе, подразделяющихся на «Размышления над временем» и «Вневременные размышления», два тома беллетристических сочинений — венец многолетнего творческого пути, наследие классика перед отплытием в вечность. Издательство Эрнста Клетта (Штуттарт) выпускает в свет полное собрание сочинений Эрнста Юнгера в 10 томах. Гете и Шиллеру придется основательно потесниться на книжных полках западногерманских книголюбов.

Заглянем в один из ранних томов. «Я смотрю на этих солдат, и меня осеняет прозрение: перед нами новый человек, разведчик бурь, элита Центральной Европы, совершенно новая раса, умная, сильная, волевая... Эта война — не конец, а начало насильственных перемен. Она — кузница, в которой мир перековывается в новые объединения и получает новые границы. Новые формы требуют наполнения кровью, и власти нужен крепкий кулак. Война — великая школа, и новый человек будет скроен по нашему образцу».

Что это? Цитата из «Майн кампф»? Отрывок из речи Геббельса? Нет, это авторский текст, датированный 1922 годом.

Раскроем один из последних томов. «Восток и Запад — конфликт между ними составляет сущность всего исторического процесса... Мы ощущаем силу тяжести этого континента, мы слышим угрожающий звон цепей с Кавказа... Все тот же ужас предшествует вторжению орд с Востока, когда небо окрашивается заревом пожаров... Перед этим бледнеет угроза поражения от руки себе подобных в войне между нациями и даже в гражданской войне, а защита форпостов становится самой священной задачей. Она снимает все различия, все унаследованные тяжбы между народами Запада».

А это что? Последняя речь Форрестола? Обращение главнокомандующего НАТО к солдатам бундесвера? Нет, это тоже авторский текст, датированный 1953 годом.

Это Эрнст Юнгер.

■

В советской критике уже говорилось о Юнгере как об одном из апостолов фашизма и послевоенного реваншизма в Германии. Но Юнгер не просто один из многих. Не случайно именно его еще при жизни увенчали изданием полного собрания сочинений там, где этой чести не удостоились ни Томас Манн, ни Генрих Манн, ни Герман Гессе — ни один из крупных немецких писателей, умерших или живущих. Восторженные славословия реакционной критики создают необходимый фон для этой высокой награды. Всякая, даже самая скромная попытка вскрыть связь творчества Юнгера с идеологией немецкого милитаризма вызывает у

этих критиков болезненно раздраженную реакцию — так было недавно с монографией о Юнгере Ганса-Петера Шварца, которого журнал «Вельт унд ворт» прямо обвинил в спекуляции на «политических ошибках» Юнгера. Правда, эти «ошибки» столь небезобидны, что доброжелателям Юнгера пришлось специально потрудиться над созданием легенды о его политическом «самоочищении». И они ее создали, а все более сгущавшаяся атмосфера реставрации так легко впитала в себя этот немудрящий миф, что Юнгер счел даже возможным отвергнуть версию о «непоступательном» характере своего развития,— он претендует на непогрешимость каждого из своих сочинений с этической и философской точки зрения.

Дело здесь, разумеется. не в том, что на жалком общем фоне литературно-реваншистского ширпотреба в Западной Германии писания Юнгера выглядят презентабельней, во всяком случае, претенциозней. «Заслуги» Юнгера лежат не столько в области эстетики, сколько в области дидактики; если реваншистские «эпопеи» какого-нибудь Двингера содержат азбуку расизма, рассчитанную на поддержание боевого духа в пушечном мясе бундесвера, то книги Юнгера обращены к интеллекту милитаристской элиты, они — духовная пища для вояк с амбицией. Юнгер был наставником тех высокопоставленных и рядовых участников гитлеровских преступлений, которые не прочь были представить свое участие в этих преступлениях как трагедию «обманутого идеализма». А уж «идеализма» у Юнгера хоть отбавляй. Он редко «опускался» до практической политики — он изготовлял более тонкие яды, но они действовали тем безошибочней. И этому есть свидетельства.

В одном из последних рассказов Бёля, вновь обращенном к минувшей войне, ненавистная герою атмосфера казарменных разговоров передается по-бёлевски скупо и хлестко — «говорили об Эрнсте Юнгере и о женском теле». В последнем романе Ганса Вернера Рихтера «Линус Флек» устами одного из героев Рихтер прямо возлагает на Юнгера вину за смерть сотен тысяч немецких юношей на полях несправедливой войны. Историю одного из таких юношей рассказывает писатель ГДР Дитер Нолль в романе «Приключения Вернера Хольта» — и вновь всплывает имя Юнгера. Западногерманский писатель-коммунист Рихард Шеринтер в своей автобиографии «Великий жребий» вспоминает, как в 1928 году молодые солдаты «глотали все книги о первой мировой войне — от Юнгера до Боймельбурга». Перед нами не случайное совпадение — речь идет о человеке, которого венчает лаврами реакция и которого явно считают символом милитаризма писатели обеих Германий, тревожащиеся за судьбы своей нации. А если вспомнить, что западногерманские истолкователи Юнгера взахлеб пишут о его влиянии на немецкую литературу (это звучно называется «феноменом излучения»), то становится очевидным, что к такому «феномену» стоит присмотреться повнимательней.

Начало писательского пути Юнгера связано с первой мировой войной. Он принимал в ней участие, его первая публикация — дневник «В стальных грозах» — относится к 1920 году. И хотя «философское» обобщение своего военного опыта Юнгер дал не в этой книге, а в последовавшем за ней трактате «Борьба как внутреннее переживание», само название его первой книги — «В стальных грозах» — как бы маркирует отправную станцию на его пути; вокруг этой «станции» группируется вся его продукция 20-х годов.

Когда мы говорим о немецкой литературе, связанной с первой мировой войной, мы вспоминаем первые книги Цвейга, Ренна, Ремарка, последовавшие одна за другой как яркие вспышки справедливого гнева. Юнгер с самого начала стал по другую сторону черты, и не случайно весь идейный комплекс антивоенных книг, появившихся несколькими годами позже юнгеровских дневников, представляет собой во многом прямую полемику с идеями Юнгера. Юнгер был, в сущности, первым немецким писателем, придавшим милитаристской идеологии более или менее законченные «эстетические» формы.

Сын провинциального буржуа, всю свою последующую жизнь рвавшийся в «орден» аристократов духа, Юнгер и в первую мировую войну ринулся как в героическую авантюру, вдруг озарившую горизонт окружавшего его филистерства: «Стоит мне только подумать,— напишет он впоследствии в своем военном дневнике «Перелесок 125»,— в каком окружении я мог бы сейчас находиться, среди карьеристов, зажатый в тисках профессии, за столиком прокуренного кафе среди литераторов, наверное, я бы через полгода разбил вдребезги всю эту лавочку и уехал бы куда-нибудь в Конго или в Бразилию, где их руки еще не коснулись природы.

---

А. КАРЕЛЬСКИЙ
СТАНЦИИ ЭРНСТА ЮНГЕРА

А здесь война, которая обычно так много отнимает, здесь она много дает: она воспитывает в человеке чувство мужского товарищества и ставит на свои места ценности, полузабытые нами».

От чисто филистерского отрицания филистерства с характерным привкусом колониальной экзотики Юнгер пришел, таким образом, к прославлению войны как некоей «школы мужества». Но дело здесь не просто в личной признательности Юнгера войне за закалку его характера. Он переходит далее к обобщениям, всю социальную опасность которых трудно переоценить Для него война — «начало всех вещей», она, как пишет Юнгер, «столь же мало является делом рук человеческих, как половой инстинкт; она — закон природы... Человеком управляет жажда убийства, она ведет его через грозы из взрывчатки, железа и стали». С позиций этого милитаризованного фрейдизма Юнгер безоговорочно принимает войну и с варварским упоением рисует картины «всепроникающего ужаса, тончайшие оттенки которого доступны лишь самым чувствительным натурам».

Он не устает прославлять своих собратьев по оружию — ландскнехтов, для которых война является их «первородной стихией». Выше мы уже видели, что с такого рода ландскнехтом Юнгер непосредственно связывал надежды на «насильственные перемены» в мировом правопорядке. Конечно, Юнгеру приходится нелегко, ибо ничто не было так скомпрометировано во время первой мировой войны, как шовинизм и милитаризм, проповедником которых он выступает. И он бросает на поле идеологической борьбы весь свой нехитрый интеллектуальный арсенал: полемизируя с пацифистами, он попросту обвиняет их в «боязни крови», в том, что для них «единственно святым является собственная персона»; сознавая малую соблазнительность для солдат «геройской» смерти ради чуждых им интересов, он тщится представить «борьбу» как нечто абсолютно неутилитарное, как акт чистого самоутверждения — он просто «забывает» вопрос о том, ради чего ведется эта война: «Может быть, мы принесем себя в жертву во имя чего-то несущественного; но нашего собственного достоинства у нас никто не отнимет. Существенно не то, за что мы боремся, а то, как мы боремся. Борение, самопожертвование, пусть во имя самой ничтожной идеи, весит больше, чем все рассуждения о добре и зле».

Идею «бессознательности» борьбы Юнгер развивает особенно настойчиво, и это не случайно. Для него, как и для тех, кого он представляет, нет ничего страшнее, чем стремление рядовых участников войны разобраться в смысле происходящего. Пространно разглагольствуя о воспитании характера в войне, он как огня боится того истинного «воспитания к революции», о котором писали в своих книгах о войне Барбюс и Арнольд Цвейг. И демагогические панегирики немецкому солдату не мешают Юнгеру тут же четко, «по-солдатски» указать этому ландскнехту на подобающее ему место, как только тот делает попытку задуматься о целях и смысле войны: «Они никогда не найдут решения проблемы. Для них важна только внешняя сторона дела. Им ни за что не внушишь, что они ни на шаг не приблизятся к этому решению с помощью какого-нибудь мирного договора или революции. Они эгоисты. Но их нужно понять. Они не знают, что на самом деле они — материал, который сжигает идея для своих целей. В этом их подлинное назначение, и в этом причина их страданий. Соответственно этому и нужно к ним подходить: сочувственно и почеловечески, поскольку они индивиды, и жестко, поскольку их жизнь принадлежит не им самим, а идее».

Перед нами весь арсенал «философских» аргументов милитаристской идеологии: фетишизация войны как проявления первородных человеческих инстинктов, безоговорочное приятие и прославление ее как высшей школы характера, дискредитация всякой попытки исторического подхода к войне и открытая ставка на «пушечное мясо» с острой расистской приправой, призванной придать смерти во имя империалистических интересов соблазнительный пафос жертвенности. Юнгер развил здесь довольно законченную систему взглядов, которая послужила в дальнейшем фашизму и служит сегодня идеологии западногерманского реваншизма — там, где надо реабилитировать фашистскую армию и возродить легенду о «героизме» немецкого солдата для подготовки новой партии пушечного мяса, на этот раз в упаковке НАТО. А идея фатальной неотвратимости войны, как и идея «героической смерти на потерянном посту», прочно вошла даже в ту художественную продукцию Западной Германии, авторы которой, как, например, Герд Гайзер или Вольфганг Отт, субъективно не связывают эти идеи с апологией войны, но, утверждая величие бессмысленной жертвы, объективно приходят к

этой апологии. Юнгер дал живучие формулы для самооправдания армии, не знавшей справедливых войн.

Сфера, на которую, таким образом, распространяется юнгеровское «излучение», ясна; пути его стоит проследить подробней. Вернемся к последней приведенной нами цитате.

На первый взгляд Юнгер, рекомендуя жесткий подход к ландскнехту — «поскольку их жизнь принадлежит не им самим, а идее»,— противоречит сам себе. Начав с прославления именно бессмысленности борьбы, он вдруг кончает обращением к «идее». Противоречие здесь кажущееся, и в этом кажущемся противоречии весь Юнгер-«философ». «Идея» солдата для Юнгера как раз и заключается в его бессознательности, в его готовности быть орудием для любой цели, в его недосягаемости для любого идейного наполнения. Внешне Юнгер логичен, поскольку принципиальное отрицание идеи есть тоже «идея». Но софистический трюк Юнгера заключается в том, что он, выхолостив таким образом свою «идею солдата», оставляет открытыми все практические возможности для ее наполнения самым реакционным содержанием. Фашизм не преминул воспользоваться этим любезно предоставленным ему вакуумным понятием солдата.

Еще более ярко этот метод препарирования понятий для нужд милитаризма проявился у Юнгера в его «философских» трактатах 30-х годов. В 1931 году он пишет свое сочинение «Тотальная мобилизация». В обстановке готовящегося фашистского переворота выбор термина сам по себе звучит провокационно. Правда, Юнгер поясняет, что речь идет о мобилизации прежде всего духовных сил человечества, которой требуют стоящие перед ним новые задачи; но эти «задачи» в изложении Юнгера остаются для читателя понятием крайне туманным и абстрактным. Зато предельно конкретным является юнгеровский пример, поданный как одно из «частных» подтверждений необходимости «тотальной мобилизации»: «Германия должна была проиграть войну, потому что она, с большим сознанием ответственности подготовив частичную мобилизацию, упустила возможность тотальной мобилизации огромных областей своих духовных сил». Какие формы приняла в Германии рекомендуемая Юнгером «духовная» мобилизация, общеизвестно. Таких понятий Юнгер предоставил фашизму множество. Но тут открывается вторая сторона его метода: именно потому, что он выхолащивал понятия, предоставляя их практическое использование другим, Юнгер оказывается формально не связанным с фашизмом. С невинностью олимпийца он наблюдает в годы фашизма за тем, как его «возвышенные» философствования растаскивают для собственных нужд коричневые коллеги по «теории». Юнгер даже устраивает оппозиционный спектакль — он пишет повесть «На мраморных скалах», публично сообщая о своем прибытии на новую «станцию».

Повесть «На мраморных скалах» поднимается сейчас на щит западногерманской критикой как чуть ли не самое смелое антифашистское произведение в немецкой литературе. Она выкладывается на стол как последнее неоспоримое подтверждение юнгеровского «обращения».

А между тем она является убийственным свидетельством всей нищеты мнимой юнгеровской оппозиции. Собственно, оппозиции-то не было. Было, в лучшем случае, брезгливое раздражение по поводу того, какими «вульгарными» методами воплощаются в жизнь «высокие» идеи Юнгера. «Аристократ духа» Юнгер был шокирован и не замедлил обвинить в нелогичности не себя, а историю: он увидел в гитлеровской империи вырвавшийся на волю хаос плебейских инстинктов и даже предпочел на время лично удалиться от дел — правда, идеологических, потому что в войне Юнгер принял активное участие, что самым энергичным образом подтвердил в 1955 году, в день юнгеровского 60-летия, небезызвестный генерал Ганс Шпейдель: «Некоторые высказывают мнение, что в годы войны Париж служил Юнгеру лишь кабинетом для ведения дневника. Я заявляю, что Эрнст Юнгер как солдат полностью соответствовал должности, на которую он был поставлен в служебном порядке». А сведения о близости Юнгера к участникам антигитлеровского заговора 20 июля, приводимые его защитниками как доказательство его оппозиционности, на самом деле только лишний раз подтверждают, что он находился в оппозиции не к фашизму, а к некоторым его методам.

Но вернемся к «поэтическому» выражению юнгеровской «оппозиции» — к повести «На мраморных скалах». Повесть эта символична и аллегорична; сам Юнгер отрицает ка-

кие бы то ни было аналогии с гитлеровской Германией, но они столь неоспоримы, что, не знай мы юнгеровской любви к «обобщениям», можно было бы заподозрить его просто в боязни и в самом деле быть принятым в ФРГ за антифашиста. Герои повести — два ученых-отшельника, занимающиеся в хижине у подножия мраморных скал изучением флоры своего края. Их мирные уединенные занятия прерываются вторжением из окрестных лесов орд под предводительством некоего Лесничего.

Братья-ботаники призваны олицетворять собой в повести непоколебимую силу человеческого духа. Сила эта, правда, выражается отнюдь не в сопротивлении ордам Лесничего, разрушающим их страну,— нет, она существует как таковая; «мраморные скалы» могут подвергнуться физическому разрушению, но они недосягаемы как пристанище возвышенного духа. Бесчинства Лесничего не вызывают в братьях ни активного противодействия, ни даже активного возмущения. Они просто покидают страну, разрушенную Лесничим.

Может быть, сила повести — в откровенном изображении фашизма? Орды Лесничего, несомненно, в какой-то мере олицетворяют собой фашизм, и основной «конфликт» повести явно задуман как конфликт между варварством и культурой. Но, во-первых, сам Лесничий, возглавляющий орды варваров, у Юнгера прямо-таки симпатичен — этакий «руссоистский» варвар, естественный человек, играющий своей необузданной силой. Что же касается орд Лесничего, то, по мысли Юнгера, именно принципы социализма и демократии развратили этот «народ лемуров» настолько, что он оказался целиком под влиянием Лесничего. Объектом юнгеровской критики становится таким образом не фашизм, а демократия. А юнгеровские пространные пассажи на тему о том, как народ начал поклоняться «чужим идолам», предвосхищают его послевоенную концепцию фашизма, которую он преподнесет своим читателям в 1953 году в трактате «Гордиев узел»: там он растолкует им, что если фашисты и совершали зверства, недостойные «человека западной цивилизации», то это потому, что в них взбунтовались дикие «восточные» инстинкты, дремлющие в душе каждого человека, в том числе и «западного».

Итак, в «Мраморных скалах» перед нами типичная «аристократическая» оппозиция фашизму. Юнгер делает недвусмысленные реверансы диктатору и с тем большим рвением набрасывается на «слепую массу». Противопоставляет же он всему этому стоическую позу мудрого одиночки, наблюдающего людскую суету с высоты «мраморных скал». И эта позиция вдобавок еще подана в качестве самой «гуманистической». Впрочем, как еще может представить Юнгер свою «оппозицию», чтобы это хотя бы элементарно соответствовало истине!

Так или иначе, а свой «документ отмежевания» от нацизма Юнгер создал. Более того — к концу войны он вдруг заговорил о мире. Юнгер в роли миротворца — это ли не интересно?

Трактат Юнгера «Мир», ныне включенный в уже упомянутое собрание его сочинений, носит многозначительный подзаголовок: «Задуман в 1941 году, с 1944 года распространялся в списках». Если поверить Юнгеру на слово, то надо признать его дальновидность: выходит, что еще в 1941 году он предвидел поражение Германии, ибо весь его трактат буквально пронизывает мысль не просто о насущной необходимости мира, но прежде всего о необходимости «мира для всех». Юнгеровская озабоченность формами будущего мира зиждется на довольно конкретных опасениях, о чем он и пишет как можно более туманно: «Исцеление сначала должно совершиться в сфере духа, и только тот мир принесет благо, которому будет предшествовать укрощение страстей. Над этим особенно надо задуматься, когда речь пойдет о наказании виновных... Ни партии, ни нации не должны судить своих противников». Соответственно этому Юнгер не только делает всяческие авансы своим западным противникам, восхищаясь геройством их солдат, но в одном месте он даже о Советском Союзе говорит в непривычно миролюбивом тоне.

Это явно не лишенное корысти «миролюбие» Юнгера оказалось, правда, недолговечным. Как только развитие политической ситуации на западе Германии развеяло опасения Юнгера, он снова облачился в рыцарские доспехи и в 1953 году написал уже упомянутый трактат «Гордиев узел». Юнгер прямо проповедует здесь неизбежность насильственного решения «извечного» конфликта между Востоком и Западом. Новое в позиции Юнгера заключается лишь в том, что он, маститый националист, встал теперь под знамя «абендланда» — проявил, так сказать, конкретно-исторический подход к обстановке.

Однако в целом послевоенная продукция Юнгера развивается в несколько ином плане. Очередную «станцию» на своем пути Юнгер охарактеризовал словами «У порога времени», вынесенными в заголовок его большого «труда», вышедшего в 1959 году.

«У порога времени» — это еще где-то выше, чем на «мраморных скалах». Юнгер занимается вопросами астрологии и теологии и проводит «метаисторические» наблюдения. С «мраморных скал» к «порогу времени» — какой «взлет» для Юнгера-«философа»! Но от «стальных бурь», от планов «насильственного преобразования мира» к гаданью на звездах, к мистике — какое падение для Юнгера-политика! Уже один этот факт говорит о глубоком идейном крахе матерого милитариста. Симптомы этого, однако, удобнее всего проследить не на астрологических изысканиях Юнгера, а на двух, как нам представляется, наиболее характерных его произведениях последних лет — на романе «Стеклянные пчелы» (1957) и на политическом трактате «Всемирное государство» (1960).

Трактат «Всемирное государство» по сравнению с вызывающе агрессивным «Гордиевым узлом» — открытая сдача позиций. Там — «Восток» и «Запад» как извечные, вневременные антиподы; здесь — две исторически сложившиеся мировые системы. Там — активный призыв к насильственному разрубанию Западом гордиева узла, здесь — гадание над формами будущего слияния двух систем в рамках «всемирного государства».

Мыслимая Юнгером как некое глобальное «объединение сверху», эта идея сама по себе по-юнгеровски «метаисторична». Но в данном случае важно другое: Юнгер вынужден здесь по существу признать факт непобедимости социалистической мировой системы. Разумеется, Юнгер не в восторге от этого открытия, как и от другого, сделанного им в дневниках 50-х годов: «Мир давно развивается влево, и левые тенденции уже свыше 150 лет подчиняют себе правые, а не наоборот». Поэтому Юнгер принимает эту идею «всемирного государства» как печальную, но неизбежную перспективу. В юнгеровский мир прирожденного крестоносца, в цитадель воинствующего антидемократизма пришла резиньяция.

Еще более она заметна в романе «Стеклянные пчелы». Вообще немногие беллетристические произведения Юнгера всегда появлялись в периоды его какого-либо очередного идейного краха, как мы видели это на примере повести «На мраморных скалах», и убедительно демонстрировали в равной мере его художественную и идейную несостоятельность. В трактатах Юнгер еще мог жонглировать своими вакуумными понятиями в абстрактных сферах и производить впечатление «философичности», хотя его назойливое стремление зывести свои философствования из личного опыта придавало им неизгладимый налет доморощенности. В беллетристических произведениях он вынужден был давать какие-то конкретные формы человеческого поведения, то или иное практическое воплощение идей, и их пустота обнаруживалась здесь с беспощадной для Юнгера-писателя жестокостью. Юнгер, как мы видели, предоставлял функцию реакционного наполнения своих понятий другим — «практикам». А в беллетристике он даже пытался создавать образы утонченных «апостолов» культуры, гуманизма, тем более что он был не лишен эстетических амбиций. Но даже сознательная символизация сюжета не давала Юнгеру возможности свести концы с концами. Выше мы видели, насколько обезоруживающе беспомощными оказались юнгеровские потуги создать в повести «На мраморных скалах» образ гуманиста, не приемлющего фашизм. Более того, юнгеровские «гуманисты»-цветоводы — если знать его «философские» сочинения — настойчиво вызывали в памяти лишь ассоциации с теми варварами XX века, которые в промежутках между расстрелами женщин и детей ухаживали за розами и играли Баха. Не случайно в упоминавшемся романе Рихтера «Линус Флек» слова одного из спорящих о «блестящем стиле» Юнгера вызывают резкую реплику собеседника: «Эстетизм — оборотная сторона жестокости. Отправляться на операции массового расстрела с томиком Рильке в вещевом мешке — разве не так это было?»

Проблема «гуманизма» появляется и в романе «Стеклянные пчелы». На этот раз Юнгер, в отличие от «Мраморных скал», ставит своего героя перед необходимостью выбора между человеческим достоинством и служением человеконенавистнической идее. Герой романа Рихард ищет работу, чтобы прокормить семью, и ему предлагают службу у фабриканта Цаппарони, производящего автоматы, «которые могут служить как для

облегчения, так и для сокращения человеческой жизни — без существенных изменений в конструкции». Как видим, Юнгер на уровне эпохи — перед нами модный конфликт между человеком и враждебной ему техникой. Весь роман построен на раздумьях Рихарда — идти или не идти к Цаппарони; он не хочет поступаться своим человеческим достоинством, но посмотрим, как он его понимает. Рихард с горечью вспоминает о своей юности, когда он был бравым солдатом, ибо именно в этом он и видит подлинное призвание человека. Он ненавидит «век техники» не столько потому, что считает его враждебным человеку — это для Юнгера лишь модная фраза,— сколько потому, что он «враждебен солдату». И Рихард уже готов принять предложение Цаппарони. Правда, окончательного решения проблемы Юнгер не дает, да это и не существенно. Здесь важно другое. Роман этот — своеобразная исповедь состарившегося вояки, не сумевшего оправиться от уроков, данных ему историей. Впервые здесь с Юнгера спадает излюбленная маска стоика и олимпийца, и за ней открывается дряблое лицо старика, почувствовавшего себя побежденным историей, но так и не понявшим ни причин ее победы, ни смысла своего поражения.

Долгий и бесславный путь проделал Юнгер от «стальных гроз» к «порогу времени», и не от хорошей жизни пришел он к этому порогу. Да, он вынужден был признать свое бессилие и примириться с настоящим — во всяком случае, его последняя «станция» лежит несколько в стороне от проторенной дороги реваншизма, по которой вслед за официальной политикой маршируют двингеры. Но не стоит переоценивать эффективность юнгеровского «прозрения». Примириться с настоящим еще не значит отречься от прошлого. Это — победа времени, а не прозрение Юнгера. Не случайно он еще раз демонстративно засвидетельствовал свою верность прошлому, поставив в строй *все* свои десять томов,— все пути для возвращения он оставил себе открытыми. А менять обличья он привык.

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ

# МНОГООБРАЗИЕ И ЖИЗНЕННАЯ СИЛА

## (О современной литературе и театре Пакистана)

В пакистанской литературе, как и в индийской, на протяжении многих веков существовали два различных стиля — изысканный, цветистый слог, каким говорили при дворах раджей и феодалов, и простая, безыскусная речь многочисленных народов Индостана, основную часть населения которого составляла крестьянская беднота. Между этими двумя стилями существовала известная связь, и в какой-то мере они смыкались друг с другом, но никогда не сливались воедино. Каждый из них выражал свой особый, замкнутый мир: с одной стороны — мир князей и придворных, мир капризов и тщеславия, роскоши и жестокости, пышных слов и роковой любви, ревности и измен; с другой — мир странствующих бардов и нищенствующих святых, мир земных скорбей, обитатели которого обрабатывали землю и собирали урожай, женились, плодились и умирали, мир межплеменных стычек, мир печалей и празднеств. Друг от друга эти два мира были отделены не только социальным барьером, но и языковым. Придворные круги — индусские, мусульманские и английские — говорили, соответственно, на санскрите, персидском и английском, простой люд — на многих языках, в зависимости от места рождения: на пушту, пенджабском, брадже, бенгальском и т. д. Эти два мира оставались обособленными до тех пор, пока не рухнула социальная система, их породившая. Произошло это в середине XIX столетия, когда англичане, отправив в изгнание последнего императора из династии Великих Моголов, двор которого находился в Дели, покончили с его властью, уже успевшей превратиться в фикцию, а заодно и с властью большинства князей, в ту пору вполне реальной. В связи с этим сошли со сцены бродячие барды и придворные поэты, пользовавшиеся покровительством князей. Лучшие из них стали создавать произведения совершенно нового жанра, уже не отражавшие жизни старого мира, будь то мир феодалов или мир простого люда.

В колледжах, открытых новыми правителями в Калькутте, Дели и Лахоре, литераторы-профессионалы разрабатывали новые основы литературы (главным образом на принципах Мэтью Арнольда *), создавали новую поэзию в духе Вордсворта, Теннисона и Лонгфелло и новую художественную прозу в духе Вальтера Скотта, Джейн Остин и Теккерея.

Разумеется, я изображаю этот процесс чересчур упрощенно, но, по сути дела, именно так возникло в литературе Индостана современное течение. Как и следовало ожидать, вскоре оно вышло из тех искусствен-

---

* Мэтью Арнольд (1822—1888) — английский поэт и литературовед викторианской эпохи.

ных берегов, которыми его хотели бы ограничить английские власти.

Писателям предложили отказаться от традиционных сюжетов и цветистых образов, а вместо этого описывать красоты природы и показывать в своих книгах необходимость преобразований в индийском обществе. Они взялись за дело настолько рьяно, что если поначалу попытки писать в новой манере были для них чисто формальным литературным упражнением, то через некоторое время у них возник страстный интерес к социальным проблемам и сложилось убеждение, что литературное творчество должно быть политически целенаправленно (о чем они прежде и не помышляли). Лучшие из наших писателей и поныне стоят на таких позициях.

Это литературное течение — как, впрочем, и любое другое — невозможно понять, если изучать его в отрыве от тех социальных сдвигов в стране, которые его породили. Побуждая индийских авторов писать стихи, прозу и критические статьи в западном духе, английские власти преследовали одну-единственную цель: убедить писателей, а через их посредство и народы Индии в том, что индийское феодальное общество разложилось и деградировало и новые правители-англичане с их буржуазными идеалами стоят несравненно выше индийцев, как в моральном отношении, так и в культурном. Они надеялись, что если эта пропаганда окажется действенной, то и писатели и народы Индостана, во-первых, полностью порвут со своими культурными и социальными традициями, а во-вторых, примирятся с новым общественным порядком, введенным колонизаторами,— иначе говоря, возлюбят свои цепи. Но замысел английских властей не удался.

Порвав социальные и интеллектуальные связи с феодальным классом, писатели XIX столетия сумели не только увидеть вырождение и загнивание феодальной системы, но и понять, насколько пагубны для их страны империалистический гнет и национальное порабощение. Поэтому лучшие из них, вместо того чтобы украшать цветами цепи империализма, как того хотели бы новые хозяева Индии, возненавидели эти цепи. Писатели воспевали красоты природы, как им было предписано, но они воспевали также и свободу — уже вопреки всяким предписаниям. Вскоре они освободились из-под влияния английских колониальных властей и встали под знамена индийского национального движения, которое в ту пору было совершенно новым явлением в жизни страны. Именно так возникло современное национальное реалистическое течение в литературе Индии и Пакистана.

В первые десятилетия XX века процесс этот достиг кульминационного пункта, дав отечественной литературе таких гигантов, как Рабиндранат Тагор на Востоке Индостана и Мохаммад Икбал — на Западе. Оба эти писателя были ведущими в индийской литературе до конца двадцатых годов. В отличие от своих непосредственных предшественников, они изучали западную литературу, следуя собственным вкусам и желаниям, и их знакомство с ней не было поверхностным и пассивным — они превосходно знали писателей Запада и глубоко усвоили их творческие принципы. Именно поэтому они были не копировщиками, не имитаторами, а оригинальными художниками, впервые сочетавшими в своем творчестве национальные традиции с формами и идеями современной литературы. Тагор писал на бенгальском, а Икбал — на урду, и каждый из них обогатил свою родную литературу, расширив ее рамки и используя новые средства выразительности; благодаря этому писатели последующих поколений были избавлены от тех ограничений, которые сковывали творчество их более отдаленных предшественников.

Тагор много сделал для того, чтобы уничтожить пропасть между бенгальской литературой, с ее классическими традициями, и народной жизнью. Заботясь о тщательной отделке стиха, он в то же время привносил в свою поэзию простоту незатейливых песенок, которые поет рыбак, вытягивая сеть, или пахарь, идя за плугом. Правда, перед ним стояла более легкая задача, чем перед Икбалом. Дело в том, что в Восточной Индии и разговорный язык и литературный — один и тот же, а именно, бенгальский. Между тем литературный язык Западного Пакистана, урду (на котором писал Икбал), хотя и тесно связан с местными разговорными языками — пушту, синдхи и пенджабским, все же не является для населения родным, разговорным языком: на нем говорит лишь ничтожное меньшинство местных жителей.

В двадцатых годах Индостан то и дело захлестывали бурные волны возмущения, вызываемого социальными факторами самого различного порядка. Повсюду царил мятежный дух, людей обуревали роман-

тические мечты, жажда борьбы с обветшалыми традициями. Национально-освободительное движение набирало силу. То был период расцвета журналистики, «бабье лето» в недолгой жизни национального театра. Жизнерадостный лиризм Хафиза, Ахтара Шерани и Хасрата Мохани; блестящее остроумие Патраса *, язвительный полемический стих Зафара Али Хана, изумительная красочность Назар-уль-Ислама, выразительность и отточенный стиль Абулкалам Азада — все это порождение двадцатых годов. Именно к этому периоду относится творчество множества поэтов, вернувшихся к классической газели,— Асгара, Джигара, Фани и др. То была пора романтизма в художественной прозе, наиболее значительными представителями которого можно считать Ялдрума, Нияза и Мирзу Саида.

Для литературы той поры характерен не только дух политической и социальной эмансипации, но также смелое новаторство, критический подход как к наследию классической древности, так и к творчеству современных писателей, влияние которых было в те годы преобладающим,— в особенности Тагора и Икбала.

Зародившись в тридцатые годы, долгие и горькие годы мирового кризиса, предшествовавшего второй мировой войне, этот мятежный дух окреп и оформился в сознательное и организованное литературно-политическое движение — движение прогрессивных писателей. Школа эта унаследовала, с одной стороны, глубокий интерес к социальным проблемам, характерный для писателей XIX столетия, горячо ратовавших за социальные преобразования, а с другой стороны, страсть к экспериментированию в литературе, характерную для двадцатых годов нашего века; и, однако, представители ее пришли к выводу, что ни то, ни другое не дает им достаточных возможностей отобразить всю горечь их личных страданий и особенности новых социальных условий, сложившихся к тому времени. Им нужно было описывать совершенно новые факторы и события, о которых, естественно, они ничего не могли прочитать у своих предшественников: становление рабочего класса, все те лишения и унижения, через которые им пришлось пройти, усиление фашизма в Европе, гражданскую войну в Испании. Так возникла литература, в которой горький протест, смелый реализм и острая сатира сочетались с мягкостью, гуманизмом и склонностью к разъедающей душу, слезливой жалости к себе.

Одновременно с этим в литературе процветало также совершенно противоположное — субъективистское — направление; его представители видели основную цель в самовыражении, стремились описать различные психологические нюансы.

Это был период развития и совершенствования жанра новеллы, гражданской лирики, свободного стиха, а также чрезвычайно тонкой и глубокой литературной критики. Большинство известных ныне писателей Пакистана, как Восточного, так и Западного, начинали свою литературную деятельность именно в тот период — между 1935 годом и 1947 годом, годом провозглашения независимости. В числе тех, кто приобрел известность именно в те годы,— Джасимуддин, Абулмансур Ахмад, Фарук Ахмад, Сайид Валиулла, Эхсан Хабиб, Мотахар Хусейн — в Восточном Бенгали; Рашид, Фаиз, Мираджи, Гулам Аббас, Минто, Кришан Чандар, Беди, Касми и другие — в Пенджабе. Это была, пожалуй, пора более тесного сближения нашей литературы с западной, причем в поэзии мостиком между ними послужило, с одной стороны, творчество современных левых поэтов Англии и США, а с другой — творчество французских символистов более раннего периода. В области художественной прозы таким связующим звеном были произведения великих русских реалистов XIX века и современных революционных писателей, в особенности Горького.

Основные мотивы в пакистанской литературе этого периода — надежда и отчаяние, страдание и стойкость, одиночество и солидарность, вызывающий цинизм и бурный социальный протест. Но вся она пронизана светом общенародной мечты о личном и общем освобождении, мечты, символом которой стал образ, и по сей день чаще других встречающийся на страницах наших книг,— образ зари, образ рассвета, иными словами, образ свободы. Эту свободу мы обрели в 1947 году, и тогда-то родился Пакистан.

К несчастью, заря свободы ознаменовалась кровопролитиями, насильственным перемещением больших групп населения, многочисленными социальными и политическими неурядицами.

---

* Литературный псевдоним А. С. Бохари.

С момента провозглашения независимости литература Пакистана неизменно отображает эти неурядицы. Лишь в отдельных произведениях ощущается удовлетворенность достигнутым, а в общем и целом литература наша выражает противоречивые настроения, свойственные двум предыдущим десятилетиям (правда, с известными изменениями и поправками, вносимыми новыми географическими и социальными факторами), и в меньшей степени — новые переживания, которые характерны для данного периода. Если говорить о новом в настроении, присущем современной пакистанской литературе, то это прежде всего ностальгия. Ею проникнуто немало произведений стихотворных и прозаических, написанных главным образом беженцами, которых насильственно переселили в Западный Пакистан из районов, отошедших после раздела к Индии. Для выражения своей ностальгии поэты-беженцы вернулись к классической форме газели. Они взяли за образец исполненную грусти лирику на урду, созданную великими мастерами в период упадка Могольской империи, когда страна жестоко страдала от внутренних междоусобиц, английского вторжения и набегов многочисленных мародерских шаек и беднягам поэтам приходилось в поисках средств к существованию совершать длительные и трудные переходы от одного княжеского двора к другому по мере того, как покровители их разорялись.

Перу прозаиков этой категории принадлежат повести, новеллы и по крайней мере один выдающийся роман, где любовно и подробно описывается сонная жизнь городков и поместий Ауда с ее феодальными порядками и раздаются жалобы на то, что этому образу жизни пришел конец, в силу сложных перемен, которые происходят в стране, только что обретшей независимость.

Характерными примерами литературы беженцев, проникнутой ностальгией, служит проза Абулфазла Сиддики и стихи молодых поэтов, которых так много, что невозможно привести здесь их имена. Однако наиболее значительным ее образцом является большой роман Куррат-уль-айн Хайдар «Огненная река» — весьма сложное произведение, частично аллегорическое, частично автобиографическое, а частично основанное на исторических фактах. Писательница пытается проследить культурную, интеллектуальную и эмоциональную эволюцию длинного ряда поколений со времен Будды до наших дней на примере нескольких молодых мужчин и женщин, которых она как бы перебрасывает из одной эпохи в другую, меняя их имена, место жительства и жизненные обстоятельства. Роман, пожалуй, не слишком удался с художественной точки зрения, ибо те приемы, к которым автор прибегает, чтобы донести до читателя свой основной тезис, слишком бросаются в глаза. И все же из книги Куррат-уль-айн Хайдар можно немало узнать о том, что чувствовали и как воспринимали жизнь представители многочисленных поколений индийцев. Автор проявляет глубокое понимание интеллектуальных и культурных движений, существовавших в различные исторические периоды. События нашей эпохи, непосредственно предшествовавшие провозглашению независимости и последовавшие за ним, описаны в романе превосходно.

Другая тема, занимающая наших писателей,— религиозная. Тема эта не очень новая, но никогда еще в нашей литературе не обыгрывались столь продуманно и сознательно самые разнообразные религиозные и псевдорелигиозные мотивы. Если мотив ностальгии характерен главным образом для писателей-беженцев Западного Пакистана, то религиозная тема находит отклик как в Западном Пакистане, так и в Восточном, у представителей самых различных возрастных групп и культурных слоев. В области художественной прозы увлечение религиозными мотивами вызвало к жизни своеобразный род авантюрного романа, где восхваляются подвиги мусульманских героев древности — исторических или легендарных,— которые действовали в далеких странах в давние времена, причем самая эта отдаленность во времени и пространстве создает вокруг них романтический ореол. В области поэзии тема эта находит выражение в героическом эпосе, дидактических стихах, религиозных гимнах.

Искренность такого рода произведений не подлежит сомнению, но они очень редко проникнуты подлинной одухотворенностью и экстазом, которые были присущи мистикам древности; нет в них и глубокого интеллектуального содержания, которое вносил в этот жанр Икбал. Отсюда ясно, почему эти произведения оказали столь незначительное влияние на современную литературу в целом.

Гораздо более существенным вкладом в ее развитие послужило возрождение интереса к местным литературам (особенно в Запад-

ном Пакистане) и появление новых художественных произведений на разговорных языках различных районов — на пушту, синдхи, балочи и пенджабском. Некоторые из этих литератур имеют ценное наследие, главным образом в виде мистических и героических поэм, но вот уже лет сто, как традиции их стали отмирать — отчасти в результате доминирующего положения языка урду, отчасти из-за того, что вся система просвещения, разработанная английской администрацией, препятствовала развитию местных языков.

Новые произведения авторов, пишущих на этих языках,— лирические стихи Абдулгани Хана (на языке пушту), гражданская и политическая поэзия Азада Джамалуддина (на языке балочи) и Устада Дамана (на пенджабском),— отличаются силой и свежестью, тогда как работы их коллег, которые следуют давним традициям, этими свойствами не обладают.

И все же основной поток современной литературы идет по руслу, проложенному писателями тридцатых и начала сороковых годов. Правда, тут нужно отметить одно обстоятельство. Многие писатели старшего поколения всю накопившуюся у них горечь и боль вложили в книги, написанные в годы мучительного ожидания, которые предшествовали провозглашению независимости, а новые их работы говорят об ослаблении идейной остроты и эмоциональной опустошенности и этим странно контрастируют с более ранним их творчеством.

Истории о голодающих клерках, влюбленных в богатых девиц, о безработных идеалистах, превращающихся в мелких жуликов, о крестьянах, разоренных налогами, и беженцах, которым нечем платить за жилье, скроены нередко по стандарту. Разумеется, это относится далеко не ко всем писателям. Наиболее интересными нам представляются произведения новой когорты писателей (особенно в Восточном Пакистане), принадлежащих к более молодому поколению и достигших творческой зрелости уже после провозглашения независимости. В данный момент основной их жанр — сатира, а основная мишень этой сатиры — уже не колониальная держава, угнетавшая некогда их родину, а различные неполадки и темные стороны в том новом порядке, который установился в стране. Для критики эти писатели используют драму. В своих пьесах они высмеивают то святош-шарлатанов, то догматиков-богословов (как, например, в тонкой и остроумной пьесе Сайида Валиулла «Бохи Пир»), то некие безликие силы, угнетающие людей.

Наконец, есть у нас и «сердитые молодые люди», пишущие на урду и на пенджаби и живущие главным образом в Лахоре. Они экспериментируют с совершенно необычными формами стиха и прозы, пишут в самой изощренной и субъективистской манере, и произведения их пока не отличаются доходчивостью.

Ясно, что в узких рамках журнальной статьи трудно дать сколько-нибудь исчерпывающее представление о нашей литературе. Приходится опускать многие имена и оставлять нераскрытыми многие стороны этой чрезвычайно сложной сферы творческой деятельности. Можно лишь обрисовать в самых общих чертах ее весьма сложную структуру, которая никогда не может считаться окончательно установившейся, ибо литература исполнена динамичной жизненной силы, она непрерывно развивается все в новых и новых направлениях, неустанно ищет новые средства выразительности и общения с читателем.

Современная литература Пакистана как раз и являет собой яркий пример такой многообразной и динамической жизненной силы.

■

Одно из самых интересных явлений в культурной жизни Восточного и Западного Пакистана после провозглашения независимости — возрождение драматургии и театрального искусства. В начале нынешнего столетия в Индии возникли и очень быстро приобрели большую популярность несколько профессиональных театральных трупп; к концу двадцатых годов звезда их столь же быстро закатилась. Этот внезапный расцвет и внезапное увядание объясняются почти исключительно причинами коммерческого порядка. Дело в том, что в таких больших городах, как Калькутта, Бомбей и Мадрас, было много английских поселенцев. Англичане возродили здесь свою традицию — стали создавать любительские театральные труппы. Некоторых предприимчивых дельцов это навело на мысль о том, что было бы весьма прибыльно организовать зрелищные предприятия для растущего городского

населения. Так возникла своеобразная разновидность западного театра. То была довольно странная смесь мелодрамы, водевиля, «моралитэ» и оперетты. Хотя эти ловкие коммерсанты интересовались главным образом кассовыми сборами, а литературные достоинства пьес и актерское мастерство исполнителей были для них на последнем плане, щедрое вознаграждение, которое они выплачивали, привлекало в их театры немало талантов, подвизавшихся в самых различных областях,— писателей, композиторов, музыкантов, актеров. Вот почему некоторые пьесы, написанные для этого театра, обладают немалыми литературными достоинствами, хотя по структуре своей являют собой нечто совершенно фантастическое. Коммерческий театр вызвал к жизни новую музыку и новый тип «разговорного» зрелища в результате смелого синтеза классических традиций с новыми формами театрального искусства. Для звукового кино, ставшего его преемником, такое наследие оказалось бесценным. Между тем с появлением звукового кино старый коммерческий театр впал в спячку — дельцы, бывшие его финансовой опорой, отдали свои деньги и симпатии новому виду искусства, пришедшему с Запада.

Однако нельзя сказать, что театр вовсе прекратил свое существование. В Калькутте наряду с пьесами на урду и хинди, писавшимися для коммерческих трупп, создавались и драмы, рассчитанные на более утонченный вкус. Их авторы были не литературные поденщики и компиляторы, а такие почитаемые и знаменитые писатели, как великий Тагор. Эта традиция литературной драмы в противовес «коммерческой» была перенесена в Дакку новыми писателями Восточного Пакистана, которые в большинстве своем учились в Калькутте и хорошо знают калькуттскую сцену.

В Западном Пакистане дело обстояло по-другому. За некоторыми, весьма редкими, исключениями лучшие писатели на урду никогда не проявляли к драме такого интереса, как к поэзии или художественной прозе, и, после того как профессиональный театр пришел в упадок, единственным образцом этого жанра на урду стали короткие пьесы для радио. Лучшие из них принадлежат перу писателей, некогда увлекавшихся театром, как, например, Имтияз Али Тадж и Рафи Пирзада. Однако ограничения, налагаемые официальным характером передач государственных радиостанций, приводят к резкому сужению тематики пьес и ослабляют их воздействия на слушателя. Таким образом, выходит, что между театром прошлого и тем течением в драматургии и сценическом искусстве, которое оформилось в Западном Пакистане за последние годы, существует единственное связующее звено — причем это не творчество выдающихся драматургов и не профессиональная сцена, а любительские труппы, и прежде всего — Общество любителей драмы при государственном колледже в Лахоре. Именно этот колледж дал основной контингент драматургов, актеров и режиссеров для любительских трупп, пользующихся финансовой и технической поддержкой пакистанских театральных обществ и успешно выступающих в Лахоре и Карачи. Эти труппы, в отличие от любительских трупп в Восточном Пакистане, уделяют больше внимания экспериментам в области исполнительского искусства, оформления и режиссуры, нежели в области самой драматургии. Поэтому ставят они в основном не оригинальные пьесы, а переделанные применительно к местным условиям старые и новые пьесы западных драматургов, с успехом идущие на сценах многих стран,— Ибсена, Чехова, Шоу, О'Нила. Единственное достойное внимания исключение составляет, пожалуй, пьеса «От Красного форта до поля Лалу» Ходжи Муинуддина, в которой автор с горечью показывает бедственное положение беженцев. Успехом своим спектакль обязан талантливой режиссуре Зия Мохиуддина, который позднее прославился как выдающийся постановщик.

Можно не сомневаться, что дальнейшие успехи экспериментирующих любительских коллективов в недалеком будущем привлекут в театр свежие и самобытные творческие силы.

К. ГУСЕВ

# ИСТОРИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ

Исторический талант! Это выражение принадлежит В. Г. Белинскому. «В том-то и заключается трудность условий исторического таланта, что в нем должны быть соединены строгое изучение фактов и материалов исторических, критический анализ, холодное беспристрастие с поэтическим воодушевлением и творческой способностью сочетать события, делая из них живую картину, где соблюдены все условия, перспективы и светотени». Слова великого русского критика приходят на память, когда читаешь «Историю СССР с 1917 по 1960 год», часть четырехтомного труда «Параллельная история», созданного известными французскими писателями Луи Арагоном и Андре Моруа. Первые два тома «Параллельной истории» принадлежат перу Л. Арагона, третий — «История США» — написан А. Моруа, в четвертом помещены беседы Моруа с американскими и Арагона с советскими общественными деятелями.

Уже одно то, что за изложение истории двух крупнейших государств современного мира взялись видные писатели Франции — Арагон и Моруа,— говорит о многом.

Нельзя не приветствовать труд Луи Арагона, писателя-коммуниста, решившего свой большой художественный талант поставить на службу науке истории. Ему и ранее близка была историческая тема как романисту. В данном случае он стал историком. Мы говорим, стал историком, потому что исторический труд, созданный Арагоном, — это не исторический роман. Никаких отступлений от лапидарного изложения событий, никакой беллетризации для оживления языка фактов. И вместе с тем за строками научной прозы всюду чувствуется рука художника. Художественность изложения — это точность слова, та скупость, которая заставляет вспомнить мысль Гете: в самоограничении познается мастер.

Книга Л. Арагона проникнута большой симпатией к нашей стране, стремлением показать ее бурный рост и движение вперед, довести до сознания читателя все величие дела советского народа, выразить всю сложность исторического пути, пройденного Страной Советов за 43 года. Вот, например, как вскрывает автор отношение различных партий к растущему крестьянскому движению накануне Октября: эсеро-меньшевистский Петроградский Совет заявил тогда, что он не допустит никакого стихийного перераспределения земли до Учредительного собрания. Эта акция Совета, пишет Арагон, идет параллельно с указаниями князя Львова губернским комиссарам подавлять крестьянские волнения любыми средствами, вплоть до обращения к помощи войск. Ленин же заявил: до сих пор смотрели так, что порядок и закон — это то, что удобно помещикам... а мы утверждаем, что порядок и закон есть то, что удобно большинству крестьянства.

В памяти читателя, конечно, останется описание героического похода Таманской

армии, вместе с которой шли «более 20 тысяч крестьян, мужчин и женщин, отдавшихся под ее защиту», и лаконичные строки доклада Орджоникидзе о трагической судьбе этой армии. Ему запомнится и образ одного из героев гражданской войны — матроса Железнякова, «который после многочисленных речей, длившихся целые сутки, закрыл Учредительное собрание тремя словами, сказанными на ухо Чернову».

После гражданской войны с неимоверными трудностями шло восстановление народного хозяйства. «В начале февраля 1922 года,— пишет Л. Арагон,— голод охватил в РСФСР более 20 миллионов детей и взрослых». И на этом фоне ярко обнаружилось лицемерие империалистических держав, когда «Верховный совет Антанты образовал «международную комиссию помощи России», возглавляемую Жозефом Нулансом, который в бытность послом в России выступал за голодную блокаду, чтобы покончить с большевизмом».

Рассказ о переходе советской страны к мирному социалистическому строительству, о трудностях восстановления народного хозяйства автор ведет с помощью фактов, избегая всякого рода риторики и громких слов.

Вот некоторые строки, посвященные социалистическому строительству: «Вступление в строй гидроэлектростанций... в том числе в Кемерово и на Неве, явилось воплощением мечты Ленина. В Барнауле, где мы побывали с армией Фрунзе, преследовавшей Колчака, был пущен текстильный комбинат; свою первую продукцию выпустил никелевый комбинат в Уфе — районе операции Чапаева (как раз в это время Г. и С. Васильевы показали свой фильм по книге Фурманова). В этом же году прозвучала новая музыка — написанный Сергеем Прокофьевым на шекспировские темы балет «Ромео и Джульетта»,— музыка, которую я лично мог бы слушать бесконечно. Словом, то был год контрастов и гармоний». В книге показано, как империалистическая реакция вооруженной рукой прервала созидательный труд советских людей, подробно описаны битвы Великой Отечественной войны, и героический подвиг нашего народа предстает во всем его величии, во всем его значении для освобождения Европы и мира от фашистской деградации или прямой гибели.

«Победа, завоеванная благодаря энергии и самопожертвованию великого народа, не означала, что наступил отдых», поскольку «выполнение намеченных планов требовало не меньшего героизма, чем героизм военных лет». И Л. Арагон рассказывает читателю о целинниках, которые пришли, чтобы выращивать пшеницу в степях и пустынях, «простирающихся от Каспийского моря до границ Китая, от Петропавловска на севере до Транссибирской магистрали на юге... На заброшенных землях умерших цивилизаций, заблудившихся караванов, где потонули в песках воспоминания о Чингиз-хане, где проходили пути сообщения между Монголией и Хорезмом, раскинулись пустыня Кара-Кум, Голодная степь...»

Рассказывая о послевоенном периоде, автор особо выделяет исторический смысл тех мер, какие были приняты после 1953 года по развитию сельского хозяйства и освоению целинных и залежных земель, перестройке промышленности и транспорта, дальнейшей демократизации советского государственного строя. Зарубежный читатель много узнает о борьбе партии против вредных последствий культа личности Сталина, за восстановление ленинских норм партийной и государственной жизни.

В поле зрения автора постоянно находятся факты и явления, говорящие об успехах советской культуры. Значительное место в книге занимает внешняя политика СССР, борьба Советского правительства и коммунистической партии за сохранение и упрочение мира, за предотвращение третьей мировой войны. В тесной связи с развитием мировой истории на широком фоне перед читателем развертывается история Советского Союза в ее поступательном развитии.

Со страниц книги встает величественный образ В. И. Ленина. Мы чувствуем волнение автора, когда он пишет о встрече В. И. Ленина на Финляндском вокзале в Петрограде; он передает нам и взволнованность В. И. Ленина, когда он, будучи «не в силах молчать, настолько было переполнено его сердце», обращается к собравшимся у особняка Кшесинской. Мы видим упорную борьбу Владимира Ильича за проведение в жизнь знаменитых «Апрельских тезисов» и слышим его речь на II Всероссийском съезде Советов. «Мир. Это его первое слово». «Председатель Совета Обороны является высшим авторитетом для фронта и для тыла» — это сказано о деятельности В. И. Ленина в годы гражданской войны. И настоящий пафос бессмертия великого вождя звучит в главе, посвященной его последним дням.

В книге много портретов политических

деятелей, как друзей, так и врагов; у читателя останется в памяти двуличие Черчилля и неустойчивость Бухарина, благородство Дзержинского и отталкивающий авантюризм Троцкого, характерные черты тех, кто, находясь в авангарде народа, делал историю, и тех, кто старался помешать ее ходу.

Несколькими штрихами, к примеру, показаны никчемность, позерство, самовлюбленность Керенского. Во время свидания Николай II сказал Керенскому: «Я не беспокоюсь. Я верю вам...» Слова царя положительно опьяняют председателя Совета министров: «И он мне верил!» Одной цитатой из собственного дневника Керенского Л. Арагон буквально его уничтожил.

А вот другой пример. Ф. Э. Дзержинский выступает на пленуме ЦК ВКП(б). Он критикует тогдашнего наркома торговли Каменева, который никак не может или не хочет разобраться в вопросах экономической политики. «Каменев на это говорит: «Вы являетесь наркомом уже четыре года, а я — всего несколько месяцев». Дзержинский отвечает: «Если вы будете им сорок четыре года, вы все равно останетесь ничтожеством, потому что вы занимаетесь политиканством, а не делом. И вы прекрасно знаете, в чем моя сила: я не щажу себя, Каменев, никогда». В котором часу он произносил эту пламенную, полную силы речь? В тот день, в 16 ч. 40 м., Феликс Эдмундович умер!..»

Путь к коммунизму изобилует трудностями, история возвела на нем немало препятствий, этот путь стоит больших жертв и лишений. Об этом тоже не раз говорит Л. Арагон. Он подчеркивает, что в преодолении трудностей сказалась внутренняя сила советского строя, сила Коммунистической партии Советского Союза. Эта сила в умении творчески применить марксистско-ленинскую теорию в новых условиях, найти средства для достижения поставленной цели, для преодоления трудностей, для устранения причин, их породивших. В главе «К коммунизму», заключающей книгу, Л. Арагон подводит итог успехам коммунистического строительства в СССР. Эти успехи, говорит писатель,— результат социалистической системы, беспредельно дорогой советскому народу, системы, которая доказала свою незыблемость. Автор приводит читателя к выводу о неизбежности победы коммунизма. Этот вывод логически вытекает из всего предшествующего изложения истории СССР.

Талант писателя и чутье историка позволяют Л. Арагону оживить картину минувшего, ярко и увлекательно описать сложный процесс построения нового общества, передать глубокий драматизм и пафос событий. Вместе с тем труд Л. Арагона ставит ряд больших и важных вопросов исторического повествования.

Конечно, для советского читателя необычен сугубо хронологический принцип размещения исторических событий. Автор не группирует их по характеру. В книге одно за другим следуют события внутренней жизни и внешней политики, за фактами, свидетельствующими о развитии экономики, идут дипломатические ноты или явления культурного развития страны. Получается своеобразная историческая хроника. Яркая, набросанная сочными мазками кисти художника, широкая по охвату и масштабу. Советские историки, как известно, не придерживаются в своих работах такой системы изложения. У нас принято излагать историю, руководствуясь принципом единства исторического и логического.

Однако тщательности Л. Арагона любой историк может только позавидовать. Проделана колоссальная работа. Для своей книги автор использовал широкий круг источников, опубликованных как в СССР, так и за рубежом. Он привлекает документы и материалы из истории деятельности Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства, мемуарную литературу различных направлений, советскую и зарубежную прессу. В книге приводится огромное количество фактов, автор стремится не упустить ни одного сколько-нибудь значительного события.

Однако последовательность разнохарактерных, различных по своему историческому значению фактов не всегда позволяет четко выделить главное событие в историческом процессе на том или ином отрезке времени. Этому нетрудно найти объяснение: книга Л. Арагона написана для зарубежных читателей, не обладающих обширными знаниями по истории СССР. В этих условиях система, принятая автором, целесообразна, она соответствует поставленной им задаче.

Вполне естественно при этом, что у Л. Арагона есть свои взгляды и суждения, ряд исторических явлений и фактов он видит не так, как привыкли освещать их советские историки. Кое-какие оценки, содержа-

щиеся в книге, могут даже показаться нам преувеличенными или сомнительными. Есть в книге и некоторые неоправданные сравнения различных исторических явлений, есть и кое-какие неточности. Но Арагон сумел ярко, убедительно, красочно показать главное — великие преимущества и победоносное утверждение социалистической системы. Книга вселяет уверенность в правоте дела, за которое борются коммунисты, в неизбежность победы коммунизма. Этот труд по истории советского общества написан верным другом СССР — французским писателем-коммунистом.

Советскому читателю известны основные события, факты, о которых идет речь в книге Арагона; советские историки дали им научное объяснение. Зарубежный же читатель почерпнет из нее много нового, узнает правду о событиях и людях, о которых он или вообще не знал или имел весьма смутное представление, увидит в действительном свете факты, до сих пор фальсифицировавшиеся и искажавшиеся в кривом зеркале реакционной буржуазной историографии.

Книга создавалась с благородной целью — дать зарубежному читателю правдивую, доступную, популярную работу по истории советского общества. И цель оказалась достигнутой.

■

Подробный разбор книги А. Моруа, имя которого хорошо известно советским читателям, не входит в задачу настоящей статьи. Его «История США», написанная рукой мастера, вполне заслуживает самостоятельной рецензии. Однако обе книги связаны между собой общим замыслом, и нельзя не сказать также о труде А. Моруа, о тех выводах, какие напрашиваются при сравнении двух частей «Параллельной истории».

«История США» существенно отличается от книги Л. Арагона. Можно сказать, что так и должно быть, поскольку это истории двух разных стран с различным политическим строем, представляющих различные общественные формации и т. д.

Против этого ничего нельзя возразить. Историки-марксисты никогда не были согласны с концепциями, которые, подчеркивая классовый подход к истории, отбрасывают, игнорируют роль национальных моментов, интернациональных связей. Такой, по видимости чисто классовый, подход на деле подчас служит прикрытием отхода от позиций интернационализма. Историю своей страны ставят в центр мирового исторического развития, тем самым неминуемо скатываясь к националистическому толкованию событий.

Марксистский подход к истории означает не противопоставление классового подхода национальным моментам, а толкование этих моментов с классовых позиций; не противопоставление общих закономерностей исторического развития частным национальным особенностям, а объяснение и оценку таких особенностей, как конкретного проявления общих закономерностей. Но дело заключается не только и не столько в том, что это история двух государств, имеющих свои особенности, а и в том, что авторы по-разному решают поставленную перед ними задачу. Л. Арагон стремится проникнуть в суть исторического процесса, для него главным предметом исследования являются творчество народных масс, огромные успехи социалистического строительства в СССР, его стремительное продвижение к коммунизму, выяснение причин и закономерностей, обеспечивших небывалые в истории темпы развития. У А. Моруа преобладают историко-психологические рассуждения, а исторический процесс подчас предстает как развитие некоей абстрактной идеи «американской демократии», движущей силой которого являются нравственные устремления политических руководителей США.

В «Истории США» А. Моруа перед нами возникает серия портретов американских государственных деятелей, блестяще написанных пером маститого писателя. Однако именно эти портреты, отличные с точки зрения художественного мастерства — может быть, именно в силу этого мастерства,— заслоняют главное: содержание исторического процесса. Автор приводит довольно большое количество интересных фактов. Но и факты эти отступают на задний план и служат только фоном для рассуждений и описания моральных идеалов руководителей США, их стремлений к совершенствованию пресловутой «американской демократии». Мы отнюдь не собираемся отрицать роли и значения тех или иных лиц в истории США, так же как и вообще умалять роль личности в истории.

Но определять весь исторический процесс волей или стремлением того или иного политического деятеля нельзя. Такой деятель далеко не всегда может добиться того, чего хочет, и вообще достигает цели в конечном счете лишь в том случае, если цель эта со-

ответствует общему направлению исторического процесса.

Возьмем вопрос о культе личности Сталина, как он освещен в книге Л. Арагона. Влиял ли он на ход социалистического строительства в СССР? Да, влиял, отвечает Л. Арагон, он оказывал определенное тормозящее воздействие. Но мог ли культ личности Сталина вообще остановить поступательное движение, остановить развитие страны, хотя такое явление и находилось в прямом противоречии со всей сущностью советского строя? В книге Л. Арагона дан совершенно ясный ответ — нет, не мог. Не мог в первую очередь в силу того, что сама природа социалистического общества, непрерывно прогрессирующего в сторону наиболее широкого развития демократии, закономерно вступает в противоречие с тенденциями культа личности. Культ личности Сталина в условиях социалистической системы был обречен на неизбежный крах.

«Советский народ показал,— пишет Арагон,— что дорожит этой *системой* более, чем своей собственной жизнью, когда гитлеровские армии оказались под Москвой и Ленинградом... Именно эта *система* сделала возможными достижения последних девяти лет, именно советская демократия помешала резкому повороту к прошлому, который собиралась совершить группа, придерживающаяся консервативно-догматических взглядов; становится понятной особая настойчивость, с которой Хрущев, разоблачая культ личности, указывал, что этот культ ни в чем не смог нанести ущерб этой системе».

В состоянии ли кто-нибудь из буржуазных деятелей остановить деградацию, предотвратить гибель капитализма? Нет, не в состоянии, как бы он к этому ни стремился, ибо такова тенденция исторического развития, такова суть исторического процесса смены общественно-экономических формаций. В лучшем случае такому деятелю удастся только несколько задержать, отсрочить его крушение. И сколько бы ни пытался А. Моруа найти другой ответ на поставленный вопрос, он его найти не сможет, не выходя за границы реальной действительности.

Из сопоставления и сравнения явлений выводится закон, тенденция исторического развития. Историческая наука не только является ареной произвола и проявления субъективизма. Существует точка зрения, что если факт, как таковой, бесспорен, то истолкование его относительно и субъективно. Если такое истолкование зиждется на научной основе, оно выявляет объективные связи между данным фактом и другими явлениями. Господство субъективизма возникает тогда, когда исследователь оценивает факт в его соотношении с абстрактным «идеалом», с некоей туманной «общей целью исторического процесса» и т. д. Так поступает и А. Моруа в стремлении показать развитие «американской демократии». Вовсе не следует предъявлять к А. Моруа требование марксистского подхода к истории США. Он не марксист и не претендует на то, чтобы его считали таковым. Но тем не менее здесь невольно вспоминаются слова В. И. Ленина о том, что только марксизм дает историку возможность «...перейти от описания (и оценки с точки зрения идеала) общественных явлений к строго научному анализу их...»

Л. Арагон и А. Моруа подходят к предмету исследования с различных позиций. И выводы, к которым приходят авторы, различны. Л. Арагон, анализируя исторический процесс, подчеркивает, что за исторически короткий отрезок времени в 43 года в России утратило силу существующее до сих пор положение, утверждающее: мечты человека всегда обгоняют жизнь.

«От «Утопии» Томаса Мора до утопии Шарля Фурье,— пишет Арагон,— прошло три столетия. Однако тогда мечта человека *опережала* жизнь. В России за сорок с небольшим лет такое положение, казавшееся незыблемым, в корне изменилось. Это произошло и в области технических изобретений за период с 1920 года, когда Уэллс назвал кремлевским мечтателем Ленина, сказавшего, что «коммунизм — это советская власть плюс электрификация», а крестьяне называли электрическую лампу лампочкой Ильича, и до 1961 года, когда весь народ услышал по радио голос Германа Титова, совершавшего полет вокруг земного шара».

Перечисляя и другие коренные изменения в облике советской страны, Арагон заканчивает свою мысль ссылкой на выступление Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС: «Хрущев сказал как о чем-то само собой разумеющемся, что в СССР социализм победил окончательно». «Глубочайшие преобразования общества и человека,— продолжает Л. Арагон,— в действительности происходили с быстротой, несоразмерной с периодом крушения старого здания обще-

ства... Одной из характерных черт социалистической системы является научное планирование, поэтому при этой системе возможно обоснованное предвидение будущего. Мы дожили до такого времени, когда в СССР человеческий ум заглядывает на двадцать лет вперед... Жизнь обгоняет мечту человечества, то, что было утопией, становится планом».

Моруа же подчеркивает в истории США другую сторону и на вопрос «Сильно ли они изменились с 1914 года?» отвечает: «Главные черты остаются неизменными». Вряд ли это соответствует действительности, и можно упрекнуть А. Моруа в том, что он не увидел деградации, распада буржуазной демократии в США, даже тех его элементов, которые признаются буржуазными политическими деятелями. Мы не вправе требовать от А. Моруа, чтобы он заявил о неизбежности гибели капитализма, о том, что американский империализм уже прошел свой апогей, но мы ждали, что он все же скажет о тех чертах в истории США, которые свидетельствуют об упадке, о факторах, расшатывающих устои «свободного мира».

Каждый историк может и должен быть правдив при изложении исторических фактов, но он не может быть безразличен к тому, о чем он пишет. И мы еще раз убеждаемся в партийности исторической науки, когда читаем «Параллельную историю». Берем ли мы в руки тома, написанные Л. Арагоном, или страницы, вышедшие из-под пера А. Моруа, мы сразу видим, на чьей стороне симпатии автора, какова его партийность, каковы отношения к развитию исторического процесса, оценка перспектив будущего человечества. Л. Арагон убежден в торжестве коммунизма. «Подумайте,— пишет он,— ведь люди, которые говорят об этом сейчас,— это те же самые люди, которые говорили нам, что очень скоро советский человек полетит к звездам, а ведь тогда это казалось совершенно невозможным. Какие же есть основания сомневаться, что возможности для достижения обещанного действительно существуют в СССР?» А. Моруа считает, что спор между капитализмом и коммунизмом не решен. «Американские граждане,— говорит А. Моруа,— знают, что на Востоке иная, противоположная система тоже добивается замечательных результатов. Они думают, что только будущее скажет, какой из двух методов обеспечивает гражданам больше благополучия, свободы и счастья».

Оба писателя, отчетливо показывая различие двух социальных систем, исходят из того, что СССР и США выступают как страны, представляющие два противоположных лагеря, два разных мира — капиталистический и социалистический. Хотя при этом Л. Арагон, как марксист, прямо указывает на то, что соревнование США и СССР — это решающее звено борьбы двух социальных лагерей, из которых один представляет уходящее прошлое, а другому принадлежит будущее, а А. Моруа не видит или предпочитает не говорить о том, что американский империализм не в состоянии противостоять победному шествию нового мира и постепенно теряет одну позицию за другой.

Вместе с тем оба писателя, и это очень симптоматично и очень важно, утверждают, что между двумя странами, а следовательно, и между системами, которые они представляют, возможно и необходимо устойчивое мирное сосуществование. Арагон считает, что «двадцатилетний план, близкая перспектива коммунизма — это ставка на мир, она отражает уверенность в том, что война будет предотвращена». А. Моруа пишет, что американцы «хотят, чтобы это соревнование было мирным».

Нормализация отношений между СССР и США как один из важных факторов предотвращения новой мировой войны, борьба за мирное соревнование, мирное сосуществование государств с различным социальным строем — дело большой важности, и уже одно то, что, несмотря на различие своих взглядов, оба писателя выступили в защиту и поддержку этих принципов, свидетельствует о несомненной пользе и значении их совместной «Параллельной истории» СССР и США. Этот труд дает большую пищу для размышлений, заставляет читателя задуматься над многими вопросами, наталкивает его на серьезные выводы и обобщения.

# СМЕЛОСТЬ ПОИСКА И ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ

В марксистской эстетике смелые поиски нового не отрываются от традиции и выступают в закономерной связи с великим реалистическим наследием прошлого. На основе дальнейшего развития и обогащения этих традиций ведутся обсуждения и дискуссии, охватывающие сегодня широкий круг проблем. Сюда относятся важнейшие вопросы о месте и роли искусства в жизни общества, о путях развития современного искусства, об условиях, обеспечивающих наиболее полное и правдивое отражение действительности в духе передовых идеалов времени.

«Марксистская эстетика и теория литературы наступают во всем мире: они ведут борьбу с буржуазной эстетикой, с разлагающим влиянием буржуазной литературы Но одновременно они очищаются и от догматизма, от ревизионистских настроений, так как без этого невозможно вести беспощадную борьбу с влиянием буржуазных идей. Борьба эта становится все более острой».

«Марксистская эстетика исходит прежде всего из того, что Октябрьская социалистическая революция, существование социалистического лагеря и его укрепление изменили лицо мира; под воздействием этих событий мышление человека и его чувственный мир претерпели большие изменения. Но характерной чертой новых устремлений марксистской эстетики является еще и то, что она ближе подошла к изучению внутренних законов искусства. Она сражается за искусство, которое сможет гораздо действеннее способствовать формированию нового человека коммунистической эпохи. Имеются в виду не только новые приемы в искусстве, но и само понимание нового человека».

Эти высказывания взяты нами из статьи венгерского критика **Лайоша Нирё** в журнале **«Критика»** № 4 за 1963 год **«Гароди о Пикассо, Кафке и реализме»,** которая касается вопросов, затронутых Роже Гароди в его книге «Безбрежный реализм». Эта книга, вышедшая в конце прошлого года во Франции, вызывает много откликов различного характера, иногда направленных на поддержку книги, иногда резко критикующих ее. Нередко критические замечания содержатся и в тех откликах, которые в целом приветствуют появление книги Роже Гароди.

Излагая положения этой книги, Лайош Нирё обращает внимание на их односторонность.

Трудно понять, например, стремление Р. Гароди видеть в некоторых модернистских школах, в частности в так называемом «симультанизме», необычайные художественные открытия, способные обогатить реализм. Если это были и открытия, то не совершались ли они хотя бы тем же симультанизмом ценой невозвратимых утрат? Если художник-симультанист, по определению Р. Гароди, стал изображать не только то, что «видит», но одновременно и то, что «знает», то не создалась ли этим опасность конструкции, набора, составления картины по обрывкам разных «знаний», вместо того чтобы различать, как это всегда делал реализм, в простой, наблюдаемой, но целой и неисчерпаемой «видимости» путь к новому, захватывающему, неизвестному — одним словом, к тому, что он еще «не знает» и что зритель вместе с ним хочет узнать и узнает в процессе все углубляющегося знакомства? В экспериментальной «концепции картины», построенной из кусков того, что художник уже «знает», возникла угроза потерять и заглушить концепцию самой жизни, в которой всегда черпал неистощимые силы реализм. Для модернизма такой угрозы, конечно, просто не существует, потому

что жизнь принимается им с самого начала за нечто хаотическое, нечто такое, куда необходимо «привнести» форму, чтобы получить хоть какой-либо смысл. Но для реалиста этот вопрос глубоко значителен. Поэтому, считает Л. Нирё, использование различных технических изобретений симультанизма, кубизма и пр. не является для него решающим признаком новаторского видения мира и глубины художественного познания.

> «Гароди,— пишет далее Л. Нирё,— чрезмерно идеализирует приемы кубистической живописи, преувеличивает, противопоставляя достижения живописи Пикассо в период кубизма живописи предыдущего периода. Кроме того, Гароди недостаточно учитывает тот важный факт, что функции искусства меняются в процессе исторического развития. Мы особенно ощущаем слабость его позиции в том месте, где он приводит рассуждение о том, что становление фотоискусства, а вслед за ним искусства кино убедило его в существовании особых внутренних законов, присущих искусству. Джотто, Тициан, Рембрандт, Давид, Делакруа, Моне и др. тоже творили по этим внутренним законам. Нельзя считать недостатком искусства то, что оно воспроизводит портрет человека и внешний облик вещей».

Принципиальные соображения о «стирании границ» между реализмом и модернизмом высказал известный польский критик и литературовед **Стефан Жулкевский**, выступивший с двумя статьями — **«Новый спор о реализме»** и **«Комментарии к Гароди»** (еженедельник **«Политика»** № 45 и 46). Он отметил тенденцию Роже Гароди видеть исключительное новаторское значение Кафки в способности творить «миф», создавать из действительности замкнутую «параболу». По мнению Стефана Жулкевского, модернистское «мифотворчество» не может служить магистральной дорогой для реализма XX века.

> «Кафка, как и всякий художник, открывает общие закономерности индивидуальных человеческих судеб, этим придает им соответственный смысл, трагический, комический или патетический. Создатель же мифов связывает в целое отдельные анекдотичные элементы. Он не открывает структуры явлений, он «получает» готовую структуру, сопоставляя один готовый элемент с другим и третьим, не опираясь при этом на действительность, не учитывая природы этих готовых элементов.
>
> Таким образом, понятие мифотворчества не определяет отличительные черты образной литературы XX века. У этой литературы основные черты те же, что и у литературы предшествующих веков. И в принципе она так же отличается от мифов... Но Гароди, видимо, утверждает, что «не подражающее природе» искусство — это и есть реализм XX века, который выражает свою правду через миф».
>
> «Гароди,— продолжает Стефан Жулкевский,— кажется, не просто ценит новаторство «неподражательного» искусства, не просто видит, что это искусство умеет выражать то, что до сих пор с такой силой, с такой полнотой не могло быть выражено. С этим нужно было бы согласиться. Но Гароди, кажется, пытается доказать, что перед этим новаторским искусством теряют значение все реалистические традиции, так же как борьба за современное развитие этого творческого метода. Мне это представляется неправильным».

Именно в связи с вопросом о природе и сути реализма XX века были выдвинуты серьезные возражения по поводу самого понятия «безбрежный реализм», которое стоит в заглавии книги Р. Гароди. Л. Нирё, поддерживая некоторые суждения Р. Гароди, в то же время замечает:

> «Нам все же не нравится определение «безбрежный реализм»; таким выражением Гароди, по существу, полностью стирает, уничтожает понятие реализма. Эпитет «безбрежный» отождествляет понятие реализма с понятием искусства. Гароди сам говорит: «...реализм, то есть искусство». Но в таком расширительном толковании понятие реализма становится бессодержательным, теряет свое значение и смысл, так как не помогает в определении явлений искусства. Разве, называя реализмом кубистический период Пикассо или экспрессионизм Кафки, мы сможем больше узнать об этих явлениях? Совершенно очевидно, что это приведет лишь к путанице. Бесконечное расширение понятия реализма имело бы смысл лишь в том случае, если бы толкование этого понятия было бы единодушным. Но делая понятие реализма столь гибким, мы сможем достигнуть лишь одного — каждый будет подразумевать под этим понятием, что ему вздумается. Гароди включил в реализм Пикассо и Кафку; но ведь у нас имеется много критиков и литературоведов, которые, ведя борьбу за более широкое понимание реализма, все же считают, что Кафке и Пикассо нечего делать среди реалистов. Понятия для того и существуют, чтобы помогать нам познавать действительность, а бесконечное расширение понятия реализма не может привести к этой цели. Пусть Золя остается натуралистом, Виктор Гюго — романтиком, Верлен — символистом, а Арагон в первый период своего творчества — сюрреалистом. Это вовсе не обедняет наше искусство, но зато мы привыкнем к употреблению точных и целеустремленных понятий. Это отнюдь не повредит нашим художественным критериям, а, наоборот, научит нас лучше разбираться во всем многообразии искусства».

Переходя к проблемам современности, Л. Нирё подчеркнул практическое значение четких определений в области искусства.

«Особенно важно правильное и точное определение понятия реализма, когда речь идет об искусстве социалистического реализма. Тут уже вопрос стоит не просто о понятии, а о будущем этого искусства. Поэтому мы и считаем чрезвычайно важным исключение из нашего литературоведческого словаря таких эпитетов перед словом «реализм», как «безбрежный», «великий», «вечный» и тому подобное».

По мнению другого венгерского критика, **Ласло Матраи,** выступившего в журнале **«Кортарш»** № 10 за 1963 год со статьей **«Кафка — наше знамя?»,** не следует также забывать, что критика капитализма в творчестве Кафки, на которую ссылается Роже Гароди, весьма условна. Произведения Кафки создавались в условиях Австро-Венгерской монархии. Однако, пишет Ласло Матраи,

«Кафка никогда так ясно не осознавал преступлений монархии и капитализма, как, скажем, Ярослав Гашек или Юлиус Фучик. Вряд ли обоснованно стремление искать положительные стороны творчества Кафки в том, что он разоблачает чудовищную отчужденность, порождаемую капитализмом, и тем самым клеймит этот общественный строй. В действительности Кафка считает абсурдным не капиталистический (вернее, не только капиталистический), а всякий общественный строй, смотрит с абсолютной безнадежностью на человеческое существование и считает род людской обреченным на неминуемое уничтожение... Гароди в течение ряда лет успешно боролся против «третьего пути» экзистенциалистской философии, против мелкобуржуазного радикального пессимизма. Почему же он считает положительным в творчестве Кафки то, что в философии Сартра считал отрицательным? Мне кажется, что отрицательное у них одно — их мировоззрение».

По мнению Л. Матраи, «Кафка становится чуть ли не знаменем в руках эстетов от марксизма». Полемизируя с Э. Фишером, поддерживающим книгу Р. Гароди, он говорит о принижении человека в творчестве Кафки и отрицательном общественном воздействии его творчества:

«Что касается аргументации Фишера, то мы должны еще раз повторить то, что было уже нами сказано о понятии человека у Кафки. Если образ человека, созданный Кафкой, выражает лишь отрицательные, антиреалистические, пессимистические тенденции, то это означает не только, что автор не дает «непосредственных рецептов для строительства социализма», но еще и то, что он не дает даже условно, в перспективе надежды на выход, более того — и это самое существенное — своим экзистенциалистским пессимизмом, который он раздувает до общечеловеческих размеров, Кафка безжалостно подавляет живущий в людях оптимизм».

Ласло Матраи настаивает на исторической оценке творчества Франца Кафки.

Необходимость тщательного конкретно-исторического исследования творчества таких писателей, как Кафка, подчеркивает и С. Жулкевский. Такое исследование показывает, что магистральной линией развития реализма и тем более социалистического реализма является вовсе не «мифотворчество» или «парабола».

«Хотя,— пишет С. Жулкевский,— Гароди очень внимательно изучает биографический генезис творчества писателей, анализирует идейную атмосферу эпохи, а также общественные и классовые отношения, он все-таки строит все свои рассуждения абстрактно, вне исторического пространства и времени. Может быть, его несколько оправдывает обстановка в капиталистическом мире. Но мы не можем себе этого позволить. Мы совершаем культурную революцию, создаем культуру определенного типа и стиля. Создаем ее для определенных людей. И мы хотим создавать культуру, богатую по содержанию, которая отвечала бы потребностям нашего человека. Этот человек — сознательный строитель социализма. Поэтому перед нами стоит задача, осуществляемая на практике ежедневно, задача отбора определенных ценностей. Важный фактор этого отбора — выбор традиций, опора на определенные традиции. Сегодня уже можно утверждать, что в Польше речь идет о культурных традициях международного и польского революционного рабочего движения, о традициях национально-освободительных движений, об антирелигиозных, свободолюбивых, гуманистических и рационалистических традициях человечества. И здесь особое значение имеют пролетарские культурные традиции. С ними связана ориентация на определенную литературу и даже определенные литературные теории. И этот вопрос нельзя трактовать так, словно никаких традиций не было. Ведь близкая к рабочему движению литература, литература с большим общественным содержанием, литература общественного протеста, литература критики капитализма, литература политическая и по теме, была в течение последних ста лет всегда связана с реалистической традицией. И литературная борьба нашего века, идейная критика экспрессионизма и сюрреализма велась под знаком возвращения к реалистической традиции. Это значит — к литературе «подражающей», оперирующей историческими категориями, склонной к бытовым наблюдениям, ко всему конкретному, а не к «параболе».

Поэтому, считает Стефан Жулкевский, мерилом ценности современного искусства не может служить узкопрофессиональный эстетический «эксперимент».

«Культура, которую мы создаем, является культурой масс хотя бы потому, что пользуется средствами массовой информации, с помощью которых мы распространяем ее. Массы, как показывает рабочее движение, формируют свое культурное сознание прежде всего через пробуждение политического сознания. Наша культура поэтому пронизана политикой уже с самого начала. Произведения литературы, драма или политическая повесть могут быть написаны на основе «параболы», но за ними стоит иная, живущая до сих пор традиция, традиция Жеромского и Горького, Мальро и Кручковского, Хемингуэя и Боровского. В нашей культурной жизни именно эта традиция особенно желательна и отвечает нашим широким потребностям. Сам Гароди утверждает, что кафкианская «парабола» не отвечает на вопрос о том, чего именно недостает в человеческом мире, она говорит только о том, что чего-то недостает. А степень конкретизации политического сознания в нашей культуре должна быть очень высокой, хотя и не всегда является таковой».

«Из рассуждений Гароди как будто бы следует, что кафкианский тип литературы — это главное течение в литературном развитии. Это неверно даже по отношению к литературе Франции XX века, совсем другой, чем польская литература. Видимо, это неверно и в отношении развития мировой литературы XX века в целом. И без сомнения, это никак не относится к развитию литературы в Польше.

Мы столкнулись с этой проблемой значительно раньше, чем Гароди, и разрешили ее иначе. Не через канонизацию Кафки. Мы не называли его представителем главного течения в истории литературы. Мы признали, что главное течение может развиваться, может впитывать в себя, обычно перерабатывая, художественные открытия, которые родились вне этого главного течения. И это подтвердила история литературы. Она показывает, как реалисты — представители главного течения — используют отдельные достижения в технике «неподражательной» литературы.

Литература должна искать новые средства выражения для новых проблем, новой эпохи. Но этот процесс развивается в определенных литературно-исторических условиях. Нельзя — вместо того чтобы исследовать вопрос исторически — представлять себе развитие современной литературы как эволюцию кафкианской «модели».

Стефан Жулкевский завершает свою статью следующими словами:

«Мне кажется, что концепция реализма у Гароди попросту неисторична и мало считается с фактическим развитием главного течения литературы нашего века».

# ЭКСКУРСИИ В МИР ШЕКСПИРА

## (Неопубликованные страницы А. В. Луначарского)

Вильям Шекспир «Гамлет». Петроград. 1918 г.— при взгляде на имя автора и заглавие, а затем на место и год издания трудно сразу все совместить. Как это хватало сил тогда в Советской России печатать шекспировские пьесы! Однако библиографы деловито и строго напоминают, что первые советские издания Шекспира появились вскоре после Октябрьской революции, и мы держим теперь в руках как редкость и своего рода реликвию эту книжку: по-солдатски серая бумага хранит отблеск сурового и великого времени.

Вот один из первых советских массовых иллюстрированных журналов «Красная нива», и на фото среди шинелей и остроконечных буденовок мы вдруг замечаем высокий готический лоб Шекспира и текст, уводящий нас к шекспировским временам: «Экскурсии в мир Шекспира». Этот своеобразный репортаж ведет А. В. Луначарский. Он же читает лекцию о Шекспире первым слушателям Свердловского университета.

А. В. Луначарский не был специалистом по Шекспиру в собственном смысле слова. Свои шекспировские этюды он расценивал скромно и говорил: «Я только в будущем предвижу настоящее марксистское исследование о Шекспире, которое будет, конечно, одним из ценнейших вкладов в марксистскую историю культуры».

«Увы, не нам, вероятно, людям, заваленным практической работой,— сожалел первый нарком просвещения,— мечтать о выполнении таких захватывающих теоретических задач».

И все-таки Луначарский, говоря о Шекспире, неизменно стремился к широким теоретическим обобщениям, он ставил в связь с Шекспиром наиболее острые, насущные проблемы своего времени. Обращая к Шекспиру подчас даже беглый взгляд, Луначарский стремился охватить вместе с тем принципиальные вопросы современности. Подоплека суждений Луначарского о Шекспире — политика, общественные проблемы. Опираясь на шекспировский текст, Луначарский не раз обличал врагов революции и клеветников. Так, он резко полемизировал с русской декадентской критикой, в частности, с «мещанишками» типа Льва Шестова, который, разбирая характер шекспировского Брута, пытался представить его мучеником морали, пытался опорочить понятие высокого гражданского долга.

«Шекспир так ярко изображает революцию, хотя бы и аристократическую,— писал в этой связи Луначарский,— что Львы Шестовы еще до Октябрьской революции уже определяют шекспировских революционеров теми масштабами и теми сплетническими приемами, какими они позднее определяли большевиков».

В нескольких строках Луначарский очерчивает выразительный портрет шекспировского героя — республиканца Брута из трагедии «Юлий Цезарь» (с тех пор эти страницы А. В. Луначарского не переиздавались):

**«Он прекрасен духом и телом, внутренне свободен и гармоничен. Он мог бы жить замкнутым в себе, как Аполлон, но именно это явное благородство всего организма, духовного и телесного, и не позволяет ему жить олимпийцем в то время, когда Цезарь черной тучей надвигается на республиканский Рим и грозит раздавить всякую возможность чувства собственного достоинства в его сознательных гражданах.**

**Он часто ошибается, его легко обмануть, в этом он отличается от Гамлета. Для того чтобы ему подняться на высоту Гамлета, надо, чтобы его глаза были так же широко открыты на скверны мира, как глаза датского принца. Но зато он способен сделать то, на что Гамлет оказывается способным только в последнюю минуту.**

**Это потому, что он ведет высокую и счастливую внутреннюю жизнь, что он полон философской уравновешенности. Именно это дает ему силу выйти из своей прекрасной гармонии, раз этого требует от него противоречащая всему его духу действительность. Он верит человеку, как таковому, он верит в человеческую природу и надеется на ее окончательную победу.**

Миру возвестить сама природа
Могла бы: «Это — был человек!»

**Смысл внутренней драмы в этих словах совершенно ясен. Брут есть человек — человек, каким он должен быть, каким должен был бы быть всякий человек. Он и подобная ему стойкая и прекрасная Порция ...эта римская строгая Порция, этот прекрасный, словно мраморный, Брут, они по своей внутренней гармонии, по огромному, как бы музыкальному благородству своего высокого настроения, по отзывчивости своей к народным нуждам, по способности жертвовать собой для других суть люди, настоящие люди! Вот эти-то люди входят в конфликт с бесчеловечным цезаризмом, с наступающей тиранией, низвергают ее, но она поглощает их...**

**Но разве человек вследствие этого побежден? Нисколько. Даже враг вынужден сказать, что сама природа могла бы возвестить миру: «Это были люди»,— и надежда их на то, что через века, у неведомых народов о них вспомнят с благодарностью и они послужат примером в глазах, полностью сбывается».**

В толковании Шекспира, как, впрочем, едва ли не во всей своей литературной работе, Луначарский был вдохновенным импровизатором. Его энтузиазм позволял иногда подхватывать и легковесные книги вроде сенсационных «изысканий» бельгийского историка С. Дамблона, который пытался обосновать версию Шекспир — Ретленд. Эта гипотеза показалась Луначарскому заманчивой, он увлекся и не всегда соблюдал в изложении шекспироведческих тонкостей кабинетную скрупулезность. Однако мастерство публициста и политическое чутье сказались в нем, когда в руки ему попали «Рефераты по Шекспиру», составленные немецким социалистом Густавом Ландауэром. Луначарский далеко не во всем был согласен с Ландауэром, однако он оценил в его труде проникновенность отдельных суждений и высокий гражданский пафос. Он приветствовал попытку осмыслить Шекспира в духе своего времени. Характеристика Брута как раз и была написана Луначарским в размышлении над разбором шекспировской трагедии «Юлий Цезарь», сделанным Ландауэром. Фигура Брута особенно привлекала в те годы Луначарского. В лекции о Шекспире Луначарский развивал свою мысль (вариант, правленный им незадолго до кончины и еще не видевший света):

**«Брут — это человек идейный, принципиальный, и мы, революционеры, великолепно знаем этот тип и знаем, что это не слуга абстрактного долга, а человек, утверждающий: «Я люблю родину, хочу служить своему народу, считаю, что тиран ведет его по ложному пути и что мой общественный долг, вытекающий из анализа действительности, зовет меня на него обрушиться. Я не могу жить и наслаждаться нежной любовью моей жены, я не могу терпеть, чтобы Юлий Цезарь, который меня лично любит и ласкает, который меня сделал одним из первых людей, над всеми властвовал. У меня нет против него никакой злобы, нет никакой к нему зависти, он мой благодетель и друг, но он тиран, и он падет!»**

**Это ли «мертвый долг»? Нет, это то глубокое сознание, что совершается общественная несправедливость и что он молчать и быть бездеятельным не может».**

Вместе с другими крупными советскими литературоведами-шекспирологами Луна-

чарский принимает участие в составлении статьи о Шекспире для первого издания Большой Советской Энциклопедии. Он пишет раздел «Общая характеристика личности и творчества Шекспира». А. В. Луначарский дает здесь гибкий исторически конкретный анализ творчества Шекспира, ориентируясь на высказывания Маркса и Энгельса (из архивных материалов, которые были им впервые введены в область шекспироведческой науки). Написанный им очерк не уместился в рамках энциклопедической статьи и поэтому был сильно сокращен. Вот один из отрывков, не вошедших в вариант, напечатанный в энциклопедии, но бесспорно очень интересных:

**«От трагедий веет духом восторга перед жизнью, перед кипящими силами. Шекспир как бы принимает борьбу с потенциальными победами, но и возможными жесточайшими поражениями в общем, как некоторый страшный, но привлекательный дар судьбы.**

**Мало того, комедии Шекспира представляют собой, быть может, самое веселое, порхающее, беззаботно поющее, что только создавал когда-нибудь театральный поэт. Недаром же Энгельс говорит в одном месте, что в комедии «Виндзорские кумушки» больше юмора, чем в сотне немецких комедий, вместе взятых.**

**Если бы дело шло только о гибели — откуда бы взялся этот юмор? Что Шекспир действительно торжественно и величественно оплакивал уходящий феодальный мир, остается полностью правдой, но вместе с тем он, хотя и опасливо, хотя и с сознанием ужасных пропастей нового мира, мира конкуренции, авантюры, причудливого переплетения человеческих судеб, мира, который нес с собой рост капитала, все же с глубоким любопытством и каким-то трагическим, радостным волнением принимал его, воспевал его, то оправдывая его целиком, то иногда протестуя против его несправедливостей».**

В последние годы жизни тяжело больной Луначарский взялся все-таки за исследовательский шекспироведческий труд. Его внимание привлек современник Шекспира — Фрэнсис Бэкон, ученый, философ и государственный деятель. Бэкон вызвал интерес Луначарского как характерное явление эпохи, как натура, полная богатых сил и резких противоречий. Рисуя портрет Бэкона, реального человека, Луначарский соизмерял его с шекспировскими персонажами.

**«Мы полагаем,— подчеркивал Луначарский,— что Шекспир с изумительным, никем не превзойденным гением отметил и описал это по-своему страшное и вместе с тем светлое и славное явление — могучий рост разума в современном ему обществе. Мы хотим, воспользовавшись шекспировскими образами, точнее определить свойства и тенденции разума одного из самых блестящих представителей его в ту эпоху — нашего героя Фрэнсиса Бэкона».**

Характеризуя Бэкона на фоне шекспировской эпохи, Луначарский писал (публикуется впервые):

**«Эпоха Возрождения была эпохой критики. Растущая буржуазия сокрушала не только феодальный строй, но и всю феодальную идеологию. Феодальной идеологии был присущ в теории принцип веры, принцип авторитета, а в реальной жизни — принцип жизненных правил, установленного ритуала жизненных отправлений. В эпоху Возрождения с огромной силой вставала на первый план индивидуальность освободившейся личности, которая бурлила уже в средние века, но почти полностью разорвала свои цепи именно в эпоху Бэкона.**

**Если личность в эпоху Возрождения должна была еще считаться с множеством разных вне ее находящихся властей, если она еще часто подвергалась самым жестоким карам, то можно сказать, что подлинно передовые представители этой эпохи внутренне уже не считались ни с каким авторитетом. Протестантизм в религии противопоставил разум традиции; в еще большей мере произошло это в более левом лагере свободомыслящих, шедших по линии отказа от всякой религии и интересовавшихся, в первую очередь, светской наукой. Ими руководила вера в разум, вера в его всепобеждающую мощь, в возможность при помощи его построить целостную картину мира и приобрести власть над ним.**

**То, что можно назвать принципом макиавеллизма, то есть освобожденного от предрассудков разума, разума цинического, который стремится к определенной цели, не боясь каких бы то ни было моральных предрассудков,— это было огромной силой индивидуальности в эпоху Возрождения. Однако подобная неограниченная вера в разум — в свой разум, в свою интригу, в свою ловкость, в свою способность обмануть других приводила, разумеется, очень часто к краху. Крах этот был тем более болезнен-**

ным, что когда боец, вооруженный своим разумом, оказывался уже повергнутым, то тогда защитники далеко еще не добитых старых представлений общества — да они и не могли быть добитыми, ибо совершенно безграничный индивидуализм есть начало антиобщественное,— набрасывались на падшего и осуждали его эгоистически разумную политику, как, прежде всего, антиобщественную, безнравственную, безбожную, преступную и т. д.

Интеллект был еще в то время молод, он был крайне самоуверен, он легко позволял себе перешагнуть все пороги, вот почему так часто присутствуем мы в эпоху Возрождения перед стремительной гибелью вознесшихся на огромную высоту людей такого беспредрассудочного интеллекта. Не только такая форма «горя от ума» имела в то время место. Высокий интеллект не мог не пронизывать своим взглядом колоссальное количество оставшихся от средневековья нелепостей и несовершенств неперебродившей, неустроившейся общественности эпохи Возрождения. Он легко приходил к мизантропии, к черному пессимизму, распространяя свое презрительное суждение о людях и дальше — на самое бытие, на самую природу с ее преходящестью, с ее неизбежной смертью и т. д. Против этих выводов, которые могли привести к полному внутреннему крушению, к самоубийству, интеллект выставлял особого рода философию, философию резиньяции, философию некоторой спокойной, хотя и презрительной улыбки над всем преходящим, философию ухода в себя и достижения некоторого искусственного равнодушия, как говорили когда-то стоики (в эпоху, в некоторых отношениях похожую на описываемую нами), — атараксии.

...Нужно сказать, что, несмотря на превратности судьбы, которые постигли Бэкона, он представлял собой относительно уравновешенный и относительно оптимистический тип человека эпохи Возрождения. И это вовсе не худо, потому что, конечно, не пессимисты гамлетовского типа и не философствующие отшельники типа Просперо творили историю, а активные люди типа Бэкона».

Луначарский не сумел закончить свой шекспироведческий труд. Смерть от тяжелого недуга оборвала его работу, и все же продиктованные им страницы — одни из самых блестящих в богатой летописи советского шекспироведения.

***Составил Д. Урнов***

Шейлок

ПЕРСОНАЖИ ШЕКСПИРА
**Рисунки художника П. БУНИНА**

Меркуцио

Гамлет

НАШИ ГОСТИ

Дитер Нолль

# ГЕРОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НОВОЙ ГЕРМАНИИ

Пожалуй, еще ни одна немецкая книга о второй мировой войне не вызвала столь взволнованного отклика у советских читателей, как роман Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта». И вот автор этого романа у нас в редакции. Худощавый, среднего роста, очень подвижной человек смущенно разводит руками:

— Не ожидал, просто не ожидал, что я так популярен в Москве,— говорит он,— даже девушка в гостинице, регистрировавшая мой паспорт, спросила меня, «тот ли самый» я Нолль...

Мы просим Дитера Нолля поделиться своими творческими планами, «поразмышлять вслух» об образе «героя нашего времени».

— Во-первых, во-вторых и в-третьих,— отвечает писатель, шутливо загибая пальцы на левой руке,— как можно скорее закончить трилогию о Вернере Хольте, это я обещал в своем новогоднем письме в журнал «Иностранная литература»... Вторая книга — она недавно вышла отдельным изданием — обрывается неожиданно. О дальнейшей судьбе Вернера Хольта пока ничего не могу сказать, кроме того, что он станет достойным членом общества, но путь его будет трудным и противоречивым. Мой Вернер Хольт, может быть, и герой, но не герой нашего времени. В трилогии он становится просто порядочным человеком, полезным членом общества. Его, пожалуй, можно назвать «переходным героем». Только кажется, что он активно действует. На самом деле его вынуждают к этому обстоятельства. Я написал четыре варианта второй книги. В первом варианте Хольт одиноко скитается, нигде не находя пристанища, Гундель тоже не находит своего места. Во втором варианте я постарался создать Гундель собственную жизнь, поставив рядом с девушкой человека, который «подходил» бы ей. А «подходил» ей больше всего антифашист. Так появился новый герой — Шнейдерейт, в молодости попавший в тюрьму. Было ясно, что Вернер Хольт и новый персонаж не поймут друг друга. Этот конфликт, базирующийся, в основном, на классовых предрассудках Хольта, сделался движущей пружиной романа. К концу второй книги Хольт сознает, что он ненавидит Шнейдерейта, который всюду становится на его пути. В финале Хольт должен преодолеть в себе все, что ему мешает понять и принять Шнейдерейта. Возможно, мне не совсем удался образ пролетария Шнейдерейта, он нов для меня, но то, что я нашел его, меня радует. Я пытался сохранить первоначальную структуру романа, строившегося вокруг одного героя, но, по-видимому, это

у меня не получилось, и роман «становления одного человека» имеет тенденцию превратиться в широкую картину общества. Несколько сокращенный вариант романа был опубликован в студенческом журнале «Форум». Первые читательские отклики настроили меня оптимистически...

Вместе с Ноллем редакцию посетил другой член делегации писателей ГДР — критик Вилли Левин. Мы просим его рассказать о новых поэтах. Ведь проза ГДР читателям журнала хорошо знакома, а вот поэзия последних лет известна меньше.

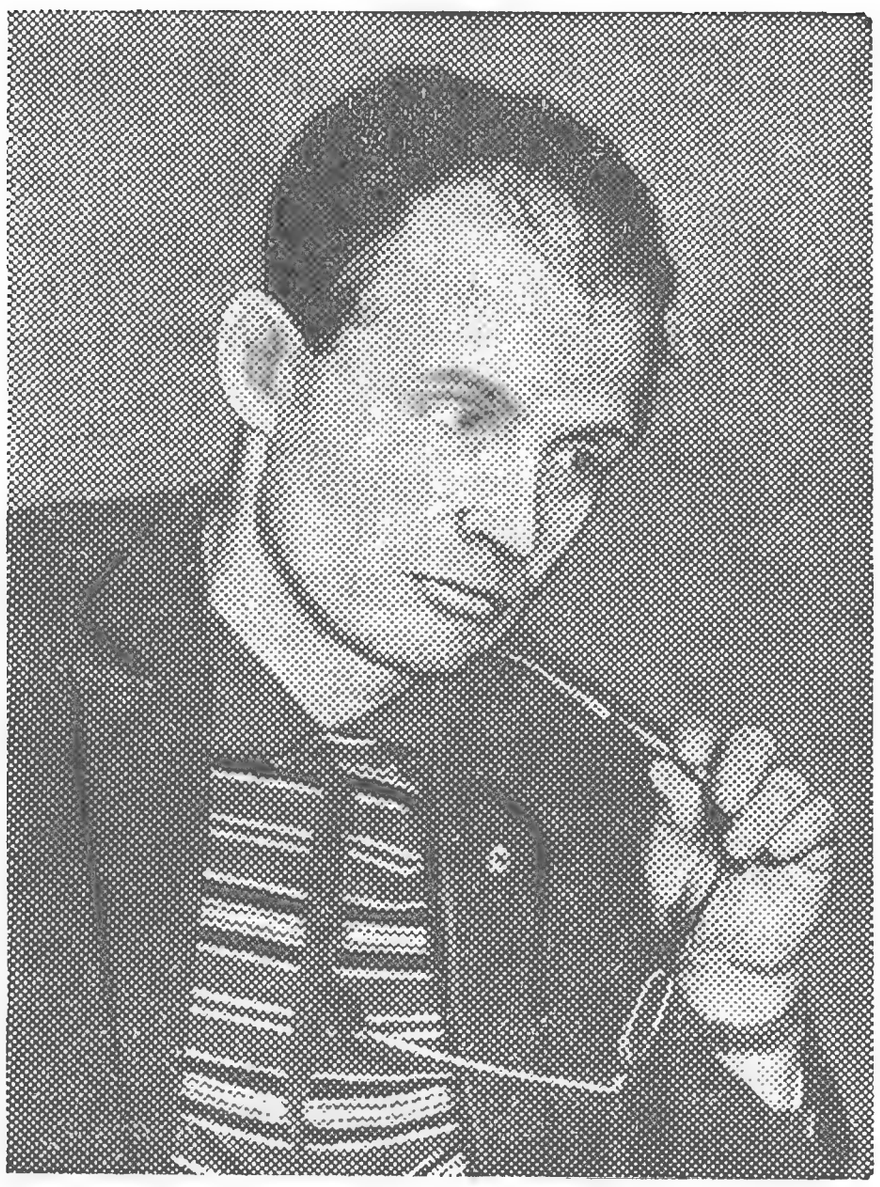
— В последние годы,— говорит Вилли Левин,— у нас появились интересные поэты, из самых молодых (18—25 лет). Мы проводим вечера поэзии, молодежь охотно их посещает. Назову несколько имен. Во-первых, Фолькер Браун; стихи его зрелы по содержанию и форме, он часто пишет гекзаметром, но, изменяя ударение, придает классическому стилю новое звучание. Далее я назвал бы Бернда Енцша, Иоахима Ремера, супругов Кирш. Хотелось бы выделить прекрасное стихотворение Хайнера Мюллера «Зимняя битва 1963 года» ...Как критик, естественно, не могу умолчать о недостатках. На мой взгляд, молодые поэты недостаточно быстро отзываются на события; кроме того, они исходят обычно из первых впечатлений, из непосредственных личных переживаний, их стихам недостает идейной глубины, именно ее-то не может быть без понимания общественных проблем. Мне кажется, это объясняется тем, что поэты еще очень молоды и не имеют жизненного опыта. Стремясь усовершенствовать форму, они нередко подражают некоторым модным западногерманским коллегам, не подозревая, какие богатства таятся — надо лишь не полениться и заглянуть! — в произведениях Вайнерта, Брехта и других мастеров социалистической поэзии.

Что касается второй книги Нолля, то я считаю своим долгом, как читатель и критик,— улыбаясь, добавляет Вилли Левин,— сказать в присутствии автора, что оптимизм его вполне оправдан. Одиссея Хольта во второй книге превращается в художественно цельное полотно жизни Германии после 1945 года. Да, такова была жизнь в то время, и Нолль воспринял и передал ее очень реалистически. Фашизм отравил сознание большинства немецкой молодежи, и задача нашей литературы заключалась и заключается в том, чтобы помочь народу и прежде всего молодежи преодолеть апатию, понять действительность, найти свое место в жизни...

Наши гости принимали участие в происходившей не так давно в Москве творческой встрече немецких и советских писателей, на которой состоялся большой разговор об образе современника в литературе ГДР и в советской литературе. Идейное единство наглядно прозвучало в выступлениях двух ровесников, бывших солдат, а ныне писателей — Александра Рекемчука и Дитера Нолля. «...Не знаю, может ли это представлять интерес для кого-нибудь, кроме Дитера Нолля и меня, но мы с ним оба родились в декабре 1927 года,— сказал Рекемчук.— Не знаю, важно ли, что в одном и том же году — военном году — я поступил в артиллерийскую школу, а он был мобилизован в фольксштурм, но, думаю, гораздо важнее то, что в одном и том же 1947 году мы с ним оба стали коммунистами...» Не менее горячо прозвучали слова Нолля: «... Я помню тот год, 1945, когда на пепелище войны началась стройка... К тем представителям немецкого народа, которые были духовно опустошены, принадлежал и я сам... И в той мере, в какой я развивался вместе с партией рабочего класса, в той же мере я сводил счеты и с прошлым...»

За восемнадцать лет в жизни немецкого народа произошли большие сдвиги. Герой сегодняшней литературы ГДР — новый человек, строитель социализма. Следуя призыву Биттерфельдской конференции глубже изучить жизнь, молодые писатели переселяются в рабочие поселки, в деревни — туда, где живут и работают герои их книг. Интересно, что многие произведения молодых литераторов — Бригитты Рейман, Кристы Вольф и других — подчеркнуто лирические повести, действие в них строится не хронологически, а со смещением временных планов. Объясняется ли это только особенностью их таланта?

— Да, пожалуй,— отвечает Нолль.— Это у нас часто наблюдается. Я, например, с трудом читаю те книги, где прошлое смешивается с настоящим. Мне думается, это чисто формальный прием, посредством которого автор хочет преодолеть стоящие перед ним трудности. Я по собственному опыту знаю, что есть вещи, которые обычными средствами трудно изобразить. Приведу пример. Во второй книге у меня есть сцена — беседа о гуманизме. Если бы я

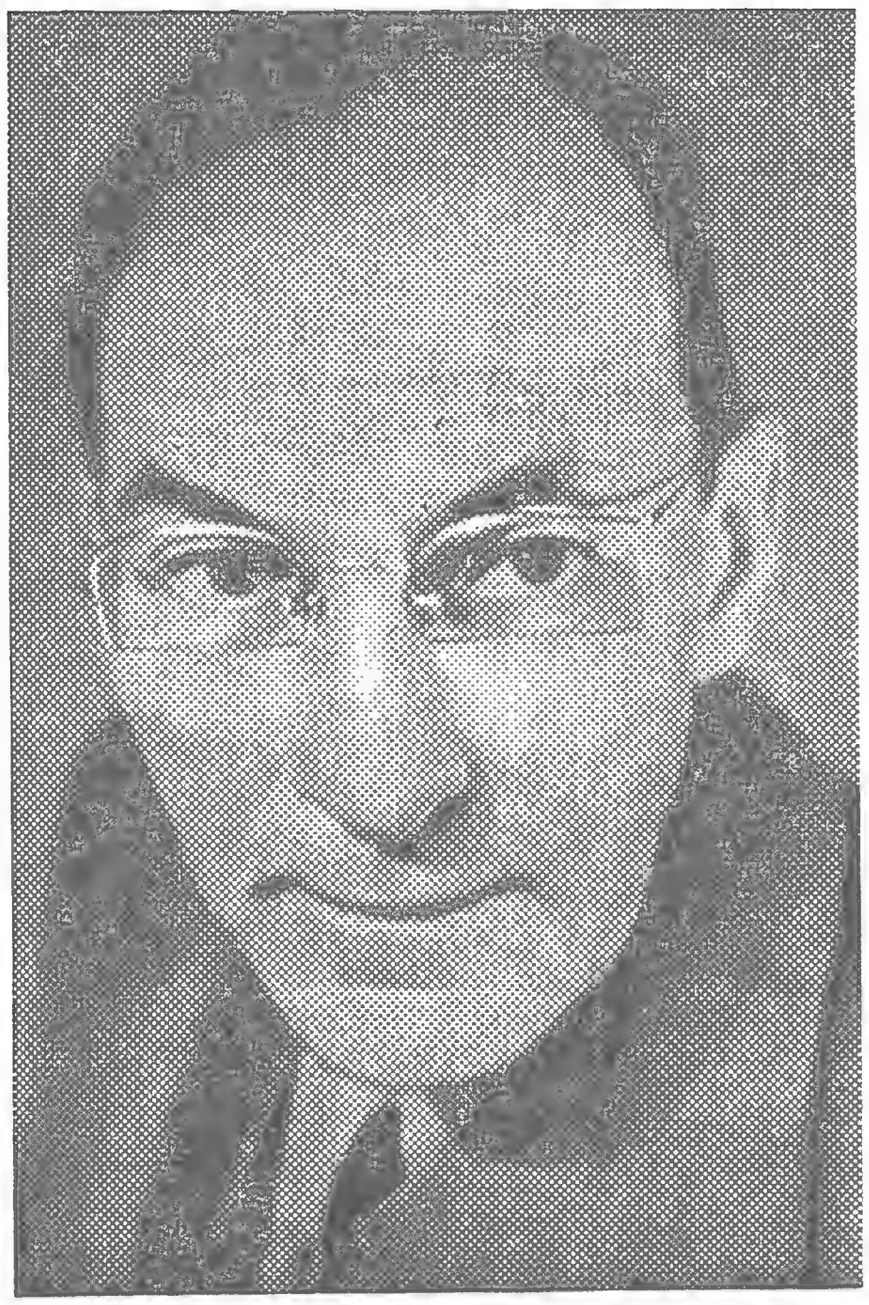


Вилли Левин

написал ее в «добром старом» стиле (скажем, в манере Толстого или Бальзака), она читалась бы тяжело. В конце концов я решил «пропустить» эту беседу через сознание Вернера Хольта, заставив его присутствовать при беседе (аналогичный эпизод был у меня в первой книге, когда Хольт слушает в бараке речь Гитлера). Эта сцена стоила мне долгих мучительных размышлений. Но в целом я никогда не отойду от традиционной формы классического романа, развертывающегося в хронологической последовательности. Разумеется, я за поиски новых средств, однако всякие эксперименты должны кончаться там, где они мешают четкому, ясному восприятию читателем авторских замыслов. Я не смог бы показать героев, скажем, 1960 года, не показав их развития после войны. Сейчас я перечитываю великих романистов, пока остановился на Гюго — меня очень привлекает у него расстановка героев и связь сюжетных линий.

— Хотел бы добавить,— говорит в заключение нашей беседы Вилли Левин,— что и Дитер Нолль, и Макс Вальтер Шульц, и Эрвин Штриттматтер первоначально думали написать историю своих героев после 1945 года... Шульц, например, говорит, что только сейчас он подходит к тому, о чем хотел писать. Анализируя главную тему этих писателей — тему становления нового человека после 1945 года,— мы встречаемся с явлением, которое я бы назвал закономерным: для того, чтобы нарисовать образ человека нового социалистического общества, писателям необходимо было показать, «как» и «с чем» он пришел к «нулевому пункту», то есть к 1945 году, показать всю предысторию героя. Наши молодые писатели, пишущие о современности, не имеют еще достаточно опыта для того, чтобы создать развернутое эпическое полотно. Захлестнутые потоком новой жизни, они поначалу в коротких набросках выражали то, что непосредственно пережили. Сейчас они стремятся отойти от первых впечатлений, «освоить» их и подать в художественной форме. Так возникли «лирические повести». Более масштабное освоение современности еще впереди.

***Н. Бунин***



# ЧЕЛОВЕК, НАШЕДШИЙ СЧАСТЬЕ

**К 75-летию со дня рождения Людвига Ренна**

В 1928 году в Германии вышел роман с кратким заглавием «Война». Он сразу привлек к себе внимание своеобразием стиля и беспощадным реализмом. Здесь не было ни отчаяния перед трагедиями действительности, ни бессильных проклятий в адрес неумолимой судьбы. Реалистические картины бессмысленной бойни вызывали у читателей ненависть к бесчеловечной войне, отвращение к ней. О том, кто был автором этого произведения (книга вышла под псевдонимом), знал только издатель, но он упорно хранил молчание, полагая, что некоторая таинственность будет способствовать успеху романа. Не было недостатка в различных догадках. «Наконец вышла книга о войне, написанная простым солдатом»,— сообщала «Франкфуртер цейтунг». Карл Оссецкий высказал предположение, что автором романа является рабочий-столяр.

Но велико было удивление читателей, когда они узнали, что эту книгу, которая вскоре завоевала мировую славу, написал офицер, потомок старинного дворянского рода. Когда же вскоре стало известно, что этот дворянин вступил в компартию и внес бо́льшую часть своего гонорара в фонд борьбы, скептики, пожимая плечами, заявили: «Это временное увлечение скучающего аристократа». Как глубоко ошибались они, показала вся последующая жизнь Ренна — самоотверженного борца против фашизма и войны, неутомимого защитника мира и социализма.

В 1932 году, в самый разгар борьбы против наступающего фашизма, Ренн опубликовал свои очерки «Поездки по России» — книгу, проникнутую горячей любовью к Советскому Союзу, призывающую приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать готовившейся войне против первого в мире социалистического государства. Почти весь тираж этой книги был уничтожен, а писателя арестовали по обвинению «в государственной измене».

Мне посчастливилось однажды долго беседовать с Людвигом Ренном, и я хочу рассказать об этой встрече, которая произошла несколько лет назад в нашей стране, на побережье Черного моря.

Помню, в первый день нашей встречи Ренн сказал:

— В вашей стране, которую я очень люблю, все быстро изменяется, растет, хорошеет.

Отвечая на мои многочисленные вопросы, Ренн вспоминал свое прошлое, и в его рассказах оживала напряженная жизнь отважного борца и правдоискателя.

Через годы и страны идет он в поисках правды. Пером, а затем с оружием в руках сражается он против фашизма. С честью выдержал он революционный экзамен в гитлеровской тюрьме. На весь мир прозвучали его слова, брошенные в лицо нацистским судьям: «Я признаю коммунизм, потому что это учение верно». Вырвавшись из фашистской Германии, он героически сражался за свободу испанского народа. В годы второй мировой войны возглавлял в Мексике антифашистское движение «Свободная Германия». После войны Людвиг Ренн активно участвует в строительстве новой, демократической Германии.

События этой замечательной жизни запечатлены в ряде автобиографических произведений Людвига Ренна: «Детство и юность», «Упадок дворянства», «Испанская война».

— Знаете, я очень жалею, что стал коммунистом лишь в сорокалетнем возрасте,— говорит писатель.— Жизнь моя могла стать счастливой гораздо раньше. Ведь только с тех пор, как мне открылась правда коммунизма, жизнь получила смысл и стала счастливой; я ощущал это, даже когда сидел в фашистской тюрьме. Я знал, что борюсь за правое дело, верил, что оно победит, встречал повсюду любовь и уважение хороших людей.

Наша беседа касается войн, в которых участвовал писатель.

— Война допустима разве только в детских играх, а в жизни это величайшее зло,— говорит он, снимая очки и протирая их.— Меня иногда спрашивают, почему я часто пишу о войне. Потому, что я ее ненавижу. Конечно, я не пацифист. В Испании мы воевали, чтобы помешать Гитлеру развязать вторую мировую войну.

Ренн долгие годы боролся за свободное будущее немецкого народа, теперь он создает книги для тех, кто живет в свободной Германии. Его романы и повести для детей и юношества «Трини», «Ноби», «Герниу» и особенно «На обломках кайзеровской империи» — книга о героической борьбе германского пролетариата во время Ноябрьской революции 1918 года — пользуются большой любовью у юных читателей и переведены на многие языки мира.

Ренн любит писать для детей: «Детская литература,— говорит он,— это хорошая школа ясного и простого письма для писателя».

Героическая тема — тема борьбы народов за свое освобождение,— вера в окончательную победу добра на земле и светлое будущее всего человечества изменили тональность его книг: он отошел от деловитого и суховатого стиля своих первых романов. Стиль Ренна становится теперь романтически приподнятым, не теряя при этом своей ясности и простоты.

Ренн — сторонник простоты в искусстве, он против всякого формального трюкачества и часто повторяет мудрые слова Гете:

«Когда есть ум и толк в словах у нас,
Речь хороша и без прикрас».

Разговор переходит на поэтические произведения писателя.

— Мне приходилось где-то читать, что стихотворение «Родится новый мир прекрасный» является народной песней, созданной еще до первой мировой войны,— говорю я. Людвиг Ренн смеется:

— Я очень рад, что стихотворение, написанное мной в 1930 году, стало народной песней. Впрочем, я не придаю никакого значения своим стихам. Они носят преимущественно сатирический характер — например, «Кубист» и «Шерстистая свинья, несущая яйца». Бертольт Брехт не любил моих стихотворений, но одно из них, написанное во время боев в Испании в 1937 году, ему нравилось. Кстати, Ганс Эйслер переложил его на музыку.

По моей просьбе писатель читает на память это стихотворение:

Здесь, в краю чужом,
Где теперь наш дом,
Мы, бойцы, во рву засели.
Там, за блиндажом,
На посту своем
Наш товарищ был застрелен.

Пулей наповал
Он, сраженный, пал,
Молча кровью истекая.
Светлый идеал
Грудью защищал
Он, за счастье умирая.

*Перевод К. Богатырева*

Беседа наша происходит на борту быстроходной «Ракеты».

Ренн не обращает внимания на облако водяной пыли и брызг, которые обрушились на нас, и жадно смотрит на живописное Черноморское побережье, на горы, покрытые лесом, который спускается к самому морю.

— Я видел берега Средиземного моря в Италии, Греции, Турции, Египте и Испании. Но такой красоты там не встречал, потому что побережье там голо, леса были вырублены еще в древности.

Доныне, несмотря на свой преклонный возраст, Ренн остается в боевом строю борцов за новую жизнь. Недавно он закончил большой роман «Инфляция» о жизни Германии в двадцатые годы, об острой политической борьбе того времени.

Трудно представить общественную жизнь ГДР без его статей, выступлений на митингах, собраниях, пресс-конференциях по самым животрепещущим вопросам. Не так давно, выступая на совещании писателей в Берлине, Ренн заявил, что не может быть среднего пути в решении вопроса: мир или война. Новую Программу КПСС писатель назвал «величайшим документом мира и прогресса», который ко многому обязывает каждого честного деятеля культуры.

***В. Вюльфинг***

ИЗДАНО В СССР

## ЭПИЧЕСКИЕ РОМАНЫ ПОЭТА-ЛИРИКА

И я храню тот ритм, что найден был в огне
пыланья юного, и с этих пор во мне
он все взрывается, и не терплю, когда
успокоительная вода
подмешана в мое чистейшее вино.

*(Антал Гидаш. Удел поэта)*

Антал Гидаш, венгерский поэт и романист, давно известен и давно любим у нас в стране. Новые книги А. Гидаша — значительное событие в литературной жизни Венгрии, а для советских читателей интересны и близки еще и потому, что по большей части создавались в то время, когда Гидаш был москвичом — не гостем, а верным и любящим приемным сыном нашей Родины, оставаясь вместе с тем страстным венгерским патриотом, неподдельно народным поэтом и неутомимым пропагандистом венгерской литературы в СССР.

Романы «Мартон и его друзья» и «Другая музыка нужна» завершают трилогию: первый том «Господин Фицек» был издан на русском языке в 1937 году в Москве. Сюжетная основа эпического повествования плотно связана с личным жизненным опытом автора, часто непосредственно автобиографична. Гидаш начал писать в то время, когда остро ощутил необходимость осмыслить свой жизненный путь, снова и снова перечувствовать и передумать все, что определило его судьбу, развитие его мировоззрения. И, создавая роман о своем детстве и юности, он проверял себя: так ли жил, как нужно было, правильно ли судил о людях, о событиях, об истории.

«Господин Фицек» — книга о том мире, в котором Гидаш родился и жил ребенком. Сам господин Фицек, незадачливый сапожник, во многом — и судьбой и чертами характера — напоминает отца писателя. Но предельная конкретность, психологическая и бытовая достоверность только «материализуют» поэтически обобщенную суть этого образа.

Бела Кун в рецензии на роман назвал господина Фицека «Санчо Пансой, ставшим Дон Кихотом». Это очень точное, проницательное определение.

Господин Фицек сродни Санчо Пансе тем, что он труженик, человек из низов, и тем, что он озабочен прежде всего своей личной

**Антал Гидаш. Мартон и его друзья. Перевод с венгерского А. Кун. Стихи в переводах Л. Мартынова. Москва, «Молодая гвардия», 1963. 454 стр.**

**Антал Гидаш. Другая музыка нужна. Перевод с венгерского А. Кун. Стихи в переводах Л. Мартынова. Москва, «Молодая гвардия», 1963. 607 стр.**

судьбой, мечтает о своем «островке» счастья. Но в отличие от Санчо, да и от своего ближайшего современного родственника Швейка, он не плывет по течению событий, а, напротив, подобно последнему рыцарю Дон Кихоту пытается яростно противоборствовать судьбе, устремляться на воображаемых врагов, не замечая иногда настоящих. И так же наивно и тщетно мечтает и фантазирует, придумывая иную, мнимую действительность, и так же терпит поражения.

И подобно тому, как Дон Кихот бессилен вызвать к жизни никогда не существовавший сказочный мир благородного странствующего рыцаря, Фицек бессилен сохранить почти столь же сказочный мир независимого благоденствующего ремесла.

Его тщетные попытки выбраться из непролазной нищеты к благополучию и его боевой задор сапожника-мастера, гордящегося своим сословием и ремеслом, неутолимое жизнелюбие и приступы мрачного отчаяния, остроумие и мечтательная наивность, озлобленность и своекорыстие, рожденные повседневной мучительной борьбой за существование, и настоящее, хотя и глубоко затаенное, добродушие, дружелюбие создают необычайно яркий характер. В единстве контрастных противоречий воплощена непридуманная жизнь, как бы застигнутая врасплох честным художником, который не дает своему герою никаких поблажек, видит все его слабости, но в то же время любит его — любит и по-сыновнему и по-отцовски, любит в нем свои воспоминания и свое творение. Поэтому, вопреки всем неприглядным свойствам Фицека, которых ни он сам, ни его автор не скрывают, вопреки его грубостям и несправедливостям, недобрым и неумным хитростям, он оказывается чем-то неуловимо симпатичен.

Он мог бы стать ведущим героем современного плутовского романа — эпического повествования о маленьких людях окраины старого Будапешта. Но начиная с самых первых глав, эпос пронизан лиризмом. И это не только лиризм юношеских воспоминаний, хотя именно он придает особый светлый колорит многим насмешливым и печальным описаниям повседневного быта босоногой ребятни. Это еще и лирическое мировосприятие художника-революционера, всей душой отзывающегося на боли и заботы своего народа.

Поэтому уже в первом романе Гидаша общественная жизнь довоенного Будапешта, рабочее движение, борьба политических партий, своекорыстие социал-демократических вожаков, профсоюзных чиновников, спекулирующих на доверии рабочих, множество больших и малых событий, завершающихся началом войны,— отнюдь не просто фон, на котором развертывается основной сюжет, и вовсе не посторонние, побочные детали в семейном портрете Фицека, окруженного сыновьями.

Нет, скорее, наоборот — судьба Фицека и его сыновей, только еще начинающих жизнь, полную трудов, сомнений и разочарований, становится воплощением значительного периода в истории венгерского народа. Недаром А. Фадеев называл эту книгу «энциклопедией венгерской жизни начала века». Вспоминая эти слова Фадеева, известный венгерский писатель Лайош Мештерхази, который высоко оценил трилогию Гидаша, подчеркивает, что «это определение тем вернее для всех трех романов в целом».

«Мартон и его друзья» и «Другая музыка нужна» написаны в 1952—1963 годах, через тридцать лет после «Фицека». За эти тридцать лет отгремели гражданская война в Испании и вторая мировая война, рухнули фашистские империи, взорвались атомные бомбы, началось проникновение людей в космос, прошли годы культа личности Сталина (Гидаш сам оказался жертвой незаконных репрессий); Венгрия стала Социалистической Народной Республикой, возник международный лагерь социализма, состоялись XX и XXII съезды КПСС, ставшие знаменательными вехами в истории мирового рабочего движения, в развитии марксистской мысли; наконец, сам Гидаш вернулся на родину после тридцатичетырехлетней эмиграции.

Все это в новых книгах Гидаша сказалось так или иначе, как сказалась и неутолимая— с годами лишь нараставшая — тоска по Венгрии, которая питала его стихи и воспоминания, непрерывные упорные занятия венгерской классической и новой литературой, которую он вместе с женой и другом Агнессой Кун усиленно пропагандировал в Москве, творческая дружба с русскими и украинскими писателями, опыт Толстого и Достоевского, Шевченко, Горького, Шолохова,

Фадеева, воспринятый и сознанием и сердцем, как сказалось и созревание его собственного поэтического мастерства. Все более уверенно, по-хозяйски владеет он словом, все щедрее, разнообразнее оттенки выразительных средств его повествования, все тоньше и вместе с тем отчетливей психологический рисунок.

В романе «Мартон и его друзья» живые лирические родники первой книги разливаются широким потоком. Главным героем становится Мартон, второй сын Фицека. И главными проблемами, сюжетной основой этой книги и тем более романа «Другая музыка нужна», завершающего трилогию,— становятся те проблемы, которыми живут Мартон, его брат Пишта, их старшие товарищи и ровесники.

И если Фицек стремился прежде всего приспособиться к жизни, если он по-донкихотски воевал за прозаические и по сути консервативные идеалы Санчо Пансы, то его сыновья уже сознательно противоборствуют той же действительности и вырастают в революционеров.

Мартон, как и его отец, интересен столько же сам по себе ярким своеобразием психологии, темперамента, сколько и тем, что воплощает судьбы целого поколения, развитие сознания миллионов юношей, и притом развитие, характерное не для одной лишь Венгрии, в результате которого мечтательный индивидуалист становится борцом-революционером, не перестав быть художником, поэтом.

Мартон Фицек в первой книге еще вовсе несмышленый паренек — фантазер, лакомка, озорник, мечтающий стать генералом или футболистом, волнуемый первым влечением к женщине, мучимый первыми столкновениями с несправедливостью, ложью и жестокостью, первыми сомнениями в авторитете отца. В последующих частях трилогии Мартон — ученик реального училища и «домашний учитель», зарабатывающий уроками, вожак ребячьего содружества, юноша, одержимый первой любовью и желанием стать композитором, слагающим песни о весне, солнце, любимой девушке и гневные стихи о грязных торгашах—«обманщиках народа», которые снабжали фронт гнилой обувью и дрянной одежонкой,— шаг за шагом, глава за главой взрослеет, становится иным и разумом и душой.

Жизнь бросает его от одного испытания к другому. В общении с самыми разными людьми вырастает в нем то мировосприятие, которое неизбежно приведет его к революционной борьбе.

Мартон — центральный, но не единственный герой этих романов воспитания. Его братья: упрямый индивидуалист Отто и юный мятежник, пылкий, азартный Пишта; его друзья — Петер Чики, Лайош Балог, Геза Мартонфи и другие меняются, растут, развиваются.

Но меняются не только эти, самые молодые из действующих лиц. Интеллигентный скептик, подпоручик Эгри, например, в русском плену проходит ускоренный обстоятельствами курс политического образования под руководством Бела Куна. И, напротив, по мере того как война и разруха становились уродливым повседневным бытом, все ниже опускались руководители социал-демократической партии и профсоюзной бюрократии господа-товарищи Шпиттер, Доминич, Селеши; политические спекулянты превращались еще и в обычных спекулянтов, участников грязных коммерческих махинаций.

В заключительных главах трилогии действуют уже те новые силы, которым предстояло по-настоящему развернуться в иную пору, в иных исторических условиях. Суровым пафосом дышат страницы, посвященные венгерским солдатам в русском плену, где формировались боевые части настоящих революционеров, где их собирал и воспитывал прапорщик Бела Кун, будущий вождь Венгерской Коммуны. Эти главы связаны с основными сюжетными линиями, с судьбами молодых солдат — друзей Мартона и Пишты.

Развитие Мартона, который сначала невольно, случайно, а затем уже сознательно, целеустремленно помогает брату-революционеру, естественно и закономерно венчается выводом: «другая музыка нужна» — музыка борьбы, восстания.

Развитие сознания венгерских солдат в русском плену естественно и закономерно ведет их во главе с Бела Куном в Красную гвардию, на улицы революционной Москвы.

Можно по-разному судить об отдельных частных элементах трех романов, можно спорить о достоинствах или недостатках калейдоскопической композиции, пестрого чередования эпизодов, которое иногда нарушает сюжетную цельность; можно возражать против закономерности тех или иных мотивировок, характеристик этого многосоставного и многослойного повествования, в котором не просто соседствуют и чередуются, но смешаны и сплавлены, нераздельно переплетены лирика и сатира, эпос и драматизм.

В целом, однако, это противоречивое единство трех книг обнаруживает такую бесспорную силу художественного обобщения действительности и такую историческую масштабность художественных обобщений, которые обеспечивают романам Гидаша прочное и приметное место в истории не только венгерской литературы. А сегодня эти книги становятся еще и весьма злободневным подтверждением жизнеспособности реалистического романа. Вопреки мрачным пророчествам современных критических кассандр, давно уже возвестивших гибель романа, как такового, вопреки любопытным и нередко талантливым, но, по-моему, обреченным на чисто лабораторное значение опытам французских мастеров «нового романа» и других подобных им литературных экспериментов, реалистический роман жив и будет жить.

Проза Гидаша глубоко своеобразна; своеобразны его герои, своеобразно то социально-географическое пространство, в котором они живут и действуют, своеобразен и сам

жанр его повествования — это лирико-драматическая эпопея, включающая сатирический гротеск и романтический пафос, натуралистическое бытописание и сентиментальную мечтательность, экспрессионистскую порывистость страстей в описаниях любви, ненависти, сострадания и строго научную летописную достоверность исторических фактов. Поэтически приподнята, густа и сочна словесная живопись, графически отчетлив рисунок; детали внешнего облика и поведения персонажей выписаны с тщательной достоверностью, но общий колорит беглых, словно бы небрежных набросков порой импрессионистичен. Разнородные выразительные средства на небольшом пространстве повествования создают значительную плотность и разнообразие настроений: иронии и сердечной теплоты, лирической грусти и насмешливого эпического созерцания.

Проза Гидаша нераздельна с поэзией, и каждому, кто углубится в многоликий мир его романов, откроется светлый источник живой поэзии, страстной, мудрой, сильной и нежной, той настоящей поэзии, которая в радости и в печали, в любви и в гневе, в строгих размышлениях и в озорной шутке пробуждает чувства добрые, обогащает разум и возвышает душу.

**ЛЕВ КОПЕЛЕВ**

**Слово скорби и утешения. Немецкая поэзия времен Тридцатилетней войны 1618—1648 гг. Перевод, составление, вступительная статья и примечания Л. Гинзбурга. Москва, Издательство художественной литературы, 1963. 190 стр.**

## КНИГА НАРОДНОЙ СКОРБИ И НАРОДНОГО МУЖЕСТВА

В этой талантливой книге как бы сливаются воедино голос поэта-переводчика с голосом публициста. И притом в такой степени, что почти не замечаешь перехода от содержательной вступительной статьи к превосходным переводам лучших образцов народной песни и стихотворений больших поэтов XVII века — «полюбившихся мне «старых немцев», как выразился Лев Гинзбург. Книга написана одной рукой и одним сердцем; ее читаешь, не отрываясь, как захватывающую повесть о былых днях, о народной скорби и народном мужестве. Лев Гинзбург не только истолковал и перевел «старых немцев», но и *привел* их в русскую поэзию, сделал для нас доступными сокровища, таившиеся в их израненных сердцах.

У Льва Гинзбурга — своя тема, современная и глубоко лично прочувствованная. Все его книги проникнуты пафосом борьбы за мир во всем мире, в частности, книги его очерков о двух Германиях, возникших на развалинах поверженной «тысячелетней империи» Гитлера. («Дудка крысолова», «Цена пепла»). «Читая старые, трехсотлетней давности, строки, испытываешь странное чувство,— говорится в предисловии.— О ком и о чем эти стихи?.. Триста или всего лишь восемнадцать лет назад были оплаканы могилы обманутых немецких юношей, погибших в войне за неправое дело? Не вчера ли прозвучал исступленный призыв: «Живите в мире, братья!» — и не кажутся ли иные стихи в этой книге предостережением тем, кого ничему не научили уроки истории — давние и недавние?»

Лев Гинзбург связал свою деятельность поэта-переводчика с демократической линией развития немецкой поэзии. Он — переводчик Иоганнеса Бехера и многих поэтов ГДР. Принадлежат его перу и переводы из Гейне, а также (что особенно важно для него как для автора «Слова скорби и утешения») перевод «Лагеря Валленштейна» Шиллера с его сочным, подлинно народным языком — языком той самой эпохи, к которой он обратился в своей новой книге.

Тридцатилетняя война — одно из национальных бедствий, постигших Германию.

«Что оставалось делать поэзии? — вопрошает автор предисловия и тут же продолжает: — Стихи немецких поэтов времен Тридцатилетней войны — удивительный пример того, что поэзия способна жить в условиях, казалось бы, исключающих всякую возможность ее существования». В окружении всеобщей лжи «ни одна поэзия тогдашней Европы не сказала такой потрясающей правды, как немецкая». За этот нравственный подвиг ее и полюбил советский интерпретатор.

Книга Л. Гинзбурга содержит ряд кратко и всегда выразительно написанных биографий немецких поэтов; в иных случаях — очень сложных и небезупречных биографий. Так, Фридрих фон Шпее был «членом трибунала по делам «ведьм». Он даже исповедовал в качестве тюремного «духовника» мнимых колдунов и колдуний перед костром, к которому они присуждались. Позднее он бросил свое гнусное ремесло и стал профессором в Кёльне, где в 1631 году обнародовал анонимное сочинение, в котором полногласно заявил, что среди осужденных «высоким трибуналом» не было ни одного виновного. Смерть его настигла в 1634 году в Трире, где он ухаживал за больными в чумных бараках. Его стихи, быть может,— самые совершенные немецкие стихи того времени. Мартин Опиц состоял при дворе ряда немецких владетельных князей; но это ему не помешало написать «программный» сонет, в котором он призывает себя и остальных поэтов писать «о другом», и эта программа стала «директивой к действию» для всей немецкой поэзии его времени:

Средь множества скорбей, средь подлости и горя,
Когда разбой и мрак вершат свои дела,
Когда цветет обман, а правда умерла,
Когда в почете зло, а доброта — в позоре,

Когда весь мир под стать Содому и Гоморре,—
Как смею я, глупец, не замечая зла,
Не видя, что вокруг лишь пепел, кровь и мгла,
Петь песни о любви, о благосклонном взоре,

Изяществе манер, пленительности уст?!
Сколь холоден мой стих! Сколь низок он и пуст.
Для изможденных душ — ненужная обуза!
Так о другом пиши! Пора! А если — нет,
Ты — жалкий рифмоплет, ты больше не поэт,
И пусть тебя тогда навек отвергнет муза!

На труд Мартина Опица о преобразовании немецкого стихосложения (до того силлабического — в силлабо-тоническое) позднее ссылался Ломоносов, реформируя русский поэтический строй. Надо думать, не только этот ученый труд, но и поэзия Опица затронула за живое преобразователя русского стихосложения.

Не менее удачно даны, при всей их сжатости, биографии других поэтов той же эпохи: Логау, Грифиуса, Силезиуса, Гергардта, Даха, Флеминга. Говоря о скорби и горечи, которыми пропитаны стихи, возникшие в кровавые десятилетия, Лев Гинзбург отмечает, что «это был действительный и плодотворный пессимизм, который сам по себе содержал нечто «утешительное», являлся залогом взаимопонимания между народом и поэзией». В справедливости этого утверждения убеждаешься, читая переводы, собранные в рецензируемой книге, содержащей в себе и большой раздел народных песен того же времени. Он лучше всего подтверждает «взаимопонимание между народом и поэзией»: безымянные народные поэты и носители славных поэтических имен думают и чувствуют одинаково.

Переводчик «старых немцев» говорит, что ему «почти никогда не приходилось модернизировать, эмоционально поднимать текст: хватило бы умения дотянуться до вершин подлинника»... Это сказано и скромно, и верно, но все же нуждается в некотором уточнении.

Отнюдь не модернизируя немецкую поэзию XVII века, поэт-переводчик в то же время очень далек от «археологического крохоборчества» и уже в этом отношении выгодно отличается от переводов Ганса Сакса в книге, вышедшей в Ленинграде. Переводчики ее поставили себе трудную задачу передать так называемый «ломаный стих» (Knittelvers), широко применявшийся в немецкой поэзии XVI века. При этом они досадным образом не учли тенденцию немецкого языка к «апострофированию» разговорной речи (не всегда отмечаемую «апострофами», указывающими на опущение безударной гласной,— к примеру, wird's bald вместо wird es bald).

Вообще в немецком языке безударный слог «весит» много меньше, чем в русском, если не говорить о составных словах. Поэтому попытки воссоздать в русском языке педантичные «адекваты» немецкого «ломаного стиха» приводят к сугубой его «косолапости», к утомительному «спотыканию», значительно превышающему «неудобопроизносимость» немецких стихотворений, написанных этим стихом.

Предложение Опица подчинить немецкое стихосложение силлабо-тоническому принципу (которого придерживается и русское стихосложение со времен Ломоносова) содержало в себе возражение против «простонародного» проглатывания безударных гласных; но не все немецкие поэты XVII века (в частности, Векерлин) приняли его предложение.

Позднее Гете, а в «Лагере Валленштейна» и Шиллер возобновили старый демократический «ломаный стих». Однако у них этот стих принципиально разнится от того же стиха XVI века: у них безударные слоги все же не «проглатываются»; их относительно бóльший «вес» ритмически учитывается, приводит к преднамеренным искусным «нарушениям» строгой ритмики. Но главенство ударных гласных сохранилось и в их стихе. Мне случилось познакомиться в Веймаре с музыкой, сочиненной подругой Гете, певицей Короной Шрётер, к балладе «Лесной царь», которую она же и исполняла в его пьесе «Рыбачка» (шедшей в постановке самого поэта). Ноты аккомпанемента ясно указывают на то, что первый стих баллады пелся в строгом метре четырехстопного ямба: слово "reitet"—"Wer reitet so spät durch Nacht und Wind"— выговаривалось как («reit't») «райт'т».

Очевидно, сам Гете, читая «Лесного царя», произносил слово «reitet» на, так сказать, речевом «глиссандо», легко скользя по безударному, почти «невесомому» второму слогу. Вот это-то «скольжение» по безударным слогам, свойственное немецкому языку, и не было учтено переводчиками книги

Ганса Сакса. Правда, под этим углом зрения можно было бы возразить и против выбранного Жуковским размера (амфибрахий), которого он держался в своем переводе «Лесного царя», стихотворения, скорее уж тяготеющего к четырехстопному ямбу. Но победителя не судят.

К чести Л. Гинзбурга, следует отметить, что он никогда не поступается достоинством стиха и русской речи ради сомнительных ученых соображений. Вполне правомерно он и стих Векерлина передает привычным для нашего слуха четырехстопным ямбом, хотя, как сказано, этот поэт остался верен силлабике.

Модернизация? Быть может, и модернизация, но — сознательно или интуитивно — учитывающая границы языков и разность «удельного веса» немецких и русских безударных слогов и гласных. Так в свое время успешно переводил Ганса Сакса и Б. Пастернак. Почтенный возраст иноязычного подлинника передан наивной простотой словаря и бесхитростной прямотой мысли. Очевидно, и переводная поэзия, по слову Пушкина, должна быть «прости, господи, немного глуповата»; то есть больше полагаться на свой непредвзятый слух и вкус, а не на «теории», в результате чего «ломаный стих», а также «дольник» в их русском воссоздании подчас напоминают не оригинал, а стишки капитана Лебядкина:

**Улыбается с лошади мне**
**Аристократический ребенок.**

В прежних своих переводах Лев Гинзбург иногда грешил языковой небрежностью. Его новая книга почти свободна от подобных огрехов. «Слово скорби и утешения» принадлежит к лучшим достижениям советской школы художественного перевода.

**Н. ВИЛЬМОНТ**

**Цена любви. Рассказы бирманских писателей. Перевод с бирманского К. Шаньгина. Редактор В. Кузнецов. Москва, Издательство иностранной литературы. 1963. 87 стр.**

## БИРМА СЕГОДНЯ

Впервые на русском языке изданы современные бирманские рассказы. В сборник «Цена любви» их вошло всего лишь десять. И тем не менее, прочитав эту тоненькую книжку, читатель почувствует, что многое узнал о жизни бирманского народа с момента его освобождения от английских, а затем и японских колонизаторов до наших дней.

Названием сборника не случайно стал заголовок рассказа Е. Гауна «Цена любви». Любовь к родине и боль за нее, надежда и революционная воля воплощены в нем в образе бирманской девушки Вей-Вей. Она была смертельно ранена в одном из последних боев за независимость Бирмы и, умирая, завещала своему возлюбленному Бо Мин Дину до конца выполнить долг перед родиной.

В столкновении с темными силами прошлого, с социальным неравенством, с тяжкими последствиями войны любовь иногда становится трагедией. Об этом написан рассказ Аунг Тейна «Одна только ночь», в котором юная Ми Кайн кончает самоубийством, бросившись со скалы.

Для героя рассказа Дагоун Тая «Шелковая занавеска» любовь становится горьким разочарованием, потому что между людьми разных слоев общества существует непреодолимый барьер в виде «шелковой занавески, той самой занавески, которая украшает гостиные богатых домов».

В Бирме человеку требовалось много мужества, чтобы жить честно, не вступая на скользкий путь коррупции и мошенничества. А эти явления, как показывают бирманские писатели,— неизбежный бич экономики частного предпринимательства.

В рассказе Дагоун Тая «Десять лет — десять зим» изображены беспринципные дельцы и коммерсанты, наживающиеся на труде и страданиях народа. «Десять раз раскрывался цветок пидау. Десять лет прошло с тех пор, как мы живем в новой, независимой стране. Какие же успехи достигнуты?» — спрашивает герой рассказа.

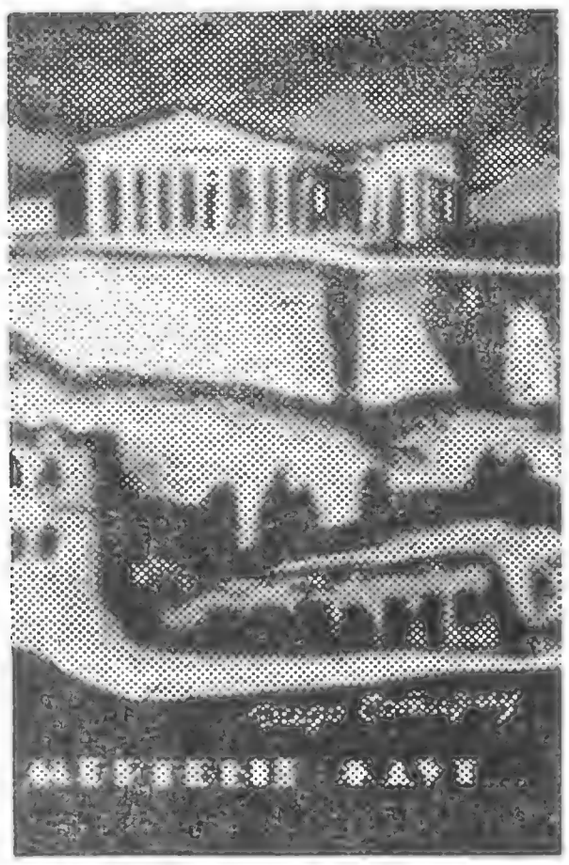
Вера в молодые силы независимой Бир-

мы, которая пронизывает сборник «Цена любви»,— это и есть ответ на его горький вопрос.

«Независимость означает, что мы должны сами своими руками построить новую жизнь»,— так говорят сейчас бирманцы.

И прочитав рассказы бирманских писателей, вместе с ними веришь в то, что народ Бирмы сумеет преодолеть тяжелое наследие прошлого и трудности сегодняшнего дня.

**Г. КАУРОВ**



**Дидо Сотириу. Мертвые ждут... Перевод с новогреческого А. Сенкевича. Послесловие Я. Мочоса. Редактор Е. Кострова. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 304 стр.**

## ЧЕГО ЖДУТ МЕРТВЫЕ?

С романом «Мертвые ждут...» в греческую литературу вошла новая писательница Дидо Сотириу, до этого известная как журналистка. Книга охватывает четверть века в истории Греции — начиная с греко-турецкой войны 1919—1922 годов и кончая итало-германской оккупацией. На судьбе одного поколения, пережившего две национальные трагедии, писательница показывает созревание и торжество свободолюбивых идей, формирование нового человека. Первая часть романа—это хроника малоазиатской катастрофы. Так названа в греческой истории и литературе греко-турецкая война 20-х годов за отторжение Малой Азии от Турции — война, развязанная шовинистическими кругами греческой буржуазии по наущению англо-французского империализма.

Первые главы романа вводят читателя в мирный быт греческих поселений Малой Азии. О жизни греков в Малой Азии уже не раз писалось в греческой литературе. Своеобразие романа Дидо Сотириу в том, что, ограничив себя узкими рамками семейной хроники, рассказанной от лица ребенка, писательница сумела передать с достаточной полнотой и подкупающей правдивостью сложность затронутых ею проблем.

Как прелюдия к грядущей катастрофе, раскрываются в первых главах романа взаимоотношения греческого и турецкого населения. Турки, которых знает маленькая Алики — героиня романа Сотириу,— вызывают у нее самые теплые чувства. Они добры и трудолюбивы. Вражда между греками и турками, доходившая порой до резни, разжигалась сверху. «Бедному человеку сердце не позволит вдруг ни с того ни с сего схватить нож и убить кого-то»,— объясняет Алики мастер турок, работающий на фабрике ее отца. Гораздо труднее преодолеть преграды социальные. Вот почему в любви и согласии играют дети греческих и турецких бедняков и в то же время сверстники Алики из состоятельных греческих семей гонят прочь турецкую детвору рабочих кварталов. Так автор подготавливает читателя к пониманию противоестественности и преступности кровопролитной войны, которая вскоре придет на благодатную землю Малой Азии.

Эта война ни туркам, ни грекам не принесет ничего, кроме горя; зато на огне пожарищ погреет руки европейский империализм. Обманутые мнимой надеждой на «освобождение» и на слияние с Грецией в пределах былой византийской империи, малоазиатские греки с ликованием встретят своих «братьев-освободителей», а вслед за тем, бросив родное пепелище, бросив непогребенными поруганные тела своих близких, навсегда покинут землю, которая их родила и вскормила, и поедут в страну своей мечты — в Грецию. Свыше миллиона людей было вырвано ураганом войны из привычной жизни, и это ускорило социальную дифференциацию в их среде. Для подавляющей массы малоазиатских греков, в том числе для семьи Алики, это — обнищание и пролетаризация. Но для горстки ловких предпринимателей это — редкая возможность разбогатеть за счет своих земляков.

Во второй части романа действие переносится в Грецию. Влившись в армию греческих пролетариев, малоазиатские беженцы начинают борьбу за свои жизненные права.

Из их среды выйдут профессиональные революционеры, а в годы оккупации бедняцкие кварталы, заселенные бывшими беженцами, станут оплотом национального Сопротивления. Тяжелые испытания периода оккупации еще больше увеличат пропасть между народом и кучкой отщепенцев, ступивших на путь предательства.

К сожалению, вторая часть романа, равная по объему первой, но вместившая значительно больший по времени действия материал, страдает композиционной несобранностью и несет на себе следы напрасной торопливости. И все же читатель прощает эти недостатки автору романа, потому что Дидо Сотириу отдает все свое сочувствие и восхищение тем, кто готов бороться, чтобы избавить родину от мук и страданий. Это и есть центральные герои ее романа. В них она видит воплощение лучших моральных качеств своего народа, с ними связывает она будущее страны. Эти герои становятся самоотверженными участниками и даже вожаками национального Сопротивления. Борьба требует от них больших жертв, и они вступают в нее без колебаний, не щадя ни сил, ни жизни. И хотя до победы еще далеко, читатель вместе с автором верит: их великие жертвы не будут напрасными. Павшие герои ждут, что дело их найдет продолжателей, что их идеалы добра и справедливости претворятся в жизнь.

**С. ИЛЬИНСКАЯ**

## ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

# ВЕК КИБЕРНЕТИКИ И ДУША ЧЕЛОВЕКА

**Elsa Triolet. L'Ame.**
**Paris, Gallimard, 1963.**

«Душа» — третий роман Эльзы Триоле из цикла «Нейлоновый век», задуманного как широкая картина современности.

«Душа» — очень современный роман, и не только потому, что в нем писательница делает попытку заглянуть в век кибернетики и определить границы между возможностями человека и думающей машины. Персонажи романа — люди сегодняшней Франции. Есть в этой книге и отражение политических событий недавнего времени — войны в Алжире, отзвуки взрывов оасовских бомб.

Героиня романа Натали — участница Сопротивления. В годы оккупации Франции она была искалечена в гитлеровском концлагере. Теперь Натали — инвалид. Болезненная тучность не позволяет ей двигаться, и она навсегда заключена в четырех стенах своей комнаты. Но физическая неподвижность Натали составляет трогательный контраст с ее душевной энергией, с ее добротой. И потому вокруг нее собираются самые разные люди. Почти все они тоже бывшие участники Сопротивления. В трудную минуту жизни, потерявшие себя, мятущиеся, они приходят к Натали за советом и за поддержкой.

Не все товарищи Натали по движению Сопротивления достойны своего благородного прошлого, некоторые из них сбились с пути, ловчат, ищут легкого заработка, втягиваются в сомнительные комбинации — их губят условия жизни в капиталистическом городе, где царит чистоган, где людей развращает дух наживы.

Перед читателем романа «Душа» проходит галерея портретов, проникновенно и своеобразно выписанных автором. Здесь и любящая мать, мадам Луазель, и бывший летчик Фи-Фи, превратившийся в крупного спекулянта, который приходит к Натали в тоске по утраченной чистой совести, и коммунист Рене Луазель с его верой в романтику борьбы.

В романе «Душа» Эльза Триоле сумела передать ту особенную атмосферу доброжелательства, нежности к людям, которую создает Натали. Люди благодарны ей, в комнате Натали они становятся чище, лучше, они стараются выразить ей свою любовь в день ее рождения. Описание этого праздника не может не тронуть читателя.

Натали всей душой хочет помочь окружающим ее людям, и чаще всего ей это удается. Ее доброта деятельна и полна энергии. Она приютила у себя десятилетнего мальчика Кристо, спасла его старшего брата Оливье от дурного влияния развращенных приятелей. Маленький Кристо играет в романе важную роль — в его детских размышлениях и мечтах раскрывается замысел, идея романа «Душа». Кристо живет у Натали и жадно впитывает в себя душевную теплоту, человеческое участие, которое хозяйка дома так щедро дарит людям. Как и у большинства современных детей, интеллектуальное развитие Кристо происходит в очень стремительном темпе, и это тоже одна из примет времени, верно

подмеченная писательницей. Кристо — дитя века кибернетики, его внимание приковывают умные машины-автоматы. В доме Натали он окружен ими: Луиджи Петруччи, ее муж,— искусный мастер, он чинит старинные куклы-автоматы и сам может делать такие же. В романе «Душа» описаны сложные заводные игрушки восемнадцатого века — автоматы, забавлявшие королей, вельмож, их фавориток. Все эти игрушки собраны в мастерской Луиджи Петруччи. Луиджи объясняет Кристо, что автоматы нашего времени — это не фокусы, сделанные искусным мастером для потехи, кибернетика приносит реальную пользу человеку. У Луиджи есть своя мечта: сделать идеальный протез для рабочего, потерявшего руку, такой протез, который повиновался бы велению мозга человека, то есть был бы живым, и Луиджи всем своим существом отдается этой мечте.

Кристо тоже мечтает — о человеке будущего, о том времени, когда наука сделает его всесильным и счастливым. Интерес мальчика к автоматам понятен, но бездушные куклы вызывают в нем отвращение. Кристо жаждет понять, что же отличает человека от имитирующих его автоматов. Найти ответ на этот мучивший его вопрос ему помогает Натали — ежедневно он видит примеры ее человечности, душевной щедрости, это подсказывает ему верное решение. Название романа «Душа» задумано как ключ к этому решению.

Когда Луиджи размышляет вслух, может ли человек создать думающую машину-робота по образу и подобию своему, Кристо с иронией спрашивает: «Ты думаешь, что можно создать искусственную Натали?»

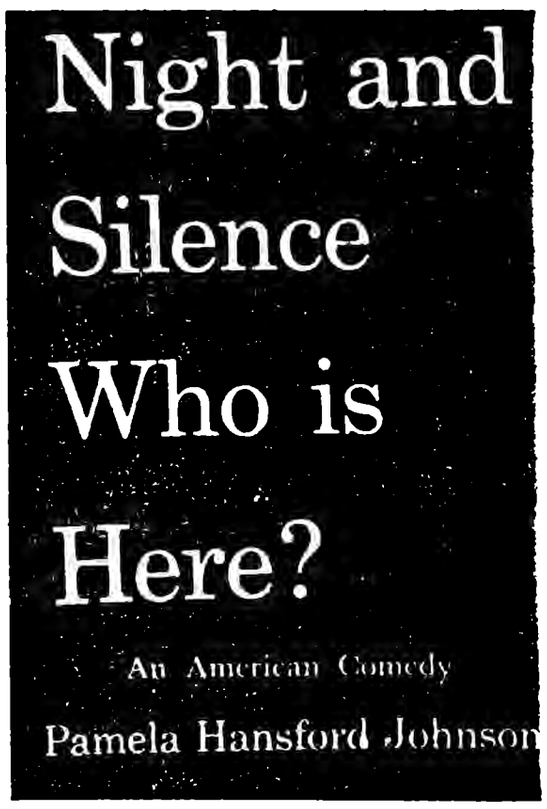
Кончается роман словами уже не мальчика, а юноши Кристо о чуде нашего века — кибернетических машинах: «От них нельзя требовать больше, чем они могут дать». Иными словами — никакая машина не может заменить человеческую душу, человеческий гений.

Новый роман Эльзы Триоле исполнен поэзии и любви к человеку, читая его, проникаешься гуманистическим духом этого произведения.

Возможно, что критики, разбирая роман «Душа», найдут в нем недостатки и откроют новые достоинства. Меня эта книга натолкнула на новые мысли о современности, сегодняшнем дне, о людях Франции и о будущем человечества, и я благодарен за это Эльзе Триоле.

**ЛЕВ НИКУЛИН**

## АМЕРИКАНСКИЙ СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ




**Pamela Hansford Johnson. Night and Silence. Who is Here? An American comedy. London, Macmillan, 1963.**

Мэтью Прайр — хорошо известный в лондонских салонах своими связями с лучшими семействами Великобритании — выходит из самолета, прибывшего на американский аэродром Гропиус (штат Нью-Гэмпшир). Он направляется в университетский городок, где в тиши колледжа Кобба трудятся над научными исследованиями американские и приезжие ученые.

Мистер Прайр не успел еще прославиться какими-либо академическими заслугами. Но год в колледже ему обеспечен одним росчерком пера кого-то из влиятельных (и богатых) друзей.

Мэтью голоден. Он провел бурную ночь в Нью-Йорке и утром перед вылетом отказался от завтрака. Но сейчас — в четыре часа пополудни — он полон предвкушения плотного обеда и других возможных проявлений академического гостеприимства. Впрочем, гастрономическая мечта Прайра быстро терпит крушение: старенький форд д-ра Парка (главы корпорации иностранных ученых в колледже Кобба), пыхтя и фыркая, чудовищно долго тянется до места назначения, заглушая неприятное урчанье в желудке Мэтью, отнюдь не гармонирующее с его изящной подтянутостью. Вместо обеда на территории колледжа Мэтью ожидает осмотр его будущей «берлоги» — кабинета для занятий,— самого колледжа и, наконец, отведенного ему огромного и пу-

стого особняка, где еще витает дух бывшей владелицы, недавно скончавшейся во время утренней зарядки в возрасте 90 лет. В заключение, когда стрелка часов уже близится к семи, Прайра тащат на визит к ректору, и чаша терпения англичанина переполняется, когда гостеприимная хозяйка предлагает ему бокал кристально чистой воды, извлеченной из холодильника...

Последующие события знаменательного дня развертываются столь же печально: академическая столовая уже закрыта, магазины на территории колледжа не предусмотрены, и предоставленный самому себе Прайр вынужден отойти ко сну, удовлетворившись единственным яйцом, случайно оставшимся в холодильнике от его бывшей владелицы.

Так заканчивается первый день Прайра в американском колледже и начинается новый роман Памелы Хэнсфорд Джонсон «Ночь... Молчание... Кто там?», имеющий подзаголовок — «Американская комедия».

Книгу предваряет эпиграф из Шекспира:

> Ночь... Молчанье... Тсс! Кто там?
> Да не он ли это сам?
> Это он, сомненья нет:
> По-афински он одет.
> *(«Сон в летнюю ночь». Акт 2, сцена 2)*

Эпиграф этот объясняет и заглавие, и замысел, и, в сущности, весь стиль этой «американской комедии», или американского «сна в летнюю ночь».

В роли наблюдательного и очень лукавого Пэка писательница как бы подсматривает за проделками Прайра в «стране чудес», а заодно и за самой «страной чудес», и за теми своеобразными экспонатами человеческого рода, с которыми приходит в соприкосновение и столкновение герой (а, может быть, скорее «антигерой») «американской комедии».

Приключения Мэтью служат в книге Джонсон источником очень веселого смеха, не иссякающего с первой ее страницы и до последней. Сама Памела Джонсон сообщает: «Моя книга — чистейшая комедия. И задача ее, как и «Сна в летнюю ночь»,— позабавить и развлечь». Но роман не вызвал бы к себе такого интереса, если бы за приключениями Прайра в колледже Кобба не ощущалось нечто более серьезное.

Сочетание двух мелодий — одной мажорной, даже бурлескной, другой, звучащей тихо и порой еле слышно, но тем не менее ведущей, и обеспечивает роману успех.

Пребывание Мэтью Прайра в колледже официально оправдано его работой над творчеством декадентской поэтессы Дороти Мерлин. Но «крупнейшему (ибо единственному) знатоку» Мерлин так и не удается пойти дальше первой строки задуманного им исследования. С первых дней в колледже Кобба Мэтью Прайра одолевают заботы о преобразовании системы питания в колледже, об организации на его территории столь необходимого ученым хорошего ресторана, наконец, об улучшении снабжения спиртными напитками. Убедившись, наконец, в том, что лучшим претендентом на пост уходящего в скором времени на покой д-ра Парка является он сам, Мэтью Прайр направляет всю свою деятельность в соответствующее русло.

Для академических занятий решительно не остается времени. Вынужденный сделать доклад о поэзии Мерлин, он якобы теряет голос и заболевает ларингитом, но его успешно заменяет д-р Корал, английский историк, вынужденная импровизировать перед студентами ученое сообщение «крупнейшего специалиста». Немного времени для занятий, впрочем, и у его ученых коллег — специалиста по славянской филологии мисс Гроби, доходящей до нервного срыва в результате неумеренного употребления виски и бренди; мисс Корал, воюющей против зоолога Хэффлингера (он распускает по колледжу своих подопытных пауков, от которых Корал впадает в истерику); д-ра Тьеполо, трудящегося над раскрытием секрета поэзии Дикинсон, но одолеваемого своим пристрастием к кошкам...

И все идет своим чередом, пока на пути грандиозных замыслов Прайра не встает совсем неожиданное препятствие. Приняв мультимиллионера и опекуна колледжа за несостоятельного адвоката и потребовав у него назад занятые тем деньги, Прайр совершает роковую ошибку, стоящую ему чудесной синекуры в колледже Кобба.

Но отчаяние «доброго парня», обожаемого американскими дамами-патронессами, длится недолго. Предложение, сделанное ему в лимузине по дороге в Нью-Йорк сказочно богатой вдовой, искупает все его невзгоды. Мэтью изящно соглашается стать мужем миссис Мерль (в чем та, впрочем, ни на минуту не сомневалась), и отныне благополучие его навеки обеспечено.

Близится к концу «сон в летнюю ночь», но лукавый Пэк оставляет за собой право прокомментировать происшедшее. Превосходный обогреватель новейшей конструкции делает пребывание Джейн и Мэтью в одном из придорожных отелей более чем терпимым: «И он, и миссис Мерль были здесь ограждены от горького и упрямого мира,— замечает автор.— Другие, быть может, мечтают о горячей войне, иные ведут холодные или, еще хуже, прохладные войны...» А Мэтью размышляет о том, «какой опасной могла стать такая разыгравшаяся было *вокруг него* прохладная война».

Роман «Ночь... Молчание... Кто там?» в гораздо большей мере юмористический, чем сатирический. Но нюансы смеха Памелы Джонсон многообразны, и характер созданных ею образов не так прост, как может казаться поначалу.

Если портреты ученых-чудаков мисс Гроби и мисс Корал, д-ра Хэффлингера и д-ра Тьеполо с их забавными слабостями и индивидуальными «маниями», скорее, веселый шарж, чем типическое обобщение, то иное дело нарисованная картина в целом. Как бы ни были смешны проделки и приключения своеобразного «антигероя», читатель невольно улавливает за ними движение того общественного механизма, ко-

торый делает возможными как «деятельность» Мэтью в американском колледже, так и его победное восхождение на Олимп всесильного доллара. Сатирические интонации тонкого наблюдателя невозможно не уловить в изображении произвола самоуверенных и самодовольных миллионеров (миссис Нэш, миссис Мерль, Уолтерса и других, менее всесильных), которые командуют прессой и радио, подчиняют себе просвещение и науку, склонны рассматривать окружающих людей как средство забавы и развлечения.

Дав согласие на брак с миссис Мерль, Мэтью Прайр предается размышлениям. В них снова звучит голос автора. Прайр «не может еще до конца осознать полноту своего счастья, фантастический характер ожидающего его будущего... На минуту его охватывает печаль и какое-то чувство, похожее на стыд, ощущение того, что за пределами его мира существует другой, и тот мир единственно реальный. Если и дальше повезет, то ему не придется больше сталкиваться с реальной жизнью (да и знал ли он ее?)... Но будет ли он жить в мире с самим собой, сможет ли смотреть себе в глаза, утешаясь тем, что реальный мир, как бы он ни был трагичен, не станет более несчастным потому, что одной маленькой рыбешке удалось выскользнуть из сети...».

Мэтью, видимо, сможет. Но отношение автора к нему и ему подобным очевидно. Добродушный юмор под конец романа все чаще вытесняют интонации грустной иронии. Хотя писательница и не показывает тот «большой и трагический мир», о котором вспоминает Прайр.— «единственно реальный мир» — книга заставляет читателя не только потешаться, но и делать свои выводы, обобщать недосказанное.

Памела Хэнсфорд Джонсон — одаренный прозаик и тонкий стилист Об этом позволяют судить уже романы «Невозможный брак» (1954), «Последний ресурс» (1956). Однако во всех книгах, написанных до 1956—1958 гг., Памела Джонсон выступала создателем романа «малой темы», реалистом, но лишь в узких рамках изображения душевной жизни своих всегда немногочисленных персонажей.

За последние годы в творчестве писательницы произошел явный поворот (роман «Невообразимый Скиптон», 1959 год). Поле зрения Памелы Джонсон значительно расширяется, реалистический рисунок становится глубже и убедительней. Издательство Макмиллан, публикуя «Скиптона», рекомендовало книгу как произведение, по преимуществу, комедийное. В действительности «Невообразимый Скиптон» что угодно, но не забавная комедия, хотя автор и демонстрирует здесь большое мастерство в построении юмористических образов и ситуаций.

Образ Скиптона — полунищего писателя, желчного неудачника, исковерканного жизнью, воспринимается как в высшей степени трагический. Нетрудно заметить, что ответственность за его судьбу возлагается писательницей не на самого Скиптона, а на обстоятельства его жизни. Конфликт «невообразимого» с действительностью — это конфликт, возникший в той «реальной действительности», о которой говорит Мэтью Прайр.

Сопоставляя такие психологические романы П. Х. Джонсон, как «Смиренное создание» или «Последний ресурс», с такими книгами, как повесть о Скиптоне, приходишь к заключению, что горизонт писательницы все больше расширяется, а реалистическое мастерство совершенствуется.

«Ночь... Молчание... Кто там?» — новое свидетельство многообразия творческих возможностей одаренного автора.

**В. ИВАШЕВА**

# ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

## АВСТРАЛИЯ

### ПЛАЧЕВНЫЙ БАЛАНС

«Австралийский зритель почти не встречается на экранах телевизоров с Австралией, с ее культурой и национальными традициями,— пишет корреспондент газеты «Трибюн».— Вместо этого его пичкают рекламой «американского образа жизни», а также заграничными фильмами, до предела заполненными преступлениями, насилиями и ужасами».

В австралийском телевидении сложилось настолько тревожное положение, сообщает корреспондент, что для выяснения его причин пришлось создать специальную правительственную комиссию. В своем отчете члены комиссии вынуждены были с горечью признать: «Мы, в сущности, субсидируем американскую промышленность телевизионных фильмов, в то же время пренебрегая своей собственной».

В отчете говорится и еще об одном печальном явлении в культурной жизни страны— уменьшении численности национальных актерских кадров: «Импортируя огромное количество телевизионных программ, мы одновременно экспортируем самое драгоценное и невосполнимое — наших австралийских артистов».

За последние пять лет, говорится в отчете, Австралию покинули 52 актера и 22 актрисы, так как они не смогли найти себе применение на родине. «Это экспорт, который мы не можем себе позволить»,— замечает корреспондент «Трибюн».

## АНГЛИЯ

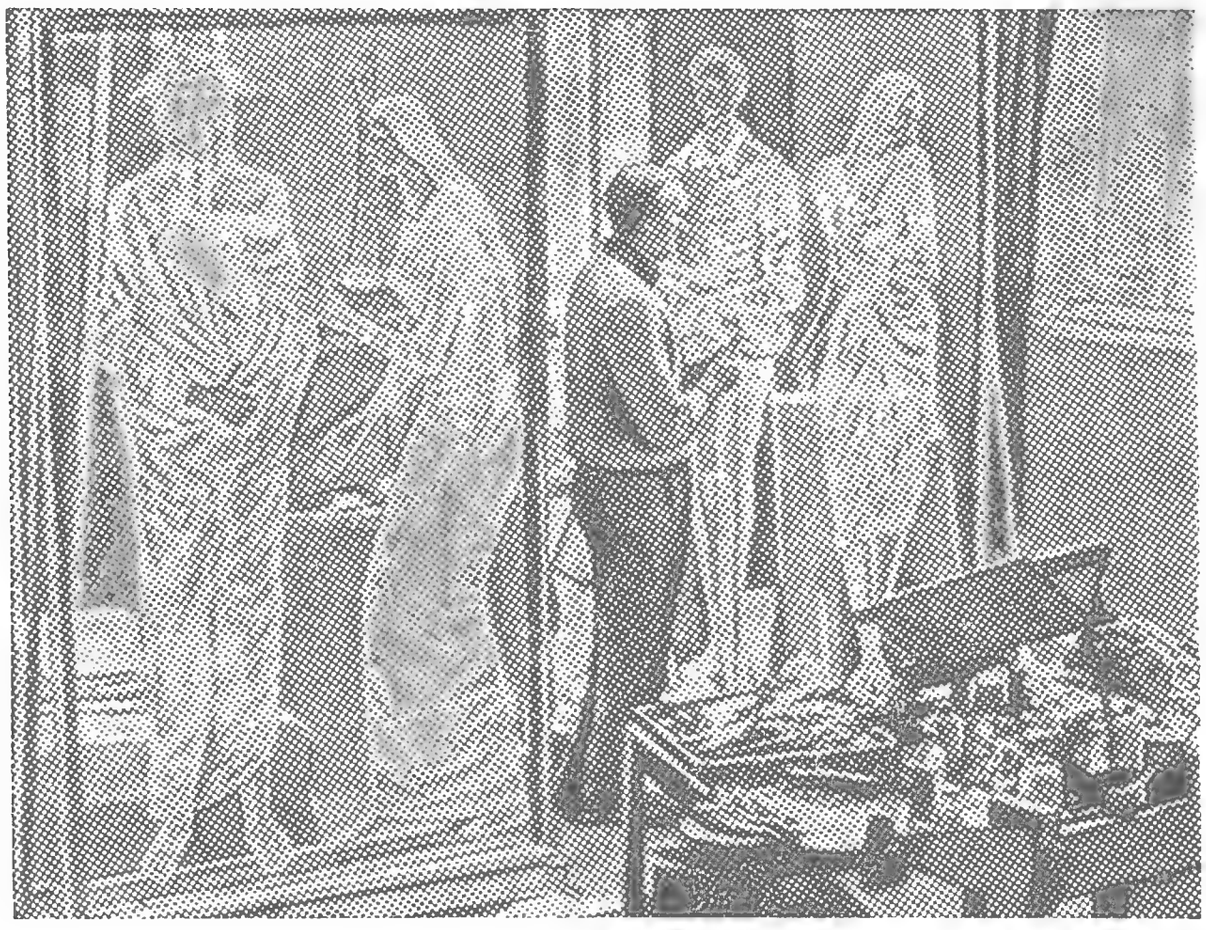
### «ЕСЛИ БЫ ГОЙЯ ЖИЛ ПРИ ФРАНКИЗМЕ...»

Недавно англичане получили возможность ознакомиться с картинами Гойи, выставка которых открылась в Лондоне. Комментируя это событие, вызвавшее большой интерес английской общественности, печать, и в частности еженедельник «Трибюн», подчеркивает, что некоторые картины художника по политическим мотивам не были доставлены в Лондон из Мадрида. А газета «Таймс» прямо указывает, какие именно картины Гойи франкистские власти не сочли возможным выставить для обозрения лондонской пуб-

---

К 400-летию со дня рождения великого английского драматурга Вильяма Шекспира в Лондоне открывается «Шекспировский центр». Его стены украсят стеклянные панно с изображением героев шекспировских пьес. На снимке вы видите панно, изображающие Гамлета и Офелию (справа), а также Короля Лира и Корделию, в мастерской художника Джона Хаттона.

*(Газета «Фигаро»)*



лики: среди них «Расстрел французскими солдатами испанских повстанцев», а также те картины, где изображена казнь с помощью гарроты, «которая еще до сих пор является официальным орудием казни в Испании».

Делясь своими впечатлениями от посещения выставки полотен Гойи, корреспондент «Таймс» упоминает картину, на которой показана подвергающаяся публичному наказанию женщина, и подчеркивает, что это ассоциируется с недавними событиями в Испании, когда «жены астурийских горняков были наголо острижены полицией Франко».

Одновременно в Лондоне открылась выставка картин испанского художника Ибарролы, томящегося в настоящее время во франкистской тюрьме Бургос (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 3, 1964). Картины эти были созданы в тяжелых тюремных условиях: отдельные гравюры художник сделал с помощью ржавых кусочков железа. Они изображают страшные эпизоды допросов, заседания военного трибунала, горе семей патриотов, схваченных франкистами.

Корреспонденг «Таймс» пишет о большом впечатлении, которое производят обе выставки на посетителей, и продолжает: «Вход на выставку картин Ибарролы свободный, чего нельзя сказать об условиях, в которых творил этот испанский художник... Если бы Гойя жил при франкизме, он наверняка был бы посажен в тюрьму».

## ПЕРЕПИСКА ДЖОНАТАНА СВИФТА

Печать публикует отклики на выход трехтомного собрания писем писателя-сатирика Джонатана Свифта, автора всемирно известных «Путешествий Гулливера». Письма знаменитого писателя, по словам рецензента еженедельника «Лиснер», дают возможность познакомиться с подлинным Свифтом, который активно участвовал в политической жизни своего времени. В письмах он предстает перед читателем как талантливый политический деятель, человек остроумный и подчас резкий. Многие письма, вошедшие в нынешний трехтомник, отмечает рецензент, нигде не публиковались.

По свидетельству литературного обозревателя еженедельника «Санди таймс», самыми интересными представляются письма, написанные в промежутке между 1726 (когда вышли в свет «Путешествия Гулливера») и 1728 годами. Письма Свифта, пишет обозреватель, содержат много новых, интересных сведений о писателе.

## ПРОТИВ МОДЕРНИСТСКИХ ВЫКРУТАСОВ

Дж. Б. Пристли, которому в 1964 году исполняется семьдесят лет, поделился в еженедельнике «Нью стейтсмен» некоторыми своими взглядами на современную литературу и искусство.

Писатель решительно высказался против появления «антироманов», «антифильмов» и «антипьес». Пристли не удовлетворяет нынешнее состояние английской литературы и драматургии. «В течение ряда лет,— пишет он,— литература представляет собой нечто такое, о чем читают лекции и пишут статьи, но отнюдь не то, что люди читают и от чего получают удовольствие. Многие известные драматурги и писатели, пригласив вас на обед, усаживают за стол, на котором сервированы сырое мясо и овощи, свежие яйца и мука, сахар и соль, и нет ни одного аппетитно приготовленного блюда. Если они гении, это может им сойти с рук, но в большинстве случаев все же дело обстоит не так, и вы уходите голодным и рассерженным».

Пристли считает, что многие современные молодые писатели воображают себя гениями и работают небрежно. «Слишком много кругом гениев и слишком мало талантов...» — замечает он.

Писатель подверг резкой критике и современные «модные» течения в искусстве. «Вкусы мои сформировались настолько давно,— продолжает он,— что я терпеть не могу резкую, раздражающую музыку. Мне это так же неприятно, как общество какого-нибудь неврастеника, непрерывно натыкающегося на мебель и кусающего себе ногти. У меня сложилось впечатление, что в живописи сейчас слишком много занимаются наглой пачкотней. И я должен признаться в своем предубеждении против всякой скульптуры, которая состоит из чего-то тонкого, каких-то проволочек, словно ее создатели вдохновлялись созерцанием голодающих пернатых».

# БЕЛЬГИЯ

## «КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН»

Театральный мир Бельгии взбудоражен. Директора театров и режиссеры во всеуслышание заявляют: «Нас колонизовали французские постановщики», «Бельгийский театр требует независимости», «Бельгийские актеры настаивают на элементарной справедливости»...

Эта история берет свое начало в 1961 году, когда, вслед за премьерой в Лондоне, пьеса Роберта Болта о Гомасе Море под названием «Всегда человек» была с успехом поставлена в Брюсселе. Видевший ее директор французского театра «Комеди» из г. Сент-Этьена предложил культурный обмен: «Комеди» приедет на гастроли в Брюссель, а брюссельский Национальный театр с пьесой Болта — в Сент-Этьен и другие французские города.

Узнав об этой договоренности, парижский агент Болта, угрожая судом, наложил вето на гастроли брюсельского театра во Франции. В результате театр «Комеди» прибыл, как было условлено, в Бельгию и дал тридцать два спектакля, а труппа Национального театра осталась сидеть в Брюсселе в качестве зрителей.

В довершение всех бед парижский «Театр насьональ популер» (ТНП) в 1963 году поставил ту же самую

пьесу Болта, дав ей другое название: «Томас Мор, или Одинокий человек». После премьеры в Париже театр повез эту постановку на гастроли прямо... в Брюссель! Вот тут-то бельгийцы и потеряли терпение. Театральные деятели потребовали обложить гастроли французских театров высокими налогами, чтобы им впредь неповадно было пересекать франко-бельгийскую границу.

Лишь после того как скандал разразился, председатель союза гастрольных театров Франции Юбер де Малэ всполошился и виновато заговорил о «единой европейской театральной семье». Франко-бельгийская театральная схватка продолжается, однако, по мнению печати, гегемонии Парижа в этой области приходит конец.

## БИРМА

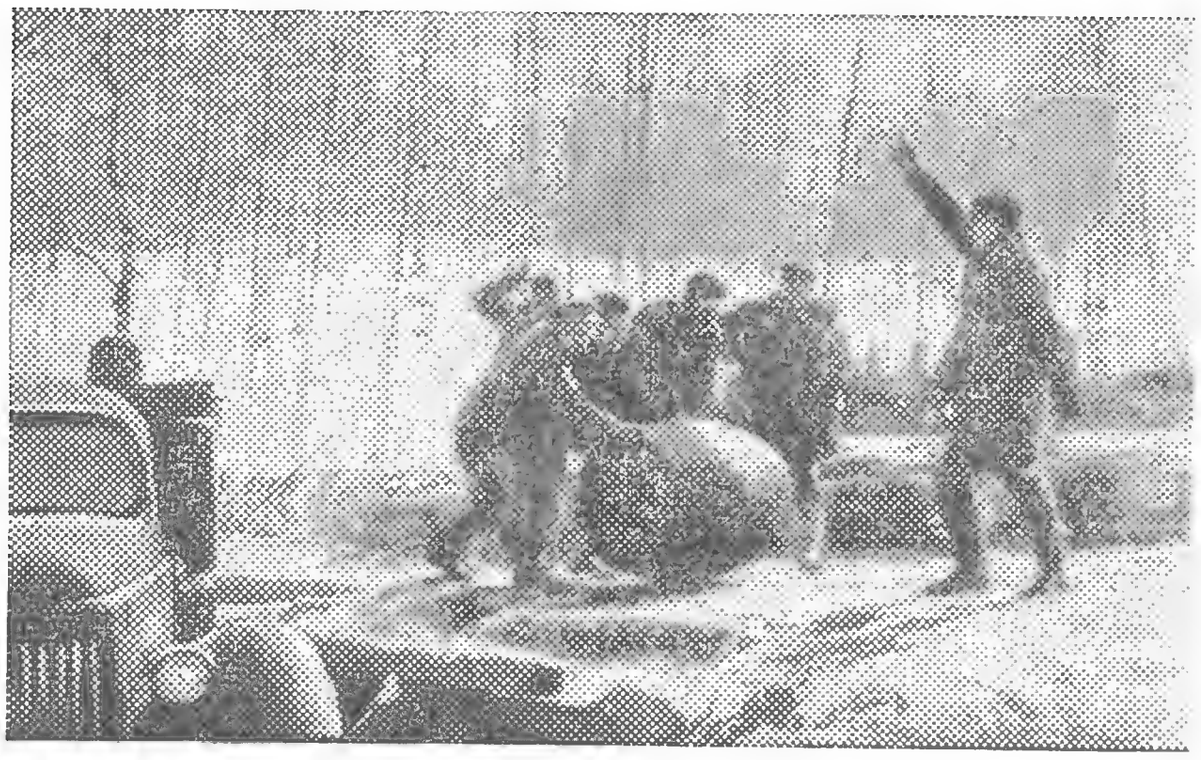
### ЗА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В Рангуне состоялся семинар творческой интеллигенции страны — драматургов, композиторов и артистов. Семинар, по сообщению обозревателя журнала «Форвард», имел целью определить те формы и направления, в которых должно развиваться в дальнейшем национальное искусство.

Выступивший с речью глава Революционного совета Бирмы генерал Не Вин призвал творческую интеллигенцию к объединению и сотрудничеству для сохранения богатых традиций драматического искусства, классической музыки и других достижений бирманской культуры.

Министр информации и культуры Со Мьинт рассказал собравшимся о мерах в области развития культуры, которые намерено осуществить правительство. Среди них — создание национального театра, издание газет и журналов, посвященных проблемам искусства, присуждение премий за лучшие произведения.

## БОЛГАРИЯ



Действие нового болгарского фильма «Черная река» происходит в одном из леспромхозов, где в суровых условиях живут и трудятся лесорубы. Здесь мы публикуем кадр из этого фильма, взятый из журнала «Болгарские фильмы».

### ПИСАТЕЛИ О СВОИХ КНИГАХ

Традиционную анкету среди писателей — об их творческих планах — провел еженедельник «Литературен фронт».

Людмил Стоянов заканчивает трилогию «Детство, юность и война». Он продолжает также работу над пьесой о Христо Ботеве «И певцы поют о нем песни». Готовятся к печати избранные произведения писателя в двух томах. В скором времени читатели получат возможность познакомиться с очерками Стоянова о Советском Союзе и его новыми литературно-критическими статьями.

«Я собираюсь написать четвертую часть своего романа «Обыкновенные люди»,— рассказал в своем ответе Георгий Караславов.— Сдам в печать роман «Мачеха», начатый более двадцати лет назад. Готовлю книгу очерков о нашем социалистическом строительстве, пишу повесть, задумал пьесу на современный сюжет».

«Двое в новом городе» — так называется роман Камена Калчева, который начал печататься в журнале «Септември». Действие его происходит в наши дни. Вскоре выйдет автобиографическая повесть Калчева «У истоков жизни».

«Подготавливаю к новому изданию стихи, написанные в последние два-три года,— ответила на вопросы еженедельника Мария Грубешлиева.— В этот сборник войдут также рассказы».

Поэты Ламар и А. Тодоров работают над поэмами, посвященными двадцатилетию со дня освобождения Болгарии от фашистского рабства. Стихи о жизни своих современников пишет Младен Исаев. Им задумана также пьеса о сентябрьском восстании 1923 года. В нынешнем году выходят две его новые книги для детей и юношества — «Крылья» и «Сказочная земля».

### НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА ВАЗОВА

В архивном фонде университетской библиотеки в Софии обнаружены три документа, подписанные Иваном Вазовым и относящиеся к 1898 году, когда великий болгарский писатель был министром народного просвещения.

Первое письмо свидетельствует о стремлении Вазова не допустить людей недобросовестных к тем скудным бюджетным средствам, которые отпускало буржуазное правительство на нужды народного просвещения.

В двух других документах содержатся ответы Вазова

на запросы ректора Высшего училища о присылке книг и журналов с материалами по болгарской истории и литературе, в частности, о присылке «Притч» П. Р. Славейкова, которых не было в библиотеке училища.

Найденные документы — свидетельство заботы Ивана Вазова о народном образовании, о его большой человеческой отзывчивости, пишет корреспондент еженедельника «Литературен фронт».

## ВЕНГРИЯ

### «МЫ ЖИЛИ НЕ НАПРАСНО...»

Известный писатель Бела Иллеш недавно рассказал корреспонденту журнала «Кортарш» о своих литературных замыслах:

«Мне бы очень хотелось написать роман о революции. Правда, революция всегда была темой моих произведений, но сейчас я задумал описать историю, длившуюся приблизительно полвека. Главная героиня моего будущего романа — женщина, пятьдесят лет жизни отдавшая рабочему движению.

Мой новый роман не эпопея. Напротив, я постараюсь не превышать объема в триста — триста пятьдесят страниц. Все произведение думаю построить только на фактах. Началом его будет революция 1919 года, концом — дни после контрреволюционного мятежа 1956 года в Венгрии. Надеюсь, мне удастся показать, что произошло за это время в жизни страны, народа, партии, рабочего класса.

Где-то на втором плане я покажу известные исторические личности, но не под их собственными именами... Таким образом, замысел романа у меня готов; его герои уже живут и действуют даже помимо моего желания. Как только состояние здоровья позволит мне начать работу, я примусь за описание их жизненных судеб.

...Да, наше поколение может сказать, что мы жили не напрасно»,— добавил писатель.

## ГДР

### РАСЦВЕТ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

«Какое влияние оказали решения VI съезда СЕПГ на развитие культурной жизни ГДР?» С таким вопросом агентство печати АДН недавно обратилось к творческой интеллигенции республики по случаю годовщины съезда.

Первый секретарь Союза немецких писателей доктор Ганс Кох в своем ответе, опубликованном в газете «Националь-цейтунг», заявил, что литературная жизнь за прошедший год была исключительно плодотворной и отвечала задачам развития литературы, поставленным VI съездом СЕПГ.

Состоялись, продолжал Кох, открытые литературные диспуты по книгам Кристы Вольф «Расколотое небо» (опубликована в «Иностранной литературе» № 1, 1964) и Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкопп» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 3, 1964). На диспутах, проходивших очень оживленно при участии авторов, читателей и литературной общественности, была подчеркнута роль литературы в отображении проблем современной жизни.

Значительны, по мнению Коха, произведения, опубликованные в последних номерах журнала «Форум»,— «След камней» Эрика Нейча, вторая часть романа Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 12, 1963) и «Аудитория» Германа Канта. В этих произведениях, по словам Коха, показаны многие аспекты жизни ГДР.

«Мы стремимся творчески разрабатывать и пропагандировать метод социалистического реализма в изобразительном искусстве,— заявил корреспонденту АДН президент Немецкой академии искусств доктор Карл Хоссингер.— Новый состав редакции журнала «Зинн унд форм», издаваемого Академией, поставил своей задачей настойчиво отстаивать принципы социалистического реализма, используя лучшие образцы произведений изобразительного искусства и боевые теоретические статьи».

---

«Автобус останавливается у моста» — таково название актуальной, по словам рецензента газеты «Нейес Дейчланд», пьесы о социалистической немецкой деревне, которую написали супруги Шарлотта и Фридрих Штюрцебехер. Авторы не являются профессиональными литераторами, они — члены сельскохозяйственного кооператива в округе Галле. На снимке: сцена из спектакля, премьера которого состоялась недавно в театре имени Томаса Мюнцера в г. Эйслебене.

*(Газета «Берлинер цейтунг»)*

### ПУТЬ АДАМА ПРОБСТА

Газеты «Нейес Дейчланд», «Берлинер цейтунг» и другие сообщают о выходе в свет третьего тома большого автобиографического романа Герберта Иобста «Нелегкая жизнь Адама Пробста», задуманного как тетралогия. Том озаглавлен «Бродяга».

Первая часть этого романа, названная писателем «Подкидыш», как известно, вышла из печати в 1957 году; а несколько позднее вторая часть — «Воспитанник», герой которой участвует в борьбе против нацизма. В третьей части читатель встречается с Адамом Пробстом в первые послевоенные годы.

Герберт Иобст.
*(Газета «Берлинер цейтунг»)*

Известный публицист и критик Вольфганг Йохо пишет, что в третьем томе романа автор снова показал себя прекрасным рассказчиком, умело владеющим народным языком, сумевшим сохранить самобытность характеров и образов основных героев, убедительно показать их общественные и политические взгляды.

В то же время, по мнению Йохо, «Бродяга» отличается от двух первых частей тем, что автор коренным образом меняет характер и композицию повествования. Рассказ ведется автором от первого лица. Его герой — бездомный бродяга, который — и в конце книги читатель уже явственно понимает это — снова найдет место в жизни своей настоящей родины — ГДР — и своего класса. Однако, по замыслу писателя, все эти важные события в жизни героя составят содержание четвертого, последнего тома.

ФРГ

## СУДЯТ ИОГАННА ФЛАДУНГА

Западногерманская юстиция сфабриковала еще один процесс против прогрессивных деятелей культуры. На этот раз на скамью подсудимых попали руководитель издательства «Прогресс» в Дармштадте Иоганн Фладунг, его жена Клара Фладунг и сотрудница издательства Грета Гоффман.

Государственный обвинитель Хюнершульте пытался доказать, что эти честные немцы — крайне опасные люди. Быстро разрастается пухлое «дело», в котором Иоганн Фладунг обвиняется в том, что, будучи секретарем западногерманского «Культурбунда», он поддерживал деятельность компартии и выражал протест против ее запрещения в Западной Германии. Все «преступление» Иоганна Фладунга состоит в том, что он последовательно отстаивал гуманистическое направление в культурной жизни Западной Германии и разоблачал происки реваншистов и милитаристов. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы прогрессивный издатель и его ближайшие сотрудники были привлечены к суду.

Стремясь «уличить» издателя в «преступной» деятельности, обвинение огласило даже такие факты: Иоганн Фладунг с 1925 по 1933 год был депутатом от компартии Германии в прусском ландтаге. В 1933 году он был арестован, а в 1934 году приговорен к длительному тюремному заключению...

Газеты ГДР — «Берлинер цейтунг», «Юнге вельт», «Дер морген»,— с гневом откликнувшиеся на это гнусное преследование прогрессивных деятелей Западной Германии, пишут, что только в 1938 году друзьям удалось вырвать тяжело больного Фладунга из рук нацистов. Он переехал в Лондон и основал там «Свободный немецкий культурбунд». После 1945 года Фладунг занимался издательской деятельностью в Западной Германии. Руководимое им издательство «Прогресс» печатало книги 79 прогрессивных немецких и иностранных авторов...

Таким образом, западногерманские власти превратили в государственную политику судебное преследование прогрессивных деятелей культуры, известных своей антифашистской деятельностью в прошлом и настоящем.

## БОНН ПРОТИВ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА

Двадцать три западногерманских театра должны бы-

---

*(Газета «Дер морген»)*

Клара и Иоганн Фладунг.

ли в 1963 году выехать в ГДР на гастроли. Но так и не выехали, хотя к этому стремились многие деятели театра Федеративной Республики Германии. Официальные круги Бонна придерживаются по этому вопросу особого мнения, препятствуют и угрожают всем тем, кто пытается осуществить такой обмен. Актеры и режиссеры западногерманских театров, пожелавшие выехать на гастроли в ГДР, подозреваются в симпатиях к коммунизму. Гастроли театров ГДР в ФРГ и вовсе запрещаются, хотя в их репертуар включены только произведения немецких и иностранных классиков. «Ничего не видеть, не слышать, не знать о ГДР» — вот девиз противников культурного сближения обоих германских государств.

В то же время западногерманская печать вынуждена давать высокую оценку театральному искусству в ГДР — спектаклям таких театров, как «Комише опер», «Берлинер ансамбль» и другие. «Театральные обозреватели западной прессы спешат в восточную часть Берлина, как только узнают о новой постановке «Комише опер»,— писала недавно западногерманская «Франкфуртер нейе прессе». Ей вторят другие крупные газеты — «Франкфуртер альгемейне», «Штутгартер цейтунг», которые объективно оценивают мастерство постановщиков и актеров театров Германской Демократической Республики.

За культурный обмен между ГДР и ФРГ высказались деятели западногерманских театров, приглашенные на недавнее совещание немецкого общества имени Шекспира в Лейпциге. В ответ на предложение предоставить театральные сцены Лейпцига западногерманским коллегам для постановок пьес Шекспира один из гостей, по понятным причинам пожелавший остаться неизвестным, заявил: «Я считаю, что это был бы путь к разрядке напряженности. Мы заинтересованы в таких контактах с театрами ГДР и были бы рады их поддерживать».

ГАНА

## ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

В Аккре при Институте искусства и культуры Ганы открылся первый в стране кукольный театр, который дает спектакли для взрослых и детей. Такие театры, сообщает корреспондент газеты «Ганиен таймс», откроются в недалеком будущем в различных областях страны. Институт искусства и культуры помогает энтузиастам кукольного театра получить профессиональную подготовку.

ГРЕЦИЯ

## НОВЫЙ РОМАН АНДРЕАСА ФРАНГЬЯСА

Послевоенной греческой действительности посвящен роман Андреаса Франгьяса «Железные ворота», о котором пишет критик Д. Рафтопулос в журнале «Эпитеориси технис». Почти все герои романа — бывшие участники Сопротивления, люди, взлелеявшие мечту о новом, более совершенном мире, боровшиеся за осуществление этой мечты, но оказавшиеся не в силах претворить ее в жизнь.

Герои романа живут в атмосфере паники и отчаяния, пишет Рафтопулос, однако автор не ограничивается изображением их внутренних переживаний, он вскрывает социальные корни морального падения своих героев. По словам критика, Франгьяс побуждает героев разобраться в своих настроениях, понять, что с ними происходит. Автор не только разоблачает, но и помогает героям подняться, вновь обрести веру в самих себя — во имя будущего.

«В той мрачной ночи, которую писатель видит вокруг своих героев,— пишет Рафтопулос,— он зажигает не поминальную лампаду, а светильник завтрашнего дня».

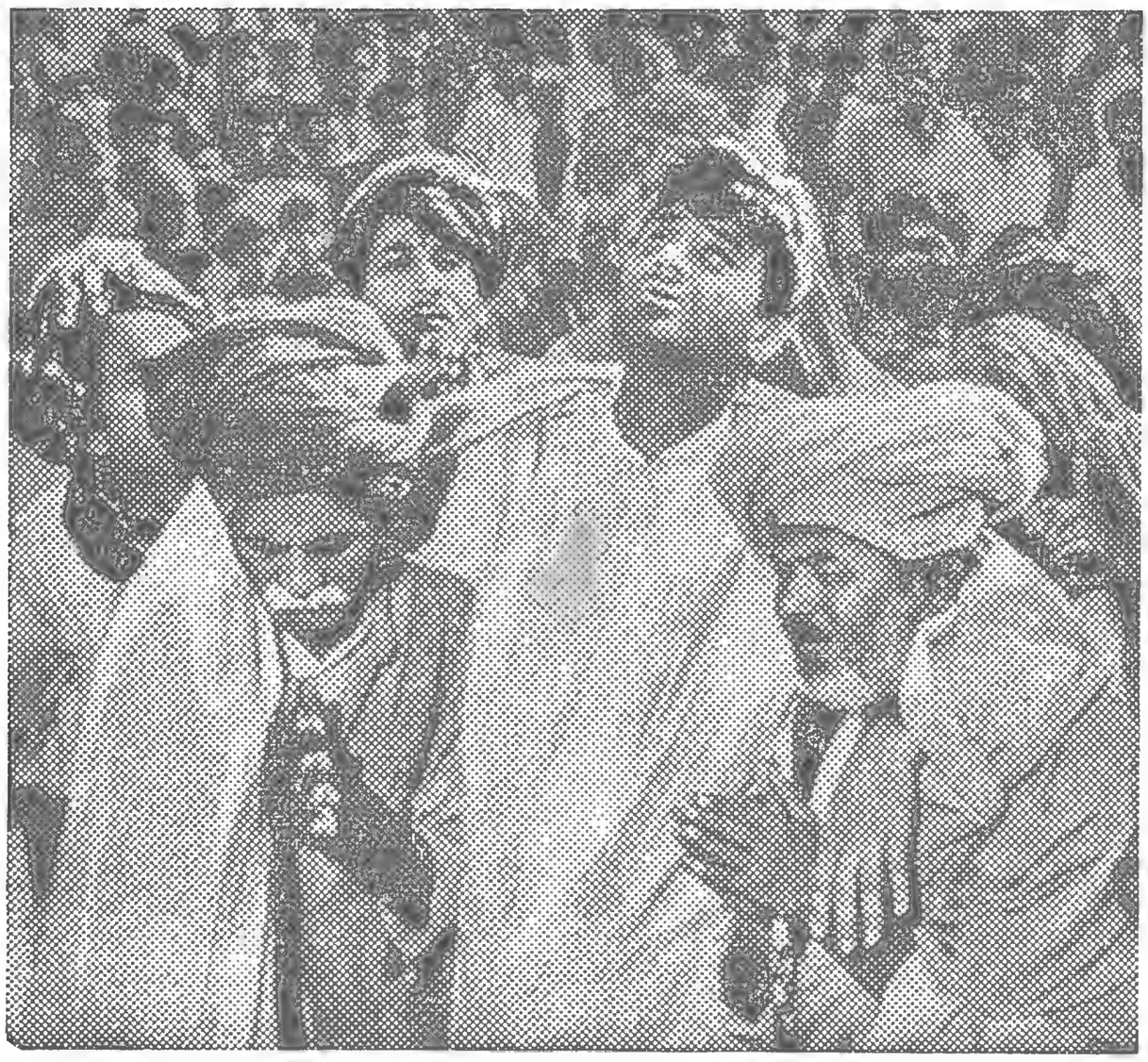
Кадр из греческого фильма «От нас прячут солнце», поставленного молодым режиссером Фаносом Сантасом. Фильм рассказывает о драматических событиях периода фашистской оккупации страны и первых послевоенных лет. «Свобода или смерть»,— гласит надпись на стене, сделанная греческими антифашистами.

*(Газета «Авги»)*

## ДАНИЯ

### ПРЕМИЯ ПОЭТУ-УЗНИКУ

**Недавно молодые датские поэты решили присудить премию за цикл лирических стихов своему испанскому собрату антифранкисту Карлосу Альваресу. Как известно, Карлос Альварес был в прошлом году арестован и заключен в тюрьму в Мадриде за то, что публично высказал свой протест против убийства Хулиана Гримау (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 9, 1963). Вынося решение о присуждении премии поэту-узнику, молодые поэты Дании заявили о своей солидарности со всеми испанскими поэтами, которые борются против режима генерала Франко.**



Известный индийский киноактер и режиссер Дэв Ананд осуществил экранизацию романа Р. К. Нарайана «Гид» (под названием «Святой Раджу» опубликован в «Иностранной литературе» № 6—7, 1960). На снимке: кадр из фильма «Гид», в роли Раджу — Дэв Ананд.

*(Журнал «Эйшиа мэгезин»)*

## ИНДИЯ

### ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА

**Общество писателей на языке пенджаби сообщило результаты литературного конкурса за 1963 год. Звание «лучшего писателя года» присвоено популярной поэтессе и прозаику Амрите Притам.**

**Жюри присудило также премии авторам лучших произведений литературы пенджаби. Первой премии удостоен роман Амриты Притам «Козырная карта». Премиями отмечены сборник стихов Сукпалвира Сингха Хасрата «Иллюзия любви» и рассказ Пьяра Сингха Бхогала «В первый раз». Талантливым драматическим произведением признана пьеса «Стены из песка», принадлежащая перу драматурга Гурчарана Сингха Джасуджа.**

### ПЬЕСА О ГАНДИ

**Тепло приняли индийские зрители и критики новую пьесу одного из старейших индийских писателей К. П. Кесавы Менона «Махатма». Как отмечает рецензент журнала «Индиен ПЕН», это едва ли не первая попытка показать на сцене наиболее активный период (1920—1948) в жизни руководителя индийского национально - освободительного движения Ганди.**

**По словам рецензента, автор хорошо знает описанные им события, поскольку он сам играл видную роль в освободительной борьбе индийского народа и был лично знаком со многими героями своей пьесы — известными историческими личностями.**

## ИРЛАНДИЯ

### ШОН О'КЕЙСИ И КЛЕРИКАЛЫ

**Писатель Шон О'Кейси, ныне постоянно живущий в Англии, рассказал недавно в печати об одном из эпизодов своей борьбы с ирландскими клерикалами. Шесть лет назад, когда дублинское духовенство подвергло ожесточенным нападкам его пьесу «Барабаны отца Неда» и потребовало ее переделки, писатель категорически запретил исполнение в Ирландии какого бы то ни было из своих произведений. Недавно в печати появилось сообщение, будто бы О'Кейси «снял запрет», однако, как заявил сам писатель, это не совсем точно: «Общество Шекспира в городе Стратфорд-он-Эйвон решило устроить в Лондоне в помещении «Олдвич тиэтр» Международный театральный фестиваль в честь 400-летия со дня рождения великого английского драматурга. На фестиваль ожидаются лучшие театральные труппы из Франции, Италии, Германии, Польши, Советского Союза и Греции, которые привезут первоклассные пьесы. Попросили и у меня две пьесы для дублинского театра Эбби. Поскольку никто из нынешних актеров этого театра не играл в моих пьесах, ко мне обратились с просьбой разрешить поста-**

вить их в Дублине перед тем, как показывать лондонской публике. Просьба была разумной, и я дал разрешение на два-три спектакля в Дублине. Эта временная уступка и была воспринята некоторыми, как «снятие запрета».

## ИСПАНИЯ

### «ДИАЛОГ» ПО-ФРАНКИСТСКИ

Группа видных представителей испанской интеллигенции направила франкистскому министру информации Фраге Ирибарне письмо протеста против пыток, которым подвергли астурийских горняков. Министр хотел было «полемизировать» с авторами письма, но припертый фактами к стене и прекрасно понимая, что этот разговор может вылиться в прямое обвинение режиму Франко, он не нашел ничего лучшего, как грубо прервать «диалог».

Этим, однако, дело не кончилось, начались репрессии. Первой жертвой стал писатель-католик Хосе Бергамин, который был вынужден покинуть родину и эмигрировать в Уругвай. Вслед за этим философу Хосе Луису Арангурену власти запретили вести семинар на факультете литературы мадридского университета. Писателю Лопесу Салинасу не разрешили в том же университете прочесть на юридическом факультете лекцию на тему «Литература и общество». Причем декан факультета сначала долго упрашивал писателя самому отказаться от лекции. Когда же Лопес Салинас не пожелал этого сделать, администрация университета, ссылаясь на распоряжение властей, уже официально запретила ему прочесть лекцию.

## ИТАЛИЯ

### РАССКАЗЫВАЕТ АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Новый роман, над которым работает в настоящее время Альберто Моравиа, носит условное название — «Внимание». Название это, по мысли автора, должно отражать необходимость внимательного, вдумчивого подхода литератора к окружающей действительности, которую он собирается описывать. «Герой моего нового романа — писатель,— сообщил Моравиа корреспонденту газеты «Паэзе сера»,— и «Внимание» будет историей создания романа, который пишет герой».

На вопрос корреспондента, нет ли здесь аналогии с фильмом Федерико Феллини «8½», Моравиа ответил, что между этими двумя произведениями имеются существенные различия. В жизни его героя-писателя происходят вполне ясные и понятные события, и их одних было бы достаточно для обычного романа. «Иными словами,— сказал писатель,— в этом романе — два романа: один, повествующий о реальных событиях, и другой, повествующий о романе, который намеревается написать герой».

Корреспондент задал Моравиа еще один вопрос: «Какие советы дали бы вы сегодня молодому человеку, совсем еще юноше, который решил посвятить себя литературе?» «Я бы посоветовал не публиковать своих произведений самое меньшее до сорокалетнего возраста, если бы сам не стал печататься слишком рано,— ответил писатель.— Но если бы мне было дано начать все сызнова, я поступил бы именно так».

В корреспонденции сообщается, что в скором времени выходит из печати сборник статей Моравиа «Человек как цель».

### СПЕКТАКЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЧЕХОВУ

На сценах итальянских театров осуществлены постановки всех без исключения, в том числе одноактных, пьес А. П. Чехова, но интерес к творчеству русского писателя не уменьшается (свидетельство тому — недавняя экранизация кинорежиссером Альберто Латтуадой повести «Степь»).

Недавно в римском «Театре дель Конвеньо» режиссер Гастоне да Венеция осуществил постановку своего нового спектакля, идущего под названием «Вечер, посвященный Чехову». «Спектакль весьма своеобразен по форме,—пишет критик Э. Каприоло в журнале «Вие нуове».— В основу его положено несколько чеховских рассказов, соединенных между собой отрывками из писем и цитатами из высказываний писателя, которые читаются при поднятом занавесе. Режиссер поставил своей задачей воссоздать атмосферу Московского Художественного театра начала 900-х годов, заставить зрителя мысленно перенестись в зал этого театра, нарисовать портрет Чехова не только как художника, но и как человека».

Каприоло отмечает, что спектакль свидетельствует о горячей любви постановщика и исполнителей к творчеству и личности великого русского писателя.

### ДЖОРДЖО БАССАНИ — ПЕВЕЦ ФЕРРАРЫ

Вышел из печати поэтический сборник «Рассвет за окном» писателя Джорджо Бассани, автора «Пяти феррарских историй» (по одной из этих «историй» поставлен известный советским зрителям антифашистский фильм «Долгая ночь 1943 года») и романа «Сад Финци-Контини». В сборник «Рассвет за окном» вошли стихи разных лет, начиная с 1942 года, из трех ныне почти забытых сборников, а также ранее не издававшиеся стихотворения. Сборник снабжен авторским «Постскриптумом» — своего рода послесловием и комментарием.

Почти все стихотворения Бассани посвящены родному городу поэта — Ферраре, ее людям. В лирике Бассани, как отмечают критики, постоянно звучат гражданские мотивы и в первую очередь антифашистская тема.

## КАНАДА

Торонтский «Крэст тиэтр» отмечает четырехсотлетие со дня рождения Вильяма Шекспира постановкой «Гамлета». Главная роль поручена девятнадцатилетнему студенту театрального училища из Квебека — Ричарду Монетту, который, как отмечает рецензент газеты «Кенэдиен трибюн», прекрасно с ней справился. На снимке: Ричард Монетт и Барбара Чилкотт в сцене из «Гамлета».

*(Газета «Кенэдиен трибюн»)*

## ЛИВАН

### НЕДЕЛЯ КНИГИ

С 1960 года в Ливане существует «Общество друзей книги». Проводившаяся недавно по его инициативе Неделя книги стала общенациональным культурно-просветительным мероприятием.

На торжественном открытии Недели выступил президент Общества доктор Константин Зурейк. За последние годы, сказал он, в Ливане издано большое количество книг; на три четверти это художественная литература. Цель Общества, продолжал Зурейк, сделать так, чтобы книга попала в каждую семью, в каждую деревню. Дома книги должны существовать в каждом районе.

В связи с Неделей книги ливанский центр арабской культуры организовал выставку арабских книг, изданных в Ливане, ОАР, Ираке, Тунисе, Алжире и Саудовской Аравии. Выставки книг были открыты также бейрутской Национальной библиотекой, студенческими организациями и Ассоциацией культурных связей Ливана с Советским Союзом.

К празднику книги было приурочено и присуждение литературных премий. Высшую премию — премию президента республики и министерства народного образования — получил один из старейших писателей Ливана Анис аль-Мукдиси, полвека отдавший литературному творчеству. Известны такие его капитальные труды, как «Литературные направления в современном арабском мире» и «Литературные жанры арабского Возрождения». В настоящее время в печати находится его новая книга «Обладать светом мысли» о знаменитых исторических личностях — Луи Пастере, Рабиндранате Тагоре, Саладдине и других.

## ПОЛЬША

### ФЕСТИВАЛЬ В КАТОВИЦАХ

«Важным событием в культурной жизни страны» называет театральный критик Роман Шидловский Второй всепольский фестиваль русских и советских пьес, прошедший в Катовицах — центре Верхней Силезии, одного из наиболее значительных промышленных районов Польши.

В фестивале участвовали двенадцать польских театров, поставивших девять пьес советских авторов и три — классиков русской литературы. Среди них «Баня» Маяковского, «Третья патетическая» Погодина, «Голый король» Шварца и другие пьесы.

«Фестиваль прошел на очень высоком художественном уровне,— пишет рецензент,— однако успех фестиваля был обусловлен в основном содержанием спектаклей, их связью с современностью, а также доступной, понятной, хотя не совсем традиционной художественной формой. Иными словами, это был фестиваль пьес идейных, живых, политически заостренных, а потому интересных для каждого, кому дорого наше искусство».

Рецензент подчеркивает еще одну важную особенность фестиваля в Катовицах: «Он знаменует возвращение наших театров, так сказать, на землю, возврат к реализму, который теперь понимается значительно шире, значительно глубже, чем несколько лет назад. Такова логика диалектического развития... Оказалось, что в ситуации, когда наши театры совершают новый поворот к реализму, более богатому, чем раньше, лучшие произведения русской и советской литературы являются бесценным кладом».

Рецензент дал высокую оценку исполнению роли В. И. Ленина в спектакле «Третья патетическая» актером Феликсом Жуковским, отметил большой успех фестиваля у рабочих Силезии. Фестиваль в Катовицах, по мнению Шидловского, указал основное направление дальнейшего развития польского театра — реалистическое.

### ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ-ФАНТАСТА

Еженедельник «Культура» в традиционной рубрике «В творческих лабораториях» опубликовал беседу с известным писателем-фантастом Станиславом Лемом о его новых книгах и ближайших творческих планах.

«В настоящее время в производстве находятся три моих новых книги,— сказал писатель.— В издательстве МОН — научно-фантастическая повесть «Непобедимый» и несколько сатирических рассказов, которые выйдут в одной книжке. Краковское «Выдавництво литерацке» готовит книгу «Summa Tech-

Станислав Лем.
*(Еженедельник «Культура»)*

nologiae», отрывки из которой в виде фельетонов печатались в еженедельнике «Пшеглёнд культуральны» в 1962—1963 гг. В том же издательстве находится и совсем недавно написанная книга «Сказки роботов» — небольшой томик, действительно содержащий сказки. Я попытался соединить в них традиционные сказочные мотивы с «атомно-кибернетическими». Недавно еженедельник «Жице литерацке» опубликовал одну из таких сказок — «О счетной машине, что с чудищем сражалась».

В фазе «туманного планирования», сказал далее писатель, находится новая научно-фантастическая повесть. Задумано еще несколько «сказок роботов».

### ПЕРЕВОДЫ ИГОРЯ СИКИРИЦКОГО

Три года назад известный польский поэт Игорь Сикирицкий перевел поэму классика грузинской поэзии Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». До этого существовали лишь переводы фрагментов поэмы, принадлежавшие Юлиану Тувиму. О большой популярности «Витязя в тигровой шкуре» красноречиво свидетельствует тот факт, что варшавское издательство «Искры» в настоящее время готовит уже третье ее издание.

Игорь Сикирицкий, как стало известно из газет, сейчас занят переводом армянского эпоса «Давид Сасунский».

## РУМЫНИЯ

### «НА СТРУНАХ ВРЕМЕНИ»

Преобразование духовного мира человека — трудный и сложный процесс, но оно под силу поэтическому слову... Твердое убеждение в этом, по словам рецензента журнала «Лучафэрул», звучит в новом сборнике стихов Михая Бенюка «На струнах времени». Острым оружием своих стихов поэт стремится уничтожить многие еще не изжитые человеческие пороки, свойственные старому миру. Отсюда сатирическое звучание некоторых стихов поэта.

Рецензент пишет об активной позиции Бенюка, поэта-гражданина.

### НОВОСТИ КИНО

В нынешнем году в стране будет создано шестнадцать полнометражных художественных кинофильмов, сообщает корреспондент еженедельника «Флакэра». Большинство из них явится экранизацией известных литературных произведений. Над оригинальными сценариями для фильмов работают лучшие румынские прозаики.

Недавно закончились съемки фильма «Чужой» по роману Титуса Поповича. По новелле В. Эм. Галана «Зажиточные» создается фильм о классовой борьбе в деревне во время проведения аграрной реформы. Сценарий для фильма «Любовь одного вечера» на современную тему написал А. И. Гилия.

В честь двадцатилетия освобождения страны румынские кинематографисты снимают фильмы о революционной борьбе, в том числе по роману Э. Барбу «Северное шоссе».

В планах работников кино — экранизация двух крупных произведений румынской классики: романов «Род Шоймаров» М. Садовяну и «Лес повешенных» Л. Ребряну.

Актриса Ана Мария Николау, снимающаяся в фильме по роману Михаила Садовяну «Род Шоймаров».
*(Журнал «Флакэра»)*

## САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

### ИЗДАНИЕ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ

«Народные пословицы Центральной Аравии» — так называется трехтомный труд саудовского поэта и ученого Абд аль-Керима аль-Джухеймана, изданный в Бейруте. По отзывам печати, книга представляет большую ценность для исследователей арабского фольклора и диалектологов.

## ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Выходящая в Сан-Франциско газета «Пиплз уорлд» опубликовала высказывания своего критика Дэвида Ордуэя о советском фильме «Оптимистическая трагедия». Ордуэй пишет, что «невозможно оставаться равнодушным при виде того, как герои фильма преданы своей стране и своей партии».

Критик подробно анализирует «Оптимистическую трагедию», проводя параллели с такими советскими фильмами о революции и ее героях, как «Депутат Балтики», «Чапаев», «Человек с ружьем», «Броненосец «Потемкин» и, наконец, «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году».

Ордуэй дает очень высокую оценку игре советских киноактеров, особенно Маргариты Володиной в роли комиссара.

## ПОДЛИННЫЙ ЛИ ЭТО ДЖЕК ЛОНДОН?

Историю одного литературного курьеза сообщила недавно американская пресса. Через сорок семь лет после смерти Джека Лондона в нью-йоркском издательстве «Макгроу Хилл» вышла книга, на обложке которой крупным шрифтом напечатано: Джек Лондон «Бюро убийц с ограниченной ответственностью».

Если верить сообщению корреспондента Гаррисона Солсбери в газете «Нью-Йорк таймс», то предыстория этого издания восходит еще к марту 1910 года; живший тогда в Сан-Франциско никому не известный Синклер Льюис внес в графу прихода своей конторской книги следующую запись: «Четырнадцать тем для коротких рассказов проданы Джеку Лондону за 70 долларов». Одну из этих тем, пишет Солсбери, Лондон решил разработать в большой сатирический приключенческий роман под названием «Бюро убийц с ограниченной ответственностью». Он написал 122 страницы и, видимо, отложил работу.

После смерти Лондона многие писатели пытались закончить роман, но ничего не получалось, пока за дело не взялся Роберт Фиш, инженер по образованию, стяжавший себе репутацию блестящего рассказчика приключенческих историй. Фиш написал еще шестьдесят две страницы, и в результате плод творчества трех лиц— Синклера Льюиса, Джека Лондона и Роберта Фиша— попал недавно на книжные прилавки.

Прогрессивная американская печать высоко оценивает спектакль «Река Спун», поставленный в «Бэласко тиэтр» в Нью-Йорке по произведениям Эдгара Ли Мастерса. Спектакль состоит из большого числа сценических миниатюр по поэмам Мастерса, исполненных с ювелирной тонкостью, пишет рецензент газеты «Уоркер». На снимке: актеры Бетти Гарретт и Роберт Эльстон в одной из сцен спектакля.

*(Газета «Уоркер»)*

Сюжет романа таков: некие анархисты организовали в США общество наемных убийц из числа «идеалистов», признающих дозволенными те убийства, которые, по их мнению, «идут на пользу человечеству». Заканчивается вся эта история тем, что возлюбленный дочери шефа «Бюро убийц», миллионер Уинтер Холл нанимает агентов этой организации для убийства... самого шефа! По страницам книги потоками льется кровь, но поскольку роман сатирический, пишет Солсбери, все воспринимается, как пародия на американскую действительность.

Оценки «Бюро убийц» довольно противоречивы: критик Энтони Бушер пишет в «Нью-Йорк таймс», что это лучший приключенческий роман за многие годы. А уже упомянутый Гаррисон Солсбери склонен считать, что книга представляет собой литературный курьез.

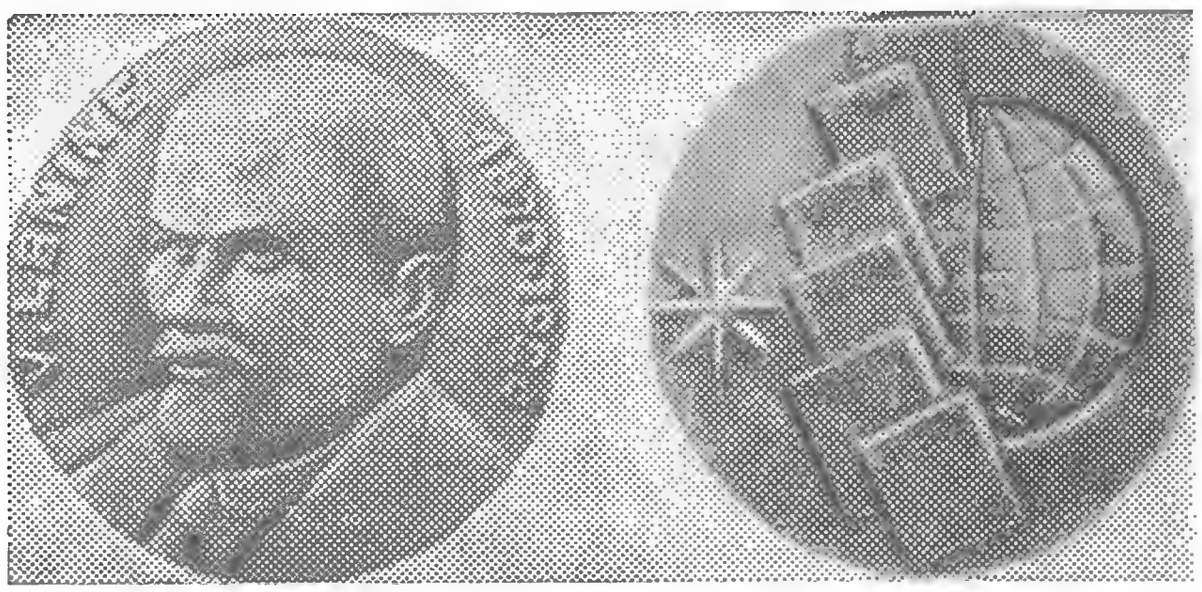
## «В БЕЛОЙ АМЕРИКЕ»

В нынешнем театральном сезоне, как обычно в Нью-Йорке, интересные пьесы идут зачастую не на Бродвее, а в маленьких театрах за пределами этой главной зрелищной магистрали. Американская печать, к примеру, высоко оценивает идущую в «Шеридан-сквер-плэйхауз» антирасистскую пьесу Мартина Дюбермана «В белой Америке».

Автор ее — не профессиональный драматург, а молодой преподаватель, читающий курс истории США в Принстонском университете. По мнению Дюбермана, исторические события гораздо лучше воспринимаются с подмостков театра, поэтому он давно мечтал создать пьесу о положении негров в Америке. Автор широко использовал исторические материалы — тексты выступлений государственных деятелей, а также высказывания тех черных граждан Америки, которые сами были рабами и продавались с аукциона белым хозяевам, и наших современников, которые

пережили трагедию Литтл-Рока.

По словам рецензента газеты «Нью-Йорк таймс», Мартин Дюберман написал произведение, заставляющее зрителей серьезно задуматься над историей своей страны и над современными насущными проблемами, стоящими перед миллионами их сограждан с темной кожей.



Монетный двор Франции начал выпуск серии медалей, посвященных выдающимся людям и событиям нашего времени. Газета «Юманите» поместила недавно репродукцию с медали, выпущенной в память о Владимире Ильиче Ленине. На одной стороне медали изображен В. И. Ленин с указанием дат его жизни. На другой — земной шар и книги Ленина, символизирующие распространение его учения по всей планете.

*(Газета «Юманите»)*

## ТАНГАНЬИКА

### ШЕКСПИР НА СУАХИЛИ

В Дар-эс-Саламе вышла на языке суахили и вызвала большой интерес трагедия Шекспира «Юлий Цезарь» в переводе президента Танганьики Джулиуса Ньерере.

В интервью газете «Санди ньюз», выходящей в Дар-эс-Саламе, Ньерере сообщил, что он работал над переводом почти два года. «Некоторые из моих друзей,—сказал президент,— интересовались, почему я выбрал для перевода именно это произведение Шекспира, повествующее о политическом убийстве. Должен сказать, что мой выбор не был связан ни с какими политическими соображениями. Впервые я прочел «Юлия Цезаря» в 1949 г., когда поступил в университет, и очень полюбил это творение Шекспира».

## ФРАНЦИЯ

### НОВЫЕ ПЬЕСЫ АРМАНА ГАТТИ

Известный драматург Арман Гатти, новый сборник пьес которого «Театр» выходит в издательстве «Солей», рассказал в интервью газете «Юманите» о двух своих новых пьесах, над которыми он сейчас работает.

Первую драматург назвал «Общенародная песнь об электрическом стуле». Она посвящена трагической судьбе Сакко и Ванцетти. Гатти задумал придать этой пьесе своеобразную форму. «Сначала я хотел написать историческую пьесу,— сказал драматург,— но затем понял, что точное воссоздание исторической обстановки привело бы к искажению моего замысла. Вся пьеса построена на единой линии событий: начинается она в Чикаго в конце прошлого века и заканчивается в наши дни на революционной Кубе».

«Я подумал: Сакко и Ванцетти мертвы,— продолжал Гатти.— Кто дает им жизнь? Я, вы, зритель, кубинские патриоты, которые не забывают о них». И Гатти решил построить пьесу на основе живого общения со зрительным залом. Большая часть диалога Сакко и Ванцетти основана на их подлинных, исторически достоверных высказываниях.

Недавно Гатти вернулся с Кубы, где он начал писать пьесу об этом героическом острове, о его будущем. Главный персонаж пьесы — женщина Сильвия Мачадо, участница кубинской революции.

### ТАМ, ГДЕ САХАР ГОРЕК...

Кинорежиссер Янн ле Массон снял короткометражный фильм «Горький сахар» на острове Реюньон, «французском департаменте» в Индийском океане, где проходили не так давно дополнительные выборы во французский парламент. В ходе их, как об этом сообщала печать Франции, отмечались злоупотребления, к которым власти прибегали для того, чтобы любой ценой протащить в парламент бывшего премьер-министра Мишеля Дебре, провалившегося на выборах в метрополии.

...Свидетели рассказывают перед кинокамерой, как проходили эти выборы. Одни говорят, что под угрозой увольнения с работы они вынуждены были голосовать за Дебре; другие сообщают, что за «подрывные» взгляды их вообще вычеркнули из списков избирателей; третьи показывают удостоверения на право голосования на имя тех, кто давно умер. На экране — могилы «голосовавших» за Дебре...

Молодому кинематографисту, пишет корреспондент газеты «Юманите», удалось противопоставить официозным пропагандистским трюкам трагическую действительность Реюньона. ...Звучит обличительная речь генерального секретаря компартии Реюньона Поля Вержеса. Он говорит, а кинокамера фиксирует выражение лиц слушателей. Оратор закончил, в воздух поднимаются сжатые кулаки, льется знакомая мелодия пролетарского гимна...

Этот небольшой фильм был тайно показан во время кинофестиваля короткометражных фильмов в Туре. Тайно — потому что автор фильма не имеет разрешения цензуры на его демон-

страцию. По-видимому, такое разрешение и вовсе не будет получено, ибо фильм разоблачает махинации правящей партии и одновременно с симпатией показывает деятельность компартии Реюньона.

«В сущности, мы просто кинолюбители, у которых есть сорок миллионов друзей,— рассказывает Янн ле Массон.— У нас нет разрешения на коммерческий прокат, но мы не делаем коммерческих фильмов. Наша цель заключалась в том, чтобы взволновать зрителей, показать нечто такое, что не оставило бы их равнодушными и запомнилось. Надо всегда иметь перед глазами то, что происходит в этом странном «французском департаменте».

### «ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ РЯДОМ С ЗОЛЯ»

Так называется книга Альбера Лаборда, выпущенная издательством «Эдитер франсе реюни». Молодость автора — близкого родственника Эмиля Золя — прошла в общении с семьей великого французского писателя, об этой семье и рассказывается в книге Лаборда. В ней собраны неизвестные фотографии и не публиковавшиеся до сих пор письма, имеющие отношение к Золя.

Рецензент еженедельника «Леттр франсез» высоко оценивает эту книгу, содержащую много новых и интересных подробностей о жизни автора «Ругон-Маккаров». При этом подчеркивается, что автор книги — один из немногих еще живущих людей, которые близко знали великого писателя.

## ФИНЛЯНДИЯ

### МОНОГРАФИЯ О ВЯЙНЕ ЛИННА

В издательстве Вернера Сёдерстрёма вышла в свет первая монография о знаменитом финском прозаике «Вяйне Линна, путь писателя» литературного критика Н.-Б. Стурмбума. Обозреватель газеты «Аамулехти» высоко оценивает моно-

Вяйне Линна.
*(Газета «Кансан уутисет»)*

графию. «Литературный портрет Линны содержателен и свеж. Он, несомненно, вызывает всеобщий интерес»,— пишет обозреватель.

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

### ОБ ИСКУССТВЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ

Насущным проблемам социалистического искусства Чехословакии посвящена опубликованная недавно газетой «Руде право» статья критика Милоша Фиалы «Искусство, мир и борьба идеологий». На конкретных примерах автор статьи показал, как буржуазная пропаганда фальсифицирует происходящие в социалистическом искусстве творческие процессы. Фиала выступает против ложного понимания современности в искусстве как совокупности формальных поисков и погони за оригинальностью. Историческую задачу чехословацкого искусства автор статьи видит в том, что оно должно рассказать всему миру правду о социалистическом обществе и о нашем времени.

Социалистическое искусство, по словам автора, должно стремиться к тому, чтобы «полнее отразить современную жизнь общества, дать правдивую картину окружающего нас мира. Нужно сосредоточить усилия на том, чтобы разбить утверждения буржуазных эстетиков, будто идейность находится в противоречии с художественностью, доказать, что именно социалистическое искусство создает самый широкий простор для творческой деятельности!»

### О ПЕРВЫХ ШАГАХ ЮЛИУСА ФУЧИКА

Издательство политической литературы выпустило

Теме труда чехословацкого народа посвящены работы графика Ото Опршала. «Частушка о пастухе в игелитовом плаще» — такое название носит эта его гравюра.
*(Еженедельник «Культурни живот»)*

сборник первых критических работ Юлиуса Фучика под названием «Из записной книжки молодого Юлиуса Фучика 1919—1922 гг.». Книга подготовлена к печати Густой Фучиковой и Владимиром Досталом, написавшим предисловие к этой публикации.

По свидетельству еженедельника «Литерарни новины», книга говорит о большом интересе молодого Фучика к произведениям мировой литературы, в частности к книгам русских и советских авторов. В своих записках Фучик дает критический анализ произведений Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, М. Горького. Эти записи послужили Фучику основой для его дальнейших литературно-критических работ и публицистических выступлений о произведениях пролетарского искусства. Одно из первых выступлений Фучика в печати о пролетарской поэзии относится к 1923 году.

Сборник «Из записной книжки Юлиуса Фучика 1919—1922 гг.», по словам рецензента, дает представление о формировании у Фучика коммунистического мировоззрения.

## ЮГОСЛАВИЯ

### ТВОРЧЕСКИЕ ЗАМЫСЛЫ БРАНКО ЧОПИЧА

Известный югославский писатель Бранко Чопич поделился с корреспондентом еженедельника «Телеграм» своими творческими планами. «Сейчас я работаю,— сообщил Чопич,— над книгой «Восьмое наступление». Кто знает историю нашей народно-освободительной борьбы, тот поймет, что речь идет не о наступлении с танками и пушками. Содержание моего нового романа вкратце таково: война окончена, и

Бранко Чопич.
*(Журнал «Телеграм»)*

бойцы переходят в новое, мирное наступление на фронте обновления страны. Я стараюсь показать, как бывшие партизаны приспосабливаются в новых условиях к мирному труду».

Новый роман Бранко Чопича вскоре выйдет к свет.

### НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

Как сообщает газета «Политика», писателю Мирославу Крлеже присуждена учрежденная недавно премия имени Марина Držića за значительный творческий вклад в югославскую драматургию. Писателю вручена серебряная статуэтка с изображением Držića.

Премия имени Марина Držića впервые присуждена в 1963 году, а в дальнейшем она будет присуждаться раз в четыре года за лучшие драматургические произведения.

---

Журнал «Филателиста» сообщает о выпуске юбилейных почтовых марок в честь 80-й годовщины со дня рождения недавно умершего югославского скульптора Ивана Мештровича. Мештрович — автор пятидесяти мраморных скульптур для Косовского храма-памятника.

На воспроизводимой здесь марке изображена скульптура Мештровича «Мать», сделанная из белого мрамора и хранящаяся в Народном музее Белграда.

*(Журнал «Филателиста»)*

## ЯПОНИЯ

### СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ В ЯПОНИИ

Журнал «Асахи дзянару» поместил отзывы на фестиваль советских кинофильмов, который прошел не так давно в Токио.

Советская кинематография была представлена тремя фильмами: «Оптимистическая трагедия», «Ты не сирота» и «Девчата». Все они шли при переполненном зале, сообщает обозреватель журнала и добавляет, что уже один этот факт красноречиво свидетельствует об огромном интересе японских зрителей к произведениям советской кинематографии.

«Оптимистическая трагедия»—первоклассный советский фильм,— пишет обозреватель.— Это вынуждены признать даже те, кто не разделяет идей, содержащихся в этом революционном повествовании».

# КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**ЭЛЛА УИНТЕР — ELLA WINTER** — американская журналистка и переводчица. Автор публицистических книг «Красная сила» («Red Virtue»), «Я видела русский народ» («I Saw the Russian People») и др.

Публикация подготовлена для нашего журнала.

**ИВАН СКАЛА — IVAN SKALA** (род. в 1922 г.) — чешский поэт, первый секретарь Союза писателей Чехословакии. Ему принадлежат сборники стихов «Огниво» («Křesadlo», 1946), «Через порог» («Přes práh», 1948), «Май земли» («Máj země», 1950), «Утренний поезд надежды» («Ranní vlak naděje», 1959).

Публикуемые в этом номере стихи взяты из сборников «Приветствую вас, окна» («Zdravím vás, okna», 1962) и «Голубой календарь» («Blankytný kalendář», 1963).

**МАНУЭЛЬ НАВАРРО ЛУНА — MANUEL NAVARRO LUNA** (род. в 1894 г.) — кубинский поэт. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Страждущие ритмы» («Ritmos dolientes», 1919), «Сердце в глуби» («Corazón adentro», 1920), «Убежище» («Refugio», 1927), «Пульс и волна» («Pulso y onda», 1932), «Раненая земля» («Tierra herida», 1936), «Мамбисские оды» («Odas mambisas», 1961).

О его творчестве см. статью «Поэт кубинской революции», напечатанную в «Иностранной литературе» № 4, 1962 г. Публикуемые стихи взяты из сборника «Поэтический труд» («Obra poética», 1963).

**ФАЙЯД ХАМИС — FAYAD JAMIS** (род в 1930 г.) — кубинский поэт. Автор сборников стихов «Веки и пыль» («Los párpados y el polvo», 1951), «Мосты» («Los puentes», 1962) и др.

Публикуемые стихотворения взяты из сборника «За эту свободу» («Por esta libertad», 1962).

**МАНУЭЛЬ ДИАС МАРТИНЕС — MANUEL DIAZ MARTINEZ** (род. в 1936 г.) — кубинский поэт. Автор сборников «Рассыпавшиеся плоды» («Frutos dispersos», 1956), «Одиночество и другие темы» («Soledad y otros temas», 1957) и др.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Пути» («Los caminos», 1962).

**НАГИБ МАХФУЗ** (род. в 1913 г.) — писатель ОАР. Автор трилогии «Между двумя дворцами», «Дворец страсти», «Сахарница» (1956—1957), романов «Дети нашего квартала» (1960), «Перепелки осенью» (1963), «В пути» (1963), ряда исторических романов, а также рассказов.

Повесть «Вор и собаки» вышла отдельным изданием в 1962 году.

**ФАИЗ АХМАД ФАИЗ** (род. в 1911 г.) — пакистанский поэт, общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Автор сборников стихов «Тоскливый узор» (1943), «Рука ветра» (1952), «Тюремные стихи» (1956). Произведения Фаиза неоднократно издавались на русском языке. (В «Иностранной литературе» см. № 3, 1959; № 7, 1962; № 1, 1964.)

Публикуемая статья получена в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ** (отв. секретарь), **М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **Ю. Н. Горохов**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 04166 Сдано в производство 3/II-64 г. Подписано к печати 26/III-64 г.

Бумага 70×108 1/16 = 9,0 бум. л.; печ. л. 24,66 + 2 вкл. Зак. 240

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС
70394